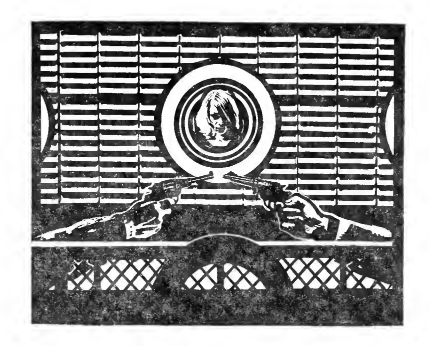


9

поединок



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1983



ВЫПУСК ДЕВЯТЫЙ

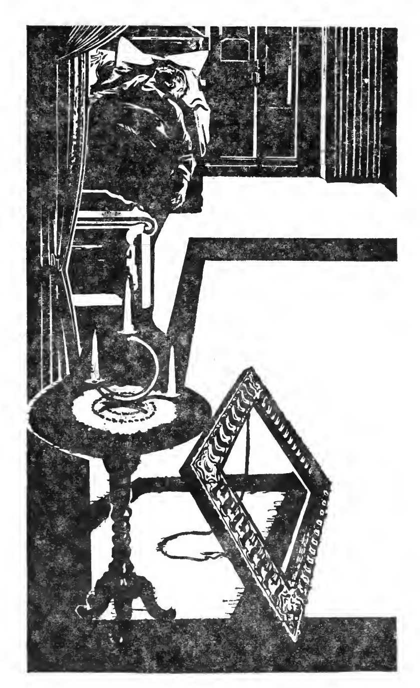
Художник И. БЛИОХ

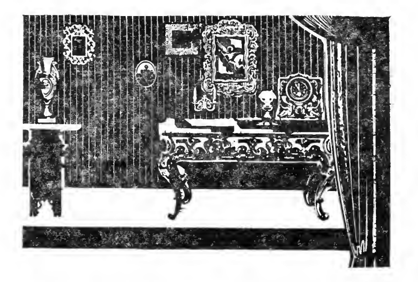
поединок

СБОРНИК

Владимир АКИМОВ
Юрий КЛАРОВ
Евгений МАРЫСАЕВ
Софья МИТРОХИНА
Виктор ПШЕНИЧНИКОВ
Александр САБОВ
Леонид СЛОВИН
Эдуард ХРУЦКИЙ

Алексей ТОЛСТОЙ
Сергей КОЛБАСЬЕВ
Борис ЛАВРЕНЕВ







ПОВЕСТИ

ВЛАДИМИР АКИМОВ

ПРИКАЗ

Он знал, что сейчас ему будет сытно и весело. Стоит только добраться туда, где живет еда. А там уже не его забота — там будет действовать *она*, мать. Нужно только подождать немного — и хватай зубами вкусную белую мякоть. Глотай сколько влезет. Однако надо, конечно, крепко держать, чтобы не стало вдруг больно. На бегу попробовал тронуть нос, который неприятно саднил — здоровенная рыбина вчера крепко хлестнула его хвостом. Не удержался, оскользнулся. И поехал по жесткому насту. Ему стало весело, почти так же, как бывало, когда живот полон... И вдруг стало больно! Потом опять... Еще! Он взвизгнул — удары не прекращались. Крутанулся — увидел *ее* черные с радужной роговицей глаза. Испугался! Оторопел, ничего не понимая. Она больно кусанула его за ухо. И принялась трепать, пока он не завыл от боли и не понял — к еде почему-то нельзя. И почему-то надо бежать обратно. И скорее. Так хочет мать.

Медвежонок и медведица, пройдя от берега по ледовому припаю, не дошли совсем немного до чистой воды. Медвежонок на бегу споткнулся и весело забарахтался в снегу. Его мать остановилась и сперва добродушно смотрела на него. Затем подняла морду. То ли принюхиваясь, то ли вглядываясь. То ли то и другое одновременно. Уловив нечто, одной ей ведомое, подняла его увесистыми шлепками и погнала к нагромождению береговых торосов. На бегу прикусывала за ухо. Медвежонок взвизгивал и прибавлял прыти.

Едва успели медведи добраться до первых ропаков — обледеневших прибрежных камней — как все огромное ледяное поле припая лопнуло с сухим треском. И трещина торпедным следом понеслась к горизонту. Значит, сорвался и рухнул под уклон в море гигантский айсберг, проломив метровый лед закраины. Айсберг мог сорваться и от собственной тяжести, а мог и норд-ост его сбросить, что начинал копить силу где-то в Карских горах...

* * *

Чайная оленеводческого колхоза «Рассвет» помещалась в большой каркасной палатке, половину которой занимал магазин, отгороженный от чайной стенкой из пус-

тых тарных ящиков. Мужчин в чайную набилось много. Степенно беседовали о всяких хозяйственных делах: об охоте, о том, что надо председателю сказать, чтоб хорошую капроновую нитку раздобыл — сети новые пора, однако, плести (колхоз и рыбой промышлял в ближайших озерах), и какая бригада сколько оленей на забойку даст. Вот-вот забойка, план у колхоза большой — оленина всем нужна. И строителям, и летчикам, и геологам с буровиками, солдатам тоже нужна. Всему северному люду хорошее мясо нужно. Без него на Севере никак нельзя. Замерзнешь, если не будешь мясо кушать. Заболеешь. Однако оленей в колхозе много, а за лето еще больше стало — телята подросли да важенки-матки новых народили. Но и труда много. Колхозные бригады далеко друг от друга кочуют, а от фактории, где чайная, еще дальше. Зато оленям там летом травы много, а зимой — ягеля, ивовых веток.

А пятая бригада ушла каслать — кочевать дальше всех. И все бы ничего, да Илия Сертков, бригадир, хлеба мало взял. Теперь, наверное, кончается хлеб в пятой бригаде...

Завчайной и магазином добродушный толстяк Коля Салиндеров уже третий самовар ставил под эти разговоры. Восьмиведерный. Отламывал тяжелым ножом твердое промерзшее масло. Клал на круглую галетину, а сверху кусок сахара. Очень вкусно у Коли было чай пить: сначала сахар, потом масло целиком в рот, затем галетой захрустываешь, а потом уж чаем черным запиваешь.

Голодать, однако, не будут в пятой бригаде — еды у них достаточно. Но разве хлеб заменишь? Скучно без хлеба....

Тяжело пыхнул пар — хлопнул дверной полог. Перед Колей исчезли, затуманились лица. Потом появляться стали. Одно обозначилось раньше всех, которого до этого здесь не было и которое ему было милее всех.

— Ну?! — звонко спросила вошедшая, распустила ремешок и одним движением сбросила капюшон ягушки, расшитой национальным узором.— Что вы решили?

— Мы решили так, Маринка,— сказал председатель Сертку и показал на старика, что покуривал трубочку у печки.— Вот старый Алю с моря пришел, говорит, лед ломает, видел, как медведи убегали.

— Однако, наверно, большой ветер идет,— вздохнул старый Алю.

— Какая невидаль — лед трескается,— сузила глаза Маринка.— Значит, пусть без хлеба сидят?

— Без хлеба скучно, однако,— согласно кивнул Сертку.— А так все у них есть: и масло, и мясо есть, и сгущенка.

— Печенье есть,— вставил Коля.— Выпей чаю, Маринка.

— А в пятой бригаде чай есть, Коля? — спросила его Маринка.

— Есть, есть,— закивал Коля.— Илия хороший чай у меня брал. Цейлонский.

— А у тебя какой, Коля?

— У меня, Маринка, индийский. На картинке человек идет.— Коля налил и протянул кружку девушке: — Пей, пожалуйста.

— А я цейлонского хочу, Коля.

Опять пыхнуло паром. Опять все затуманилось. Хлопнул полог...

* * *

За много километров от фактории, где была чайная Коли Салиндерова, в более чем пятистах километрах от райцентра поселка Полярный, находился военный городок: аэродром, казармы, парки боевой техники. Военный городок, где жили офицеры, прапорщики и их семьи.

Майор Павел Лесников достал из холодильника пару баночного пива «Золотое кольцо» и устроился в кресле перед телевизором. Постукал вяленой рыбой о журнальный столик (хорошо, что Светы дома нет, а то б она ему задала на полвечера перцу). Ободрал прозрачную шкурку и ловко разодрал рыбку от хвоста к голове вдоль. А то иные и так и этак стараются. Все пальцы поисколют, перемажутся, а в результате вместо рыбки обрывки какие-то, ерунда неаппетитная. А у Лесникова — пожалуйста, и балычок, и ребрышки с икрой. Любо-дорого.

Шел Лесникову двадцать восьмой год, а был он уже майор. Завтра у Лесникова начинался отпуск. Билеты на самолет — вот они — за стеклом книжного шкафа приятно так голубеют. Подустал он за последний месяц крепко: неделю, как кончились дивизионные учения, перед ними прошли полковые. Ожидались в скором времени окружные. Предполагал их Лесников, как и большинство офицеров дивизии, месяца через полтора. Как раз он из отпуска вернется. И светила ему после

них вторая звездочка к его двум просветам. Не сразу, наверно, подождать придется, но светила ярко.

Сюда, в Заполярье, приехал Лесников полтора года назад, сразу после академии. Ехал четверо с лишним суток. Отечество разворачивалось степями-полями от горизонта до горизонта. Вставало лесной чернотой. Выбегало избами к самому железнодорожному полотну. Сверкало вечерними городами. Ехала с ним Света, он перед самым выпуском женился. Если бы она сейчас дома была (она работала на узле связи), здорово бы ему влетело, что он рыбкой-то по журнальному постукивал. Но уж такое было предотпускное настроение. Черное море ласково так в нем шумело, манило бездумно... Лесников часто приговаривал, что не надо путать южное побережье Белого моря с северным побережьем Черного — это две большие разницы. Так что Света насчет рыбки была права, для этого кухня существует.

...Тогда, вместе со Светой, привез он новобранцев, 84 человека. Они теперь уже солдаты настоящие, и жалко, что скоро по домам. Некоторые из них до сержантских лычек добрались, а один, особо выдающийся, Толя Романцев, умудрился эти лычки и потерять.

«Эх, Романцев, Романцев,— подумал Лесников.— Ну, за что ты его?.. Ведь так и не сказал, упрямый человек... Все ваньку валял. Вот теперь кукуй на «губе»... И радуйся, что повезло, могли б и строже наказать... И вся твоя молодая жизнь кувырком бы полетела...»

* * *

Лена проснулась, но долго не открывала глаз. Было хорошо. Остатки сна еще туманились в ней... Она уже не помнила, что снилось, но было весело. Она даже проснулась оттого, что смеялась вслух...

Но вот сквозь веселую дремоту проступила зимняя мгла... Снежная крупа слышно скребет по веткам, по стволам деревьев. И сразу — вчерашнее... Выстрелы в упор! В глаза! В уши, чтобы не портить шкуру. Последний вопль. Жалкий, как человеческий горький вскрик.

Она повернула голову — в спальном мешке рядом было пусто. Подошел Женька «Белый». Был еще Женька «Черный», но он, как всегда, возился с тюками, что-то перепаковывал, перевязывал, снова укладывал на нарты. От Женьки Белого пахло свежим дымом. Значит, костер готов, оставалось только приготовить завтрак — это уж ее обязанность.

— Где благоверный? — спросила она, обтерев лицо снегом.

— Буровикам рацию чинит.

Удивилась:

— Каким буровикам?

— Ты что, не помнишь? Ну которых ночью встретили...

Вспомнила... Да, да... Фары, как прожектора... Надсадный вой моторов по таежному бездорожью... Но так хотелось вчера спать, что она плохо соображала, кого встретили. Зачем? Главное — что привал!

* * *

— ...Теперь смотри, борода,— Андрей щелкнул тумблером, внутренности рации медленно закраснелись.— Вот эту штуку и вот эту,— Андрей показал,— при первой возможности смени. Понял?

— Ну, спасибо тебе, выручил,— облегченно вздохнул огромный буровик Петрович, борода — серебро с чернью.— Это ты нам на удачу встренулся.

— Ну, как, Петрович? — еще издали крикнул Спиридонов, начальник партии.

— Дружка-то нашего, Николай Николаевич,— Петрович припечатал плечо Андрея рукавицей,— надо б повеселей отблагодарить.

— Что за вопрос? — обрадовался Спиридонов.— У вас, Андрюша, есть во что перелить? Нет — так забирайте вместе с канистрой.

— Не надо.— Андрей встал от рации.— Спасибо.

— Медицинский,— сказал Петрович.— Без обмана.

Андрей помотал головой.

— Первый раз вижу, чтоб охотник от спирта отказался,— пожал плечами Спиридонов.— Так чем же вас отблагодарить?

— Вы к поселку Полярному идете?

— Считайте, что вы уже там.— Спиридонову хорошо стало, что он может помочь такому распрекрасному парню.— Добросим в лучшем виде. Мы сами к гавани свернем, а вам оттуда пустяки останется, километров пятнадцать.

— Вот за это спасибо.

— Мало того,— улыбчиво продолжал Спиридонов.— В Полярном для нас самолет, как раз на четверых, с грузом. А у нас планы изменились, мы на острова едем.

— А куда самолет?

— До Якутска. Ну а там вам до Москвы пара пустя-

ков. Сейчас Петрович радирует в Полярный, что вы и есть наша группа...

* * *

С приближением зимы и полярной ночи ледяные поля, или, как их называют, закраины, нарастали от кромки берега в море. По мере усиления морозов захватывали все больше и больше морского пространства, продвигали свою границу все дальше от побережья. Лед рос и в толщину подходил к метру. Переохлажденный воздух над застывающим морем медленно теснился к горным цепям островов. Невидимое тысячетонье скапливалось на склонах, чтобы, перевалив через хребты, сорваться. Ринуться на побережье. Ударить, сокрушая. Исчезнуть. Возродиться вновь...

* * *

Но майору Лесникову на этот раз не суждено было погреться на черноморском солнышке.

Через четыре часа, а точнее, через три часа пятьдесят семь минут, после того как он отсмотрел телевизор (видимость в конце передачи сильно испортилась, уж он крутил-вертел), его разбудил сполошный телефонный звонок. Дежурный произнес лишь одно слово: СБОР! Это командующий отдал приказ начать учения.

Поднял части вверенного ему округа, что занимал территорию, большую, чем Франция и Голландия. Только климат в этих местах был совсем на французский не похож. Неверный был климат. От этого климата, особенно в конце осени — в начале зимы, чего угодно можно было ожидать. Даже видавшие виды синоптики с Диксона, которых вся Арктика уважает и к которым прислушивается рациями, даже они и то иной раз впросак попадали.

Пока одна только медведица почуяла недоброе. Еще день тому назад. И погнала медвежонка к берегу, к берлоге.

Недаром северные народы — и ненцы, и чукчи, и эвенки, и кеты с юкагирами — очень медведей уважают. Эвенки называют медведя «амикан» (дедушка), а медведицу — «атыркана» (большая старуха) и «эбэкэ» (бабушка). В стародавних легендах говорится, что медведь раньше был человеком. Или что он человеческий брат и что в старину медведи даже женились на северных девушках. А еще медведь, это уж шаманы говорят, — хозяин

«нижнего», подземного мира. И поэтому, убивая медведя на охоте, надо к нему уважительно относиться, чтоб не осерчала «божественная душа» его. Шаманы в старину гадали с помощью медвежьей лапы — бросали в сторону того, кто хотел судьбу узнать. Кричали: «Дедушка, скажи!» Смотрели, как упадет.

«Стучит ворон — ток-ток! И ворона — ток-ток! Крошу я моченую юколу — кон-кон-кон! Пустая посуда звенит — кон-кон! кон! Жертву принесите речному лиману! Клюкву и корни несите, медведь же — чавк-чавк — и проглотит. Куэнгэрэ, куэнгэрэ-куэнгэгэ! Стучат медвежьи лапы, и кости медвежьи стучат».

И у заболевших оленьих маток-важенок вымя растирали медвежьей лапой...

* * *

Колонны танков, бронетранспортеров, боевых машин и прочей военной техники шли таежными тропами к районам сосредоточения. Пугали зверье гулом моторов и гарью солярки. Белки стаями уходили по вершинам деревьев. Ссыпали на грозные машины еще не слежавшийся снег.

Одной из задач учений, которую поставил командующий, была отработка взаимодействия сухопутных сил с авиацией в жестких условиях наступающей полярной зимы.

На карте побережья Ледовитого океана и прилегающих районов среди многих условных обозначений были нанесены и авиатрассы — пунктир с маленьким самолетиком через равные промежутки.

— А вот здесь я бы не спрямлял трассу,— голос у командующего был с уверенными командирскими интонациями, твердыми согласными и раскатистым «р».— Наоборот... Пятьсот — шестьсот километров для таких машин пустяки...

И острие красного карандаша, классического командирского, едва касаясь бумаги, пролетело над тайгой и прихотливыми изгибами прибрежья Полярного моря.

— ...Зато она становится менее уязвима, как в стратегическом отношении, так и по метеоусловиям Заполярья... Вот здесь, в квадрате 47 дробь 9, на мой взгляд,— острие карандаша ткнуло точку на небольшом полуострове, похожем на гриб на тонкой ножке,— необходимо оборудовать радиомаяк, в данный момент хотя

бы рацию забросить... Вам приданы десантные подразделения, товарищ генерал?

— Точно так, товарищ командующий.

— Используйте их.

— Товарищ командующий, прошу простить меня,— включился в разговор третий генерал, летчик,— но уже отдан приказ о вылете по... старой трассе...

— Отмените его.

* * *

Мело. Бульдозеры и уборочные машины, как заведенные, расчищали взлетную полосу, а ее тут же заносило вновь, а они снова расчищали...

На поле сквозь снежную круговерть проглядывали темные силуэты огромных самолетов. У каждого — шеренги экипажей в меховых комбинезонах. Над аэродромом взлетели три зеленые ракеты — разлился мерцающий зеленый свет. Экипажи по спецтрапам полезли в кабины. Заревели двигатели.

Огромные сдвоенные колеса первого самолета уже выехали на взлетную полосу...

Пять красных ракет...

Экипажи, чертыхаясь, полезли по спецтрапам вниз. Самолет со взлетной полосы подхватили на буксир и повезли на место...

* * *

Взвод десантников стоял в две шеренги за стеной ангара. Парашюты у ног — домиком: запасной впереди, основной сзади. В ремни запасного заткнут десантный нож, чтобы всегда был под рукой — неприятных неожиданностей у десантника хватает, что в воздухе, что на земле. Две рации.

С плоской крыши ветер порывами сдувал снег, клубами проносил над ними. По летному полю, плоскому, как столешница, змеилась поземка. Закручивалась смерчиками. По меховым курткам, шлемам и парашютам шуршала снежная крупа.

— Еще раз повторяю,— приземистый, почти квадратный прапорщик шел вдоль строя.— Молодые! Внимание, вас особенно касается. Чем отличаются прыжки зимой?

Прапорщик выдержал паузу и сам ответил:

— Прыжки зимой отличаются тем, что ориентироваться в воздухе трудно. Купола под тобой сливаются

со снегом. А потому особое внимание нужно, чтобы не влететь в купол товарищу. Ясно?

Взвод, с усилием шевеля стянутыми на морозе губами, подтвердил, что да, ясно.

— Как купол раскрылся,— продолжал прапорщик,— так нужно сразу ориентироваться по дымам, дорогам, постройкам. Ясно?

— Так точно... Ясно...

— Чего ж вам ясно, когда тут таковых не имеется? — прапорщик тыльной стороной рукавицы яростно потер левую щеку.— В общем, внимание — это главное. И это должно быть всем ясно. Понятно?

— Так точно!

— Вот когда понятно, тогда и ясно,— философски заметил прапорщик. Увидел, как из-за угла ангара вывернул лейтенант, подобрался, вскинул голову: — Взвод, равняйсь! Взво-од!..

— Взвод, вольно,— скомандовал голубоглазый лейтенант.— Парашюты надеть.

Вторая шеренга помогла первой надеть и закрепить основные парашюты. Затем первая точно так же помогла второй.

— Вторая шеренга — два шага вперед!

Шагнули. Стали плечом к плечу.

К ангару подошли два офицера ПДС (парашютно-десантной службы) и пошли вдоль шеренги. Десантники по очереди наклонялись вперед, чтобы офицеры могли проверить двухконусный замок основного парашюта. Этот ритуал неукоснительно повторялся перед каждыми прыжками в любое время года и суток.

Майор ПДС остановился перед плотным щекастым пареньком. Потрогал на нем ремни подвесной системы и, неожиданно уперевшись коленом в запасной на груди, с силой потянул за лямки, будто лошадь засупонивал...

— Ту-го...— вытаращился паренек.

— Ничего... ничего...— пыхтел майор.

Ребята рассмеялись.

— Смеха тут мало. Небо ошибок не прощает, а Север — тем более,— строго сказал майор.— Отцы-матери доверили вас армии. Командиры учат, чтоб ничего такого... А вы как ребятишки малые: туго, да далеко, да скушно...

Он махнул рукой и пошел.

Лейтенант оглядел своих. На обожженных морозом лицах еще гуляли улыбки после случая со щекастым

дружочком. Казалось, их совсем не волновал вислобрюхий самолет, что прогревал двигатели в отдалении и уже распахнул люк, готовясь принять их, чтобы нести в неизвестность. Только руки их говорили о другом: один зачем-то обтирал рукавицей красное вытяжное кольцо на груди, другой трогал подсумок на боку, третий поправлял автомат, четвертый постукивал пальцами по парашюту, пятый...

— Все нормально, ребятки...— хрипловато произнес лейтенант и улыбнулся.— Вот только с руками у вас непорядочек... Спокойнее... Поберегите нервишки до дома...— он хотел сказать еще, но увидел, что щекастый паренек улыбается, глядя на него, словно что-то особое заметил.

— В чем дело, рядовой Лахреев? — нахмурился лейтенант.

— Виноват, товарищ лейтенант,— вытянулся Лахреев, но улыбку сдержать не смог.

Лейтенант, стараясь, чтоб не заметно было со стороны, опустил глаза, оглядел себя. И увидел то же, что и Лахреев: его, лейтенанта, правая рука все плотнее загоняла десантный нож в ремни над запасным парашютом, а левая — выталкивала нож обратно. Правая вновь бралась за рукоятку... Лейтенант смутился, но, чтобы не показать этого, еще строже посмотрел на Лахреева, стряхнул снежную крупу с рукава и... сам рассмеялся. Лахреев дипломатично уставился вверх, в низкое белесое небо.

— Взвод, равняйсь! Смирно! Направо! Шагом марш!

* * *

А тем временем за сотни километров от аэродрома, с которого поднялся самолет с десантниками, на безлюдных Полярных островах вершины гор задымились, будто древние божества зажгли за ними снежные костры. Это — ледяное, незримое — тяжело добралось до перевалов.

Первыми рухнули в пропасти нависавшие снежные карнизы. Обвалился лед с висячих ледников. В гуле, грохоте, в вое ветра помчались лавины. Снег вышибал камни, камни дробили скалы. Чудовищные обломки кувыркались в снеговых потоках мелким сором. Лавины перескакивали через утесы. Через пропасти. Вдрызг расшибали скалы, еще более мощные. Уже не скалы — горы. Ветер становился ураганом.

На побережье шел норд-ост, самый страшный ветер не только Заполярья — мира...

* * *

...Справа по бегу нарт над снегами низко неслось малиновое солнце.

«Дни уже короткие стали,— думала Маринка,— скоро совсем короткие придут... «Холъонок кып» скоро, месяц «пальца на рукавице».

Олени шли ровной уверенной рысью. Левые передние копыта слаженно ударяли по насту одновременно с задними правыми.

На дальнюю дорогу Маринка поставила коренником Белую рубашку, так она его звала за белую шерсть, что шла из-под морды к груди и животу. Два пристяжных имен не имели — еще не заслужили. Ведь имя для оленя — большая честь. Не многие ее достигают.

Мать Белой рубашки, широкогрудую молодую важенку, свел с пастбища красавец сожгой — дикий олень. Затрубил однажды весенней ночью, позвал, и она в страстном порыве перескочила загородку и ушла с ним в тайгу.

Маринкин отец нашел важенку случайно, уже к осени. Через день олениха родила. А еще через день ее насмерть закусала взбесившаяся росомаха. Новорожденного сироту отец пробовал подставить другим оленихам, но они отчего-то не подпускали его к вымени, то ли чувствовали в нем не своего, дикого, то ли слишком уж бела была шерстка на его груди, а белого цвета вокруг еще не было, и олененок, видимо, пугал их этим своим странным несоответствием привычному. Тогда Маринка — она только восемь классов окончила и первый раз за школьные годы из интерната в родительский чум приехала — стала доить олених и поить олененка из соски. Олененок был слабенький, хилый. «Забить надо,— говорил отец.— Замшу сделать. Пропадет, однако, без всякой пользы». Маринка от этих слов ревела белугой, отец оставлял на время разговоры о замше, и она продолжала нянчиться с олененком. И к ветеринарше, наезжавшей в стойбище, приставала, и у стариков выспрашивала. Поила отваром болотной травы моровчанки, что от всех оленьих болезней — ничего не помогало. К олененку, как назло, все болячки цеплялись.

А тут еще он захромал. Отец про замшу больше не заговаривал, но велел матери приготовить все, что по-

лагается для выделки шкуры. Маринка ночь проплакала втихомолку, а утром побежала к старому Алю, спросить, как лечить дальше. Вообще-то, по обычаю, оленей полагалось лечить мужчинам, но кто теперь на старые обычаи внимание-то обращает? Только старики...

— Где твой олень, девка? — спросил старый Алю, подойдя к их чуму.

Маринка отвела его за чум к маленькому загончику. Алю посмотрел на понурого олененка, на его поджатую переднюю правую. Пощелкал языком.

— Моровчанку давала?

Маринка покивала.

— Хромает? — зачем-то спросил Алю, хотя передняя правая никаких сомнений на этот счет не оставляла.

Маринка опять покивала, давясь слезным комком.

Алю пощупал бабки на больной ноге, сильно нажимая короткими черными пальцами. По спине олененка волнами пробегала крупная дрожь.

— Однако правильно хромает,— сказал Алю, будто Маринка сомневалась в этом, а вот он определил.

Прежде чем она опомнилась, он выхватил из ножен на поясе кривой нож и полоснул олененка по больной ноге от нижней бабки к копыту. Олененок тоненько вскрикнул. Маринка тоже закричала. Бросилась. Оттолкнула старого так, что тот плюхнулся задом в свежий навоз. Пачкаясь в густой черной крови, ухватила оленя за больную ногу, сорвала платок с головы...

— Нельзя! — Алю пружинно, по-молодому вскочил и больно схватил ее за руку железными пальцами. Вырвал платок.

Олененок тем временем прилег, неловко подвернув глубоко пораненную ногу. Кровь из перерезанной вены выплескивалась толчками.

— Ты же убил его... Из него сейчас вся кровь уйдет,— плакала Маринка.

Алю молчал.

Веки олененка дрогнули и медленно закрылись.

Тогда Алю вынул из кармана неширокий ремешок моржовой кожи и крепко перетянул им повыше раны.

— Плохая кровь вышла, где болезнь сидела. Хорошая осталась,— сказал и ушел.

На следующий день олененок поднялся и стал ходить по загону, пошатываясь от слабости, но на больную ногу наступал вольно, чуть только подхрамывал. А еще через два дня хромота совсем прошла. Маринка ходила к Алю

извиняться и благодарить. Решила в школу больше не ездить, а поступать в техникум, где учат, как правильно разводить оленей и как их лечить.

И опять она не была дома пять лет. Оно и понятно, так все ребятишки со стойбища живут. Отец-мать разве могут в горячее летнее время оставить оленей и ехать в райцентр, чтоб дитя привезти на каникулы? На оленях туда-обратно недели две — только-только уложишься. А иного транспорта в этих местах пока нет.

В каждом письме домой Маринка спрашивала про олененка. Все вспоминала, как отец предполагал его на замшу пустить, и грозила, что если олененка забьют, то домой она не вернется, а попросит направление в другой район. Но отец уже не собирался оленя забивать, ему олень нравится: с годами вымахал рослый, сильный. Правда, отец опасался, как бы дикая кровь не взыграла и он не ушел да с собой еще и важенок не прихватил бы. Но ничего, все обходилось. А важенки от него хороших оленят рожали.

Этой весной Маринка закончила техникум. Еле дождалась конца выпускного вечера, сбросила новомодное платье-сафари, переоделась в оленью ягушку, на ноги оленьи кисы и — в отцовские нарты. Уж он, конечно, для такого случая приехал. И солнце — в глаза! Талая вода из-под копыт и полозьев! Звезды ночью — во всю ширь небесной шкуры! Домо-о-й!

Первое, что услышала Маринка, когда увидела родительский чум на взгорке возле набухшей паводком реки, был трубный голос ее оленя. Она подбежала к загородке и увидела, как он идет к ней, властно раздвигая своей белой грудью других оленей-быков.

Подошел и ткнулся мягкими губами в плечо.

А имя он получил уже в конце лета, когда поднял на рога двух волков, не дав в обиду важенок с телятами...

...Слева от упряжки бежали длиннющие, на километр, тени. До самого горизонта, а может, и за него.

«Вот если там тоже кто-то едет, какой-нибудь каюр,— думала Маринка,— нас не видит, а только из-за горизонта тени наши мимо него бегут. Вот, наверное, удивляется...»

Она вдруг представила этого удивленного каюра, и ей стало совсем весело, хотя она знала, что вряд ли так может быть, во всяком случае, она сама такого не видела. Но все равно было весело, будто она невидимкой играет в веселую детскую игру, вроде пряталок. Тут еще

вспомнилось, как Коля Салиндеров, когда она в чайную или в магазин входит, начинает путаться в счете, не те продукты взвешивать или вообще перестает своим делом заниматься, а только на нее и смотрит...

«Он толще тюленя, больше моржа, боится, как нерпа,— беззвучно запела Маринка старинную женскую песню.— А я радуюсь, как тюлень, и вздыхаю, как нерпа. Словно белый умка-медведь, бегу я по ледяным полям и радуюсь, как молодой нерпеныш...»

Внезапно что-то произошло, что именно, она в первые мгновения даже не поняла и продолжала, улыбаясь:

«Поднялась я трехгодовалой нерпой: «А ну-ка, отодвинься, морж! Воняешь жиром, отойди подальше!..»

«Подаль...ше...» — повторила она и перестала петь, поняв, что произошло. Исчезли тени — тут уж не до песен. Она повернула лицо к солнцу — на месте, где оно только что было, лишь едва розовело. Но вот и розовость исчезла. А с нею все цвета, кроме белого. Задымились поземкой снега. Белая мгла стремительно летела на нее.

Маринка остановила оленей. Взяла с нарт широкую лыжу и принялась копать снег. Главное, успеть до бурана докопаться до земли. Развести костер.

«Правильно, значит, медведи побежали... И старый Алю тоже правильно говорил... Старики много знают, только мы их слушаем плохо...» — летели мысли вместе со снегом из-под лыжи.

* * *

Солнце било в фонарь кабины прямыми лучами. Плыло в бесконечной дали на одном уровне с самолетом.

— Да, товарищ майор,— штурман был на связи с майором Лесниковым,— через пятнадцать — двадцать минут будем в заданном квадрате...

Монотонно гудели моторы. Десантники мерно покачивались. Перебегающей волной кренились вправо-влево, от носа к хвосту и обратно. Защитные шлемы плотно обтягивали головы, на груди серые прямоугольники парашютов — все одинаковы, в трех шагах неразличимые. Может, потому, что закрыты глаза.

Внизу, под крылом, уплывала назад бесконечность облаков, плоских и застылых, будто гипс разлитый...

...Сирена!

Зеленый сигнал! Десантироваться! Без предупреждения!

Дрогнул дюралевый пол под дробным ударом десят-

ков сапог. Как подброшенные вскочили ребята — брызнула из-под подошв натаявшая вода. Взгляд в темноту — туда, где должен был раскрыться, разверзиться люк...

* * *

А тем временем на земле, на узле связи, были прерваны все сообщения, чтобы передать одно, самое сейчас важное.

— ...Внимание! Штормовое предупреждение...

— ...Скорость ветра... Снежные заряды... Возможен буран.

— ...Туман... Особое внимание на борьбу с обледенением...

— Внимание! Шторм идет в квадраты...

Падало давление на шкале барометра. Полз вниз красный столбик термометра за окном.

* * *

...Лейтенант шагнул к борттехнику высадки, который стоял в дверях гермокабины:

— Ребята нервничают... Сказали бы просто, если возвращаемся.

— Мне приказано было дать «отбой», товарищ лейтенант, и я его дал,— сказал борттехник, явно недовольный укором.

— Отставить! Отставить! — лейтенант пошел по рядам.— Над площадкой приземления буран — видимость «ноль»!

* * *

— ...Шайба у Балдериса. Он передает Михайлову, тот — Цыганкову. Цыганков переходит на половину канадцев, обходит одного, другого... Напоминаю, счет ничейный, два — два. Цыганков входит в зону канадцев, можно бить!.. Ай-яй-яй! Эспозито, Эспозито... Нет, такой хоккей нам не нужен!

Грохнул хохот: уж больно ловко Толя Романцев под Озерова работал.

— А наш Третьяк что, слушай, делает? — прорезался сквозь смех баритон с кавказским акцентом.

Позади «телезрителей» открылась дверь, и на пороге встал высокий поджарый сержант Михаил Смолин. Он сегодня дежурил по части и потому заглянул на гауптвахту...

— Наш Третьяк, капитан сборной ...надцатикратный чемпион и отличный семьянин...— тут комментатор Романцев с темными следами от бывших лычек на погонах неожиданно для себя заметил нового зрителя, но не подал виду.— Как всегда, на месте. Итак, счет 3 : 2 в пользу канадских профессионалов.

— Ты же говорил, 2 : 2? — удивился Сандро.— Когда, слушай, забили?

И яростно засвистел в четыре пальца.

— Вы слышите, что творится на трибунах?! — заорал Романцев и засвистел сам, стараясь перекрыть Сандро.

Остальные пятеро обитателей «губы» мгновенно включились в игру. Свист заливистый, многопалый. Смолин, выжидая, сложил руки на груди.

Первым перестал свистеть Сандро — заметив Смолина, встал, как положено содержащемуся на гауптвахте при виде дежурного.

— Выключи телевизор, Романцев,— сказал Смолин, когда наступила тишина.— Та-ак... Да не рукавом, тряпку возьми!

На крашенной масляной краской стене куском штукатурки был изображен прямоугольник экрана. Романцев, вздыхая, принялся стирать его половой тряпкой.

Ветер ударил в стены, распахнул дверь так неожиданно, что Смолин схватился за ушибленное плечо.

— Кажется, дует...— усмехнулся Романцев и с удвоенным усердием заработал тряпкой.— За Полярным кругом это случается.

* * *

Колючая снежная крупа драла лица, как наждаком. Надсадно выла штормовая сирена. В открытом техническом парке закрепляли штормовыми тросами-растяжками бронетранспортеры, вездеходы, грузовики. Чудовищный порыв ветра сорвал брезент с вездехода и понес по обледенелому плацу, будто легчайший шелковый плат по паркету. Молоденький солдатик побежал за ним, пытаясь удержать за расчальную веревку. Упал, заскользил на животе, едва не плача. Открыл глаза: в двух шагах от него стоял скуластый крепыш Степа Пантелеев и неспешно мотал на руку расчальную веревку. Брезент полз к нему, как укрощенная зверюга.

— Спасибочки, Степа,— сказал солдатик, поднимаясь.

* * *

— Да, товарищ «Первый»,— майор Лесников аж взмок: такой был тяжелый, неприятный разговор,— вернулись... Вернулись, говорю, «одуванчики»... Так точно, ураганный ветер, видимость «ноль»... Не могут они в таких условиях десантироваться. Побьются. Я понимаю, товарищ «Первый», приказ есть приказ... Будем думать... Слушаюсь, через час доложу.

Лесников пошире распахнул жилетку, отер платком лоб.

— Прапорщик Сивак! — крикнул в соседнюю комнату.— Сержанта Смолина ко мне.

— Сержант Смолин сегодня по части дежурит, товарищ майор,— сказал, встав в дверях, горбоносый черноголовый прапорщик.

— Я говорю: ко мне Смолина,— с неудовольствием сказал Лесников.— Какая тут неясность?

— Слушаюсь, товарищ майор.

* * *

— ...Так какие будут предложения, сержант Смолин? — майор Лесников склонился над картой побережья. Карта была иного, более крупного масштаба, чем в высоком штабе, и полуостров в квадрате 47 дробь 9 напоминал уже не гриб, а дерево с аккуратной кроной и длинным стволом.

— А морем? — прищурился на карту Смолин.

— Морем...— повторил майор.— Радиомаяк, вернее, рация должна заработать в квадрате 47 дробь 9 через трое суток... А тут вон какого кругаля давать надо,— палец майора заскользил по голубому грибу-дереву и уперся в точку на стволе.— А шторм, туман?

— Здесь гражданский аэродром...— помедлив, произнес Смолин. Взял красный карандаш из жестянки, показал.

— При чем тут аэродром?! — Лесников забрал карандаш из пальцев Смолина и резко кинул обратно в жестянку.— Говорю тебе: десантники не пробились! Не смогли прыгнуть! Ты знаешь, кто такие — десантники?

— Слыхал,— кивнул Смолин.— Но им не повезло. Это не их погода.

— Ага,— саркастически усмехнулся майор.— А тебе, конечно, повезет, и ты прыгнешь! В туман и шторм на́ тайгу!

— Зачем? — Смолин опять пожал плечами.— Мы сядем.

— Куда это? — изумился майор.

— На реку,— спокойно продолжал Смолин.

Он вновь взял красный карандаш из жестянки и показал на карте:

— Лед сейчас уже приличный. А АН-2 машина легкая. До гражданского аэродрома у поселка Полярного — на вездеходе. Прогулка,— Смолин чуть улыбнулся.— Лучший отдых в выходной день. Палатку брать?

— Там охотничья избушка, зимовье... Ну, и кто с тобой,— помолчав, спросил майор,— эти трое суток отдыхать будет? Как ты думаешь?

— Я так думаю,— Смолин покрутил карандаш,— рядовой Романцев...

Зазвонил телефон, но майор не обратил на него внимания: во все глаза глядел на Смолина.

— Он сильно подустал за последнее время,— продолжал тот.

— Ты путаешь, сержант Смолин,— грустно вздохнул майор, вновь отбирая у него карандаш.— Ты путаешь южный берег Белого моря с северным берегом Черного. А это — две большие разницы, как говорят в одном южном городе...

— Но у нас не Белое море,— улыбнулся Смолин.

— У нас веселей,— кивнул майор.

Помолчали.

«Лишь бы к тому времени, когда они до «Аннушки» доберутся, ветер послабел,— подумал майор, в который раз глядя на карту, на обозначения Полярного, полуострова-дерева.— А так — это, действительно, выход, и другого нет. Чем черт не шутит... Только...»

— Только, сержант, с чего это ты решил, что «Аннушка» вас возьмет? У них там самолетов не богато, да и своих надобностей предостаточно.

— Уговорим.

— Я, конечно, свяжусь с ними, попрошу. Но и ответ знаю: по возможности. Понимаешь? А если у них своя срочность и возможности для тебя не будет?

— Уговорим,— повторил Смолин, улыбаясь с возможной независимостью.

— Ну, гляди...— майор покрутил чуб пальцем.— Гляди, говорю, сержант! Чтоб без всякого там, понимаешь? По условиям учений мы гражданских подключать, а тем

более им приказывать, не имеем права. Только с их согласия. Добровольного причем, помни!

* * *

Гулко топотали сапоги по дощатому крашеному полу. Бежали отовсюду: полуголые — из умывальной, роняя табуретки — от телевизора, вскакивали с коек спавшие после наряда. В курилке недокуренные сигареты безжалостно летели в бачок. В опустевшей бытовке слышалось противное жужжание: включенная электробритва, мелко трясясь, елозила по стеклу тумбочки.

Но это была не тревога: посреди казармы, в водовороте людских голов, то появлялось, то исчезало лицо Степы и его рука, сжимавшая толстую пачку конвертов. Сдавленным голосом Степан выкрикивал имена сегодняшних счастливцев. Пачка уменьшалась, а жаждущих прибавлялось.

— Сдай назад! — напрягая шейные жилы, кричал Степан.— Чего лезете, как телята к титьке! Вот дураволивые какие.

Вошел сержант Смолин и, подойдя к своей тумбочке, достал зубную щетку, пасту, мыло. Увидел конверт на подушке, взял, прочитал обратный адрес и... порвал на мелкие клочки.

Саша, которого Степан выручил с брезентом, делил на одеяле посылку на восемь кучек — по числу ребят своего отделения: конфеты, печенье, яблоки. Палку колбасы аккуратно промерил ниткой, пометил ногтем:

— Степа, ножик есть?

Степан подошел, не отвечая, оглядел посылку, одну из кучек высыпал обратно в ящик...

— Ты что? — изумился Саша.— Это ж тебе...

Степан так же молча сломал пополам колбасу, взял половину и отошел.

— Ты что? — у Саши от обиды задрожали губы.— Это ж всем!..

— Не обращай внимания,— сказал сосед справа.— У Степки через пять дней соревнования. Он перед ними всегда такой.

— Пантелеев! — приказал Смолин.— Ко мне.

— У меня ж соревнования,— с некоторым смущением сказал Степан Пантелеев, подходя к Смолину и ожидая крепкого нагоняя за колбасу.— Мне калорий не хватает. А конфеты я отдал.

— Собирайся,— бросил Смолин, направляясь к две-

рям. Занятый сложностями предстоящего, сержант проделку с колбасой попросту не заметил.

* * *

...Все складывалось как нельзя лучше: едва вышли на опушку, искалеченную ледяным дыханием недальнего океана, как перед ними в низине открылся поселок, по одну сторону которого в отдалении чернела гавань в белых закраинах, уходящих к горизонту, по другую — редкие строения небольшого аэродрома с маленьким, как игрушечным, самолетиком на поле.

— Э-эй! — обрадовалась Лена и помахала самолетику лыжной палкой.— А вот и мы!

Оба Женьки, Белый и Черный, впряженные в тяжело груженные тюками нарты, остановились. Перевели дух, отерли иней с бровей и подбородков.

— Как вы думаете, сударь,— Белый кивнул на россыпь одноэтажных и двухэтажных домиков,— который из них магазин?

— Это без разницы,— пожал плечами Черный.— Все одно — наш.

— Деньги! — коротко сказал Андрей.

— Только пусть Белый бежит, его очередь,— Черный достал из меховой куртки бумажник.— По сколько сбрасываемся?

— По всем,— жестко сказал Андрей, отбирая бумажник, и повернулся к Белому.

— Это по какому такому случаю?..— пробурчал Белый, но за деньгами полез.

— Это по случаю близкого завершения трудного дела, которое не должно быть провалено в последнюю минуту. Вопросы есть?

— Ну.— Черный мрачно пожал плечами.

— Я спрашиваю: вопросы есть?

— Ну, нет.

— Скажи «нет», без «ну».

— Нет,— выдавил Черный и исподлобья взглянул на Андрея.— Ну?

— Вот, мадам,— Андрей иронически поднял брови, округлил глаза.— И с такими неандертальцами приходится заниматься серьезными делами.— И снова — Женькам: — Вот потому я у буровиков и спирт не взял, зная потребности ваших организмов. Короче: мы из 64-й буровой партии Миннефтегаза, начальник — Спиридонов Николай Николаевич. Здесь у нас,— он кивнул на тюки,—

всякие нужные железки, образцы, которые нужно срочно доставить в Москву, в министерство. Убедительно прошу ничего не напутать. И вообще, поменьше раскрывать пасти. Все переговоры веду я. Вопросы есть? Черный?

— Нет,— угрюмо покосился в сторону.

— Белый?

— Какие уж тут вопросы...— Белый ощерил мелкие зубы.— Ты ж капитан, и родина твоя — Марсель...

— Тогда заводи моторы, ребятки! — И Андрей, резко оттолкнувшись, поехал вниз, к поселку.

Вот таким Лена его и любила: сильным, властным, воле которого подчиняются.

А про Белого и Черного она еще в Москве спросила, когда они первый раз к ним пришли:

— А они кто? Охотники?

— Подонки.— Андрей любовно оглаживал воронепую сталь ружья, только что купленного у Белого, открыл магазин.— Видала? Пять зарядов, это тебе не хухры-мухры!

— Зачем они тебе?

— За тем, мадам, что Север — край богатый, но опасный. Полный, так сказать, неожиданностей.

— Я про этих, про Женек...

— А, «черно-белое кино»?! Их задача чисто функциональная. Они у нас вместо лошадок будут. Гужевой транспорт. Двое нарт мы купим, а оленей или там собак — пе потянем. Оборотный капиталец маловат.

А таким он был ей неприятен, и она боялась его. Боялась больших, навыкате светлых глаз, что меняли цвет от блеклой голубизны до серо-зеленого, с рыжими искрами, в гневе. Боялась его холодной ярости, когда произносились слова, что ранили надолго. Ей было неприятно это разделение людей по функциональным значениям: тот нужен для того-то, а этот для этого.

Когда у них собирались гости, Андрей смеялся — «нужник». А другие к ним не ходили, только «нужные». Но это она уже позже поняла. И мысль противная нет-нет да и появлялась: а может, она тоже — только функция? Пока молоденькая, хороша собой? Пока ни в чем не прекословит?

— Понятно... черно-белый, гужевой... А я кто?

— Ты? Жена капитана.

* * *

...От опушки до поселка они шли всего какие-нибудь полчаса, ну, от силы минут сорок, но погода резко изме-

иилась: замело, засвистело. Временами все скрывалось в вихре сиежиого заряда — будто из иевероятной пушки выстреливали снежиой картечью.

Когда они проходили мимо какого-то заметенного снегом памятника, она захотела подойти, посмотреть, но Андрей властно запретил ей: иадо скорей к самолету, а ие ерундой заниматься, сейчас минуты терять нельзя.

На столбе репродуктор откашлялся и заговорил:

— Граждане, внимание! Передаем срочную метеосводку... На иас идет иорд-ост. Мы в штормовой полосе. Скорость ветра до 30 м в секунду... Просим не разводить сильного огия в печах во избежаиие задувания и пожарной опасиости... Следите, пожалуйста, за линиями воздушных электропередач. Не прикасайтесь к упавшим проводам. Старайтесь не выходить из дома. А если выходите, обязательио предупреждайте домашних, куда пошли...

* * *

В старину у северных иародов почитался «Старец бури»: палицей из мамонтова бивия ои выгоняет бурю из своего чума, дает ей погулять малость, затем перебрасывает палицу в левую руку и загоняет бурю обратио.

Но пока до божественной левой было еще ой-ой-ой! Метеослужбы выяснили только, что фронт иорд-оста доходит до 700 километров. Теперь необходимо было как можно скорее рассчитать его движение, чтобы точнее предупреждать тех, кому грозила непосредственная опасность. Но сделать это было иевероятио трудно, потому что норд-ост взбесившимся зверюгой метался из стороиы в сторону, закручивался то по часовой стрелке, то против, выбрасывал страшные языки бурана в самых неожиданных направлениях. А где-то, в самом центре штормового фронта, внезапно иастало затишье.

Маринка Серткова проснулась. Костер едва теплился. С трудом разгребая снег, вылезла из своего убежища и зажмурилась: на иебе сияли три солнца — одно настоящее и два фальшивых. Но разобрать, какое из иих иастоящее, а какое — только его отражение, было практически невозможно — такие они были одинаковые и так иа них было больно смотреть. Да Маринка таким вопросом и не задавалась, а просто обрадовалась, что бураи коичился, она и олени целы-невредимы и можио двигаться в путь: в пятую бригаду хлеб вести...

...А над Полярным ураган свирепствовал вовсю. На

аэродроме едва не перевернул АН-2. Порвал, как нитки, расчальные троса в два пальца толщиной, которыми крепился самолет. На море вдрызг изломал лед закраин...

* * *

Сержант Смолин, рядовые Романцев и Пантелеев стояли у вездехода. Сзади был закреплен дополнительный бак с горючим. По броне скребла снежная крупа. Сразу за воротами КПП сплошь бело-серое: ни неба, ни торосистых уступов снега — сплошь бело-серое, неотличимое.

Смолин присел на корточки, наклонился и ножевым штыком по насту снега, плотно сбитому ветром, начертил: W=

— Дубль-ве,— пояснил Смолин,— есть эффективность операции, то есть выполнения задания.

После знака равенства Смолин вновь начертил дубль-ве, открыл скобку, а в ней знак альфа: W=W(α.

— Альфа — условия, созданные для выполнения задания,— Смолин пристукнул варежкой по броне вездехода...

— Ага,— поддакнул Романцев и ткнул в бок Пантелеева.— Мы с тобой, Степушка, тоже в этой загогулине. А также наш дорогой командир.

Смолин, не обращая внимания на Романцева, рядом с альфой поставил икс: W=W (α, x,

— Икс — способ решения поставленной задачи: выбор маршрута, средств передвижения, которые дают возможность выполнить задание в необходимые трое суток... Еще...

Он не успел договорить — к машине шел майор Лесников. Все трое вытянулись.

— Товарищ майор! — начал рапортовать Смолин.— Спецгруппа по вашему...

— Вольно, вольно...— махнул рукой майор.— Как самочувствие? Какие у кого просьбы?

— На здоровьечко не жалуемся, товарищ майор,— отводя глаза, пробурчал Пантелеев.— Только через пять дней соревнования, товарищ майор. Первенство округа, товарищ майор.

— А вас никто с соревнований, Пантелеев, не снимает,— с неудовольствием сказал майор.— Сутки туда — сутки обратно, вот и успеете.

Смолин и Романцев в удивлении уставились на майора, а Пантелеев, разулыбавшись, забухтел:

— Через двое — это дело... А то сержант сказал — через трое, мол, а я ему, товарищ майор...

— Двое суток тебе, гвардеец, на все про все,— очень серьезно сказал майор Смолину и вздохнул.— Такой приказ... Ситуация изменилась.

— Приказ ясен, товарищ майор,— глядя ему в глаза, отчеканил Смолин.

— И счетчик твой уже полчаса как щелкает,— продолжал майор, взглянув на часы.

Смолин оттянул рукав куртки и тоже взглянул на циферблат: «10.21» — он запомнил эти цифры на всю жизнь.

— Романцев! — строго сказал майор.

Романцев вытянулся.

— То-то, Романцев,— так же строго произнес майор.

— Есть «то-то», товарищ майор! — отрапортовал Романцев, выкатывая веселые нахальные глаза.

* * *

Ворота КПП еще не успели закрыться, а вездеход уже превратился в едва видимое пятно и через мгновение исчез совсем в снежной круговерти. Только когда ворота закрылись, майор Лесников отвернулся, пошел прочь, но через несколько шагов остановился, увидев греческие буквы на снегу.

— Ишь ты...— пробормотал майор,— какие математики пошли...

— Товарищ майор! — орал на бегу прапорщик Сивак.— Синоптики...

— Стой! — гаркнул майор.— Не орать! Подойти и сказать.

— Я говорю, товарищ майор,— сипло сказал прапорщик, подойдя,— сводка... антициклон идет... може, всю хмарь разгонит. Тут усю дорогу то таки, то отак...

— Путаешь ты все, Сивак,— нахмурился майор, размышляя.

— Та ни, товарищ майор,— прапорщик Сивак для пущей убедительности даже руки к груди прижал.— Ейбо, антициклон...

— Ты путаешь, Сивак, южное побережье Белого моря с северным побережьем Черного. На морозе вон кричишь... Формулу затоптал...

— Яку?..— вконец растерялся Сивак, высоко задирая ноги.

Майор присел на корточки и после икса написал еще ε — эпсилон:

— Вот так будет, математики...— вздохнул он грустно.

* * *

Позади из-под гусениц вездехода снег — веером, как у торпедного катера. Впереди в пяти шагах — колеблющаяся белая стена. Но Пантелеев вел машину твердо. Сверял направление по компасу на правом запястье. Романцев, посвистывая, занимался рацией. Смолин колдовал над картой, вымеривал что-то циркулем, сносил на линейку...

* * *

— Еще повторяю,— устало сказал майор Лесников в переговорное устройство,— «Первому» крайне важно, очистит ли антициклон квадраты 49 дробь 9, 43 и 17. Понятно? По выяснении доложите немедленно...

— Они запеленгованы, товарищ майор,— девушка-связистка подала Лесникову листок,— вот их координаты.

Лесников сделал пометку на карте красным карандашом, что взял из жестянки. Промерил расстояние до условного значка гражданского аэродрома.

— Передайте им, чтобы они взяли на пять градусов западнее. Их заносит в сторону.

* * *

— Велят на пять градусов западнее, Степа,— сказал Смолин, снимая наушники.— И скорость не снижать.

— Есть пять, запад,— по-моряцки откликнулся Степа, вновь взглянув на компас. Прислушался к надсадному вою двигателя: — А движок мы сорвем, это как пить.

* * *

Вездеход мчал по снежной целине. По таежной просеке. По низкорослому подлеску.

* * *

...Их мотнуло так, что Романцев не успел среагировать и крепко приложился головой в стальную стенку.

— Ты б поаккуратней, Степа,— потирая скулу, сказал Романцев.— Вроде встречных нет.

— Выходи,— сказал Пантелеев.

— Че-го-о? — прищурился Романцев.

— Того. Коли водитель говорит «выходи», стало быть,

надо вытряхиваться. Тут, товарищ командир,— пояснил Смолину Степан,— ямы буровые... Нефть искали... Шест возьми! — крикнул он вылезшему Романцеву.— По правому борту закреплен...

...Романцев шел впереди на лыжах, шестом тыча в снег — не яма ли. Вездеход двигался за ним. Двигатель отдыхал на малых оборотах.

— Ишь ты...— Степа даже голову набок склонил, прислушиваясь к мотору.— Как поет... Отдыхает...— Вздохнул: — Вот бы так с человеком: послушал — и все понятно... А ямы эти я, товарищ командир, еще с прошлых учений запомнил... Вообще, скажите, если, конечно, не секрет, чего вы меня-то взяли?

— Вот за это и взял,— улыбнулся Смолин, постучав согнутым пальцем по теплому железу мотора.

— А-а...— покивал Пантелеев.— А я думал: колбаса, мол... Мне ведь, товарищ сержант, первенство позарез надо выиграть...

* * *

Майор Лесников сидел за письменным столом и глядел на исписанный вдоль и поперек одними и теми же цифрами листок. Подвинул его к себе в который раз, начал:

— Вездеход — 30—50 км/ч. В пути — 25—30 ч. АН-2 — 200 км/ч. Отдых — 16 ч. Эп...си...лон,— вслух шептал Лесников, выводя закорючистую буквицу,— так его...

Получилось с эпсилоном часов под восемьдесят, как ни крути, то есть ТРОЕ суток хватило б едва-едва, а уж ДВОЕ...

Тем не менее Лесников написал «48», а рядом написано: «Антициклон».

Вошла девушка-связистка:

— Товарищ майор! Метеорологи говорят, что антициклон не коснется интересующих вас квадратов,— она положила перед ним листок с данными.

— Соедините меня с «Первым»,— помолчав, сказал Лесников.— Скажите: очень срочно.

* * *

Ветер усиливался. Смолин, увязая выше колен, подошел к Романцеву, ухватился за шест, кивнул на вездеход:

— Погрейся!

— Ты время считал? — спросил Романцев, отстегивая крепления лыж.

— Семьдесят часов! — отозвался Смолин, надевая лыжи.

— Шестьдесят девять! Если не спать совсем.— Романцев потер рукавицей прихваченное морозом лицо.— Кстати, ты одну буковку не учитываешь,— он начертил в воздухе эпсилон,— этот знак обозначает непредвиденные осложнения...

Шест так глубоко ушел в снег, что Смолин пошатнулся и невольно схватился за плечо Романцева, чтобы устоять.

Замахали вездеходу. Степа обошел опасное место слева. Романцев пошел к машине.

— Что ты предлагаешь? — спросил его в спину Смолин.

— То, о чем ты думаешь, но не решаешься,— был ответ.

МИХАИЛ СМОЛИН

Станцию со всех сторон окружали башни новых кварталов. Московская окраина.

Михаил Смолин стоял на перроне в стареньком ватнике с небольшим чемоданом в руке. Перед ним — женщина с бледным и каким-то повядшим лицом, быть может, казавшимся таким из-за слишком ярко накрашенных губ. Небольшого роста, она едва доставала ему до плеча.

— Ты уж там, Мишенька, старайся... слушайся... Начальников уважай...

Михаил молчал. Равнодушно смотрел поверх нее. На платформе прощались несколько призывников. Друзья веселили их гитарами, а девушки то возбужденно смеялись, то вдруг принимались плакать от смущения и еще от чего-то нового, что начиналось для них с этой первой в их жизни разлукой.

— Что ты все молчишь, Мишенька? — продолжала женщина.— Скажи... хоть что-нибудь, скажи...

— Мишенька... скажи...— поморщился Смолин.— Давай, тетя Лиза, прощаться.

— Давай... конечно, давай...— заторопилась она и протянула ему синюю косынку.— Вот, возьми, Мишенька... Это матери твоей... Возьми на память...— она все тянула руку, но Мишка ответно свою не про-

тянул, и косынка, выпав из ее пальцев, медленно опустилась на холодный бетон платформы.

— Я как лучше, Мишенька...— совсем растерялась тетя Лиза, глядя на ярко-синий шевелящийся под ветром комок. Глаза ее влажно заблестели.

Смолин тоскливо глядел по сторонам: так же шумели вокруг провожатые и провожаемые, строился военный оркестр, покрикивал тепловоз, бежавший от запасных путей.

Ветер приподнял платок и бросил на масляно блестевшие рельсы. Тетя Лиза медленно закрыла лицо руками...

Внезапно закричали люди. Плакавшая тетя Лиза отняла руки от лица.

— Что это?! Да что случилось?! Миша! Где Миша? — и, с необыкновенной силой разведя руками людей, протиснулась к рельсам.

Тепловоз прошел. Невредимый, слегка побледневший Мишка поднялся между рельсами, взял косынку и, подняв ее, разжал пальцы.

А ветер подхватил голубой шелк, взмыл его вверх и понес маленьким кусочком голубого неба в этих блеклых осенних сумерках.

* * *

— Да этого просто не может быть...— сказал майор Лесников, глядя то на листок с новыми координатами группы Смолина, то на карту.— Пусть их запеленгуют еще раз.

Связистка вышла.

Лесников, крутя по привычке чуб, пододвинул к себе бумагу с расчетами. *«48 часов»* было жирно подчеркнуто красным — видно, разговор с «Первым» состоялся.

Вошла связистка:

— Пеленг тот же, товарищ майор.

— Спятили они, что ли? — сердито пробормотал майор.— Немедленно свяжите меня с ними. Это ж район, закрытый для передвижений!..

* * *

Пищал вызывной зуммер рации. Но на него не обращали внимания. Вездеход медленно полз по краю многометрового обрыва — правая гусеница почти все время была на весу. Из-под нее густо сыпался вниз раздробленный лед, срывались пласты слежалого снега.

Смолин командовал, высунувшись по пояс из люка:
— Чуть левее, Степочка... Еще! Лево держи!..
— Куда уж левее...— бурчал Степа, с ловкостью манипулятора работая рычагами.
Левая гусеница с лязгом царапала почти отвесную ледяную стену. Пробуксовывала — тогда машина опасно съезжала вправо...
Степа, смешно выпятив нижнюю губу, сдул с носа капельку пота.
— Отдыхай! — Романцев, сидевший рядом, ухватился за рычаги.
Поменялись местами. Степа стянул шлем, отер рукавом лицо. Мокрые волосы топорщились, как после речки.
Романцев азартно работал рычагами, даже скорость умудрился прибавить. Опасный участок скоро кончился.
— Осторожней, Толя,— посоветовал Пантелеев.— За правой смотри.
— Поучи ученого,— пробормотал Романцев.— Нас тоже не в дровах нашли... Сколько в пути, командир?!
— Четыре часа тридцать семь минут...— ответил Смолин.
— Еще часика полтора, и мы в дамках...
— Осторожней! — снова повторил Пантелеев.
Машину резко качнуло, накренило — из-под правой гусеницы обрушился вниз огромный кусок льда. Вездеход чуть не половиной завис над обрывом.
Романцев, побледнев, пытался выровнять машину.
Пантелеев пришел ему на помощь, но все бесполезно: машина начала скользить боком, правая гусеница беспомощно крутилась в воздухе...
— Прыгай! — приказал Смолин.— Степа! Толька! Живо!
— Это уж ля-ля... твою... дивизию...— бормотал Романцев, всей силой давя на тормоза.
Пантелеев выпрыгнул, поскользнулся, тяжело шмякнулся всем телом.
— Покинуть машину! Ну! — Смолин рванул Романцева за шиворот. Тот бешено глянул, однако подчинился, выпрыгнул.
Вездеход все больше заваливало на правый борт.
— Прыгай! Командир! — закричал Степа.— Мишка! Прыгай! — и зажмурился.
Но мотор взревел на максимальных оборотах. Степа вытаращился в удивлении... Машину опасно качнуло, но уже в следующий миг, обдав Романцева и Пантеле-

ева гарью из выхлопной трубы, она рванула вперед, накренившись, как на треке.

Ребята бросились следом. Орали что-то в радостном возбуждении.

Машина встала. Смолин спустился на лед. Прислонился спиной к колесу.

— Ну ты,— подходя, покрутил головой Романцев,— даешь...

— Закурить бы,— сказал Смолин, засовывая руки в карманы.

Романцев достал «Яву», вытряхнул сигарету. Смолин потянулся ртом, губами ухватил за фильтр.

Романцев протянул спички.

— Зажги,— сказал Смолин.

— Ну, знаешь,— вдруг обиделся Романцев.— Ты, может, и герой, но я в услужение тебе не нанимался.

И припечатал коробок, как доминошную костяшку, к крылу вездехода.

— Чудак,— устало улыбнулся Смолин, вынул из карманов руки, протянул Романцеву — пальцы тряслись мелко и часто...

* * *

Машина стояла на опушке искалеченного холодом и ветрами таежного подлеска.

Они вылезли из машины и подошли к большой заледенелой яме, по всей видимости, оставленной буровиками. Вокруг ямы натоптано, черно-красные пятна крови, кое-где закиданные снегом, но не до конца, в спешке. Сняли поясные ремни.

— А он не того?..— спросил Смолин, скрепляя ремни в одну ленту.

— Какое...— махнул рукой Пантелеев, беря один конец ремней.— Он голову-то еле подымает...

На дне ямы лежал белый медвежонок и черненькими злыми глазками поглядывал на спускающегося Пантелеева. Когда тот протянул руку, медвежонок оскалился и глухо зарычал. Тогда Пантелеев сунул медвежонку варежку. Тот тут же закусил ее и принялся с ненавистью мотать из стороны в сторону.

— Бежал небось за мамашей да свалился... А может, нарочно приманили,— рассуждал Степа, стараясь ухватить медвежонка за шиворот.— Стал кричать, мать звать... Она, конечно, пришла. А ее...

Степа выбрался, держа мишку в вытянутой руке.

Обошел кровавые пятна и положил его на чистый снег. Медвежонок был так слаб, что даже сидеть не мог, завалился на бок, но варежку не выпустил.

Степа огляделся, подошел к кривому дереву, росшему чуть в стороне от всех. Ковырнул сапогом снег — выкатились картонные гильзы.

— ТОЗ-МЦ-21-12,— сказал Степа.— Четыре патрона в магазине. Пятый в патроннике, перезаряжается ударом пороховых газов.

— Ты у нас следопыт, Степа,— сказал Романцев, оглядывая место происшествия и о чем-то размышляя.— Ты у нас, Степа, «Кожаный чулок»...

— А ты кто? — обиделся Степа.

— Не обо мне речь,— сказал Романцев.— Ты лучше скажи: сколько их было и кто они?

— Трое... нет, четверо,— ответил за Степу Смолин, внимательно разглядывая следы.

— Гады они,— добавил Степа.

— Сильно, но не точно,— голосом Николая Озерова проговорил Романцев и продолжал уже сам по себе: — Хотя одна деталька имеется. Тезку твоего,— сказал он Смолину,— они на шапку не взяли...

— Пошли,— сказал Смолин.— Тезку моего — в машину. Бывают же гады на свете.

* * *

Мело. Деревянное здание аэровокзала угадывалось шагах в пятидесяти по бледно-желтым пятнам зажженных окон.

На крыльце стоял каюр и, казалось, безучастно смотрел, как его ездовые псы ярились на аэродромного собрата, позвякивавшего тяжелой цепью. Лобастый, широкогрудый, он беззвучно скалил на них тяжелые желтые клыки. Словно улыбался страшной улыбкой, за которой ясно читалась смерть обидчику. И не одному.

Ездовые захлебывались в лае. Брызги слюны и пар дыхания обмерзали на мордах. Рвали постромки. Еще немного — и затверделые на морозе ремни не выдержат, а тогда — смертный клубок. Кровь. Гибель многих... Каюр крикнул строго, но собаки то ли не услышали его, то ли не смогли остановиться в азарте близкой расправы. Тогда каюр схватил шест, которым управлял упряжкой в дороге, и принялся наносить удары направо-налево. Удары были столь сильны и болезненны, что Лена, первой подходившая к крыльцу, зажмурилась.

— Бей своих, чтоб чужие боялись, а, дядя? — Андрей с облегчением скинул на нижнюю ступеньку осточертевший рюкзак.

— Волк орочону все равно что брат,— серьезно отвечал каюр.— Раньше человеком волк был...

Лобастый волчина перестал улыбаться и пошел вдоль проволоки, тяжко брякая цепью...

* * *

...Все шло — лучше не надо. «Как в сказке»,— подумал Андрей и усмехнулся про себя. «Чем дальше, тем страшней...» Хотя вроде неоткуда было этой страшноте взяться. А мысль нет-нет да и дергала: не слишком ли все удачно? Не та ли эта удача, из которой неудача рождается? Нет ли здесь скрытой какой дряни?

Но как ни прокручивал Андрей сложившуюся ситуацию, как ни вертел ее туда-сюда и с боку на бок — неоткуда было опасности взяться. Самолет ждал только погоды, груз никому досматривать в голову не придет, раз они из партии нефтеразведчиков Спиридонова, которого в этих краях знали достаточно. В этом он имел возможность убедиться, как только назвался начальству аэропорта. Им и билеты на Москву заказали по телетайпу.

Нет, положительно не с чего было мандражировать: Черный и Белый вели себя послушно, он даже в виде поощрения разрешил им по стакашке какого-то жуткого пойла, что продавалось в буфете из железной бочки. Он не опасался, что Женьки «наусугубляются» до неприятностей. Даже позволил себе сделать вид, что второго стакашка не заметил. Но, когда увидел, что они всерьез размышляют о третьем, подошел и — тихо:

— Уменьшу долю на десять процентов. Понятно, олухи?

Судя по тому, как «олухи» закивали, как ручонками стали разводить — мол, старик, о чем ты говоришь?! — не оставалось сомнений, что они поняли своего «капитана».

Оба Женьки были физически сильнее Андрея. Черный года четыре назад нокаутом выиграл первенство Москвы в «полутяже» и стал кандидатом в мастера, а через полгода получил срок за кровавую драку на сборах... Белый полтора года был «сенсеем» юных каратистов в каком-то подвале в переулке возле Самотеки, пока не разогнала милиция. А через некоторое время встретился с

Черным — *там.* Вышли они почти одновременно, с разницей в три дня.

Десять процентов доли того, что лежало в тюках и рюкзаках, выражалось суммой вполне приличной, и ежу было понятно, что лишаться ее за просто так не имело смысла. Они вообще за все время подготовки, за все двадцать дней, что бродили по Заполярью, старались не ссориться с «капитаном». Для них было очевидно, что только его воля, его ум, его расчет, умение обходиться с людьми способны довести дело «до победного».

Они, конечно, не знали, что «капитан» зовет их за глаза «гужевым транспортом», но это были уже детали, для них ясно было, что «капитан» их попросту эксплуатирует, что их удел пока — самая черная, трудная и грязная работа. Несмотря на это, они согласились и с предложенным «капитаном» участием в доле: им полагалась всего одна треть добычи на двоих. Они бы и на меньшее согласились. У них были свои соображения на этот счет.

Андрей искренне считал, что крепко держит их в руках, что подавил их умом, волей. А он был для них с самого начала — «фраер»...

А может, предчувствие иной беды не отпускало напряженные нервы, заставляло Андрея вновь и вновь прокручивать все эти двадцать дней, весь этот год подготовки, а заодно и другие годы, что прошли, пролетели, прокувыркались...

«Все, наверно, из-за дерьмовой пурги,— успокаивая себя, решил он.— Сколько еще сидеть в этой дыре, черт его знает...»

...После школы по настоянию родителей он поступил в техникум, хотя в десятом классе готовился в полиграфический на художественно-оформительский. Он даже подал документы. Сходил несколько раз на подготовительные занятия по рисунку. Поглядел на работы конкурентов и забрал документы, к великой радости родителей. Те работали в торговле, отец — на базе, мать — в магазине. Жили осторожно — сами не брали, но «к рукам прилипало». Они совершенно искренне считали, что художники только пьянствуют и таскают баб по мастерским, рисуют же нечто совершенно непонятное или неприятное, за что их справедливо ругают. К тому же ходят вечно нечесанные, обросшие, черт-те в чем. В общем, опасались они этих людей нешуточно, а потому трое суток кряду уговаривали своего Андрюшу в торговый техникум. И уговорили.

Техникум находился против старинного монастыря, и Андрей, которому это учебное заведение было «до фонаря», полгода занимался исключительно тем, что из окон разных аудиторий, где проходили занятия, рисовал монастырь во всевозможных ракурсах.

Сессию он завалил с тихим, как он потом выражался, грохотом и отправился в армию — родители слишком поздно узнали о результатах его детального знакомства с великим творением русского зодчества.

Служба поначалу давалась ему не труднее, чем другим,— он шоферские курсы кончил, да и солдатское кафе у себя в стройбате оформил любо-дорого. Но тут из осторожного письма соседки он узнал, что родители вроде разводиться собираются... Ринулся к командиру, выпросил отпуск, обещанный ему за кафе. Послал отцу телеграмму, что едет, и получил ответ: «Поезжай матери тчк новый адрес...»

Он не поехал ни к отцу, ни к матери, а рванул в деревню к приятелю, только что уволившемуся в запас из их части. В деревне он две недели глушил самогон, а по ночам зло и пьяно плакал на сеновале. Хотя сам себя уговаривал, что ничего в этом такого нет. Ну, развелись. Делов-то куча...

«...Хотя бы дождались, сволочи...»

* * *

Вездеход миновал небольшую гавань, черно-белую от нагнанного штормом ломаного льда. Сквозь мятущиеся вихри темнел толпящийся на пирсе люд, тракторы и тралеры, груженные конструкциями буровой.

Это была нефтеразведочная партия Николая Спиридонова, о существовании которой ребята еще не знали, а потому, мазнув глазами по пирсу без всякого интереса, уставились вперед, где едва желтели пятнышки огней поселка и где был аэродром.

— Ну, допустим, мы пробьем головой стену...— после долгого молчания мрачно произнес Смолин.— Что мы будем делать в соседней камере?

— Мысль свежая,— усмехнулся Романцев.— Твоя?

Смолин промолчал.

— Вопрос снят,— кивнул Романцев.— Как говорится: не та мать, что родила, а та, что воспитала. Не столько, главное, придумать, сколько вовремя сказать.

— Как вы любите языками молоть,— Степа покрутил

головой.— Вроде по-русски говорите, а ни шиша не понятно...

— Товарищ не понимает...— притворно вздохнул Романцев.

— Ты вот чего...— с неудовольствием покосился на него Степа.— Ты из меня себя не делай! Я все понимаю, когда говорят толково. А то камера какая-то... Ты вон мать для чего-то приплел...

— Это моя ошибка,— согласился Романцев, покосившись на непроницаемое лицо Смолина.— Ты погляди-ка лучше, Степушка дорогой, в триплекс — что видишь?

Степан, пожав плечами, просунулся к смотровому триплексу:

— Снег. Метет.

— И никто не летает? — продолжал серьезно спрашивать Романцев.

— Кому ж летать-то? — Степа опять пожал плечами.

— Верно,— согласился Романцев.— В такую погоду одни бабы-яги летают.

* * *

Андрей все поглядывал на бело-серое окошко: то, казалось, в перекрестье рамы дребезжит потише, то наоборот. Уже маялись здесь несколько часов, а конца-краю не было. Лена подремывала на тюках, привалившись к стене, Женьки уныло играли в очко на пальцах. Вошел давешний старик каюр, сел поближе к печке-голландке. Не спеша набил и раскурил трубочку. Никто в зале ожидания не курил, но каюру ничего не сказали, видимо, потому, что он бы навряд ли понял: почему надо куда-то выходить, когда так хорошо курить именно здесь, у огня. Когда же закурил Женька Черный, на него зашикали, замахали руками, и он счел за лучшее, невнятно отругиваясь, отправиться в тамбур.

«...Какая ж связь,— размышлял Андрей, исподволь разглядывая каюра,— римское: «Человек человеку — волк» и «Волк орочону брат... когда-то человеком был»... Разве есть связь между каким-нибудь римским философом или, там, боевым центурионом, который первым это сказал, и этим каюром, наверняка не знающим ничего ни про Рим, ни про римлян... Может, какой-то другой смысл был? Не такой, как мы понимаем?..»

Ни до чего путного не додумавшись, он вспомнил их первую с Леной встречу. Тут достаточно прямая была связь между встречей с Леной, там, в московском метро,

и тем, что они очутились сейчас здесь, бог знает где, за Полярным кругом, с браконьерским грузом мехов тысяч на тридцать пять — сорок и медвежатины для лихих московских торжеств...

После армии он первое время пытался заниматься живописью и рисунком, потом плюнул. На этот раз окончательно. Работал ночным сторожем, агентом по снабжению, таксистом, радистом на пляже в Серебряном бору, механиком игровых автоматов в саду «Эрмитаж»...

И все время его жалила мысль, подсасывало под ложечкой до противной горечи во рту: он должен отомстить кому-то, стать первым в споре с кем-то, показать себя, да так, чтобы его боялись. Раз и навсегда! Чтобы с ним считались! Но кому надо было мстить? Родителям? Так они ему двухкомнатную «распашонку» оставили. Деньжонок подбрасывали, не то чтоб густо, но и не слабо, если честно говорить. Доказать-показать, но опять же — кому? И — как? И что за выигрыш в результате? Ведь интересно, он считал — выиграть много, да еще в игру, в которую другие играть опасаются. Вот тогда ты — силен! Вот тогда ты король, которого уважают, завидуют и боятся. Вот тогда ты ого-го! С тобой считаются. Может, в этом и месть тем, кто пренебрег тобой? Мол, смотрите, в каком я порядке, а вы еще чего-то там питюкали!

Из армейской своей жизни, против общепринятого, он не вынес ничего, кроме обостренного чувства власти и желания подчинить. Его никогда не привлекала хрестоматийная уголовщина, всякие там кражи со взломом или без оного, грабежи по темным переулкам, раздевание машин. Он знал нескольких парней, занимавшихся этим,— тупые морды, вроде Черного и Белого, алкоголем заливали они свой страх «залететь». И, как правило, «залетали». Он слышал, конечно, о неких «мастерах» подобных дел, у которых все сходило чисто, но никогда их не встречал и думал, что это, скорее, область легенды, чем правда жизни. Да и с «мастером» надо было начинать в подмастерьях, а он этого никак не хотел. По той же причине не шел и под крылышко родителей в торговлю.

Ему нужна была своя игра! Свой выигрыш! Свое королевство! Свое...

Однажды один его приятель, художник-декоратор с «Мосфильма», вернувшись из киноэкспедиции, рассказал в компании о Заполярье. С массой подробностей, которых никто и не предполагал. Про северное сияние, которое, как недавно выяснилось, повторяет своими излома-

ми контуры побережья, над которым возникает. А почему — неизвестно. Про забойку оленей, что устраивают в начале зимы оленеводы и забивают по тысяче животных в день на льду специально избранного, огороженного толстыми сетями озера, что носит странное, какое-то даже африканское название — кораль. Рассказывал про обычаи промысловиков-охотников, добытчиков песца, белки и прочей, как в старину говорили, «пушной рухляди».

Уходя, приятель подарил Андрею деревянного кетского божка, «алэла» — покровителя дома, завернутого в лоскутки шкур и нитки бисера...

А на следующий день он увидел Лену на перегоне метро «Спортивная» — «Ленинские горы». Он тогда возвращался от женщины, которая четыре года назад была его женой. Они разошлись без скандала, тихо. Так же скучно, как и сошлись. Но продолжали иногда встречаться. Чаще у нее. Болтали о своих романах, не ревнуя. Давали друг другу разные полезные советы. Выпивали чего-нибудь легонького или крепкого, но немного. А наутро расставались улыбчиво и без затей.

Но в тот вечер оба поняли, что это последний раз. Он посидел с час, даже фляжку с коньяком не вынул из плаща. И ушел. Было отчего-то грустно и противно. Может, оттого, что на вешалке висел забытый мужской пестрый шарф. Он все время лез Андрею в глаза, будто орал, издевался беззвучно: «Допрыгался, козел?» А может, потому, что она была суетлива, раздражена и явно ждала кого-то. В кокетливом домашнем халате с распахивающимися полами. В том, что халат был надет не для него, он был уверен. А может, оттого, что действительно все ушло. То малое, что было...

И вот теперь он ехал в метро, глядел на девушку, совсем девчонку, которая смущалась от его пристального взгляда. И вдруг ясно так стало в голове, будто кто всезнающий принялся нашептывать: «...И чего я, в самом деле... Нет, так и пес с ней, и с шарфом, и с халатом... Вот сидит напротив... Очень даже... Что ж ты глазки отводишь, глупая... Такие не надо отводить... Такими надо сверкать постоянно... А может, ты и есть та самая, предназначенная?.. А та, с шарфиком,— случай?.. Сюжет для небольшого рассказа?..»

Он вышел за ней. Сел в автобус. Но держался так, чтобы не попасть на глаза, потому что еще не решил: подходить — не подходить? Она ему потом сказала, что

заметила его в автобусе и ей очень хотелось, чтобы подошел.

Он протиснулся за ней, сопровождаемый разнообразными нелестными замечаниями — народу в автобусе было много, и народ ехал с работы усталый. Он опередил ее, соскочил первый и подал ей руку. Она улыбнулась и доверчиво протянула свою.

— Андрей,— сказал он, когда она спрыгнула со ступеньки. Но руку не отпустил. Да она и не отнимала.

— Лена...

* * *

...Медвежонка тошнило от голода, тряски, гари солярки.

— Дай ему молока из НЗ,— сказал Смолин Романцеву.

— Последняя банка... Он все слопал...

Смолин терпеть не мог, когда подчиненные указывали ему на несовершенство его приказаний. Взглянул холодно:

— Я что, неясно выразился? Спрашивал, сколько осталось?

— Никак нет, товарищ сержант! — Романцев открыл металлический ящик, где хранился неприкосновенный запас продуктов. Достал и ловко вспорол штыком банку. Налил молоко в крышку котелка, подставил к морде медвежонка.

— Ты вот что, парень,— говорил он при этом, глядя в зверюшкины страдальческие глаза,— либо коньки побыстрей отбрасывай, на шапку определяйся, коли тебе так уж тошно на мир глядеть, либо живи сто лет, но веди себя прилично. Степан! Выйдет из него шапка?

Степан обернулся. Прикинул:

— Еще какая.

— А чего ж эти четверо от нее отказались, а, командир?

— Кто ж его знает,— пожал плечами Смолин.— Жалко, наверное, стало.

— Мужики, смотрите, а снежок-то — тю-тю! — вдруг весело сказал Степа.— Может, и развиднеется...

Действительно, дома поселка проглянули вдруг ясно. Ветер послабел, лишь змеил поземку вдоль улицы.

Внезапно Степа резко крутанул руль — вездеход бросило в сугроб — Романцев подмял медвежонка — тот взвизгнул и, отмахиваясь, царапнул Толе шею.

— Твою дивизию! — схватился за шею Романцев.— А ты, оказывается, паренек неуютный!

— Пантелеев! — Смолин поправил шапку.— Это что еще за шутки?

— Это волк, товарищ сержант,— выдохнув, сказал Пантелеев.— Какие уж тут шутки... Выскочил чуть не под колеса.

— Какой волк...— морщась, проговорил Романцев.— Что ты мелешь...

— Мелет мельница. А я говорю, понятно? — Степа покосился через плечо на Романцева, вынул из кармана куртки индивидуальный пакет и протянул товарищу.— Здесь волков еще щенками приручают. Охранять поселки от диких волков да от медведей...

Смолин тем временем перебрался к Романцеву, достал из ящика НЗ флягу со спиртом, марлевый тампон. Романцев только зубами скрипел.

— Праздником запахло,— побледневший Романцев наморщил нос.

— А ты что — увлекался? — спросил Степа, глядя, как по проволоке между двух столбов электропередачи мчится на длиннющей цепи поджарый волчина, тщась достать клыком стальное непонятное.

— Не, я себя пьяного не люблю. Язык как помело. Про реакцию и разговора нет: трое вполне могут уконтропупить — вспотеешь кувыркаться.

Вездеход шел улицей Полярного. Мимо домиков, стоящих в сугробах, как в оврагах. Мимо ветхой деревянной церкви. Мимо погоста с едва видными из-под снега верхушками черных крестов.

Возле заснеженного чуть не до половины обелиска с красной звездой Смолин сделал знак остановиться.

Вышли. Расчистили рукавицами потемневшую латунную пластинку: «РСФСР. Братская могила красноармейцев и комсостава 14-го экспедиционного отряда, умерших от болезни цинги 21 человека в начале 1923 года»...

Отдали честь...

* * *

...В тот, первый, раз Андрей только поцеловал у нее руку. И все. Большего не хотелось, хотя сам не мог понять — почему?

...Дома он долго ворочался — не спалось, хоть ты тресни. С улицы несся грохот и лязг танковых траков —

до ноябрьского парада оставалось несколько дней. Отсветы фар несли по потолку мутное перекрестье окна.

И вот тогда ему и пришла эта идея: месяц работы — год жизни! Рвануть на Север! Наменять, накупить по дешевке шкурок. Настрелять что попадется. Конечно, риск есть. Но и выигрыш не мал. И машина тут пляшет, и вообще разнообразная культурная жизнь. Главное, подготовиться тики-так, рассчитать все до тонкостей...

И он загадал: если с этой, из метро, все путем, значит, и операция «Заполярье» как пуля просвистит!

...На «алэле», что стоял на подоконнике, вспыхивали бисеринки. Грубо прорезанный лик то высвечивался, то уходил в сумрак. Андрею почудилось, что божок высовывается, чтобы сказать нечто, одному ему ведомое, тайное. То ли позвать, то ли предостеречь...

«Трус в карты не играет»,— сказал себе Андрей.

Встал с постели. Прошлепал босыми ногами. Переставил «алэла» в простенок между окон. Там божка не тревожили мятущиеся отблески фар. Растворился в сумраке...

После четвертого свидания Лена осталась у него.

Когда она на следующий день пришла домой за вещами — впервые за свои восемнадцать лет увидела, как отец плачет...

* * *

...Романцев продышал в оконном инее дырку. Прижался лбом, но ничего не разглядел: почти половину летного поля закрывали недостроенные длинные склады. Где-то за складами застрекотал, как швейная машинка, авиадвигатель. И смолк.

«Прогрев начинают,— подумал Романцев,— значит, шанец есть».

Он сидел возле Лены в зале ожидания аэропорта под черной с золотом стеклянной доской, где перечислялось, чего здесь не надо делать. Вливал в себя третий пластмассовый стаканчик чаю из Лениного полуторалитрового термоса.

— Еще? — спросила Лена и, не дожидаясь ответа, наполнила стаканчик дымящимся чаем.

— Мерсибо,— с возможной галантностью поблагодарил Романцев и подул, по-детски забавно выпячивая губу.— «У самовара я и моя Маша»... Только сейчас начинаю понимать, что это совсем неплохо.

— И не Маша... и не ваша...

— А чья же? Если не секрет.
— Мужнина жена... Какие уж тут секреты.
— Действительно,— согласился Романцев и вздохнул.
— Что вы так тяжко, Толя? — усмехнулась Лена.
— Есть причины. Вы лучше скажите, Лена, верно я слышал, что, пока мы, как говорится, с оружием в руках стоим на страже мирного труда, всех лучших девушек уже поразобрали замуж?
— Нет,— засмеялась Лена.— Эти слухи сильно преувеличены.
— Возможно. Но факты свидетельствуют об обратном.— Романцев взял у нее термос, хотя уже напился досыта, просто было приятно коснуться ее пальцев.— Муж — геолог?
— Нефтеразведка... А вы в Москве где жили, Толя?
— Каретный ряд, дом двадцать. Напротив сада «Эрмитаж», знаете?.. И еще от нас недалеко — улица Ермоловой, бывший Большой Каретный, там Высоцкий в детстве жил. «Где твой черный пистолет? На Большом Каретном! А где тебя сегодня нет? На Большом Каретном»...
— А я у Никитских ворот жила... Когда с родителями... В Скатертном переулке...
— Ну? — обрадовался Романцев.— Так мы, можно сказать, соседи?! Может, даже и встречались... Я к вам в «Повторный» часто ходил.
— Может, и встречались,— улыбнулась она.
— Нет,— подумав, твердо сказал Романцев.— Я бы запомнил.
— Я тоже...— тихо, неожиданно для себя вырвалось у Лены.
Ей отчего-то стало грустно. Вспомнились школа, отец, мать, подружки... Необременительные заботы, долгие радости. Смешные огорчения. Все то, что сломалось, отодвинулось так, что не достать, с той самой встречи в метро на перегоне «Спортивная» — «Ленинские горы» год назад...
И ей отчаянно захотелось, чтоб не было ни той встречи, ни этого года, что она прожила как в тяжелом сне, подчиняясь чужой воле. Чтоб исчез, растворился в пробуждении кошмар последних дней с выстрелами, воплями, бьющимися в агонии животными, сырой вонью только что снятых шкур, с откровенными взглядами Женек, еще более противными, потому что — исподтишка, после которых хотелось хорошенько отмыться, а помыться толком

вообще было негде, только огуречным лосьоном и спасалась, хорошо, что с собой взяла...

Захотелось, чтобы все стало просто и ясно, как было. Чтобы она встретилась с этим Толей, который сейчас стоически дует чай, а он в него уже явно не лезет. Где-нибудь на дискотеке, или на вечере, или на пляже. На пляже даже лучше — солнце, теплая вода, у нее купальник есть очень красивый... Он, конечно, телефон станет спрашивать. А она, конечно, помурыжит его для порядка. Но потом, перед уходом, когда низкое солнце бросит на реку длиннющие тени людей и пляжных построек, она сама подойдет к нему и назовет номер телефона. И они станут встречаться. Он будет ждать ее после работы. Каждый день. И все ее машбюро будет весело толкаться возле окошек. Интересно, когда он ее поцелует? Можно и в первую встречу. Что в этом плохого? Раз он ей очень нравится, а она — ему... А потом его возьмут в армию, и она станет его ждать, и никого-никого к себе не подпустит...

Она так долго, так неотрывно смотрела на Романцева, что тот смутился не на шутку и, чтобы скрыть это, вновь взялся за термос и вылил остатки в стаканчик...

Лена поднялась и быстро пошла, почти побежала к выходу. Романцев растерянно смотрел ей вслед. У дверей Лена обернулась. Их взгляды встретились. Романцев пружинно поднялся и вышел следом в полутемный холодный тамбур, засыпанный раздавленными окурками.

— А как же нефтеразведка? — спросил он, сам не зная зачем.

У нее перед глазами все затуманилось, поплыло в радужной слезной мути. Она обняла его. Поцеловала.

— Ты чего... Чего ты плачешь-то?..— бормотал Романцев и целовал в губы, в шею, в мокрые глаза.

— Я тебя буду ждать в Москве,— сказала она, едва переводя дыхание.— Я очень буду ждать. Слышишь?

— Кончай обниматься! — голос в визге примороженных петель, хряск двери.— Девушка, передай своим: через десять минут летите.

— А мы? — Романцев заступил дорогу человеку в зимней летной форме.

— А вы — нет! — и застучал унтами на пороге зала ожидания, обивая снег.

Кожаные куртки, брошенные в угол.
Тряпкой занавешено низкое окно.
Бродит за ангарами северная вьюга.
В маленькой гостинице тускло и тепло...—

пели под гитару два молоденьких летчика. Третий, постарше и, судя по шевронам, главнее, кормил в углу медвежонка мороженой рыбой.

Командир со штурманом напев припомнят старый,
Голову руками подопрет второй пилот.
Тихо прикоснувшись к старенькой гитаре,
Бортмеханик эту песню запоет...
Лысые романтики, воздушные бродяги,—

вдохновенно выводили юноши, у которых с шевелюрами было все в порядке.

Ваша жизнь мальчишеская, светлые года,
Прочь тоску гоните выпитые фляги —
Ты, метеослужба, нам счастье нагадай...

— Да вроде нагадала уже,— вставил Смолин, давно подпиравший дверной косяк, и кивнул на ясный пейзаж за окном.

— Может, да, а может, нет,— сказал гитарист.— Это Север, сержант: тут по пять раз на дню погоду крутит.

В дверь заглянул Романцев, поманил Смолина на крыльцо:

— Они все тебе мозги пудрят, а через десять минут самолет уходит!

— Что за самолет?

— «Аннушка». Нефтеразведчики... Муж с женой... Ну я тебе скажу... Упасть — не встать! Нога — от шеи. Глаз синий...

— Во-во,— покивал Смолин,— самое нам время сейчас с бабами валандаться. Да еще с чужими.

— Да при чем тут!..— Романцев отмахнулся.— Я ее уговорю, а она этого,— он запнулся,— ну... своего, понял? Лишь бы летуны согласились на небольшой крючочек, километров в двести.

Смолин мгновенно оценил ситуацию, рванул обратно к летчикам. Романцев зацепил пригоршню снега, потер разгоряченное лицо и пошел за ним.

— ...Во-первых, их не двое, а четверо,— услышал он, войдя, усталый голос старшего.— Во-вторых, много груза, и тяжелого. В-третьих, никаких крючочков, как ты выражаешься, не будет, потому что может не хватить горючего. В-четвертых...

— Хватит и трех,— перебил Смолин.

— Видишь, ты сам понимаешь... Так что не получается с тобой, сержант,— старший потянулся погладить медвежонка, тот заворчал, но не дался.— Ну никак...

— «Не получается, не получается, не получается такое никогда!..» — шутливо пропел гитарист.

— А у тебя получается,— не удержался Романцев.— Если так пойдет, тебя по телевизору скоро будут показывать.

— Ага,— согласился тот.— «Песня-83».

— Нет,— сказал Романцев. — «Здоровье». Ты будешь доктору Белянчиковой рассказывать, что с тобой стряслось.

— Ну, ты нахал,— протянул гитарист, подымаясь.— Они же нас упрашивают, и они же нас.... Ну, ты хулига-ан...

— Романцев! — нахмурился Смолин.— На улицу!

— Вали, вали! — сказал гитарист вслед Романцеву.

Смолин внезапно шагнул к гитаристу, выхватил гитару, поставил ногу на табурет, яростно ударил по струнам:

Солнце незакатное и тихий ветер с веста!
И штурвал знакомый в стосковавшихся руках,—

пел он со злым напором.

Ждите нас не встреченные школьницы-невесты!
В маленьких асфальтовых южных городках!..

Так, что ли, поется?

— Так...— удивленно пожал плечами старший.

— Ну а раз так — перетакивать не будем! Лысые романтики, маму вашу!..— швырнул гитару в угол и вышел, громыхнув дверью.

— Дуже гарно спивали...— щуря глаза, с усмешкой сказал Романцев, поджидавший у крыльца.— Только финал больно шумный...

— Слушай,— с нешуточной угрозой сказал Смолин,— ты кончай балаганить!

— Есть,— очень серьезно сказал Романцев.— Я кончаю балаганить, и мы все вместе рыдаем.

— Слушай, сержант! — старший летчик вышел на крыльцо.— Ты на нас сердца не держи. Что, мы сами не понимаем, не служили?.. Ладно, с горючим мы разберемся, долететь до твоего мыса Малого Медвежьего можно. Но самовольно, без согласия нефтеразведчиков, усложнять маршрут мы не имеем права. Так что думай сам...

— А за мишку спасибо,— на крыльцо вышел второй летчик.— Подрастет — выпустим.

— Видишь, мы юннаты, мы друзья пернатых...— пробормотал Романцев.

— Вон нефтеразведчики идут. Чеши, сержант!

...Романцев видел, как Смолин догнал трех парней, обвешанных рюкзаками и сумками. Как убежденно говорил, прикладывал руку к груди, улыбался просяще. А сам все пытался уловить некую ускользающую мысль, расшифровать — что она такое и с чем ее едят.

Романцев видел, как те трое сняли груз на снег. Как двое, что были повыше, пошли обратно к залу ожидания.

— Ну, что, мужики, порядок? — спросил Романцев, когда они проходили мимо, хотя понимал, что порядка никакого нет, потому что Смолин продолжал жарко убеждать оставшегося третьего.

Двое, один белесый с белыми ресницами, другой жуковато-черный с синей щетиной, молча ушли в зал ожидания и вскоре вышли, неся три огромных тюка на связанных лыжах, что лежали концами у них на плечах.

Смолин, по-видимому, ничего не добившись, понуро пошел от третьего.

— Отдыхайте, ребята, чего вам?— дружелюбно сказал белесый.— В буфете вон портвейн дают...

— Откуда ж у служивых на портвейн? — усмехнулся синещекий, достал из внутреннего кармана початую бутылку, заткнутую хлебным мякишем, протянул Романцеву.

— Отдай обратно! — грозно сказал подошедший Смолин.

Но Романцев обратно не отдал, а откупорил затычку, для чего-то понюхал, передернул плечами и... медленно вылил вино на снег. На морозе черно-красная лужа заклубилась паркóм.

Из зала ожидания выбежала Лена догонять своих. На бегу обернулась на Романцева — это все, что она могла сделать, чтобы свои не заметили.

— Поздравляю, рядовой Романцев,— Смолин через силу улыбнулся.— Так держать.

— Будем стараться,— кивнул Романцев и добавил тихо: — А вот и деталька нарисовалась.

— Что за деталька? — насторожился Смолин.

— Интересная. Последний, так сказать, штрих. Но в то же время, как сказал Маяковский Владимир Владимирович: любовная лодка разбилась о быт...

— Не до шашней сейчас. Давай думать, что делать-то будем?

— Исключительно этим и занимаюсь. В свободное от шашней время... Слушай, командир: вон стройка — скла-

ды. А дорога — вон она где,— Романцев ткнул перчаткой.— Здесь наверняка летом болото,— он показал на белую целину перед складами, сбоку которой по низкорослым кустам уходили «нефтеразведчики».— Как же тут летом на стройку материалы-то с дороги доставляют?

— Не знаю...— пожал плечами Смолин.— Может, краном. Знаешь, рельсовым...

Он понял, что Романцев уже нашел или находит решение, и ждал, пока тот «прокачает» все элементы. Перед тем, как высказаться.

Если уж Толя Романцев в чем-либо убеждался и считал, что нужно действовать так и не иначе, потому что именно так правильно, пусть и рискованно, или справедливо,— он становился упрям, несговорчив и всеми правдами-неправдами старался поступить «как доктор прописал» — так он выражался. За что порой прикладывали его крепко, взять хоть разжалование вкупе с гауптвахтой...

— Где ж Степа-то наш? — щурясь, проговорил Романцев.— Мы без него, как без рук...

АНАТОЛИЙ РОМАНЦЕВ

Это было всего две недели назад... На погонах Романцева ярко поблескивали сержантские лычки. Он стоял возле дверей спортзала: там лихие боксеры из другой роты показывали друг другу разные приемы. К Романцеву подошел парень, жилистый, смуглый, в белой, как у всех, одежде и, как все, босиком. Звали его Игорь.

— Ну? — резко спросил Игорь.— Чего вам надо?

— Вообще-то,— начал Романцев,— на «вы» я говорю только с девушками и пожилыми особями обоих полов, мы с тобой, может, на «ты» обойдемся?

— Короче,— Игорь разжимал и сжимал кулаки, делая разминку кистям.

— Могу,— кивнул Романцев.— Ты ж Инку Батракову знаешь?

— Ну? — Игорь смотрел выжидающе.

— Хороший ответ,— кивнул Романцев.— А то, что у нее дома неприятностей выше крыши?

Игорь пренебрежительно лишь веки опустил.

— И это все? — спросил Романцев.

— Нет. Если ты отсюда не свалишь, я тебя отделаю, как бог черепаху.

— Очень может быть,— согласился Романцев.— Но только сначала глянь,— он вывернул левый кулак.— Что это? — и мгновенно разжал.

Игорь на какую-то долю секунды глянул — и уже в следующее мгновение летел, снесенный романцевским правым.

— Вот так-то,— сказал Романцев выскочившим из зала боксерам.— Против лома нет приема, боксеры...

— Окромя другого лома, Толя,— услышал он и обернулся — прямо за его спиной стоял сержант Смолин и еще двое солдат со штыками на белых поясах и бляхами патрульных. Они его и проводили на «губу». И сколько бы раз Толя Романцев не возвращался мысленно к Инке Батраковой и нехорошему разлучнику-боксеру, все кончалось той же «губой» и потерей ярких лычек. По-другому никак не получалось.

* * *

...Тем временем Степа Пантелеев загнал вездеход во двор отделения милиции поселка Полярный — это майор Лесников связался с местным начальником, и тот разрешил. Степа забросил за спину три «калашникова» — Смолин и Романцев автоматы оставили, чтобы по аэровокзалу с оружием не шататься. Взглянул на часы. Времечко поджимало, до назначенного сержантом десять минут оставалось, а до аэродрома от милиции чуть не час ходу по заваленной снегом улице. Хорошо, милицейский патруль в аэросани его посадил и за семь минут домчал. Степан радовался: сержант Смолин похвалит Степанову точность, ан нет...

Вот так фокус — нет товарищей. Что ты будешь делать? Все говорят: вот только-только здесь были. А куда тогда сплыли? Летчики, говорят, нефтеразведчиков уговаривали с собой в самолет взять, так, может, уговорили и теперь его возле самолета ждут не дождутся? А старик каюр, кет по национальности, а может, орочон, махнул куда-то в сторону:

— Туда военные ребята побежал.

Это старый, понятно, напутал. Нечего им там делать. Значит, надо к самолету. Это рукой подать, метров триста, во-он по тем кустам, мимо поля и за склады недостроенные, так Степе объяснили...

Тут за складами густо зататакал самолетный двигатель — видно, начали прогрев и отладку перед полетом. И смолк...

* * *

— ...Стоп, граждане! — запыхавшийся Смолин преградил дорогу «нефтеразведчикам» в узком проходе между двумя бетонными стенами.

— В чем дело, сержант? — нахмурился Андрей.— Тебе же ясно сказано: взять мы вас не можем!

— Дело в том...— Смолин дышал как можно размеренней, стараясь восстановить дыхание.— Что вы никуда не полетите...

— Чего?! — грозно выдвинулся Черный, сразу устранить препятствие ему мешал груз на плечах.

— Погоди,— остановил его Андрей.— Кто ты такой, чтоб нас задерживать?

— Сержант Советской Армии. Разве не видно?

— Видно, что ты нахал, парень,— губы Андрея жестко сжались.— И разговор будет с тобой как с нахалом!

— Не надо, Андрюша,— вперед вышла Лена, тронула Смолина за рукав.— Ну что вы... Нельзя так... Мы понимаем, что у вас всякие там приказы... Только мы здесь при чем? Нам лететь нужно...

— Елена! — приказал Андрей.— К самолету! Может, ты и ее не пропустишь?

— Ее пропущу...— Смолин изо всех сил старался не показать вдруг возникшей растерянности.

«А вдруг Толька ошибся, и они никакого отношения к медвежонку не имеют?.. Просто совпадение? А я на них буром пру?»

...Лена направилась за угол, к невидимому от них самолету.

* * *

...Романцев карабкался по угластым горам бетонных плит, наледенелых и заснеженных.

Шел по карнизу над снежными глубинами, куда сорвись, если не расшибешься, то не вынырнешь.

Балансировал на узких рельсах перекрытий недостроенного склада, за которым самолетный двигатель теперь трудился на малых оборотах...

* * *

...Тюки и рюкзаки были сброшены на снег.

Смолин прислонился к стене и, постанывая, со всхлипом втягивал в себя жгучий морозный воздух.

Черный поиграл пальцами в меховой перчатке, готовясь для нового удара. Белый, нехорошо улыбаясь, заходил справа.

— Не надо,— сказал Андрей.— Сержант понял, что он не прав. Шмотки! И — к самолету...

Романцев выпрыгнул из оконного проема складской конторы. В два прыжка — к ближнему тюку. И полоснул вдоль ножевым штыком. Взвизгнула под сталью промороженная ткань — на снег вывалились смерзшиеся комы черно-красного мяса. Романцев полоснул по второму тюку — полезли, поползли связки мехов, белая медвежья шкура.

— Ты что?! — только и смог выкрикнуть Андрей.

— Как в аптеке, товарищ сержант! Они! — зло и весело выкрикивал Романцев.— Вот ведь какая плешь, гуси-лебеди! А ведь мы по-хорошему просили самолетик ненадолго,— и только здесь увидел, что со Смолиным неладно.

Подошел, заглянул в суженные болью глаза.

— Сейчас мы с него получать будем. Кто?

— Романцев! — морщась от боли, предостерегая, прохрипел Смолин.

Но было уже поздно: Черный и Белый метнулись к длинной, метра в полтора, сумке и через мгновение уже держали солдат на мушках пятизарядных мелкокалиберных карабинов.

— А теперь кто с кого получит? — Белый передернул затвор.— Брось штык!

— Кончай дурочку ломать,— Романцев слегка побледнел, но штык не бросил.— С этим не балуются.

Клацнул затвор Черного.

— И глазом не моргну, шмакодявка! — Кивнул на сугробы за проемами складских ворот:— Только к лету и найдут. Брось штык! Ну!

— Романцев, брось, приказываю...— Смолин постепенно приходил в себя. Голова уже работала четко, но решения не было. Ясно было одно: надо быть готовым ко всему, собраться предельно, следить за каждым движением, словом, жестом противников, нет — врагов! И тянуть время. Обстановка подскажет... Обязательно. Надо только услышать!..

«Степа... Степушка... Где ж ты? Лишь бы сообразил... Не влетел, как кур в óщип...»

Романцев небрежно бросил штык, примерно в метре от себя — так, чтобы при случае нагнуться и метнуть

снизу, прямо со снега. На все не больше секунды. Но где он сейчас, этот случай? Где та секунда?

Степа ходко шагал по тропке, старался для облегчения ступать в след недавно прошедших. Те, по всему, тоже старались след в след, но это у них не очень выходило: то один, то другой, а то и двое сразу вываливались вбок. Увязали небось по пояс, а то и глубже. Стало быть, тяжело несли, вот груз и заносил. Так и есть — груза было много: передохнуть встали — весь снег кругом изрыт, видать, как вещи держали, так из рук и выпустили, набили ладони до боли. Пассажиры, наверное, а может, летчики с бортпроводницей. Одни следы маленькие, это Степа сразу заметил. Но отмечал все это Степа почти бездумно, по привычке, его отец учил следы читать. Отец был бригадир на большом заводе, в Тобольске, но охоту любил с самого своего деревенского детства: «В лесу, в поле все подмечай, сынок, это только так кажется, что ни к чему, а глядишь — понадобится, будешь локти кусать, что проморгал».

И когда сын ошибался и путал поначалу след волчонка с лисьим, отец крепко давал ему по затылку.

— Да на кой мне?! — взвизгивал Степка и с обиды тер кулаком глаза.— Я, может, на охоту и ходить не буду! Я в хоккей хочу!

— Ремесло, сынок,— отец добродушно привлекал его к себе,— оно не коромысло — плеч не оттянет...

Он скоро увидит отца. Первенство бы только выиграть...

* * *

Самолетный двигатель, что работал все это время на малых оборотах, зататакал басовито, глуша слова. Самолет стоял за углом склада, и летчики никак не могли видеть того, что происходит за бетонной стеной.

— Я шмотки буду к самолету таскать,—Андрей почти кричал в лицо Черному.— А вы уж тут... Черт...— он посмотрел на разваленные штыком тюки.— Так их к самолету не потащишь... Я Ленку пришлю!

Черный покачал головой:

— Мы сами.

Андрей кивнул, подхватил два рюкзака и, тяжело ступая, пошел вдоль длинной стены склада за угол, к самолету.

— Солдат! — перекрывая гулкий стрекот, крикнул Черный Романцеву.— В синем рюкзаке, в боковом кармане, шпагат с иголкой!

— Это уж хрена-та! — Романцев с ненавистью смотрел в черный глазок ствола, быстро поднимавшийся на уровень его лба.

— Считаю до трех.— Черный вжался небритой щекой в лакированное дерево приклада.— Раз!.. Два!..

— Постой! — поднял руку Смолин.— Я зашью.

— Люблю покладистых,— ощерился Белый.— Давай. Отпустим скоро.

Участь солдат была решена для Черного и Белого в тот момент, когда им удалось завладеть оружием. Они лишь переглянулись коротко. Тут и сове было ясно, что ни при каком раскладе отпускать солдат было нельзя. Тем более таких настырных. К тому же было понятно, что солдаты издалека, никто их не хватится, по крайней мере, несколько суток. Ни в части, ни в аэропорту: не получилось с самолетом, значит, ушли. А когда хватятся и начнут искать, доберутся сюда, так пурга сто раз все заровняет. Потом, от мелкашкиной пули какая кровь? И выстрел слабенький, да еще, на удачу, двигатель грохочет. Черта с два кто услышит, а летчики тем более. Значит, солдат — в снег. По минуте на каждого — закидать. Чин чинарем. Можно было бы положить их с ходу. Но у Черного и Белого был свой план, разработанный давным-давно, в котором, конечно, не учитывалось неожиданное появление солдат и их умерщвление, но зато учитывалось многое другое. Они никогда не ходили «на мокрушку», не собирались и в этот раз. Но солдат не станет — это уж как в банке. Перемигнулись, давая понять, что понимают друг друга. Двигатель смолк.

* * *

Смолин вдел нитку в кривую цыганскую иглу и принялся зашивать тюк. Романцев понял его намерение — зашивая, сержант приближался к тому бандиту, который только что целил ему, Романцеву, в лоб.

Значит, на его долю — второй, белесый.

Романцев начал постукивать сапогом о сапог. Затем принялся подпрыгивать, размахивать руками. Главное, чтобы этот гад привык, что он все время в движении, расслабился. Тогда — миг! К штыку! И — снизу! Он знал, что с трех метров не промахнется даже замерзшей рукой.

— Холодно? — спросил Белый.

— Ага,— простодушно, как только мог, ответил Романцев.

— Скоро не будет,— сплюнул.— Кончай скакать!

* * *

Степа ворохнул плечом, устраивая автоматы поудобнее, подсунул правую под ремни, чтобы оружие не мешало при быстром шаге... И тут только понял: что-то не то!.. Где ж его товарищей-то следы? Как же так! Как же это он сразу внимания не обратил? А еще старослужащий — так бы сержант Смолин сказал...

Но почему они не пошли этой тропкой, по которой все ходят, а какой-то другой? И какой?.. Та-ак... Эти-то, четверо, тут шли... Четверо... Четверо... Что ж ему в том, что их четверо?.. И вдруг будто осветилось, так отчетливо: перемешанный с заледенелой кровью снег, медвежонок с закушенной варежкой, следы... Точно, там были маленькие, женские. Ведь он сам сказал тогда Романцеву: четверо, мол... Стоп!

Стало быть, его ребята рассекли этих браконьеров чертовых... И пошли другой дорогой... Зачем? Щас узнаем, только бы дорогу ту сыскать!.. Слева, сразу за кустом,— чисто поле — ой-ой-ёй, уже задымилось поземкой, а горизонта почти совсем не видать! По полю только дурной полезет... Значит, правее шли, скорее всего, по ту сторону кустов, там вроде ложбинка глянется. Может, они ему там какой знак оставили, как ему быть, что делать?

* * *

Романцев видел, что Смолину осталось несколько стежков и метра полтора расстояния до Черного. Он отвернулся от Белого, чтоб тот не заметил сухой блеск глаз. Стал незаметно подбираться, шевелить замерзшими пальцами на руках и ногах. «Примерно секунды три-четыре...— подумалось ему.— А там поглядим, гады...»

Из-за угла появился запыхавшийся Андрей, Черный попятился навстречу, не спуская ни глаз, ни ствола со Смолина...

«Так твою дивизию и не так...» — едва вслух не выругался Романцев.

Андрей посмотрел на солдат, на Черного с Белым...

— Какие вопросы? — усмехнулся Черный и — Смолину: — Шей второй! Шевелись, служивый, и — на свободу с чистой совестью!

— Я думал, уже все...— пожал плечами Андрей.
— Сейчас, второй заделает. Две минуты.
— Не в этом смысле.
— А в каком? — валял дурака Черный, но Андрей не замечал этого, слишком уж нервная была обстановка.
— Ты что, не понимаешь, что их отпускать нельзя,— Андрей облизал потрескавшиеся, потемневшие губы.— Мы подняться не успеем — они всех на ноги подымут!
— И что ты предлагаешь? — Черный наслаждался своей игрой — он знал, что Андрей никогда не произнесет «убей» или «стреляй», чтобы в случае чего: не знаю, мол, «Я лично ничего не говорил», «Меня вообще там не было, я вещи в самолет носил», «Откуда мне знать, что там у них с этими солдатами произошло? Хотя, безусловно, ужасно!».
Андрей не знал, что он давно, почти с первого знакомства, как на ладони у Черного и Белого, и что все их кажущееся слепое подчинение, их подобострастное «капитан», не более, чем игра, такая же, какую вел сейчас Черный. С самого начала он был для них — «фраер».
— Что предлагаешь, капитан? — повторил вопрос Черный.
— Ты что, совсем отупел? — Андрей посмотрел холодно, но Черный заметил, что он сморгнул, а раньше никогда подобного не было.
«Да... капитан,— подумал Черный.— Никогда ты не будешь майором».
— Будь друг, капитан, достань-ка «тозку»...
— Зачем? — удивился Андрей.
— Надо.
Андрей недоуменно пожал плечами, но сбегал к сумке и принес пятизарядный ТОЗ шестнадцатого калибра:
— Для чего?.. Из мелкашки же лучше... И скорей, с погодой опять ерунда!

* * *

Правильно Степа угадал — за кустами ложбина, а может, котлован какой строительный недорытый. Следы! Смолина — побольше, Романцева — поменьше, и у него носок поострее, он модник большой. Пар тридцать сапог у прапорщика переберет, пока по душе сыщет. Хотя ребята ступали привычно, след в след, и никто из следа не вываливался, все же Степа сразу определил, кто из них «топтал», то есть головным шел, кому трудней

всего доставалось. Сперва сержант, потом Романцев, потом опять сержант...

Видно, летом здесь, по-над ложбиной, ходил большой кран, от дороги таскал на стройку бетонные плиты. Сейчас осталась только полузаметенная рельсовая колея, кусты мешали, чтоб сюда очень уж большой снег доставал. Колея упиралась в крутой склон, метров семи, вот почему тут не ходили. Возле поля, может, и было на сотню метров дальше, зато карабкаться не надо.

Жалко, никакого знака ему не оставили о дальнейших действиях. Спешили очень — по следам видно. И Степе тоже спешить надо, дело, видать, не шуточное...

* * *

Черный одной рукой направил на Смолина ТОЗ, а мелкашку передал Андрею:

— Зачем? — опять спросил Андрей.— Я же шмотки пошу!

Черный взвел ТОЗ и неожиданно прижал дуло к боку Андрея:

— Шевельнешься — хана. Промажешь — тоже! Как затылком повернется — бей в шов на шапке! Ну?! Подойди и не дрожи!

Белый, заинтересовавшись разворотом событий, на мгновение отвлекся от Романцева. Тот молниеносно — к штыку.

Сухая дробь автоматной очереди выщербила бетонную крошку над головою Белого. Тот от неожиданности скакнул в сторону и тем спасся от романцевского штыка, что глубоко царапнул острием бетон и, кувыркаясь, взлетел вверх. Если бы не очередь, штык прошил бы Белого насквозь.

Романцев вырвал у него карабин. Крепко маханул прикладом по шее.

Черный крутанулся с ТОЗом...

— Не балуй! — Степин голос перекрыл шум двигателя.— Ложи оружие!

Вторая очередь бросила Черному в глаза бетонную пыль и мелкое крошево.

Андрей кинул винтовку.

Степа — автомат Смолину, тот поймал на лету. Затем — Романцеву.

— Итак, наши новые друзья, сделаем разговор общим! — Романцев повел «калашниковым».— Руки в гору!

Трое подняли руки.

— Чего у вас произошло-то? — спросил Степа, спрыгнув со стены на тюк с мехами, который с сухим треском разъехался.

— Интересный ты, Степа, человек,— покачал головой Романцев.— Сначала стреляешь, а потом спрашиваешь.

— Что я, дурной — спрашивать, когда вас на мушке держат?

— Логично.— Романцев шмыгнул носом и принял свой обычный вид «все ни по чем».— Тут, видишь ли, друг Степа, нас расстрелять решили...

— Ребята...— Андрей наконец овладел собой.— Все это ерунда. Никто бы в вас стрелять, как вы понимаете, не стал. Поиграли пушками и хватит, пора расходиться...

— Ах, так это была игра-а? — протянул Романцев.— Бесхитростная, но добрая шутка! Я лично давно так не смеялся, а вы, товарищ сержант?

— Я хохотал до упаду, вы разве не видели, рядовой Романцев? — в тон ему ответил Смолин.

— Да, да, да... То-то я смотрю, вы, товарищ сержант, за животик хватаетесь и «мама» сказать не можете... Степа, дорогой, ты все-таки возьми этих шутников на прицел, чтоб они не загрустили.

Откуда-то сбоку ударила по лицам снежная крупа, словно гигантскую пригоршню по ветру пустили. Горизонта не стало видно. Свет мерк.

— Сержант... То есть, товарищ сержант,— поправился Андрей.— Ну, мы извиняемся, и все такое... Летите, если вам так приспичило... А с нами будет кому разобраться... Тут ведь не убежишь...

Черный и Белый сели на снег, ни на кого не глядя.

— Я — к летчику,— сказал Смолин так, чтобы его слышал только Романцев.— Милицию надо...

— Послушай,— остановил его Романцев.— Этот паразит прав: и без нас разберутся. Мы их свяжем, если что — банок дадим. Можно и без «если что». Поднимемся, тогда по рации вызовем милицию. А то пойдут протоколы, мы сутки не выберемся!

— Нельзя. Они без нас наплетут семь верст до небес и все лесом. Останешься за старшего.

Смолин закинул автомат за спину и пошел за угол склада на звук самолетного двигателя.

Едва Смолин завернул за угол, Романцев тяжело посмотрел на Андрея:

— Это твоя жена — вот такие синие шары? — Романцев растопырил пальцы на половину своей щеки.

— Моя...— лицо Андрея дернула жалкая улыбка.— Познакомить?

— Обойдется. Какой же ты гад — такую девку в уголовщину втравил!

— Слушай, ты! — Андрей с ненавистью посмотрел на Романцева.— Попутал нас — радуйся! Чего ты еще хочешь?!

— Чего еще...— Романцев помедлил, взглянул на Андрея.— Хочу, чтоб вы трое для начала наложили в штаны. Имеется неплохое слабительное.— Романцев вскинул автомат.— К стенке, твари!

* * *

В углу комнаты на старом полушубке мирно посапывал медвежонок.

...В здании аэропорта старший летчик кричал в телефонную трубку:

— Милиция? Але, але... Милиция, говорю?! Да, да! Я!.. Плохо слышно!.. С летного поля!..— надсаживался он криком.— С летного, говорю, поля... Автомат! Понятно? Не слышу! Выехали?! Лады! Отлично, говорю!.. Как «что»?! Не слышу тебя, милиция!.. Как «что»? Кто? Летчик? Да я только что с ним на связи... Сам, говорит, ничего не понимаю. Сначала вроде все в порядке, пришла девушка, что с нефтеразведчиками. Один стал вещи таскать. Вот-вот, мол, остальные подойдут. Ушел за вещами и через минуту-две — автомат... Одна очередь, другая...

* * *

Смолин бежал впереди. За ним, шагах в десяти, Лена.

— Романцев! — кричал на бегу Смолин.— Отставить, Романцев!

— Есть отставить.— Романцев отер лицо рукавом и крикнул тем, что елозили в снегу под стеной, избитой пулями почти до самого основания.— Встать! Если кому есть чем похвалиться, давайте! И чем жалобней, тем лучше!

— Ты с ума сошел?! — грозно крикнул Смолин, подбегая.— Что ж ты издеваешься? Чем ты тогда лучше их?!

— Всем,— твердо сказал Романцев.— И я не издеваюсь. Я должок вернул, да не весь. Если бы их взяла, нас бы сейчас уже закопали.

— Что случилось?! — едва переводя дух, выкрикнула Лена, вылетая из-за угла склада.

Ничего не понимая, она смотрела на Андрея, на Черного с Белым. Вместо лиц — маски чудовищные, залепленные снегом по брови. С трудом поднимались. Черный судорожно всхлипывал. Потом она перевела взгляд на Романцева — на горячем стволе его автомата снег таял, едва коснувшись.

— Толя, в чем дело?

— Дело, как я понимаю, в шляпе,— не поворачиваясь к ней, проговорил Романцев.— Вернее, в медвежьей шапке, к вашему несчастью, не сшитой.

— Какая шапка... Почему к несчастью...— и только здесь она увидела черно-красное мясо, вывалившееся из недошитого тюка; второй тюк с мехами, расползшийся от Степиного прыжка.

— Толя!..— обеими руками она взялась за горло — ее душил слезный ком.

— Ты что? — Андрей отирал снег с лица и сосал его.— Знаешь его?

— Если это имеет какое-нибудь значение,— Романцев стер талые капли с автомата,— даже целовались...

— Толя! — ее пронзительный крик закувыркался к низко мятущемуся небу, как несколько минут назад романцевский штык.— Как... ты можешь!.. Ты... ты... солдафон!

— За солдафона мерсибочки, мадам,— Романцев сузил глаза.— Возможно, мы несколько прямолинейны... А как вас прикажете?.. Когда вы на глазах маленького его матушку, извините за выражение, освежевали? Или когда вы его в яме сдыхать оставили? Не говоря уже о других шутках-малютках?

— Андрей!..— она сделала шаг к мужу.— Ты же уходил последним... Ты же мне сказал, что вытащил медвежонка? Что отпустил?..

— Какая разница...— с тоской произнес Андрей.— Ну сдох бы он в лесу.

— Шлепнуть надо было...— просипел Белый — он внезапно потерял голос.— Я говорил... Тебя, дуру, послушались...

— Нельзя ли повежливей?!— К ним шли пятеро милиционеров, четверо с автоматами, впереди старший лейтенант. С другой стороны склада — еще трое.

— Можно и даже нужно! — почти с прежними, холодно-властными интонациями произнес Андрей.— То, что

моя жена целуется по углам с солдатами — еще не повод говорить с ней грубо. По крайней мере, при посторонних... Вы вовремя подоспели, товарищ старший лейтенант, нас тут чуть не перестреляли...

— Ну ты и гнида-а...— протянул Романцев.

— Товарищ солдат! — строго глянул старший лейтенант.— Товарищ сержант, попрошу распорядиться, чтобы ваши люди перевели оружие в походное положение.

— Группа, внимание,— скомандовал Смолин.— Оружие — на предохранитель. На пле-чо!

Закинули автоматы за спину.

— ...Мы тут, конечно, кое-что нарушили,— продолжал тем временем Андрей, указывая на тюк с мясом и медвежьей шкурой,— не скрою... Хотели, понимаете, порадовать в Москве друзей... сослуживцев...

— А это чье? — старший лейтенант вынул из распоротого мешка пару песцовых шкурок.

— Это нам передать дали, товарищ старший лейтенант...— вступил в разговор оправившийся Белый.— Мы даже не знали, что в нем...

— Кто дал?

— Я вам все подробно объясню. Лучше даже напишу,— сказал Андрей.— Я так предполагаю, они из-за этих мехов на нас и напали. Разузнали, вон...— он кивнул на Лену.— Язык-то без костей...

— Пока довольно,— остановил его старший лейтенант и испытующе посмотрел на Смолина.— Что скажешь, сержант?

— Никто на них не нападал! — Лена внезапно шагнула к старшему лейтенанту.

— Елена! — Андрей заступил ей дорогу.— Будешь говорить, когда спросят. А сейчас — мужской разговор!

— Товарищ старший лейтенант! Солдаты не нападали! — Лена обернулась, гневно выкрикнула в лицо Андрею: — Ты грабишь, как в чужой стране! Ты год готовился к этому!

* * *

...Все, что произошло у складов, заняло меньше десяти минут. А в милицейском вездеходе они сидели битый час. Старший лейтенант писал на бланке. Один из милиционеров работал на рации.

— ...Понятно, товарищ Спиридонов,— говорил он в микрофон.— Большую вы промашку дали... Ладно... Сча-

стливо... Семь футов вам под килем. Отключаюсь.— Он выключил рацию, снял наушники: — Все, как вы предполагали, товарищ старший лейтенант... Никакого отношения они к нефтеразведочной партии Спиридонова не имеют. У Спиридонова планы изменились — на острова идут, на ледоколе «Партизан», ну и решили посодействовать хорошим людям — те им рацию починили...

— Понятно. Надо же, такой серьезный человек, Николай Николаевич...— кивнул старший лейтенант, глядя в окошко, как браконьеров ведут к другому вездеходу, поменьше.

Мело уже так, что стены складов едва проглядывали, хотя до них было не больше семидесяти метров.

Закончив писать, старший лейтенант протянул листки Смолину.

— Слышь, Петренко! — крикнул старший лейтенант в окошко конвойному.— Ты женщину с ними не сажай! Она с нами поедет!

— Да я не сажаю, товарищ старший лейтенант! — откликнулся Петренко.

— Давай ее сюда! Замерзнет!

— Не хочет, товарищ старший лейтенант! Я ей тулуп большой дал!

К их вездеходу подошел летчик, распахнул дверцу:

— В общем, так, мужики... Прогноз — плакать хочется. Если не вылетим через пятнадцать минут, то можем полететь через месяц. И ваш мыс Малый тоже вот-вот закроется.

— Заканчиваем,— сказал старший лейтенант.— Заводи свою керосинку.— И — Смолину: — Правильно? Тогда вот тут напиши: «С моих слов записано верно», и распишись внизу каждой страницы.

— Документы проверять надо! — крикнул Романцев вслед летчику.— Лысые романтики!

— Ты уж молчи,— покосился на него старший лейтенант,— самосудчик...

— А как они нас?..— повернулся к нему Романцев.

— Доказать будет трудно,— вздохнул старший лейтенант,— свидетелей-то нет. Тем более, не они стреляли...

— Ну и у них свидетелей нет! — набычился Романцев.

— Это твое, солдат, счастье... Вот смотрю я на вас, ребята, и думаю,— старший лейтенант снова вздохнул.— Вроде взрослые, старослужащие... Ну откуда у вас такое неуважение к закону?

— В каком смысле? — у Смолина даже подпись вкривь пошла.

— В том смысле. Вычислили вы этих субчиков — молодцы. Но зачем самим-то надо было наказание им устраивать? Ведь вы же прекрасно знали, что здесь милиция есть, тем более, вездеход свой у нас оставили, майор ваш нам звонил... Так нет — сами захотели. Это ведь не игрушки. А если бы ты, как тебя?.. Романов...

— Романцев, товарищ старший лейтенант.

— Так вот, если ты, Романов,— старший лейтенант был слишком увлечен, чтобы заметить свою погрешность,— зацепил бы кого? Или они вас? Что б с вашими матерями было? А, сержант, ты об этом подумал?

— У меня мать умерла, товарищ старший лейтенант.

— Да...— смутился старший лейтенант.— А взяли бы мы их чисто, теперь, вишь, они и от мехов отбрыкиваются... Хотя навряд ли, не выйдет... Что там, Петренко?! — крикнул он, увидев, как из вездехода выскочил Петренко, а за ним стали вылезать арестованные, второй милиционер.

Петренко подбежал, кашляя и отплевываясь, на ходу обернулся и крикнул браконьерам, указывая на ближний склад:

— Чтоб живо! И без глупостей! Корнеев! Проследи!

— Там, понимаете, товарищ старший лейтенант, от кого-то несет, ну мочи нет! Я и послал оправиться и почиститься!

Романцев захохотал в голос:

— Одного медвежья болезнь достала. Интересно, кого?..

— Можете быть свободны, ребята,— сказал лейтенант.— Счастливо вам задание выполнить. Но в дальнейшем советую соображать, что к чему.

Они направились к самолету, мотор его вновь гулко стрекотал. Неподалеку от вездехода старшего лейтенанта стояла Лена в громадном, полы по снегу, тулупе.

— Счастливо,— участливо сказал Степа, проходя мимо, и простодушно добавил: — И чего вы теперь делать-то будете?

Она не ответила.

Романцев миновал ее молча.

— Ждать,— наконец коротко и ясно сказала она.

...В заднее окошко Андрей видел, как милицейский вездеход, шедший сзади, остановился возле Лены, оку-

тав мутным облаком выхлопных газов. Когда через миг гарь снесло ветром, Лены на снегу уже не было. Закрылась дверца, вездеход круто развернулся и, взрывая снег траками, пошел, держа стометровую дистанцию.

Андрей понял, что не увидит ее больше никогда — очные ставки и суд, разумеется, не в счет.

Он с самого начала, с самой той встречи в метро, страшился ее потерять. Потому что любил, но гнал эту мысль, старался вообще об этом не думать. Он убеждал себя в обратном, в том, что никакой у него любви нет, что он просто-напросто взял что надо по праву сильного, единственному праву, которое он признавал в жизни. Подчинил, лишил собственного «я», заставил смотреть на мир его глазами и оценивать происходящее по его оценкам! По его ценнику, по которому она ценилась лишь как жена «капитана», а потому должна была больше всего бояться превратиться в ничто, если могущественный «капитан» оставит ее за ослушание или просто потому, что она ему наскучит.

Он ясно давал ей это понять, хотя втайне знал, что это совсем не так. Что без нее он не может. И в Заполярье он ее взял, чтобы она увидела его в деле, в силе и власти. Чтобы конечным результатом этого жестокого и опасного дела — машиной, фирменными тряпками и прочей «культурной жизнью» — окончательно и бесповоротно привязать ее, пока она не разглядела, что он, в сущности, слаб и никчемен...

А Черный с Белым поняли его с ходу. С самого начала он был «фраерок крапленый», которого не наказать — себя не любить.

В Москве после реализации шкурок, что должен был осуществить обожаемый «капитан», наступал *их* черед. И не видать ему ни «Жигуля» шестой модели, ни фирменных тряпок, ни ежедневных обедов в загородных кабаках. А может, и вообще ничего не видать — это уж будет зависеть от его поведения, как отнесется к неожиданному такому проигрышу.

Когда началась эта история с солдатами возле недостроенных складов, Черный мгновенно сообразил, что «фраер» в их руках со всеми потрохами, только его нужно заставить убить. И все! Меха он потом отдаст сам. В зубах притащит.

Так что, если разобраться, маленький мишка, брошенный в яме, о чем Андрей сожалел, казнил себя за

такую глупую, идиотскую слабинку, спас его. Хотя и доставил много неприятностей. На пять лет...

* * *

Меха, отобранные у браконьеров, втащили в комнату милиции при аэровокзале.

Каюр-орочон сортировал песцовые, беличьи и прочие шкурки. В одну сторону откладывал явно купленные, выделанные несколько месяцев назад, а в другую — свежие, битые в последние двадцать дней. Это старший лейтенант его попросил: незаконная скупка пушнины — одно, а хищнический отстрел песцов — совсем другое, и статья другая, и наказание...

«Зачем стрелял? — перебирая шкурки темными пальцами, думал старый орочон.— И этого зачем?.. И этого?.. Совсем плохой песец — летний волос падает, зимний не вырос, однако... Серый песец, грязный «чайка» зовут...»

Еще орочон вспомнил, как давно-давно дед ему говорил, что волк может человеком стать, и это хорошо — смелый человек тогда бывает, в охоте ему удача. Плохо, когда человек волком становится...

Что волк, что медведь — сколько про них рассказано и у каких народов! И у греков, и у римлян, и у китайцев, и у древних иранцев... Да и нет, наверное, народа в Европе, Азии или Америке, который не размышлял бы о них, полагая их существами волшебными, наделял их способностью к чародейству.

Ромула и Рема, легендарных основателей Рима, вскормила волчица. На Кавказе у сванов символом дружины была волчья стая. Хаттусилис I, царь хеттов, в древности живших в Северной Сирии, говорил, что его воины должны быть всегда вместе, как племя волка. Древнеславянское название волка-оборотня шло от «ведати». А кеты с орочонами сравнительно совсем недавно верили, что путь к верховному божеству знают лишь волк да ворон. Древние не сомневались, что волк может превратиться в человека, и тогда на свете появляется Великий Охотник и Вождь.

Вот когда человек в волка превращается, тогда беда! Страшнее не бывает. По индоевропейским верованиям, человек, совершивший тяжкое преступление, неминуемо становился волком. А потому не было ему жизни среди людей.

Великому Одину, верховному скандинавскому бо-

жеству и к тому же. богу войны, приносили в жертву «ставших волками». Их закалывали без жалости, потому что и они, «ставшие волками», ее не знали, вернее, забыли, предпочтя доброму сердцу и справедливости смертельный удар клыков.

Славяне, скандинавы, жители Индостана, римляне, заполярные народы, разделенные расстояниями, по тем временам невероятными, почти непреодолимыми, но какими схожими, наивными и великими понятиями владели они о тайнах природы, о взаимоотношениях человека и зверя, в которых первенство человека достигается лишь одним — человечностью...

* * *

...За иллюминатором в разрывах облаков плыла недальняя земля: тайга переходила в тундру, потом снова встречались темные острова леса. Снега, оленьи стада на бегу. Пролетели над одинокой оленьей упряжкой. Откуда было знать Мише Смолину, что это его первая встреча с Маринкой. И будет вторая, он очень будет хотеть, чтоб была третья...

* * *

Потом все исчезло в пурге, в снежных зарядах. «Аннушка» пошла вслепую. Падала в воздушные ямы, выкарабкивалась...

Пообедали мясными консервами с галетами. Пососали лимон, чтоб не укачивало.

— Якуты, эвенки, кеты с орочонами — вот охотники,— сказал Степа.— И вообще, сибирские жители... Для них охота — хлеб, без нее не проживешь. А эти... В такую даль, вишь, приехали зверей убивать...

— Тут кручи бери.— Романцев взял еще кружок лимона.— Они, гады, и нас положили бы...

— Это как пить дать,— серьезно кивнул Степа.

— А ты молодец, Степан, нет двух мнений,— серьезно сказал Романцев.— А вот бывший сержант, рядовой Романцев, прошляпил — надо было сперва оружие отобрать, а потом уже ихние тюки потрошить...

— Нет, Толя, это уже следствие,— вздохнул Смолин,— а причина — я дурака свалял: во-первых, автоматы в вездеходе оставил, а во-вторых, действительно, в милицию б надо... Слушай, Степа. Вот ты видел по следам, что мы с Романцевым разошлись... Почему ты за ним пошел, а не за мной?

— А надо было за вами? — испугался Степа.— Я хотел поначалу...
— Нет, ты все отлично сделал. Но почему?
— Так Романцев же хитрый,— облегченно улыбнулся Степа.
— А я? — полюбопытствовал Смолин.
— А вы, товарищ сержант, умный. Я и понял, что вы Романцева в засаду назначили...
— Дипломат.— Романцев подмигнул Смолину, наклонился к Степе.— Простите, ваша фамилия не Талейран?
— Шел бы ты...— Степа отвернулся к иллюминатору, в котором ничего не было видно.— Лесом...
— Я — к летчикам,— поднялся Смолин.— Летим вроде долговато. А вы тут не шалите, понятно?
— Есть не шалить, товарищ сержант! — ответил Романцев.— Степочка, что ты там разглядываешь, касатик?
— Ехидство твое,— вздохнул Степа, но от иллюминатора отвернулся.
Смолин пошел вперед, в кабину.
— Вот ведь какое дело,— зевнул Романцев,— звери живут, чтоб по ним стреляли. Им ведь все равно — кто?
— Им-то все равно, да нам не все равно,— серьезно сказал Степа.
— Это кому же?
— Людям.
— Всех не перевоспитаешь, Степа,— философски начал Романцев.— Я вот стал одного перевоспитывать, а меня на «губу»!
— Какой же ты все ж таки человек, Анатолий,— вздохнул Степа.— Нейтронную бомбу вон изобрели, а ты все на кулаки надеисси...
— Умно,— буркнул несколько смущенный Романцев.
— Как ты на них вышел, лучше скажи? — полюбопытствовал Степа.
— Медвежонок и вывел,— сказал Романцев.— Раз они его на шапку не пустили, значит, я подумал, с ними или женщина или ребенок... Ну а потом затычка хлебная в портвешке,— Романцев достал из кармана картонную гильзу, на которой тоже были следы мякиша, по всей видимости использованного вместо пыжа.— Ты раскопал, а я подобрал.

— Вот гады,— вздохнул Степа.— Как с хлебом обращаются... Чего ж ты милиции не отдал?

— На память оставил. Мы ж им координаты точные дали. Там еще четыре штуки валяются. Найдут, на то она и милиция.

— А портвейн зачем вылил?

— Чтоб злее быть,— сказал Романцев.— Да-а, только, как говорится, начал жить хорошо — деньги кончились.

— Это ты к чему? — удивился Степа.

— Да все к тому... Ленка-то все-таки человеком оказалась, а я, олух, даже адреса толком не узнал.— Романцев вздохнул: — Не везет мне что-то последнее время с бабами.

Степа уже не слушал его. Прикрыл глаза. Вспомнилось отчего-то, как он перед самой армией пришел в больницу к отцу...

СТЕПАН ПАНТЕЛЕЕВ

...Как сидел на пружинной сетке, завернув угол матраца, чтоб не касаться чистых простыней. Отец, такой же большой, скуластый, как Степа, лежал головой на высоких подушках. Из-под простыни к индикатору на стене тянулись провода. По датчику непрерывной синусоидой бежал импульс.

— Вот ты, как слесарь, скажи,— допрашивал его отец о таинствах своей любимой профессии,— какое самое маленькое отверстие можешь высверлить?

— Ну мне, как слесарю,— степенно отвечал Степан,— меньше, чем 002, не приходилось.

— Ну, 002 — это не предел...

— Я пользуюсь линейкой, она не дает мне плоскость...

— Ну как это она тебе не дает...

— Не дает. Дальше, чем на метр. Сразу ошибка. Я пользуюсь уровнем.

— Прибор, Степа, для этого есть.

— Знаю. С зеркалом.

— И не с зеркалом...

— ...С зеркалом, там микроскоп стоит,—азартно продолжал Степа.— И от него луч проходит через марку. Но точности, батя, мало..,

— Об том и речь. Небось морозцем увлекаешься? — спросил отец.

— Могу теперь и морозец,— с гордостью сказал Степа.— И японский могу, и европейский, и какой хочешь,— он пригляделся к индикатору, увидел, что часть его поверхности покрыта замысловатым узором.— И вот такой могу запросто.

Во время разговора вошла медсестра, молча села на кровать с другой от Степана стороны, стала мерить отцу давление.

— Чего-то вам не нравится,— поглядел отец на медсестру.

— С чего это вы решили? — спросила она, сворачивая брезентовую ленту.

— Так, какую-то гримасу сделали...

— Я вот сейчас сделаю гримасу, что у вас посторонние сидят,— обиделась медсестра и встала.— К ним относишься по-человечески, а они — обзываются... Молодой человек, выйдите из палаты.

— Да это сын мой...— отец постарался улыбнуться возможно добродушнее.

— Тут у всех сыновья да дочери, давайте их всех по палатам рассадим,— саркастически улыбнулась сестра.

— Его в армию забирают,— сказал отец.—Попрощаться пришел...

— Ты... знаешь? — удивился и испугался Степан.— А мама... чтоб я тебе не говорил...

— Молодой человек... чтоб не волновать... выйдите из палаты...

Отец сделал быстрый жест рукой: давай, мол, иди.

— Не боись, Степан,— сказал отец.— Дождусь тебя. Два года — не срок...

Он протянул Степе руку, тот пожал ее и встал.

— А чего это,— настороженно спросил Степа, показывая на индикатор и пятясь к двери,— он у тебя прыгает?..

— Когда, молодой человек, он не прыгает,— сказала медсестра,— а ровной линеечкой идет, тогда под белой простыней вывозят. Да вы выйдете, наконец? — она распахнула дверь в коридор.

Степа, весь красный и стараясь на нее не

смотреть, дошел до двери. Обернулся, бросился к отцу. Они обнялись.

— Ты только род наш не срамоти,— бормотал отец.— Слышишь, Степка?..

Медсестра у двери стояла непоколебимо.

— ...Степа! Степан! Степушка-а-а! — раздалось из форточки на втором этаже, когда Степан уже вышел на улицу. Он обернулся: из форточки высовывался отец в женском пальто на плечах. Медсестра придерживала одной рукой пальто ему у горла, а другой прощально махала Степану.

— В отпуск приезжай! — срывающимся голосом крикнул отец.— Слышишь, Степка?! Да пиши!..

— ...А еще отец любил, особенно, когда я еще маленький был, но уже соображал,— сказал Степа Романцеву,— поставит перед собой, и чтоб я всех дедов-прадедов своих перечислял, с именем-отчеством и кто чем занимался...

— Ну? — удивился Романцев.— И много ты их знаешь?

Степа было настроился рассказывать, но самолет сильно тряхнуло. Затем еще. Вновь пошли воздушные ямы, к разговорам не располагающие. За иллюминаторами — белое, несущееся, крутящееся струями, как закипающая мутная вода...

* * *

От летчиков вышел расстроенный донельзя Смолин.

— Вроде подъезжаем? — осведомился Романцев и посмотрел на часы.

— Обратно,— бросил Смолин и бухнулся на скамейку рядом.

— Это в каком смысле? — Романцев даже приподнялся.

— В таком, что сесть не можем. Буран до Малого Медвежьего достал. Распаковывайся,— сказал Смолин Романцеву.— Доложимся начальству.

* * *

— ...Что ж им передавать-то, раз погоды нет,— хмуро переспросил майор Лесников стоявшего перед ним радиста.— На усмотрение командира группы сержанта Смолина... Вот он, эпсилон чертов, как себя оказывает.

— Что, товарищ майор? — остановился возле дверей радист.

— Ничего...— пробурчал Лесников.— Идите, говорю.

* * *

— Да-а...— протянул Романцев.— Я говорил: надо было навешать им от души, а милицию с воздуха вызвать...

Из кабины вышел второй пилот, подошел к ним.

— Давно замело? — спросил Романцев и ткнул пальцем в дюралевый пол.

— Только что,— ответил летчик.— Думали, успеем. Прорвемся.

— Вот! И я про то же! — Романцев зло прихлопнул по колену.— Сейчас бы загорали себе спокойненько...

— А вы не сможете сесть не на аэродром, а поближе к порту? — Смолин поднял глаза на летчика и добавил умоляюще: — Ну как-нибудь, а?

— Как-нибудь не умеем,— недовольно сказал летчик.— А хорошо, может, и выйдет.

И пошел в кабину.

— Зачем тебе порт? — Романцев пожал плечами.

— Еще не знаю.— Смолин устало прикрыл глаза.— Все-таки лучше, чем «руки в гору» и домой топать...

* * *

...«Партизан» — небольшое судно, что ходило с материка на острова с геологическими и изыскательскими партиями, с промысловыми охотниками и прочим трудовым северным людом, медленно пробирался во льду. Крупные льдины обходил, мелкие расталкивал. На корме были кучно сложены конструкции буровой вышки, оборудование под брезентом.

Романцев выскочил из камбуза с дымящимся противнем в руках. Влетел в пассажирский салон. Бухнул противень на стол, предусмотрительно застланный газетами. На противне шипели два огромных куска мяса.

Со скамей начали подыматься буровики, рабочие. Весело раздували ноздри, потирали руки, глядя на противень.

— Вам, Николай Николаевич, как старшему,— Романцев протянул свой штык человеку лет сорока пяти, с обветренным востроносым лицом и рыжей челкой, постриженной по давно забытой моде.

— Благодарю за доверие,— улыбнулся тот, взял второй нож у своих и принялся резать мясо.

Романцев наклонился над спящим Степой.

— На помост вызывается,— раскатисто, как информатор на больших соревнованиях, произнес Романцев,— Степан Пантелеев. Штангой занимается...

— Канифоль где? — пробормотал Степан, сел, пошарил перед собой руками, как слепец, ничего не нашарил и открыл глаза.— А мне чего-то приснилось...— сказал он смущенно.— Вроде первенство началось...

— Калории твои вон уже шипят,— Романцев мотнул головой на противень с жареным мясом.— А насчет первенства...— он безнадежно махнул рукой.

— Неправда,— сказал Степа.—Мне майор обещал...

Машина «Партизана» стучала напряженно, с ясно слышимым трудом... Нос судна упрямо лез на ледяное поле. Соскальзывал назад. Снова лез, и наконец зелено-голубая трещина змеилась к противоположному концу льдины. Половинки медленно расходились. Судно ходко шло по свободной воде. До льда.

— Слушай, Анатолий,— поев, сказал Степа.— А если на корабле чего-нибудь сломается в дороге, как тогда?

— Тогда рыб кормить,— меланхолично ответил Романцев.

— Не, я серьезно. Должно ж у них вроде мастерской быть для механических и слесарных работ? Хоть небольшая, да?

— Наверно... А тебе на кой?

— Поглядеть хочется,— Степа посмотрел на свои широкие ладони с жесткими мозолями от штанги.— Я перед армией с отцом слесарил. Он знаменитый на весь Тобольск слесарь, отец-то, к нему из Новосибирского академгородка приборы возят, чтоб отладил. Не веришь?

— Верю,— пожал плечами Романцев, занятый своими мыслями.

— И дед, Павел Петрович, отца отец, тоже по металлу работал. А первым прадед в Тобольск пришел, Петр Лукич, еще до революции, ружья чинил. Остальные Пантелеевы все охотниками были, промысловыми. Соболя брали, белку, медведя. А еще в самые давние времена, аж при батьке Петра Первого, пришел в наши края казак Пантелей, дружка Семейки Дежнева, и женился на бурятке. От него мы, Пантелеевы, и пошли. Видишь? — Степа показал на свои выступающие скулы, на глаза с раскосинкой.— У нас в роду многие

на бурятках женились. Очень хорошие люди— буряты...

Романцев тем временем разглядывал себя в зеркальце, которое достал из нагрудного кармана.

— Ничего не могу понять...— проговорил он наконец.

— А что? — спросил Смолин.

— Почему мне с бабами не везет? — пожал плечами Романцев.

* * *

В ходовой рубке «Партизана» над картой склонились сержант Смолин и капитан, плотный, краснощекий, выбритый до матового блеска.

— Ох, сержант, сержант...— с видимым неудовольствием вздохнул капитан.— Упрям ты, да без толку. Таких-то у нас в Сибири не жалуют, не любят...

— А я за любовью не гонюсь..

— Кто ж за ней гонится...— грустно усмехнулся капитан.— Она сама найдет,— он сделал непривычное ударение на первом слоге.— Вот коли не будет ее, тогда худо,— его толстый кривой палец ткнулся в карту, в который раз обвел по абрису дерево-гриб, остановился.— Вот он, твой мыс Малый, так? Вот мы,— он указал точку на противоположной от мыса стороне дерева-гриба.— Нам до него еще пилить да пилить. И проходы между островами битым льдом забиты. Да туман вот-вот падет. Хорошо еще, что штормить перестало...

— Что ж делать? — без всякой надежды спросил Смолин.

— Терпеть,— пожал плечами капитан.— Ждать.

— Чего?

— У моря погоды,— грустно улыбнулся капитан.— Слыхал такие слова?

— У нас приказ, товарищ капитан,— устало сказал Смолин.— Может, хоть скорость можно прибавить?.. Ведь времени у нас нет...

— Сержант, милый,— капитан даже руки к груди прижал для убедительности.— Все про приказы знаю, сам воевал... Да крыльев-то у нас нету. Ведь мы не самолет.

Михаил долго смотрел сквозь смотровую, прозрачного оргстекла стенку рубки — нос «Партизана» то глубоко уходил в черные волны, то взмывал вверх к белому небу. Водяные всплески то и дело били в стекло. Реальной оставалась только качка.

* * *

— Я и говорю: каких еще вам доказательств надо, когда уже сейчас в Сибири самая мощная добыча нефти и газа по Союзу! — увлеченно говорил Николай Спиридонов.— А в Тюмени, я вам не доказал?.. А они: даже, мол, если ты нефть на островах и найдешь, то разрабатывать сейчас ее никто не будет.

— Это почему же? — спросил Романцев.

— Дорого, мол, больно. А я говорю: не дороже, чем Нефтяные Камни в Баку, для данного района, конечно...— Спиридонов понизил голос и показал глазами на своих.— Хорошо еще, ребята мне верят...

— Николаич,— к ним подошел широкоплечий бородатый Петрович.— Рация опять барахлит...

— Черт побери. Все думаю: ерунда получилась.— Спиридонов в смущении крепко потер голову.— С виду вроде приличные такие хлопцы... Из Москвы, мол, охотоведы... Ну как тут было не посодействовать, ведь я тоже москвич родом... А их Андрей даже рацию вот нам чинил...

— Я б его сам починил,— Петрович хмуро сжал пудовый кулак,— пакость такую...

— Это, пожалуй, капремонт был бы,— усмехнулся Романцев.— Так в чем проблема, мужики?

— Связался бы ты, парень, по своей рации с нашей базой,— просительно глядя, сказал Петрович.— Время подошло. Не то там ругаться станут.

— Сделаем,— кивнул Романцев.— Только командиру скажем...

— Строг? — спросил Петрович.

— Жуть,— ответил Романцев.

— Однако без строгости нельзя. Ведь я про что,— неожиданно серьезно начал бородатый Петрович.— Мы тебе, Николай Николаич, конечно, верим, но и ты нас не обмани... Чтоб как договорились: коли пусто, нефти нет — сразу айда домой. Так или нет?

Спиридонов согласно покивал.

На узком трапе — с верхней палубы в пассажирский салон — вначале появились мокрые сапоги, затем тускло блеснула поясная бляха.

Романцев, глядя, как устало клацают смолинские подковки по ступенькам трапа, как Смолин зло хряснул шапку о колено, сбивая снег, тихо сказал Спиридонову:

— Полный привет... Или я ничего не смыслю в людях.— И Степе: — Твои шансы стать чемпионом резко поднялись вверх.

Спиридонов вопросительно взглянул на Смолина — тот безнадежно махнул рукой.

— Да-а...— протянул Романцев и смаху ухватился за поручень — судно тяжело тряхнуло волной.— «Он получил, чего не ожидал», как пелось в одной шутихе...

— А ты не получил? — раздосадованно огрызнулся Смолин.

— Я получил другое.— Видно было, что Романцев давно готов был к этому разговору.— Я получил приказ: в составе группы сержанта Смолина достичь мыса Малого для выполнения спецзадания. Кто виноват — как любил спрашивать известный писатель Чернышевский Николай Гаврилович,— что достичь указанного места не удалось? Метеоусловия виноваты. И кое-что другое, но это относится исключительно к принципиальности сержанта Смолина, и мы пока это опустим. Что делать? Как спрашивал тот же писатель. Вернуться в часть — нет двух мнений. А я который час кувыркаюсь на этой лайбе, и еще неизвестно, сколько буду кувыркаться.

— «Кто виноват?» — это Герцен написал,— сказал Спиридонов.

— Ну да,— нахально подтвердил Романцев.— А я как сказал?

— Терпи, казак,— Спиридонов сочувственно тронул рукав Смолина.— Временный неуспех есть неизбежный путь к успеху — так у нас говорят...

Смолин молчал, отвернувшись к стене. Очень хотелось плакать от полной несправедливости случившегося.

— Да вы светлый оптимист, Николай Николаич...— усмехнулся Романцев.

— Ну да,— серьезно согласился тот.— А пессимистам нефть искать — гиблое дело.

* * *

Он был упрям, Колька Спиридонов.

В сорок шестом, когда ему было лет девять и он жил в Москве, у Покровских ворот, он вызвал стыкаться весь свой двор — всех одиннадцать пацанов от девяти до четырнадцати. Колька тогда был слабее слабого, его дразнили доходягой и ханурком, и ему частенько

доставалось, не со зла, а просто так. Он сам себе становился противен, когда, хныча, упирался лбом в прохладное железо водосточной трубы в углу двора. И однажды он понял, точнее, почувствовал, что так дальше продолжаться не может, не должно, иначе противное ощущение собственной слабости и полной зависимости от чужой злой воли останется навсегда. Это уж он потом, повзрослев, так то чувство сформулировал, а тогда он просто подошел к самому главному во дворе по прозвищу «Пупа» и, ударив босой ногой в лужу, окатил его с ног до головы. На такое ЧП сбежался весь двор. Пупа, грязно ругаясь, отделал его под орех, но на этот раз он не хныкал и не бежал в угол к трубе, а, выругавшись впервые теми же, малопонятными, жуткими словами, вызвал весь двор на бой.

Неписаный кодекс драки тогда, в далеком послевоенье, соблюдался строго: семеро одного не бьют, лежачего не тронь, биться до первой «кровянки»... Поэтому тут же решено было стыкаться с Колькой по очереди. Кинули на спичках, кто за кем. И со следующего дня начали.

Лупили весело, смеху ради. Колька приходил домой весь в синяках, на вопросы испуганной матери не отвечал. Отец Колькин, капитан Николай Яковлевич Спиридонов, лежал на кладбище в Белграде.

Каждый день Колька вел очередного противника в развалины соседнего дома, куда летом сорок второго угодила немецкая пятидесятка. Там Колька сполна получал свое и долго лежал на груде битых кирпичей. Со двора в уши ему летели веселые крики его противников, слышался перебряк консервной банки по асфальту, заменявшей футбольный мяч. Он не плакал. Просто не хотелось вставать...

Но как-то ночью мать проснулась от его плача.

— Больно, сынок? — спросила она, пересаживаясь к нему на кровать.

— Страшно, мама...— мелко стуча зубами в ознобе, прошептал Колька.— Очень страшно... И драться ведь я не люблю...

— Да кто ж тебя? — мать еле сдерживалась, чтоб самой не заплакать.— За что, Коленька? Скажи, не бойся... Я в милицию... А хочешь — комнату поменяем... Уедем отсюда...

Но Колька больше ничего не сказал. Отвернулся к

стене. Мать до утра сидела подле него и, беззвучно плача от собственного бессилия, едва касаясь, гладила его стриженую голову...

Постепенно веселье во дворе стало утихать — то ли надоело, то ли Колька стал приобретать боевые навыки и сладить с ним стало не так легко и безопасно, а кто и просто зауважал его, в общем, ребята уже не прочь были помириться, но Колька был неумолим...

Наконец круг замкнулся: наступила очередь Пупы, самого главного Колькиного обидчика.

Они пришли в развалины. Пупа блатновато прищурился и сунул руку в карман клешей — всем было известно, что у Пупы там свинчатка. А Колька вдруг улыбнулся щербатым от предыдущих сражений ртом. И в его улыбке было такое презрительное бесстрашие, что Пупа растерялся и не вынул руку со свинчаткой. А когда Колька шагнул к нему, по-боксерски прикрыв подбородок левым плечом и продолжая улыбаться, Пупа сплюнул ему под ноги и... стал карабкаться по битому кирпичу, хватаясь за покореженные взрывом двутавровые балки перекрытий и уныло матерясь.

Тогда Колька впервые узнал уважительное признание окружающих. В эти дни ощутил в себе силу и теперь знал, что дорого это стоит, порой даже дороже бесценных материнских слез...

* * *

Снег повалил гуще. «Партизан» шел по кромке огромного, до горизонта, ледяного поля. Откуда-то сверху, как драный занавес, стали опускаться клочья тумана. «Партизан» тоскливо заревел.

Романцев работал на рации в маленьком закутке возле пассажирского салона. Вслушивался в наушники, записывал на листке.

— Что? — спросил, войдя, Смолин.

Романцев посмотрел на командира, вздохнул.

— Нефтеразведчикам. Их начальство приказывает им возвращаться. Немедленно.

— Та-ак...— протянул Смолин, обескураженный этой новой неожиданной бедой.

— И плакал наш мыс Малый горючими слезами,— продолжал Романцев.— Ведь нам с ними заворачивать придется.

— Это уж как в банке,— пробормотал Смолин.

* * *

— ...Вот так номер...— только и смог сказать Спиридонов, прочитав текст радиограммы.— «Нефтеразведка островов закрыта министерством. Немедленно прервав рейс возвращайтесь базу»... Ребята! — глаза его лихорадочно заблестели.— Это ж ошибка! И я докажу... Это большая ошибка, ребята. Теперь уговор! Моим,— он кивнул на салон,— ни полслова. Пусть все идет, как идет. А по ходу я соображу, что делать...

— Я знаю...— сказал Смолин.

— Что?

— Сказать,— помолчав, проговорил Смолин.

— Кому?

— Им,— Смолин кивнул на салон.

— Что вы...— Спиридонов, смущенно улыбаясь, сел рядом со Смолиным.— Они ж, конечно... Ведь чуть не год, как без дома...

— Тем более, значит, они весь этот год верят вам.

— Вы поймите,— начал убеждать его Спиридонов,— все откладывается минимум на год... Вся моя работа, все надежды. Да что на год — лет на пять... Да... Если мы пойдем назад, то ведь и вы с нами, а как же ваш приказ?!

— Сами скажете? — Смолин встал. Казалось, во время этого разговора он сам принял важное решение.— Или мне сказать?

Спиридонов отвернулся, встал. «Что же это,— горько подумал он.— Всему конец?.. Опять ходи по кабинетам, доказывай, что ты не верблюд?..»

* * *

...«Партизан» стоял у ледяного берега, часто вздыбленного торосами. Трап покачивался над самым льдом.

От «Партизана» уходил лыжник — это был Смолин с вещмешком, автоматом и рацией за спиной. Он так решил, а по-другому решить не мог, да и не хотел.

— А он у вас, Толя, случаем, не того? — К Романцеву, стоявшему у трапа, подошел Спиридонов.

— Нет,—ответил Романцев.

— Тогда чего ж вы с ним не пошли?

— Он велел возвращаться с вами,— ответил Романцев.

— А-а...— как-то обидно, как показалось Романцеву, протянул Спиридонов.

— А-а — это в каком смысле?

— Это в смысле того, когда не того...— Спиридонов повернулся и пошел к лесенке трюма.

* * *

...Романцев догнал Смолина в тот момент, когда «Партизан» дал прощальный гудок и пошел разворачиваться в обратный путь — нефтеразведчики Спиридонова возвращались на материк...

— Давай рацию,— сказал Романцев.— А Степка пусть возвращается. У него первенство и все такое. И охота ему с этими железками валандаться, а?

Смолин поглядел на Романцева и вдруг обнял его.

— Вот еще,— шмыгнул носом Романцев,— нежности какие... Ты хоть куда идти, знаешь?

— Тут самое узкое место полуострова... Километров шестьдесят. Мы проходим его насквозь и выходим почти у самого мыса Малого.

— А время? А погода?

— Мы будем знать, что сделали все, что смогли.

* * *

...Степа стоял на корме и, тяжело вздыхая, смотрел, как удаляются в белую пустыню две фигурки. Как становятся все меньше... Как исчезают за торосами... Появляются... Вот их уже и не видно...

И тут Спиридонову вдруг вспомнилось далекое, сорокалетней давности. Как после очередного «боя» он шел от развалин к себе во двор. У овощного магазина сгружали с полуторки первые арбузы. Один из грузчиков замешкался, арбуз выскользнул и, стукнувшись об асфальт, раскололся с сухим треском. Грузчики, весело дивясь на его синяки, крикнули, что отдают ему арбуз, и он принял это как должное, как знак уважения иного, взрослого мира, где, как думалось, все справедливо, как Победа, и прекрасно, как майский салют.

Тогда он не пошел во двор, а сел на бульваре, выгрызал добела корки и прикладывал их к своим горящим синякам.

Здесь, на бульварной лавочке, он понял, что необязательно победить — главное, чтоб перестало быть страшно...

* * *

Потом был долгий путь по торосам. Обход трещин, подло припорошенных снегом и совершенно не заметных

в сумерках. Подъем по склону берега, крутому, как стена пятиэтажного дома, и скользкому, как наледенелая детская горка.

* * *

...Майор Лесников, сидя на тахте, натянул меховые сапоги, застегнул ремешки на голенищах. Встал, притопнул несильно.

— Ты уже пришел? — сонно спросила жена из соседней комнаты.

— Я уже ухожу,— ответил майор, затягивая ремешок портупеи.

Вышел в переднюю. Посыльный, тот самый боксер, что доставил столько неприятностей Романцеву, вытянулся, козырнул.

— Что там? — спросил майор, снимая с вешалки полушубок.

— Синоптики, товарищ майор, антициклон обещают...

— И только-то? — у майора даже рука в рукаве застряла.

— А еще вас командующий, товарищ майор... К прямому проводу...

— С этого б и начинал,— майор, уже одетый по форме, распахнул дверь в пургу.

* * *

...Но они шли. Согнувшись в три погибели под напором бурана. Ложились в снег. Затем кто-то из них вставал первым. Поднимал товарища. Сил уже не было. Но они шли...

Звон... Смолин приподнялся на локте. Зажал уши рукавицами. Звон прекратился. Открыл — звон. Колокольцы...

Подполз Романцев. Показал рукавицами на уши — перекрикивать буран не было ни сил, ни желания. Смолин понимающе кивнул.

— Значит, помираем, Мишка...— прохрипел Романцев.

А из мятущегося белого — белое, звенящее...

* * *

— ...Связь со спецгруппой была пять часов назад. С борта судна «Партизан», товарищ «Первый»... Нет... С тех пор молчат...— майор Лесников, косясь на трубку,

морщился.— Так точно, товарищ «Первый». Я знаю, что они должны быть в эфире в 10.21. Вижу, товарищ «Первый», что осталось 3 часа 42 минуты... Нет, лететь им не на чем...— И, прикрывая мембрану ладонью: — Сивак!.. Что там у этих лоботрясов за антициклон опять?! В общем, готовь спасателей и на всякий случай десантников опять! — Потом снова в телефон: — Да я понимаю, товарищ «Первый». Да объясните же там, что это Север, тут по-другому не бывает...

* * *

...Ярко горел костер. Оленья шкура, натянутая на шесты, заслоняла огонь и их самих от мятущейся вьюги. Белая рубашка и двое безымянных оленей паслись на опушке карликового, неправдоподобно изогнутого леса. Побрякивали нашейные ботала — это их звон услышали ребята в белой пурге. Маринка, в нарядной ягушке, расшитой орнаментом, помешивала в котелке деревянной ложкой на длинной ручке.

— ...Отец в меховом ателье работал... Он меня все к себе водил, меха разные учил различать, а мне что-то жалко этих зверей было, которые шкурками висели,— глядя на огонь, рассказывал Смолин.

Ноги его были укутаны шкурой, а сапоги на колышках сушились возле костра.

— Однако, что жалеть? — спросила она.— Шкура и есть шкура. Когда плохо сделана, пропадает... Тогда жалко, правда...

— Пацан был наивный...— грустно усмехнулся Смолин.— Ну вот... Короче говоря, месяца через полтора после похорон отец женился... На тете Лизе, материной лучшей подруге...

— Хорошо,— вдруг кивнула она.

— Ага,— кивнул Смолин.— Очень. Оказалось: мать год болела, а у них... полным ходом... Они, культурно выражаясь, роман крутили... Один раз прихожу домой, недели через две, как мать померла,— он за столом сидит, перед ним бутылка пустая. А раньше не пил. На столе фотографии материны, порванные на мелкие клочки, и где одна и где с ним.

— Нехорошо, однако,— сказала она.

— Я, как увидел, ошалел, болтаюсь, как воробей по конюшне...

— Как это? — она высоко подняла бровь.

— Да не в этом дело...— отмахнулся Смолин.— Глав-

ное, Марин, я ему про фотографии ничего не сказал... Представляешь? Вот номер. Как вспомню — от злости аж в ушах звенит...

— А у нас тоже обычай был,— сказала она, зачерпнув ложкой варева,— если старший брат умрет, то младший на его жене женится, его детей растить помогает...

Смолин удивленно посмотрел на нее, помолчал и продолжал:

— Надо, думаю, самому кусаться, а то заедят... Ну, вот, пишет он мне аккуратно каждую неделю, а я рву. Второй год... Послушай, а почему тебя зовут так странно?

— Маринка — чего ж тут странного? — улыбнулась она.— По-гречески — Морская. И я море люблю.

— А наш майор говорит: «Не надо путать северное побережье Черного моря с южным побережьем Белого. Это две большие разницы». Это когда кто-нибудь что не так сделает.

Она засмеялась, потом спросила:

— Ты когда обратно?

— На днях.

— Мы тут до весны каслать будем,— сказала она.— На Севере так: если один раз в жизни человека увидел, уже говорят: а, этот, я его знаю... Если два раза — это уж старые приятели, друзья,— она отчего-то смутилась.

— Как мы с тобой,— улыбнулся он.— Я вон тебе всю жизнь выложил, сам не знаю почему.

— Это, наверно, потому, что мой прадедушка шаман был,— сказала она.

— Ну? — удивился Смолин и опять улыбнулся.— Наверно, потому...

— Нет,— грустно сказала она.— Не потому — ты просто думал меня больше никогда не увидеть. Как люди в поезде, все про себя рассказывать любят.— Поставила перед ним варево.— Пей из ложки. Сильным будешь. Долго не устанешь...

— А что Толи-то долго нет? — забеспокоился Смолин.

Маринка прислушалась:

— Уже скоро будет. С Алю едет, нам важенок ведет. Тебе повезло, что стойбище рядом. Собаки сильно волноваться стали, я так и подумала, что кто-то в буране плутает...

— Должно ж когда-то и повезти.

— Сейчас важенок вместо быков запряжем,— перевернула нарты полозьями на снег.— Они быстрее.

Ветер ударил незащищенный теперь костер — пламя прижалось к снегу.

Смолин подошел разбросать костер.

— Мы зимой огонь не гасим,— сказала она.— Может, сгодится кому...

— Господи,— пробормотал Смолин, глядя, как отсветы костра пляшут по Маринкиному лицу, как ярко блестят раскосые глаза.— Бывают же такие красивые... Я думал, только в журналах...

— А-а! — отмахнулась Маринка.— Ну их, твои журналы!

— Что так?

— Все одно пишут... Какие мы дикие были...

Из метельной круговерти вывернули нарты, рядом с каюром сидел Толя Романцев, за нартами бежала тройка оленьих самок, важенок.

— Какие дела, командир?!

— Нормалек, Толик! — весело откликнулся Смолин.

* * *

...Нарты неслись во весь дух. Пролетали мимо огромного черного креста, лишь верхнее перекрестье торчало над заснеженной сопкой.

— Это кто же?! — крикнул Смолин сидящей впереди Маринке.

— Моряки какие-то,— отвечала она.— Давно было!

Вдалеке показалось заваленное снегом по крышу зимовье.

* * *

В окно зимовья был виден огромный красный диск солнца, низко висящий над снегами.

— Это ж надо — закон подлости,— бурчал Романцев, настраивая рацию.— Солнышко... Стоило горбатиться. Сел да прилетел...

— Уже,— сказал Смолин, внося охапку поленьев.

— Чего? — не понял Романцев.

— Летят.

Романцев выскочил на улицу — один самолет уже выбросил технику на грузовых парашютах. Появился второй с десантниками.

— Выходит, мы... зазря...— проговорил Романцев и вдруг, неожиданно для себя самого, заплакал — по-дет-

ски кривя губы и размазывая слезы рукавом. Затем схватил пригоршню снега и стал яростно тереть лицо...

Романцев ворвался в избу, бухнулся на колоду, заменяющую стул, и принялся крутить ручки настройки, бормоча при этом:

— Мы все равно кой-чего докажем... А то какую моду взяли — сели, да прилетели, да прыгнули, и все девки млеют... Все, командир. Я на волне. Хоть на полчаса, а раньше их в эфир выйдем!

— Нельзя, Толя,— тихо сказал Смолин.— Наш выход в 10.21, через сорок минут.

* * *

...В самолетной темени над люком вспыхнул желтый сигнал: «Приготовиться». Коротко взревнула сирена. Пошли в стороны створки люка.

Зеленый сигнал!.. Сирена!! Невыносимая!!!

Гудит дюралевый пол под ногами бегущих к люку. Головой вперед — как в детстве с обрыва. Один за другим. А первых уже крутит в голубом воздушном потоке, оранжевыми огоньками вспыхивают вытяжные парашюты. Раскрываются купола основных. И через несколько мгновений все подразделение — длинноющая цепочка куполов. Как поплавки гигантского невода, заброшенного в солнечную синь.

Люк бесшумно закрывался. Темно, пусто в самолетном брюхе, как в доме, из которого все ушли. Борттехник высадки в белом шлеме идет неспешно вдоль тросов, протянутых под потолком, убирая вытяжные фалы, которые только что крепились к парашютам тех, кого уже здесь нет...

* * *

Лахреев с рацией за спиной подбежал к зимовью. Распахнул сапогом дверь зимовья и застыл изумленный:

— Вы... откуда, ребята?

— На вопрос «откуда» напрашивается ответ: от верблюда,— мрачно посмотрел на него Романцев.— Это первое. Второе: надо сказать «здрассте» дядям.

— Здорово,— растерянно пробормотал Лахреев.

— Можно и так,— кивнул Романцев.— Только не надо путать южное побережье Белого моря с северным побережьем Черного. Понятно?

— А чего я... путаю-то? — Лахреев все еще не мог прийти в себя от неожиданной встречи.

— Ты дверь не закрываешь.

Лахреев повернулся к двери, но закрыл ее, как говорится, с другой стороны. Выскочил из зимовья:

— Товарищ лейтенант! Там какие-то солдаты... С рацией.

— Что за солдаты? — строго спросил лейтенант.

Лахреев только плечами пожал.

— Ты, Лахреев, не цыганка — плечиками играть,— еще строже произнес лейтенант.— Ты — десантник и должен был выяснить, кто находится на объекте, а уж потом докладывать.

Лейтенант взбежал по ступенькам крылечка.

При виде офицера Романцев и Смолин вскочили. Вытянулись.

— Кто такие?

— Гвардии сержант Смолин!..

— Гвардии рядовой Романцев!..

— Документы.

Придирчиво сверил фотографии с лицами.

— Что вы здесь делаете?

— Вас, товарищ лейтенант, ждем,— сказал Смолин, глядя в сторону.

— Нельзя ли яснее выражаться, сержант?

— Разрешите, товарищ гвардии сержант, обратиться к товарищу гвардии лейтенанту? — очень официально произнес Романцев.

— Обращайтесь.

— Яснее, товарищ гвардии лейтенант, не скажешь,— продолжал Романцев.— Как увидели ваш самолет, так и ожидаем, когда вы приземлитесь и в эфир выйдете. А то, что мы двое суток по сугробам да по морям — по волнам корячились — это, конечно, не в счет...

— Значит, вы и есть группа майора Лесникова,— догадался лейтенант.— А вас уже спасатели ищут. Чего ж вы сами в эфир не выходите? Что-нибудь с рацией?

— Нам приказано выйти в эфир отсюда, с мыса Малого, в 10.21,— Смолин взглянул на часы,— через семнадцать минут.

Лейтенант молча пожал им руки и вышел.

На крыльце затопотали, обивая снег. Ввалились Лахреев и второй радист, стянули лямки раций.

— Присаживайтесь, голубки,— вздохнул Романцев, указывая на лавку под окном.

— Товарищ лейтенант просил: можно, они тут пока постоят, а то мороз,— сказал Лахреев.

Смолин молча кивнул.

Десантники составили рации в углу у порога и вышли.

— А лейтенант у них ничего себе...— сказал Романцев.

* * *

— ...Служим Советскому Союзу, товарищ майор! Прием,— сказал в микрофон Романцев и подмигнул Смолину: вот, мол, мы с тобой какие. Но от дальнейших слов майора лицо его вытянулось.— Вас понял, товарищ майор. Отбой.

— ...Ну, майор благодарит, и все такое...— растерянно сказал Романцев, снимая наушники.— И говорит еще...

— Ну? — не выдержал Смолин.

— Что нам с тобой приказано остаться здесь... До особого распоряжения. Выходить в эфир каждые полчаса.

* * *

На радиомасштабных картах разных штабов, больших и малых, в квадрате 47 дробь 9 появился условный значок радиомаяка...

А где-то, с большого аэродрома, один за другим стартовали тяжелые самолеты. Шли над облаками эскадрилья за эскадрильей.

— Штурман,— говорил радист,— Малый маячит...

Штурман сверял курс... Поправлял, если надо было.

Специальные машины расчищали взлетную полосу от снега и льда — тяжело ревя, поднимались новые эскадрильи.

* * *

...Давно минул «хольонок-кып», месяц пальца на рукавице, с самым коротким днем, когда женщина только палец на рукавице успевает сшить. И другие месяца зимние минули.

Молодой день белой стрелой прогнал ночь, синюю старуху. По-кетски — время весновки наступило. Лупурэли — по-эвенкийски. Алое солнце выпорхнуло.

Длиннющих три месяца с лишком жили ребята в полярной тьме. Пока радиолокационную станцию не сбросили, смену не прислали. Вездеход тоже парашютом спустили.

Толя Романцев последние дни перед уходом в часть пропадал у сменщиков в сборном домике, в маленьком

закутке-мастерской. Смолин знал, что Романцев выпросил у локаторщиков пластинку из нержавейки и трудился над ней напильником, выбивал керном, но не спрашивал, что и зачем — раз Толя делает, значит, надо.

...Наконец они получили приказ возвращаться в часть. Вездеход уходил от зимовья. С крыльца махали вслед солдаты — те, что останутся здесь вместо них. Рядом с зимовьем стоял теперь сборный домик, на сопке вращалась антенна радара.

— Кто у тебя, Миш, прадед был? — глядя в триплекс, спросил Романцев.

— Прадед? — переспросил Смолин, ошарашенный неожиданным вопросом. — Дед, я знаю, под Ленинградом погиб...

— Я тебя про одного, а ты мне про другого.— Романцев махнул рукой.

— Что это с тобой?

— А действительно, что со мной? — невесело усмехнулся Романцев.— Все хорошо... Восьмой класс кончил: родители — магнитофон-стерео. Работать пошел — отец с матерью: нам денег твоих не надо, купи себе мотоцикл. Купил мотоцикл. Эх, девочки веселые, портвейн-портвешок... Сто грамм не стоп-кран, дернешь — не остановишься... Из армии приду, отец собирается машину взять... Ну, купим машину...

— Да к чему ты? — Смолин вгляделся в необычно серьезное лицо товарища.

— К тому, что Пантелеев вон про своих знает,— грустно сказал Романцев.— И мы про своих знать должны.

Смолин долго смотрел в печь, как чернеют дрова, превращаются в жаркие уголья, рассыпаются в прах...

— Надо у отца поспрашивать,— наконец проговорил Смолин.

— Помириться решил? — изумился Романцев.

— Даже и не знаю... Пока мы здесь, все думаю...

— А отцу сколько?

— Скоро шестьдесят... То-то и оно,— поднял глаза на Романцева.— А может, они не так уж виноваты?.. Так получилось — и все...

— А фотографии чего он рвал?

— Кто его знает? Может, стыдно стало... А ты с Инкой своей что думаешь делать?

— А чего с ней делать? Она сама все наделала.

На вершине крутого склона берега, сверкающего от множества стекавших по нему струек талой воды, высил-

ся большой черный крест. У подножия изъеденная ржавчиной до дыр пластинка — букв не разглядеть.

Романцев притормозил:

— Я быстро, командир!

Смолин вышел за ним. Романцев, увязая выше колен, подобрался к кресту, достал из-под куртки светлую стальную пластину, из кармана отвертку и шурупы.

— Я сколько раз сюда ходил,— сказал Романцев, ввинчивая шурупы,— все буквы не мог разобрать... А год так и не разобрал...

Смолин прошагал по Толиным следам, помог привинтить, орудуя штыком.

Бросили руки к ушанкам.

На пластине было выбито:

«Лейтенанту флота князю Ростовцеву с экипажем фрегата «Св. Анна». Отечество вас не забудет».

* * *

— Домой всегда ветер попутный! — Романцев вновь взялся за рычаги.

— Слушай, давай маленький крючочек сделаем? — Смолин смущенно и просительно посмотрел на Романцева.— Сначала к тому лесу... Ну, где... Колокольцы, помнишь?.. Где спасли нас...

— Как же, как же... Значит, вариант «мы поедем, мы помчимся» все ж таки существует?..— усмехнулся Романцев.— И ты думаешь, что твоя Маринка все торчит там? Как пенек?

— Ты болтай поменьше,— обиделся Смолин.— И поезжай, куда тебе приказывают.

— Так бы сразу, товарищ сержант, и сказали.— Романцев шмыгнул носом и дал газ.

К концу дня они доехали до опушки стелющегося леса, где три с лишним месяца назад Смолин рассказывал про свою жизнь кетской девчонке Маринке. Вокруг было еще полно снега, истоптанного оленями, покрытого твердым крупчатым настом. Возле кучки сушняка чернело пятно кострища.

— Вот и костер наш,— тихо проговорил Смолин.

— Ваш, как же,— пробормотал Романцев.— Уж тут жгли-пережгли...— но затормозил.

Они вышли, подошли к кострищу.

Романцев, сам не зная зачем, пнул носком сапога головешки. Они разлетелись, поднялось облачко золы.

— Эй, Миш!..— он присел над кострищем, подул: среди черноты и серой золы слабо заалели два уголька.

— Мы, она говорила, костер зимой не гасим,— проговорил Смолин, обламывая и подкладывая маленькие веточки на угольки.— Может, говорит, сгодится кому...

— Тогда я тушенку тащу,— сказал Романцев, направляясь к вездеходу.— Рубанем от души!

Весело трещал огонь. Шипела тушенка в банках. Котелок с закипающей водой дымил паром... Вдруг из-за недальней сопки — ракеты: красные, зеленые, белые...

Поднявшись на сопку, они увидели примерно в полукилометре буровую вышку, из которой хлестал черный фонтан, по снегу растекалось черное слякотное пятно, в котором топтались, обнимались люди. Поодаль чернобородый лупил вверх из двух ракетниц сразу.

— Сержант! Сержа-ант! — услышали они знакомый голос.

К ним бежал Николай Спиридонов — радостный, донельзя чумазый.

— Ах, ребята... Сержант, милый ты мой! — обнимал он Смолина, блестя мокрыми глазами.— Видал эту дрянь черную?! А?! — Он тыкал рукой по направлению к буровой.— Попалась!.. А помнишь, сержант, как нервишки-то у меня? Телеграммку-то хотел тю-тю?..

— Я запомнил другое — как вы тогда говорили,— улыбался Смолин, стирая со своей щеки нефтяное пятно,— что неудача есть нормальный путь к удаче...

— Точно! — и Спиридонов снова обнял его.— Главное, чтоб стало нестрашно, сержант.

— А с островами, значит, завязали? — спросил Романцев.

— Наоборот,— отвечал Спиридонов.— Здесь же структуры такие же, как на островах. Пусть теперь только попробуют: где, мол, доказательство? А я их сразу за шкирку и сюда: разуй глаза, дядя!

Чернобородый Петрович все лупил из ракетниц. В черной луже плясали чумазые счастливцы.

* * *

...Мотор вездехода взревел. Гусеницы рванули твердый наст.

Смолин обернулся, поглядел на черное кострище, на оспины оленьих следов на снегу, освещаемые разноцветными сполохами веселых ракет...

«Вот почему они ушли отсюда»,— подумал он.

* * *

...Через несколько часов на улице военного городка Романцев остановил вездеход. Насадил резиновый шланг на трубу водоразборной колонки. Принялся качать, а Смолин смывать крепкой струей грязь, чтобы машина пришла в часть в приличном виде.

— Толя! — услышал он знакомый голос.

Обернулся — через улицу к нему шла Инка Батракова, из-за которой начались у него неприятности с любителем бокса. Судя по свободному платью, ребенок у нее должен был появиться месяца через два. Ей было восемнадцать лет.

— Спасибо тебе, Толя,— потупясь, сказала она.— Мы с Игорем вчера расписались. Ваш командир разрешил.

— Ну и дура! — буркнул Романцев.

— Почемуй-та? — удивилась Инка.

— Потомуй-та!..— передразнил Романцев.— И вообще, гони его, и чем быстрее, тем лучше.

— Как это — гони? — Инка не могла в толк взять.— А зачем же ты его... тогда?!

— Дурак был,— мрачно сказал Романцев.— Такие вещи кулаками не решают...

— Ты на меня сердишься, да, Толь? — потерянно спросила Инка.

— А чё мне? — пожал плечами Романцев.— Вольному воля, храброму поле, спасенному рай.

— Я так виновата перед тобой, Толечка-а-а...— она заплакала тоненько, совсем по-детски.

СОЛДАТЫ

Перед воротами КПП Романцев нетерпеливо засигналил. Было высунулся пожурить нерасторопного дежурного, но, увидев, что на дежурстве тот самый боксер Игорь, промолчал, лишь посмотрел строго. Игорь сморгнул, вздохнул и на всякий случай зашел за створку ворот...

* * *

На плацу было пыльно и солнечно. Гулко топотала сапогами строевая. По газонам уже проклюнулась зелень.

Они стояли перед Лесниковым, теперь уже подполковником.

— Ну и как? — спросил подполковник Лесников.

— Отлично отдохнули, товарищ подполковник,— улыбнулся Смолин.— Целых три месяца плюс двое суток туда, обратно не считается. Хотелось бы послужить...

— От лица командующего и от себя,— Лесников покосился на свои погоны,— объявляю вам благодарность!

— Служим Советскому Союзу! — в один голос сказали они.

— Романцев,— Лесников достал из кармана и протянул Толе погоны с золотыми сержантскими лычками,— это тоже от меня... Только не надо путать...

— Северное побережье Черного моря,— подхватили они,— с южным побережьем Белого...

— Это две большие разницы! — Лесников наставительно поднял палец вверх.— Идите, а то ваш дружок Пантелеев все глаза проглядел. Сутки отдыхайте.

* * *

— ...Ты первенство-то свое выиграл? — спросил Романцев Степу после долгих объятий, хлопанья друг друга по спине и прочих выражений чувств.

— Какое...— улыбаясь, отмахнулся Степа.— Я ж тогда знаешь как переживал, что с вами не остался?.. Так мой отпуск и накрылся.

— Какой отпуск? — поинтересовался Романцев.

— Домой,— вздохнул Степан.— Какие отпуска бывают.

— Так ты за отпу-уск...— протянул Романцев и подмигнул Смолину.

— Ну да,— простодушно подтвердил Степа,— обещали, если, конечно, первенство выиграю. Дом чинить надо, а отец болеет. Крышу перекрыть, и все такое... А штангу я, вообще-то, совсем не люблю: только жиры нагуливаешь да пуп рвешь...

— А чего ты мне про дом не сказал? — спросил Смолин.— Я б кого другого взял!

Степан вдруг широко, ясно улыбнулся:

— А мне чего сегодня приснилось: будто мы с отцом ставни на окнах красим. И краска такая веселая, голубая...

На плацу строились солдаты, там прохаживался прапорщик Сивак.

К Степе подбежал солдат Саша, у которого когда-то Степа реквизировал калорийную колбасу, передал ему новенький щегольский чемодан и помчался в строй.

— Это ты куда ж? — поинтересовался Романцев.

— В отпуск, говорю,— сказал Степан, любовно оглаживая чемоданную кожу.— Вишь какую красоту принесли...

— Ни черта не понимаю! — рассердился Романцев.— То ты едешь, то ты не едешь...

— Чего ж тут не понять? Мать подполковнику Лесникову написала. Вчера письмо пришло, и он сразу: десять суток, не считая дороги.

— А ты что ж сам у него не попросился? — спросил Смолин.

— Просить, Миша, неприятно,— очень серьезно сказал Степа.— Мы, Пантелеевы, очень просить не любим. А мать — женщина, ей можно...

— Мы — Пантелеевы...— передразнил Романцев.— Тоже мне князь Ростовский.

— При чем тут князь-то? — удивился Степа.— У нас все так-то. До десятого колена свой род помнят.

Тем временем к строю подошел подполковник Лесников.

— Равня-ась! Смирр-о! — раскатисто прокричал Сивак.

— ...Мне нужно пятнадцать человек. Добровольцы!..— долетел до них голос Лесникова.— Шаг вперед!

Весь строй шагнул дружно.

— Отставить! — сказал Лесников.— Повторяю: мне нужно пятнадцать человек.

— Встать, что ли? — Романцев с хрустом потянулся, подмигнул Смолину.

Направились к строю.

Пантелеев посмотрел им в спины и пошел с чемоданом к казарме.

Подполковник Лесников строго посмотрел на Смолина и Романцева, которые встали на правый фланг, но чуть впереди основного строя.

— Я ж приказал вам отдыхать! — строго сказал Лесников.

— Так мы же с отдыха, товарищ подполковник! — улыбнулся Романцев.

— Спички есть? — внезапно спросил подполковник.

Романцев достал коробок, отдал Лесникову.

— Будете жребий тянуть! — сказал подполковник Лесников, запалив и тут же загасив спичку.— У кого горелая — становится к сержантам Смолину и Романцеву.

Из казармы выбежал Пантелеев без чемодана и встал рядом с товарищами.

— А отпуск? — спросил Смолин.

— Хорошо ж ты обо мне понимаешь...— обиделся Степа.— Вы вон опять кудай-то идете, а я буду пельмени в Тобольске лопать...

* * *

А на сибирских реках с грохотом, подобным орудийной канонаде, ломался лед.

Сталкивались льдины, лезли друг на друга, запирали ревущую, мутящуюся воду. Грохотали взрывы, уже настоящие — рвали заторы. Вода несла в океан лед, вековые деревья и все, что удавалось унести...

Обнажались крутые берега. Трубили олени-быки и сходились в смертных поединках из-за важенок. Медведь таскал лапой снулую от долгой подледной темени рыбу...

В одно такое весеннее утро Белая рубашка мощным ударом груди сломал загородку и ушел в тайгу, уведя с собой в тайгу трех лучших важенок. Маринкин отец неделю гонялся за ним, но так и не догнал...

ЮРИЙ КЛАРОВ

ЛАРЕЦ ВРЕМЕНИ[1]

(Легенды о часах)

— Поклонник детективного жанра,— не без ехидства сказал Василий Петрович Белов, глядя мимо меня,— начал бы, конечно, это повествование с убийства и ограбления весьма известного среди ценителей старины московского антиквара. Рассказал бы о различных версиях, о поисках бесследно исчезнувшего преступника, о слухах. Затем он сообщил бы, как через год после событий, взволновавших Москву, в Баварии покончил жизнь самоубийством король Людовик II. Не слишком углубляясь в обстоятельства, при которых это случилось, рассказчик, все более и более заинтриговывая читателей, намекнул бы на некую связь между тем, что произошло в России и Баварии. А затем, сделав вид, что начисто забыл про самоубийство и убийство, пригласил бы читателей посетить вместе с ним двор Иоанна Васильевича Грозного... Любитель исторических легенд (а ими — и любителями и легендами — история весьма богата) начал бы со звездочета, врача и механика Иоанна Васильевича Грозного голландца Бомелия, из-за которого, по мнению москвичей, «на русских людей царь возложил свирепство, а к немцам на любовь преложи». Впрочем, скорей всего, он бы начал это повествование не с «лютого волхва дохтура Елисея», а с созданных им при помощи черной магии «волшебных» часов, которые якобы предрекли царю смерть. Что же касается специалиста, то он бы, разумеется, не вспоминал ни про убийство, ни про Людовика II. И уж наверняка бы с презрением отвернулся от всяких сказок о смерти Иоанна Грозного, от Бомелия, его предсказаниях и волшебных часах. Легенды, предания, досужие выдумки... Все это чепуха. Главное — законы истории и законы механики. Только они имеют значение. Как и положено уважающему себя специалисту, задумавшему или уже написавшему кандидатскую диссертацию, он, разумеется, начал бы с истории вопроса. Он бы популярно объяснил, что древнейшими приборами для определения времени являлись гномоны — простейшие солнечные

---

[1] Из цикла «Рассказы старого антиквара».

часы, а также водяные часы, которые в те далекие времена полностью удовлетворяли скромные потребности человечества. Позднее появились колесные часы, а к концу пятнадцатого века — пружинные. Затем он убедительно доказал бы, что если существование Иоанна Грозного ни у кого не вызывает сомнения, то с «волшебными» часами дело обстоит совсем иначе: «волшебных» часов нет и никогда не было, а были только хорошие часы и плохие, причем плохих всегда было почему-то значительно больше...

Белов улыбнулся и спросил меня:

— Какой же из этих трех вариантов вы бы предпочли: первый — детективный?

— Безусловно,— подтвердил я.— Поэтому вы, вероятней всего, начнете с третьего, то есть с версии специалиста?

— Нет,— покачал отрицательно головой Василий Петрович.— Этот рассказ я начну с четвертого варианта.

— То есть?

— С большой комнаты в нашей квартире, которую отец шутливо именовал «Ларцом времени». В ней находилось более двухсот часов...— Василий Петрович закурил трубку.— Коллекционером нельзя стать. Коллекционером надо родиться. А я родился обычным ребенком. Поэтому, хотя значительная часть моей жизни прошла в музеях, я никогда и ничего не коллекционировал, если, понятно, не считать этих вот историй, которые я вам время от времени рассказываю. Но коллекционеры, которых я знал, всегда вызывали у меня глубокое уважение. Я относился к ним с тем же благоговением, что и к волшебникам, хотя в отличие от кудесников они в Красной книге, куда заносят исчезающие виды, пока еще не значатся. Более того, судя по тому, как увеличивается число музеев, коллекционеры процветают.

Сколько этих музеев и каких только нет в них экзотических коллекций!

...В Мюнхене вашу любознательность удовлетворит великолепный музей игральных костей. В Стамбуле — музей истории ислама, где вы можете полюбоваться «священным зубом пророка», несколькими волосками из «его» бороды и «личным» письмом Магомета к правителю Эфиопии.

А ежели вы окажетесь в Англии, то обязательно посетите город Тринке, который прославлен основанным здесь миллионером Чарльзом Ротшильдом грандиозным

музеем. Возможно, этот музей и не вызовет у вас приятных эмоций, но ошеломит наверняка. Это музей вшей, в котором экспонируется около двух тысяч разновидностей этих милых насекомых, досаждавших еще древнегреческим героям и философам, бесстрашным рыцарям средневековья и их прекрасным дамам...

Мне думается, что каждый из этих — и сотен других — музеев имеет, как принято говорить, право на существование. Игральные кости высвечивают одну из граней человеческой натуры — чувство азарта. Удовлетворяют они и эстетическим потребностям; среди экспонатов попадаются подлинные произведения искусства, созданные талантливейшими мастерами. Кроме того, как известно, кости и карты послужили толчком к созданию теории вероятностей, и этот факт вызывает к ним невольное уважение.

Не стоит презрительно относиться и к насекомым из собрания Чарльза Ротшильда. Ведь они не только наблюдали за историей человечества, но и вмешивались в нее, что порой вело к некоторым прогрессивным преобразованиям. Во всяком случае, имеются сведения, что именно они «покончили» с Суллой, безбожно терроризировавшим своих сограждан, и отправили к праотцам королей Филиппа Второго и Фердинанда Четвертого, чем заслужили законное право на благодарность...

Итак, коллекционеров следует приветствовать. Но при всем том свою шляпу я сниму все же только у входа в Лувр, Эрмитаж или в музей часов. Тут уж я ничего не могу с собой поделать: часы — моя слабость...

Иногда мне даже кажется, что человечество — в случае крайней необходимости, понятно,— вполне обошлось бы без какого-либо шедевра живописи, а вот без часов — вряд ли... Часы для меня — символ жизни и прогресса.

Жить без времени и вне времени нельзя. Время — наш благодетель и наш палач. Оно бесстрастно и неподкупно, мудро и справедливо.

«Все мои владения — за одну минуту жизни»,— сказала, чувствуя приближение смерти, английская королева Елизавета.

Придворные забегали вокруг постели умирающей повелительницы. Как им хотелось поднести ей на золотом блюде, украшенном драгоценными камнями, не одну-единственную минуту, а час, сутки. Шутка ли, королева готова отказать все свои владения! Только настенные часы в спальне даже не вздрогнули и не замедлили свой

равномерный безостановочный бег. Им не нужны были земли английской короны, корабли королевского флота, казна... И они не кичились своим бескорыстием. Они просто и скромно выполняли свой долг перед вечностью и людьми.

Время — одно и то же для всех. Напрасно суетитесь, благородные леди и лорды! Напрасно, совсем напрасно. А вы, ваше величество, приготовьтесь к смерти. Время вам не подвластно. Вы слышите меня? Эта секунда — последняя секунда в вашей жизни. Тик-так... Прощайте, ваше величество!

С помощью приборов, созданных тысячи лет назад, человечество определяло время сна и бодрствования, великих открытий и великого позора, благословенные часы любви и вдохновения, часы слез и смеха, подвигов, войн, созидания и разрушения.

Глупцы думали, что время можно обмануть. Мудрецы смеялись над ними. Они понимали: это безнадежно.

Вы знаете, что такое клепсидры? Так называли водяные часы, созданные в глубокой древности. Простейшие из них очень напоминают песочные. Капля за каплей вытекала вода из маленького отверстия, сделанного в дне сосуда. Такими клепсидрами в Риме и Древней Греции измеряли выступления ораторов. И глупые подкупали служителей клепсидр. За золото хранители времени так сильно суживали отверстие на дне сосуда, что подкупивший мог говорить в два раза дольше других. Но ни Демосфен, ни Цицерон никогда не прибегали к подобным трюкам. Поэтому они и стали великими ораторами. Они знали: если оратор не убедил людей короткой речью, то длинной лишь вызовет их раздражение. И вообще, что такое длинная речь? Это кража времени у себя и у слушателей. А такая кража — самая тяжкая, ибо можно возместить все, кроме похищенного времени...

Часы водили кистью Рафаэля, пером Льва Толстого и смычком Паганини.

Они подгоняли великих творцов, напоминая им о том, что время быстротечно и его нельзя вернуть.

«Помните о смерти и торопитесь»,— говорили они.

И творцы торопились сделать на земле все, что им было предначертано.

Они разрабатывали философские системы, сочиняли музыку, создавали романы, осваивали новые методы лечения людей, учились летать, писали картины и опуска-

лись на дно океана. Исследовали микрокосмос и макрокосмос.

Личная жизнь?

«Имеющий жену и детей искушает судьбу: это — препятствие для великих предприятий...» — сказал Бэкон, прислушиваясь к голосу жены и глядя, как движется по кругу стрелка часов.

И умирают холостяками: Адам Смит, Гоббс, Спиноза, Кант, Лейбниц, Бойль, Дальтон, Юм, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Гендель, Бетховен, Мендельсон, Мейербер...

Комфорт? Удобства? Условия для работы?

Тикают часы, и Сервантес пишет в мадридской тюрьме «Дон-Кихота». А когда ему не на что купить бумаги, он записывает свои мысли на обрезках кожи.

Смерть?

Совсем не вовремя. Но что поделаешь! Надо торопиться. Кто знает, сколько у меня еще осталось минут! И Моцарт умирает, держа перед собой партитуру «Реквиема». Его дрожащая рука указывает на одну из нот, а губы стараются выразить особый эффект турецкого барабана.

До последней минуты сочиняет Россини свою «Торжественную мессу», которая впервые исполняется на его похоронах.

Часы и люди... Об этом можно было бы написать философский трактат. Но вернемся к «Ларцу времени».

...Отец стал коллекционировать часы еще мальчишкой. Началось с того, что как-то в день ангела дед подарил ему пять карманных часов времен первой французской революции. Это были необычайные часы. Их задача заключалась не столько в том, чтобы показывать время, сколько в том, чтобы засвидетельствовать политические симпатии своих владельцев. Тогда во Франции по прическе, одежде и часам определяли политическую принадлежность граждан: якобинцы, например, носили длинные белые панталоны, синие фраки с острыми фалдами, синие плащи и красные фригийские колпаки. Волосы у них были длинные и гладкие. Они не пользовались пудрой. На крышке их часов чаще всего красовалось изображение гильотины — сурового стража революции; термидорианцы предпочитали фрак с закругленными фалдами, короткие, по колено штаны и высокий зеленый галстук. Они носили часы-луковицы с цепочкой, украшенной многочисленными брелоками; что же касается роялистов, то

те свято придерживались моды последних лет монархии. Приверженцы короля пудрили и тщательно завивали волосы, а из-под короткого жилета у каждого из них свисали по обеим сторонам живота цепочки двух карманных часов с изображением лилии или золотой королевской короны...

Вскоре к дедовским часам присоединились подаренные теткой два гномона (солнечные часы). Один из них, судя по стрелке, указывающей направление к Мекке, был в давние времена сделан правоверным мусульманином — видимо, арабом. Другой же гномон, цилиндрической формы, легкий и изящный, с некоторыми элементами готического стиля, по мнению часовщика тетки — ничем, впрочем, кроме рассуждений, не подтвержденному,— являлся детищем самого Альбрехта Дюрера (великий немецкий живописец, гравер и скульптор очень увлекался гномоникой).

Затем дед купил отцу в подарок на ярмарке десять веселых и ярких, как бабочки, «ходунцов», или «екальщиков», изготовленных в Звенигородском уезде Московской губернии кустарями деревни Шарапово. Были «екальщики» с кукушкой, с звонкоголосым петухом, с медведем, который каждый час высовывался из берлоги. На одном из «екальщиков» красовалось что-то вроде астрологического календаря с соответствующими таблицами, из которых легко было узнать, когда следует «кровь пущать, мыслить почать, жену любить или бороду брить».

Другой «екальщик», сделанный тем же мастером, прославлял грамматику: «Кто книжная писмена устраяет, или стихи соплетает, или повести изъясняет, или послании посылает... то все мною, грамматикою, снискает».

На ярмарке были приобретены и бронниковские карманные часы, которыми отец всегда очень гордился. Бронников, вятский часовщик, вместе со своими сыновьями изготовлял деревянные карманные часы, в которых не было ни одной металлической детали. Из жимолости он делал стрелки, из бамбука — пружинки, корпус вытачивал из березового нароста, так называемого капа, на шестеренки шла пальма. Рассказывают, что первым владельцем таких часов был Александр Второй. Будучи еще наследником русского престола, он приобрел их на вятской губернской торгово-промышленной выставке. А заинтересовал этими часами устроителей выставки Алек-

сандр Иванович Герцен, у которого тоже были бронниковские часы, но не карманные, а настольные.

Не знаю, как вели себя бронниковские часы у императора и Герцена, но у отца они прослужили около семидесяти лет. Срок для часов немалый. В сутки они отставали на минуту. Грех жаловаться и на «екальщиков». Вон, полюбуйтесь!

Белов показал на стену, где весело размахивали ажурным маятником голубые часы в форме избушки.

— Будто молодые, а? А ведь им, голубчик, за сто. Неграмотный кустарь делал — Ферапонт Савельевич Качкин.

К тому времени, когда отец торжественно вручил мне ключ от «Ларца времени», Качкина уже в живых не было. А заветный ключ я получил в третьем классе гимназии. То ли отец решил поощрить мои успехи в науках, то ли пришел к выводу, что я созрел для того, чтобы оценить его коллекцию,— не знаю. Но как бы то ни было, а ключ оказался у меня. И я, разумеется, тут же им воспользовался.

«Ларец времени» ошеломил меня.

Как завороженный, я застыл перед витриной, где покоились на подушечках вделанные в серьги, перстни и кулоны испанские часы шестнадцатого и семнадцатого веков; самых разнообразных форм карманные часы: круглые, квадратные, многоугольные, в виде арф, тюльпанов, корон, толстых монахов; часы с миниатюрными портретами, натюрмортами и жанровыми сценками на крышках, отделанные эмалью, серебром, перламутром, фарфором.

Я не мог оторвать глаз от изящных каминных бронзовых часов, изображавших прекрасную Пандору с шкатулкой, в которой заперты человеческие несчастья. Мчится, будто в предчувствии беды, по циферблату, вделанному в шкатулку, секундная стрелка. Секунда, вторая, третья... Еще мгновение — и откинет Пандора крышку, а из шкатулки вылетят все людские беды. Останется в ней на дне лишь надежда, которая отныне будет заменять людям счастье...

Рядом с этими часами — другие, тоже каминные и тоже из бронзы. Они изображают готовящегося взлететь со скалы орла. Скала, в центре которой циферблат часов с одной часовой стрелкой, густо покрыта медальонами с разноцветной эмалью. Это гербы русских городов и губерний.

Плывет по серебряной воде золотой варяжский корабль под парусом с семью гребцами — это герб костромичей. У пермяков — серебряный медведь на красном фоне. Идет себе мишка не спеша и несет на спине золотое евангелие. На серебряном щите герба Иркутской губернии — черный бобр, держащий в зубах соболя. У богатых рыбой саратовцев и герб соответствующий — три серебряные стерляди на голубом щите многоводной Волги. У тамбовцев — серебряный улей и три пчелы. А на гербе Тобольской губернии — атаманская булава, на которой украшенный драгоценными камнями крутлый щит Ермака, да казачьи знамена на острых древках...

И чего только не было в «Ларце времени»!

Модель часов, установленных в Московском Кремле в 1404 году, когда, отсчитывая часы, бил, подчиняясь чудодейственному механизму, молот по колоколу. «Не бо человек ударяше,— объяснял летописец,— но человековидно, самозвонно странноле̇пно...»

Модель часов с органом, соловьем и кукушкой, которые сделал для любителя и коллекционера часов, первого царя из рода Романовых Михаила, мастер Мельхерт, за что и получил невиданное по тем временам вознаграждение — три тысячи рублей.

Часы-диорама, изображающие средневековый замок, часы-кубок; часы львовского мастера семнадцатого века Каминского, где на зубцах каждой шестеренки гравюры; «астрономические часы» русского умельца Ивана Юрина; часы в виде трехглавой церкви с мелодичным звоном миниатюрных серебряных колокольчиков...

Воспользовавшись отсутствием отца, который был в гостях, я допоздна засиделся в этой чудодейственной комнате. Мне казалось, что я не пропустил ничего более или менее примечательного. А на следующий день, когда отец поинтересовался моими впечатлениями, выяснилось, что на самое главное я как раз и не обратил внимания...

Во-первых, часы Аракчеева, удостоившиеся чести попасть в энциклопедический словарь, и часы первой, и покуда последней, женщины на посту президента русской Академии наук Дашковой, которые такой чести не удостоились. И теми и другими часами отец очень гордился.

Что касается часов графа Аракчеева, то ни они сами, ни их умилительная история особого впечатления на меня не произвели. После смерти в 1825 году Александра I Аракчеев заказал часы с бюстом своего благоде-

теля одному из лучших часовщиков Парижа. Часы были сделаны без особой выдумки, но добротно и со вкусом. Раз в сутки, около одиннадцати часов вечера (то есть в то время, когда Александр I скончался), они исполняли молитву «Со святыми упокой».

Самым примечательным в этих часах было выложенное бронзой в нижней половине циферблата число «1925».

Дело заключалось в том, что в 1833 году Аракчеев, желая увековечить Александра I, а заодно и себя, внес в государственный заемный банк весьма солидную по тем временам сумму — пятьдесят тысяч рублей. До 1925 года эти деньги вместе с начисленными на них процентами никто не имел права трогать. А в 1925 году три четверти образовавшегося капитала должны были быть выплачены в качестве премии тому, кто напишет лучшую историю царствования Александра I. Четверть же предназначалась на достойное издание этого труда...

Но в двадцать пятом году претендентов на эту премию, естественно, уже не было. История всех русских самодержцев, в том числе и Александра I, в 1917-м была полностью и окончательно завершена Великой Октябрьской революцией.

Ну а часы княгини Дашковой, вернее, не столько они сами, сколько то, что предшествовало их изготовлению, ошеломили меня.

В 1780 году Екатерина Романовна Дашкова, которая больше всего на свете не любила бросать деньги на ветер, просматривая счета академии, ужаснулась расходам на спирт. Между прочим, спирт отпускался и на какие-то человеческие головы, которые якобы хранились в подвале академии.

Желая уличить жуликов, Дашкова приказала, чтобы эти головы были немедленно доставлены к ней. И... приказание княгини тут же было выполнено.

Что за головы? Чьи? Откуда?

Узнать это удалось не сразу.

14 марта 1719 года в Петербурге близ Петропавловской крепости была казнена Мария Гамильтон.

Камер-фрейлина Екатерины была признана виновной в убийстве своего новорожденного младенца. Когда палач сделал свое дело, голову ее было приказано поместить в спирт...

Вскоре к первой голове присоединилась вторая, такая

же красивая. Но на этот раз мужская. Имя Анны Монс, фаворитки Петра Первого, на которой царь одно время собирался жениться, известно хорошо. А вот ее брату Виллиму Монсу в этом смысле повезло значительно меньше. Впрочем, не только в этом смысле...

Монс верил и в свою судьбу, и в оккультные науки. Он носил на руке четыре, по его мнению, волшебных перстня: золотой, оловянный, железный и медный. Первый, судя по записям Монса в дневнике, был перстнем мудрости. Второй — оловянный — должен был принести своему владельцу богатство. Железный — помочь преодолеть возникающие на жизненном пути трудности. А медный перстень красавца был залогом успехов в любви. Трудно сказать, какой именно перстень помог Монсу в 1716 году стать камер-юнкером при дворе Екатерины, известной в истории как Екатерина Первая. Вскоре он был уже влиятельной персоной, перед которой многие заискивали.

7 мая 1724 года Петр короновал Екатерину, и Виллим Монс с удовольствием слушал лестную для царицы речь Прокоповича в Успенском соборе: «Ты, о Россия! Не засвидетельствуеши ли о богом венчанной императрице твоей, что прочиим разделенные дары Екатерина в себе имеет совокупленные? Не довольно ли видиши в ней нелицемерное благочестие к богу, неизменную любовь и верность к мужу и государю своему...»

Медный перстень, перстень удач в любви, подсказывал фавориту, что начинается новая ступень в его возвышении. И действительно, в том же месяце он становится камергером. Но... вскоре Монса арестовывают. Его, разумеется, обвиняют не в излишней любви к повелительнице, несколько превосходящей похвальную любовь верноподданного, а в «плутовстве» и «противозаконных поступках», что, видимо, тоже соответствовало действительности. И 16 ноября 1724 года Монса казнят, а голову любителя оккультных наук приказано заспиртовать...

По свидетельству Мордовцева, обе головы, обнаруженные Дашковой в подвалах академии, были продемонстрированы Екатерине Второй, а затем навечно закопаны в погребе Кунсткамеры. Вскоре Дашкова получила в подарок от мастеров академии часы в виде богини правосудия с весами в руках. На одной чаше весов находилась Венера, любующаяся красотой стоящих перед ней мужчины и женщины. А на другой — плаха и палач с топором. Чаши весов были уравновешены...

— Итак,— сказал я,— во-первых, вы не обратили внимания на часы Аракчеева и Дашковой. А во-вторых?

— А во-вторых, я не придал никакого значения столику, который стоял в простенке между двумя окнами. Между тем этот столик предназначался для часов, которые отец начал разыскивать еще до моего рождения и за которые готов был отдать всю свою коллекцию.

— Что же это были за часы?

— Не торопитесь, голубчик. Приготовьтесь лучше к путешествию. Мы сейчас с вами отправимся по следам легенды в Москву 1584 года, потому что легенда связывает эти часы со знаменитыми часами уже упомянутого мной Бомелия. Впрочем, при дворе Иоанна Грозного мы долго не задержимся. Ну как, готовы к путешествию? Тогда в путь!

* * *

Ни на что не был похож этот год, последний год царствования на Руси царя и великого князя Иоанна, по батюшке Васильевича, а по прозванию Грозного, одного из последних царей из дома крестителя Руси Владимира.

Уже наступил март, а зима и не думала униматься.

Хлещет ветер по плотно закрытым ставням приземистых домов, валит заборы, будки сторожей у бревен колод, перекрывающих улицы от лихих людей, ломает деревья.

Просвистев над валом Землянного города, в неуемной свирепости своей обрушивается он на толстые кирпичные стены и башни Великого посада, а ныне Китай-города.

Не под силу ему стены. И, забив снегом бойницы всех четырнадцати башен Китай-города, тараном бьет он по воротам.

Не смиряется и перед Теремным дворцом самого Иоанна Васильевича Грозного...

Нет-нет, а и застонут под его свирепым натиском не только Курятные, Колымажные или Воскресенские ворота дворца, но и Золотые, с башнею, на вершине которой двуглавый царский орел, а на стенах образа святые.

Злой он к святым образам. Все их с башни оборвал да и на снег бросил.

А почему?

Тут и дурак сообразит.

Неспроста морозы и метели. Вершит сие душа злого чернокнижника, дьявольского механика и дохтура царя

Иоанна Васильевича, «немчины Бомелея», казненного Грозным.

Это он ветром высвистывает, снегом кидается, иконами швыряется да морозом московских людей, будто тараканов, вымораживает.

Все небо застил злой еретик. Сумрачно над Москвой и тревожно. А вглядись в снежную круговерть — и увидишь его богомерзкую рожу. Кривляется и язык свой змеиный, раздвоенный, православному народу показывает. Дразнится да грозится: «Уж доберусь я до вас! Ох доберусь! У-у-у!»

Что будешь делать?

Ни святым крестом его не утихомиришь, ни колоколами церковными. Плюнет Бомелий снегом — и все. Ишь как воет на сто голосов! А говорили — помер. Может, и помер, да не вконец, ежели такое вытворяет.

Большую власть имел при царе «дохтур Бомелей». Уж на что Малюта Скуратов у Иоанна Васильевича в почете был, а и тот при дохтуре не куражился. Что шепнет Бомелий, то Иоанн Васильевич и выполнит. Наворожил ему Бомелий про бунты кровавые на Руси и совет дал убежище у аглицкой королевы Елизаветы за морем искать. Иоанн Васильевич и написал ей письмо: так, дескать, и так, сестра любезная, хочу для сохранения жизни своей в Лондон приехать. Той, понятно, лестно. Приезжай, пишет, и живи сколько захочешь. Только бог не допустил, чтобы Русская земля осиротела. В России остался Иоанн Васильевич.

Много крови по наветам свирепого волхва пролито. Ежели бы ту кровь всю собрать и в Неглинку влить, красной бы стала та речка и из берегов своих вышла.

А тут и присоветовал ему Бомелий ядом недругов истреблять.

Семь дней и семь ночей варил то зелье искусник дьявольский. Да так его изготовил, что всем на удивление. Не просто люди помирали от зелья, а помирали в тот час, какой Иоанн Васильевич укажет. Не позже и не раньше. Скажет, на утренней заре — преставится на утренней. Скажет, на вечерней — преставится на вечерней.

И, когда отравленный в муках отходил, волшебные часы злого волхва начинали кудахтать; будто курица над яйцом.

Долго свирепствовал чародей и часовщик при Иоанне Васильевиче Грозном. Однако пришел и его черед.

То ли опасался Иоанн Васильевич, что Бомелий мо-

жет свое зелье не только другим, но и ему самому в питье подмешать, то ли донес кто на волхва, что ворует он против государя и имеет тайную переписку со злейшими врагами Иоанна Васильевича, а только приказал царь и великий князь в 1575 году своим верным слугам незамедлительно и безволокитно схватить Бомелия и бросить в темницу. А тот уже почуял беду и ударился в бега, не забыв зашить в подкладку зипуна «воровское золото», да был опознан во Пскове и в цепях доставлен в Москву.

Пытали волхва не всенародно, на площади, а в царском застенке. Спервоначала, как положено, выворотил ему палач руки да ноги. Проволочными плетьми спину в решеточку изрезали. А затем на углях пекли чародея. Другой бы криком кричал, а он — нет, ни звука. Будто не под его ногами уголья, а под чужими. Заговоренный был, потому и молчал. Молчал, когда Грозный повелел его казнить, зажарив на огромном вертеле. А его часы, что в Теремном дворце находились,— те не молчали. Нет, не кудахтали те часы — стонали. И катились по звездчатому циферблату капли алой крови, будто не волхва пытали, а его машину дьявольскую.

Пожалел Иоанн Васильевич часы чудные, не пожалев колдуна. Но не в смирении помер злой еретик, лютеранин. Проклял он своего бывшего благодетеля и многое страшное предрек ему. А часы Бомелиевы все поддакивали своему хозяину: «Так, так, так, так, так...»

Сказал Бомелий, что ждут великие неудачи Иоанна Васильевича в его ратных делах в Ливонии. Дескать, и Полоцк отдаст врагам, и Великие Луки, и многие иные города.

«Так, так»,— квакали часы.

И сына старшего, любимого, наследника престола, потеряет царь. И не от лихоманки тот помрет, не со сглазу, не в бою, а от руки своего отца.

«Вон как!» — сказали часы.

А еще сказал Бомелий, что не долго жить царю, что помрет он в марте 1584 года, о чем волшебные часы знак дадут. Но в какой день помрет Иоанн Васильевич и какой знак часы дадут, того Бомелий по злобности своей указать не схотел — помер.

И так повернулось, гласит народная молва-легенда, что все, о чем говорил под пыткою еретик, стало сбываться. И неудачи ратные. И смерть сына от отцовской руки.

Да, все, все предсказания Бомелия исполнились. И к

1584 году Иоанн Васильевич тяжко заболел. Съехались в Москву лекари, а вместе с ними и волхвы. Лекари лечили. Попы да монахи молились. Волхвы меж собой спорили: под чьим покровительством находится царь — Солнца или Луны. А бояре — те выжидали...

Нет, не зря из метельной круговерти подмигивал православным продавший черту душу «дохтур Бомелей». Не зря. Знал звездочет, что смерть уже где-то неподалече.

Проскочила, верно, безносая вместе с ветром через Фроловские ворота в Кремль. Взобралась неслышно на крыльцо Красное и уж по Святым сеням, а то и по Большой Золотой палате бродит.

А может, уж и в покоевых хоромах озорница — в Крестовой палате или в опочивальне царя-батюшки, где на витых столбиках под шатром его кроватка стоит?

Воет. Надрывается. Криком кричит метель. Улюлюкает, грозится: «Что, испугались? Я вас!..»

В смятении и страхе затаились люди московские. О завтрашнем дне не загадывают — пережить бы сегодняшний.

Только в царских дворах да в Теремном дворце будто ничего и не ведают. То ли не слыхать здесь, что за стенами творится, то ли слышать не желают.

На Сытном дворе, где в тридцати погребах да в сытной избе всякие питья хранятся, да виноград, да орехи, да фрукты разные, будним делом работные людишки заняты. И в пивоварне не сидят сложа руки, и в браговарне, и в квасоварне.

То ж на Кормовом. Валит дым из поварни, где всякие яства стряпают. Складывают да пересчитывают служители Курятной палаты привезенных битых гусей, кур, фазанов, павлинов, глухарей да язычки соловьиные копченые, до коих царица лакома.

И в Теремном дворце все, как положено.

Внятно и истово клянется, косясь на царских опричников, которые теперь и не опричники вовсе, а люди дворовые, новый стольник: «Ничем государя в естве и в питье не испортити, и зелья и коренья лихого ни в чем государю не дати, и с стороны никому дати не велети, а лиха никакого над государем никоторыми делы и никоторою хитростью не делать...»

Вроде бы ни к чему присяга: и захотел бы стольник, да не смог бы навредить царю. Каждое блюдо спервоначала отведывал повар в присутствии дворецкого или стряпчего. Затем его принимали ключники. Потом его

пробовал дворецкий, а перед тем как поставить на стол перед Иоанном Васильевичем — кравчий.

Но порядок есть порядок. Потому такую же присягу давали и кравчий, и постельничий, и ясельничий, и стремянный, и конюшенный дьяк и верховые боярыни...

По тому же испокон века заведенному порядку — метель не метель, а положено расчищать от снега крылечки, лестницы, дворики, переходы и открытые галереи.

Где положено, сыпят песком: там — желтым, будто золото, там красным, словно кровь, а то и воробьевским, с Воробьевых гор привезенным.

В чистоте и опрятности содержат царские покои. Стирают пыль с лавок и казенок, с висящих на вожжах, обтянутых бархатом, паникадил. Льют в печи для приятного духа ячное пиво и гуляфную водку. Не забывают подливать чернила в царскую чернильницу, серебряную, с песочницей и трубкой, где перо мочить, с зуботычками, уховертками и свистелкой для призыва слуг.

Стирают царское белье портомои. Трудятся в поте лица чеботники, шапочники и знаменщики в мастерской палате. Плывут по дворцовым переходам изукрашенными корабликами сенные боярышни.

Ларешницы, думные дьяки, карлики и карлицы, бояре и боярыни, псаломщики и псаломщицы, думные дворяне, комнатные бабки, стольники, постельники...

Каждый при своем деле. И каждый опасается попадаться на глаза государю...

Грозней прежнего царь. Плохую весть услышал Иоанн Васильевич от волхвов вещих, доставленных из глухих поморских деревень любимцем царским, оружничьим Бельским. Не снять им заклятия Бомелиева. Ждет смерть царя и великого князя. И придет она за ним через неделю — 18 марта.

Молись, государь!

А 18 марта, в тот самый день, на который волхвы поморские смерть ему предопределили, проснулся Иоанн Васильевич бодрым да здоровым. Будто и не хворал вовсе. Ел и пил обильно. Приказал мовным истопникам мыленку истопить да по полкам и лавкам душистых трав и цветов положить, а по полу можжевельник разбросать. В мовных сенях, где в переднем углу — поклонный крест и икона, перекрестился — и в мыленку. Час, не менее того, в мыленке парился. Румяный вышел, с просветленным лицом.

Долго беседовал с оружничьим Богданом Яковлевичем Бельским.

Много было у Бельского врагов и всего лишь один покровитель. Зато звали того покровителя царем и великим князем Иоанном Васильевичем. Верно служил ему оружничий: и за страх, и за совесть.

Радостный стоял перед царем Бельский: по всему видать, отступилась смерть. Испугалась, верно. Не зря Иоанна Васильевича Грозным прозвали.

Многих лет тебе, великий государь!

Выходит, своровали против тебя волхвы-злодейники, измыслив, что сегодня тебе помереть суждено.

Ну погодите, бесстыдники!

И поняв, о чем думает его верный слуга («Покуда верный»,— поправил сам себя Иоанн Васильевич), послал царь Бельского к волхвам сказать, что быть им за злочестивое предсказание на костре сожженными.

Только не испугал волхвов тем царским повелением Богдан Яковлевич Бельский.

Поднялся неспешно с лавки самый старый волхв со снежными волосами — сам будто из снега вылепленный — и молвил:

— Не гневайся понапрасну, боярин! День только что наступил, а кончится он солнечным закатом...

Понурил голову Бельский и вышел из палаты волхвов, где царем и великим князем был не Иоанн Васильевич, а древний старец со снежными волосами.

Иоанн же Васильевич тем временем, сказывают, сидел в кровати, в своей опочивальне да шахматные фигурки из кости резанные на доске расставлял. Все расставил. Кроме короля черного... Не стоял король на доске — падал.

Шесть раз ставил его Иоанн Васильевич. А когда поставил в седьмой, звонко, во весь голос, закричал в опочивальне петух. Да так громко, что всюду его услышали: и в Тереме царицы, и в Казенном дворе, и в Житном, и в Конюшенном. И в мастерской палате, и в портомойне. Только в Потешной палате ничего не услыхали. Много шуму в ней тогда было: передрались карлики и карлицы из-за вареного мяса, что служитель принес. Каждый норовил поболее да пожирнее кусок ухватить. Какой уж тут петушиный крик!

Откуда же петух в царской опочивальне?

Сбежались слуги. Глядят — нет петуха. И только тог-

да поняли, что то не петух кричал, а часы злого волхва Бомелия. Говорят, знак часы подавали, что пришла смерть за Иоанном Васильевичем.

«Ки-ки-ри-ки-и-и!» — вновь закричали часы. Закудахтали, захохотали — так, что мороз по коже. И смолкли. Ни звука. Даже тикать перестали.

Глянули люди на кровать — и увидали за отдернутым пологом златотканым Иоанна Васильевича. Лежал поперек кровати, запрокинув голову, бывший царь и великий князь всея Руси, и сжимал в мертвой руке шахматного короля... Так и не успел утвердить его на доске Иоанн Васильевич: смерть помешала... Чего ей не терпелось, безносой?!

Так говорится в легендах о царевой кончине.

И вновь закрутилась, завертелась метель. Вприсядочку пошла снежная по холмам, по рвам да по колдобинкам. И-и-эх! И вновь из снежной круговерти словно бы выглянуло лицо Бомелия. Только не злобился и не кривлялся злой волхв. Улыбнулся людям московским — не робейте, мол, ребята! — и исчез. Навеки исчез. Будто его никогда и не было.

Погребли Иоанна Васильевича, как и пристало царям, в Архангельском соборе, рядом с убитым им сыном Иоанном Иоанновичем. А вдове Бомелия, за которую самолично королева Елизавета просила, разрешили покинуть Русь, не учиняя ей никакого бесчестия.

Уехала она, сказывают, в Аглицкое королевство, откуда родом была. И увезла с собой волшебные часы казненного мужа. В том ей по совету Бориса Годунова новый русский царь Федор Иоаннович не препятствовал. Ни к чему такие часы в царском дворце держать. Одно беспокойство от них. А за временем можно следить и по «воротным» часам, что нá ворот вешают, и по «гирным», что на стенах в хоромах висят.

Да мало ли во дворце часов всяких!

* * *

— А теперь поговорим о легендарных пророчествах Бомелия,— сказал Василий Петрович.— Мы с вами еще не исчерпали их. Самые интересные, имеющие непосредственное отношение к пустовавшему столику, я оставил напоследок...

Помимо уже перечисленных мною пророчеств Бомелий, врач и астролог Иоанна Грозного, предрек будто, что часы после его смерти семь раз сменят своего хозяи-

на и каждому принесут несчастья. Зато якобы ярким факелом вспыхнут в жизни восьмого, объявив о рождении дивного часовщика, которому не было равных в мире.

Так что нам с вами предстоит вкратце ознакомиться с приключениями этих часов.

Итак, первым владельцем часов после заморского колдуна стал русский царь и великий князь Иоанн Васильевич. Как мы уже убедились, это приобретение ничего, кроме неприятностей, ему не принесло.

Не дали часы радости и вдове Бомелия. Вернувшись в Лондон, где она некогда обручилась с астрологом, и не имея средств к существованию, она вынуждена была заняться торговлей «счастьем», то есть «рубашками». Теми самыми «рубашками», в которых иногда появляются на свет младенцы.

Существует выражение: родился в рубашке. Родился в рубашке — значит, родился счастливым.

Такую рубашку счастливец обычно хранит всю свою жизнь. Но иной раз — продает. Вернее, продавал, так как теперь этот товар уже не в моде.

Особенно ценились эти рубашки юристами Древнего Рима и английскими адвокатами.

Считалось, что этот талисман помогает выиграть любое дело, довести до благополучного конца самый сложный процесс. Даже еще в начале девятнадцатого столетия в английских газетах можно было встретить объявление о желании приобрести младенческую рубашку. Что же говорить о шестнадцатом веке!

Но... кому суждено быть повешенным, тот не утонет. А вдове Бомелия, видно, было суждено помереть с голода. Во всяком случае, торговля «счастьем» оказалась для нее малоприбыльной.

То ли в Лондоне рождалось мало счастливчиков, то ли их матери слишком дорого запрашивали за счастье своих детей, но торговля шла все хуже и хуже. И вскоре вдова решилась на продажу привезенных из России часов.

Часами Бомелия заинтересовался известнейший лондонский антиквар Джон Стоу, прирожденный, а главное — бескорыстный коллекционер, доступ к собранию которого был открыт для всех желающих.

Стоу не коллекционировал часов, но для этих он сделал исключение. По его мнению, они являлись прекрасной иллюстрацией истории часового дела и... истории папства.

Следует сказать, что среди пап средневековья частенько попадались колоритные, хотя и не всегда привлекательные фигуры.

Существует предание о папе, который оказался женщиной. Тайна эта якобы открылась во время богослужения, когда у папы начались родовые схватки (кстати, историей папессы Иоанны интересовался Александр Сергеевич Пушкин).

Папа Лев X вел настолько веселый образ жизни, что умер неоплатным должником, и его тиара, в покрытие долгов, была продана с молотка.

На фоне подобного рода наместников бога на земле папе Сильвестру II не так уж сложно было завоевать уважение паствы. Но объективности ради следует сказать, что он вполне заслуживал уважения если и не своей святостью, то уж, во всяком случае, всесторонней образованностью, глубоким умом и широким кругом интересов.

Папа был крупным ученым-богословом, механиком и... часовщиком, которому приписывают изобретение колесных часов.

Слава Герберта Аврилакского, ставшего впоследствии папой Сильвестром II, гремела по всей Европе. К ученому монаху приезжали ученики из Англии, Германии, Италии и Испании. Среди них были и весьма знатные люди: французский король Роберт II и император Оттон III, прозванный Чудом Мира, видимо, за то, что уже трех лет от роду короновался в Аахене императорской короной.

Роберт II впоследствии прославился как один из лучших композиторов своего времени (во всяком случае, его музыкальные произведения исполняли не только во Франции, но даже в странах, враждебных коронованному композитору).

Чему научился у Герберта Оттон — неизвестно. Но, видимо, чему-то весьма толковому, потому что решил подарить учителю папский престол.

И тут выяснилось, что престол занят папой Иоанном XVI.

Когда приближенные доложили об этом Оттону III, тот коротко сказал: «Убрать». И незадачливого папу «убрали»: свергли с престола, выкололи по существующей тогда моде глаза, отрезали нос, уши, язык и в назидание тем, кто не понимает, что надо уступать, когда

император просит, несколько часов возили по улицам Рима.

В тот же день римским папой стал монах Герберт.

К чести Герберта, превратившись в Сильвестра II, он не остыл к своим прежним занятиям.

В свободное от основных дел время новый папа сконструировал и собственноручно изготовил великолепные часы с необычным восьмиугольным циферблатом и знаками зодиака, с помощью которых, по мнению изобретателя, можно было предсказывать судьбу.

Они предназначались для Оттона III. Возможно, часы с восьмиугольным циферблатом были обычной благодарностью хорошо воспитанного человека за щедрый, сделанный от всей души подарок. Согласитесь, не каждый день ученики дарят учителям папские тиары.

Но как бы там ни было, император Оттон III, прозванный Чудом Мира, стал владельцем часов, сделанных руками папы римского.

Не берусь судить, как и на основании каких именно примет Джон Стоу установил авторство Сильвестра II, да, видимо, это не так уж и важно. Но часы Бомелия, по его убеждению, принадлежали некогда коронованному ученику коронованного учителя. Поэтому взамен часов вдова астролога получила круглую сумму.

Но эти деньги ее не спасли и не могли спасти. Своим семи владельцам часы, по предсказанию Бомелия, должны были принести несчастья, и они не собирались «подводить» своего бывшего хозяина...

Через несколько лет, когда деньги кончились, вдова вынуждена была заняться нищенством.

А в те годы нищенствовать в Англии строго запрещалось. Каждый англичанин обязан был или благоденствовать, или тихо и благопристойно умирать где-нибудь на задворках, не оскорбляя лохмотьями и гнусным видом своих более удачливых сограждан.

Ежели он пренебрегал законом, то вначале его подвергали клеймению и отдавали в рабство на два года. При вторичной же поимке ему угрожало вечное рабство, а затем, если он не сделает соответствующих выводов,— смертная казнь. Но вдове показалось, что ей повезло: повесить ее не успели — она скончалась от голода. А за год до смерти она неожиданно встретила недалеко от старинной церкви святого Варфоломея Джона Стоу. Увы, часы ее покойного мужа и здесь уже успели сделать свое черное дело...

От Стоу, недавнего богача, она узнала, что, растратив деньги на коллекции, он разорился и остался без средств к существованию.

Но ведь ему, Стоу, удалось сохранить от уничтожения важнейшие документы по истории Англии! Его заслуги перед страной и королем общеизвестны. Разве король, да благословит его бог, оставит мистера Стоу в беде?!

Оказалось, что Стоу уже обращался за помощью к сыну обезглавленной Марии Стюарт Якову I.

Король не остался равнодушен к случившемуся.

Его величество, проявив свойственное ему благородство и великодушие, разрешил в виде исключения антиквару Джону Стоу... «в награду за тяжелые труды питаться доброхотною милостынею соотечественников...».

Стоу теперь не угрожали ни рабство, ни клеймение, ни виселица: когда он стоял на улице с протянутой рукой, его не имел права прогнать ни один королевский стражник.

Нет, не зря он потратил свои деньги на коллекции!

К сожалению, соотечественники, занятые своими неотложными делами, совсем не обращали внимания на дряхлого старика, стоящего с протянутой рукой на улице.

Им было не до него.

Джон Стоу, как свидетельствуют энциклопедии, умер на лондонских улицах в 1605 году... Годом позже закончилась жизнь вдовы Бомелия.

Часы не оплакивали умерших. Бронзовые, с восьмиугольным циферблатом, созданные искусством то ли Бомелия, то ли папы Сильвестра II, они неуклонно выполняли волю своего злого хозяина. Трое их владельцев уже нашли свою смерть. И часы, отсчитывая время, ждали очередную жертву. Так гласит неумолимая легенда.

И новой жертвой стал жизнерадостный человек с маленькими глазками и таким большим ртом, что в него бы свободно влез Тауэр. Его звали Брандом; Бранд приобрел часы, и вскоре они, покинув Лондон, оказались в Гамбурге.

Веселый немец с маленькими глазками и большим ртом успел за свою жизнь переменить немало занятий. Хенниг Бранд был солдатом, костоправом, лекарем, купцом. И во всем ему не везло. Но Бранд был по натуре оптимистом и считал, что у него еще все впереди, а как

известно, люди такого рода — самые счастливые люди на земле.

Бранд не сомневался, что его ждут слава и деньги. Много, много денег. Да и как может быть иначе, если он узнал из достоверного источника, что философский камень не сумеет изготовить только идиот. Ошибка всех алхимиков заключалась в том, что они пытались получить золото из ртути, свинца, серы, меди и бог знает еще из чего.

Философский камень из мочи! Вот что упустили все алхимики прошлого и настоящего.

Именно для занятий алхимией Бранду и потребовались астрологические часы с восьмиугольным циферблатом. Тщательно проштудировав трактат Иоанна Исаака Голланда, гамбургский купец взялся за дело.

После одного из опытов Хенниг Бранд обнаружил в тигеле светящуюся пыль, которую купец-алхимик принял за «элементарный огонь», или «первичную материю». В действительности же Бранд открыл фосфор... Имя неудачника алхимика вошло в историю химии. Что же касается денег, то они золотым дождем посыпались в карманы других, более предприимчивых деятелей, которые сразу же поняли, какую выгоду можно извлечь из открытия незадачливого купца...

Короче говоря, вскоре часы вновь переменили своего хозяина.

Пятый владелец часов нам не известен. Зато мы располагаем некоторыми, правда сомнительными, сведениями о других.

В начале восемнадцатого века часы Бомелия оказались у придворного часовщика герцогини Курляндии. Питер Гофман, как и несчастный Стоу, считал, что приобретенные им часы сделаны римским папой Сильвестром II. Будучи человеком тщеславным, а возможно, просто увлеченным своим делом, он решил превзойти своим искусством Сильвестра II и создать для герцогини часы, которым нет равных. А для этого, естественно, требовалось вначале познакомиться с устройством римских часов.

Разобрать хитрый механизм Гофману удалось довольно быстро. Собрать же его заново оказалось делом сложным, тем более, что Гофман стал ощущать легкое недомогание. Но все же часовщик не отступил. Однако часы герцогине он сделать все-таки не смог: «легкое не-

домогание» превратилось в болезнь. Болезнь эта называлась проказой...

Еще совсем недавно того, у кого обнаруживали проказу, отводили в церковь. Там его укладывали на катафалк, накрывали черным сукном. А затем несчастного заживо хоронили. Лежащий на катафалке слышал панихиду по себе, слышал, как на ноги ему бросают лопатой землю... Это значило, что он умер для людей и церкви...

Теперь такого обряда не исполняли, но суть от этого не менялась. И на следующий же день Гофману было предписано покинуть столицу герцогства — Миттаву. Перед своим исчезновением он продал злосчастные часы приехавшему к герцогине Курляндии члену Верховного тайного совета Российской империи Василию Лукичу Долгорукову.

Тут, видимо, самое время сказать, кем была курляндская герцогиня, для блага которой так старался придворный часовщик.

Анна Иоанновна приходилась племянницей русскому царю Петру I, которого именовала «батюшкой-дядюшкой». Дочь брата Петра, «кроткого разумом» Иоанна, осенью 1710 года была выдана замуж за курляндского герцога Фридриха Вильгельма.

То ли герцог слишком много выпил на шумной свадьбе, то ли по каким-либо иным причинам, но уже через два-три месяца он скончался. И Анна Иоанновна провдовствовала в скучнющей Миттаве без малого двадцать лет.

А затем произошли события, от которых могла закружиться голова не только у курляндской герцогини.

Умер Петр II, и члены Верховного тайного совета стали думать, кого посадить на трон.

Долго судили да рядили «верховники» и пришли к выводу, что лучше Анны Иоанновны царицы им не сыскать.

Всем хороша.

Во-первых, ни в государственных науках, ни в каких других не сведуща. Разве что в танцах под руководством «танцевального мастера» Рамбурга еще в девках преуспела. И то не слишком — всегда в теле была.

Во-вторых, за двадцать лет прозябания в Миттаве и русский язык подзабыла и немецкому из-за природной лености не научилась: больше руками изъясняется по примеру немых. Так что Верховный тайный совет

всегда сможет по-своему императрицыну волю истолковать.

В-третьих, не больно умом остра. В-четвертых, в забавах безобидна. Любит герцогиня из ружей палить. Говорят, в своей Миттаве всех ворон перестреляла — теперь гонцы из других государств сих птиц привозят. А по вечерам единая утеха — сказки...

В общем, в качестве императрицы Анна Иоанновна полностью устраивала Верховный тайный совет.

Но все-таки решено было лишний раз остеречься. Береженого, как известно, бог бережет.

Чтобы получить из рук членов Верховного тайного совета корону Российской империи, герцогиня обязана была предварительно подписать «кондиции» (условия).

По этим «кондициям» Анна должна была воздержаться от замужества (совет уж сам разберется, кому надеть корону после ее смерти).

Императрице без согласия совета запрещалось начинать войну и заключать мир, жаловать вотчины и деревни, накладывать подати. Возбранялось также брать с собой в Россию фаворита — Эрнеста Бирона.

Анна Иоанновна, выслушав князя Василия Лукича Долгорукова, на время даже дара речи лишилась. А потом долго водила пальцем по строчкам «кондиций», читая по складам вслух (обычно документы ей зачитывали, но теперь они в комнате были только вдвоем: переговоры держались в величайшей тайне).

Глядя на ставшее свекольным лицо герцогини, князь не сдержал усмешки: «Чем не сказочка про Иванушку-дурачка, коему жар-птица, сиречь Верховный тайный совет, Российскую империю на хвосте принесла?»

Очень веселился Долгоруков, почтительно опустив глаза долу.

А тем временем купленные князем часы, не мешкая и не торопясь, деловито отсчитывали оставшиеся ему часы жизни: «Тик-так, ваше сиятельство! Вот так, ваше сиятельство!»

На все была готова Анна Иоанновна, лишь бы надеть поскорей на голову шапку Мономаха.

А затем... Затем, «внимая мольбам верноподданных» разорвет она на мелкие клочки «кондиции» Верховного тайного совета... И лишат тогда Василия Лукича Долгорукова всех его высоких чинов, заточат в Соловецкий монастырь. Потом же повезут в Новгород — и покатится, подпрыгивая, его голова по деревянному помосту на

потеху зевакам, пришедшим посмотреть, как казнят именитого князя по повелению императрицы Анны Иоанновны.

Был Василий Лукич Долгоруков седьмым владельцем часов, которые неуклонно выполняли то, что предсказал перед своей смертью злой волхв и чернокнижник, доктор и механик Бомелий, пытанный и казненный во времена Иоанна Васильевича Грозного, царя и великого князя.

* * *

На лице Василия Петровича не было видно сочувствия члену Верховного тайного совета князю Долгорукову. Я бы даже сказал, что Василий Петрович слегка злорадствовал. Он не выносил мошенников, а князь был замешан во многих весьма грязных историях.

— Итак, сейчас вы должны рассказать о восьмом владельце часов и рождении «дивного часовщика»?

— Совершенно верно.

— Куда же мы теперь направим свои стопы?

— Новый владелец часов — Михаил Костромин,— сказал Василий Петрович,— сын купца из Нижнего Новгорода, но часы Бомелия он приобрел в Петербурге, куда приехал по торговым делам своего отца. Так что у нас две возможности. Нижний Новгород или Петербург, как считаете?

— На полное ваше усмотрение.

— Я бы предпочел Петербург. Побродить по Петербургу тридцатых годов восемнадцатого века — одно удовольствие. Кругом чистота и порядок. Еще задолго до восхода солнца петербургские дворники успевают убрать с проезжей части улиц и деревянных мостков сор, поправить вывалившиеся из мостовой камни и все протереть до блеска. Не в каждой горнице так прибрано. Глянешь — сердце возрадуется.

И объясняется это, скажу по секрету, не повышенной тягой петербуржцев к чистоте, а установленными Петром I правилами. Попробуй пренебречь ими! С нерадивых домовладельцев взыскивали по две деньги за каждую сажень неубранной улицы. А если кто подтихую сбрасывал собранный мусор в воду, засоряя Неву и прочие реки, то его нещадно били кнутом, а затем отправляли на вечную каторгу. Как видите, за чистоту тогда боролись не спустя рукава.

Многим Петербург отличался от Москвы. Не было

здесь бесконечных московских заборов с тяжелыми дубовыми воротами под двускатной крышей с тусклым медным крестом. Город на Неве пренебрегал и плетнями, и калитками, и заборами.

Он жил нараспашку.

Мчались по Невской першпективе золоченые кареты с лакеями на запятках, тяжелые берлины, неуклюжие рыдваны, скрипучие колымаги. Неспешно тянулись бесконечные обозы лапотников с сеном, овсом, дровяным и хоромным лесом, мороженой рыбой, битой птицей, коровьими и бараньими тушами. Со старостами во главе шли артели плотников, пильщиков и каменщиков. Будочники с алебардами у своих будок. Уличные фонари на конопляном масле.

Вдоль Невы, словно солдаты на вахтпараде, выстроились в шеренгу дворцы, освещаемые смолевыми бочками и плошками с салом. На Охте и Крестовском острове — ледяные горы, с которых скатываются с визгом и криками на лубках и ледянках. А на Неве вовсю кипит кулачный бой охтян с фабричными. От души дерутся — так, что и зубы, как говорится, «искореневаху» и челюсти «выламляху».

Куда там сонной Москве до Петербурга! А уж Нижнему Новгороду и вовсе не тягаться!

И, разместив по амбарам привезенные муку, воск, конопляное масло и пряжу, купеческий сын Михаил Костромин вместе с отцовским приказчиком Гаврилычем, который бывал в Петербурге еще при Петре I, отправились на следующий день бродить по необычному городу.

Рассказал Гаврилыч, как, по преданию, закладывался Петербург.

Узнал Михаил Костромин и о церемониале, который «батюшка-дядюшка» нынешней царицы ввел в обиход при замерзании и вскрытии Невы.

О том, что река стала, извещает здесь барабанным боем самый старший царев шут. Он же командует шутовским отрядом, который под холщовым знаменем с музыкой переходит по тонкому еще льду на другой берег.

А о том, что река очистилась ото льда, петербуржцы оповещаются тремя пушечными выстрелами из Петропавловской крепости. После того Неву в ялике раньше переезжал сам царь, а в его отсутствие — генерал-адмирал. Ныне же этот вояж совершает комендант города или фаворит царицы Эрнест Бирон.

По широкой, обсаженной по обе стороны кустами ал-

лее Царицына луга (как тогда имеиовали Марсово поле) приезжие прошли к огороженному решеткой Летнему саду. Там между облысевших зимних деревьев и кустов высились белый под железной крышей дворец Петра и обширный с зеркальными стеклами летний дворец Анны Иоанновны с бронзовым гербом ее фаворита на фронтоне. Вокруг гротов с лестницами, украшенными морскими раковинами,— свинцовые статуи персонажей эзоповских басен. Фонтаны, Архиерейская, Шкиперская и Дамская площадки со скамейками и столами, деревянный помост для оркестра.

Летний сад, так же как и Аптекарский, разбивал Гаспар Фохт. А деревьями занимался сам царь. Грабины привозили из Киева. Кедры — из Соликамска. Из Воронежа доставляли дубы, из Швеции — яблони. Цветы же — тюльпаны и пионы — беспошлинно везли голландские купцы. А тюленя Ваську, который забавлял публику в бассейне одного из фонтанов, подарили царю поморы.

Умный был Васька. И в чинах, и в званиях разбирался. Ко всем свой подход имел. Петиметров, то есть щеголей, не любил: исхитрится — и с ног до головы водой окатит. К заслуженным же людям относился с полным решпектом. Так, перед «начальником кораблей» Головкиным, постоянно носившим знак своего достоинства — золотой циркуль, украшенный драгоценными камнями, Васька на хвост в стойку смирно становился, а к царским ногам ползком подползал: чего, дескать, прикажете, ваше величество?

Еще при Екатерине I помер Васька, а фонтан до сих пор Васькиным называют.

Затем Гаврилыч повел купеческого сына на Зверовой двор. Там проживал привезенный из южных стран, где люди — не только подлого, но и дворянского звания — даже зимой голышом ходят, дивный зверь по имени слон. О том слоне Михаил Костромин еще в Нижнем Новгороде слышал. Думал — врут люди. Ан нет. И вправду велик был слон. Шубу для него — к снегу и морозу зверь привычки не имел — скорняки из ста бараньих шкур шили.

За три серебряные копейки служитель не только разрешил нижегородцам по веревочной лесенке взобраться на спину слону, но и показал им бумагу, из которой было видно, во сколько его пропитание царской казне обходится.

Слон ежегодно потреблял 1500 пудов тростника, 137 пудов сорочинского пшена, 27 пудов сахару, 5 соли, 40 ведер виноградного вина и 60 водки...

Заметив появившееся на лице купеческого сына недоверие, служитель признал, что, верно, когда слона из арапских краев доставили, где и бояре, и даже великие князья от солнечной знойности нагими пребывают, слон, как есть, был непьющим. Не то чтобы штофа — стопки не потреблял. От одного запаха хобот воротил — будто и не вино вовсе, а отрава какая.

Что было, то было. А прозимовал в Петербурге на зверовом дворе — и запил горькую. С того времени и потребляет. Пристрастился, даром что из арапских краев.

Чуток замешкаешься — затрубит, сукин сын, что твой гвардейский оркестр, и тут же норовит хоботом дно у бочки вышибить. Свое не упустит, соображает.

— Как, мил-друг, выпьешь для сугрева? — обратился к слону служитель.

Слон так мотнул башкой, что все цепи на нем церковными колоколами зазвенели.

Служитель зверового двора налил в оловянную кружку водки, и слон со всей деликатностью взял ее хоботом.

— За здоровье гостей из Нижнего Новгорода!

Слон кивнул, осторожно — так, что ни капли не пролилось,— поднес ко рту, выпил, помахал хоботом и закусил охапкой сена.

— Видали? — торжествующе спросил служитель.— Разбирается. И, промежду прочим, не всякое вино пить будет. Ежели водой разбавленное, выплюнет, сукин сын, да так трубить зачнет, что народ сбегается. Вот те крест! Привезли давече бочку. Сунул он в бочку хобот — и почал своими ножищами топотать: дескать, слово и дело, черви приказные! Супротив государыни и ейного зверового двора воруете? Я вас! Едва в спокойствие привел: пообещал кляузу нацарапать. Вот.

И служитель прочел нижегородцам составленную им бумагу:

— «К удовольствию слона водка неудобна, понеже явилась с пригарью и некрепка» [1].

А чтобы нижегородцы не засомневались в подлинной справедливости слоновьего гнева, служитель зачерпнул ковшом из «негодной к слоновьему удовольствию» бочки и разлил по кубкам.

---

[1] Подлинный документ.

Выпили. Потом еще.

Нет, не ошиблась животина: и с пригарью водка и водяниста.

Не облыжно слон ножищами топал и в хобот трубил. Не один штоф скраден лиходеями.

Из Зверового двора отправились к Гостиному. И про товары надобно было узнать, и про цены. Без того в торговом деле никак нельзя.

Обширен новый Гостиный двор у Зеленого моста, ничего не скажешь. И суконная линия здесь имеется, и шубная, и шапочная, и зеркальная, и аптекарская.

А рядов тех — не счесть: бабий ряд — в нем перинами торгуют, подушками, кружевами да нитками; табачный ряд; свечной; седельный; птичий; холщовый; лоскутный; ветошный... Даже «стригальный ряд», где волосочесы и брадобреи хозяйничают,— и тот есть.

Иноземных купцов мало — не время, весной понаедут. Больше — своих. Но заморских товаров хватает: голландские полотна, бархат, шелка, медная и оловянная посуда, апельсины, лимоны, красное церковное вино, благовония.

Помимо купцов и их приказчиков торгуют с лотков ремесленники.

Тут искусные изделия и железных кузнецов, и медных; мастеров по серебру; резчиков рога и кости — гребни, ларцы, белильницы и румяльницы для баб и девок, им же потребные хитрые коробочки с тайными запорами — клеельницы для ресниц и бровей, ежели у которой коротки.

В одной из лавок продаются иноземные игральные карты.

В зеркальной линии скоморошничает меж лавок кудрявый молодец в зипуне, подбитом лисой. Приплясывая, частит скороговоркой:

— Той, что черноброва и круглолица, без зеркальца не обойтиться — заплетет косу да и увидит всю свою красу. А кикиморе — той лучше миновать наш товар стороной...

Миновав лоточников, нижегородцы прошли к месту, где шла распродажа конфискованного у князя Василия Лукича Долгорукова и прочих государственных преступников имущества.

По всему было видно, что не бедно жил своровавший супротив государыни князь: портреты многокрасочные, что именовались в прежние времена «парсунами с жив-

ства», то есть с натуры; шубы богатые, одна другой краше — и собольи лапчатые, и на бобре, и на кунице; кафтаны бархатные; башмаки с серебряными да золотыми пряжками; пуговицы алмазные; табакерки; ларцы; кубки; локотная рухлядь: златотканая парча, сафьян, шелка (все это и при продаже и при покупке на локти мерялось).

Тут у кого хочешь глаза разбегутся. Но Михаил Костромин приметил лишь одно: скромно стоявшие в глубине обширного прилавка старинные, позеленевшие от времени бронзовые часы с одной часовой стрелкой и необычным восьмиугольным циферблатом.

В бронзовом лучистом восьмиугольнике часов, на часовом золотом прописанном круге, сверкали, будто в серебристом свете луны, «зодейные знаки» двенадцати созвездий небесной сферы.

Замер в прыжке, откинув назад голову и подняв вверх трехконечный, словно казачья плетка, хвост, властитель человеческого разума Овн. Натянул до звона тетиву лука с каленой стрелой Стрелец; опрокинул свой кувшин, из которого нескончаемым потоком льется хрустальная вода, легкий телом Водолей; изогнул басурманской кривой саблей ядовитый хвост черный Скорпион... Неуклюжий Рак, пышнотелая Дева с цветком в руке, эфиопский гривастый Лев, купеческие Весы с двумя чашами, Козерог, Телец, Рыбы...

Костромин никогда не слыхал про папу Сильвестра II, Бомелия, Стоу, Бранда, часовщика герцогини Курляндской Питера Гофмана. Не слыхал он, разумеется, и про предсказания доктора и волхва Иоанна Грозного о счастливой судьбе восьмого владельца часов.

И ни к чему вроде были Костромину часы. А отойти от прилавка он не мог. Стоял, слушал тиканье часов с восьмиконечным циферблатом и постепенно стал разбирать в этом тиканье слова. «Ку-пи, ку-пи, ку-пи»,— тихо, но настойчиво шептали ему часы.

— Часы столовые с часовым боевым известием,— вяло сказал золотушный подьячий, тыча в часы сухим негнущимся пальцем.— Старинные. Али немецкой али фряжской работы.

Хотел отойти Костромин от прилавка — не может: не слушают его ноги, словно свинцом налиты.

А Гаврилычу что? Сын хозяйский стоит — и он постоять может. Стоять — не ходить.

«Ку-пи, ку-пи, ку-пи, ку-пи...» — стучат часы.

Что тут будешь делать?

Вздохнул Костромин — немалые деньги эта старая игрушка стоила, расстегнул шубу и полез за кошельком.

И тут же часы зазвенели с перезвоном колокольчиками, словно засмеялись. Ожили на часовом круге «зодейные знаки»: помахал купеческому сыну приветственно трехконечным хвостом Овн, подмигнул лукаво Стрелец, протянула Костромину свой цветок пышнотелая Дева, еще более изогнул рога Козерог...

— Знать, судьба,— сказал Костромин, отсчитывая деньги.

Сказал он это так, для порядка, чтобы Гаврилыч не очень укоризной донимал. А часы, как и предсказывал Бомелий, действительно стали его судьбой.

Пройдут годы, и обласкает нижегородского купца всесильный Григорий Орлов. Да что Орлов! И Потемкин его приметит, и сам непобедимый герой Александр Васильевич Суворов с ним раскланяется. Императрица же Екатерина II — не через слуг или придворных, а самолично — вручит нижегородскому купцу тысячу рублей золотом и серебряную кружку со своим золотым портретом в медальоне. Выгравированная надпись вокруг портрета будет гласить: «Екатерина II, Императрица и Самодержица Всероссийская, жалует сию кружку Михаилу Андрееву сыну Костромину за добродетель его, оказанную над механиком Иваном Петровым сыном, Кулибиным, 1769 года, апреля 1 дня».

Будет эта кружка в роду Костроминых переходить от отца к старшему сыну. И не как память о царице, а как признание заслуг Кулибина и его покровителя Костромина в развитии механики, оптики и часового дела в государстве Российском, хотя сам Михаил Костромин лишь в одном деле разбирался — торговом...

Но вернемся к легенде, рассказанной моему отцу нижегородским историком Николаем Ивановичем Храмцовским, добившимся учреждения в Нижнем Новгороде Кулибинского ремесленного училища.

Итак, Михаил Костромин приобрел часы Бомелия. И сразу же после покупки — самое достоверное обстоятельство во всей нашей фантастической истории, обросшей былями и небылицами: эти часы испортились.

Наукой и опытом с самого момента создания механических часов твердо установлено, что лучший метод их исправления — встряхивание. Но часы, видно, не зря принадлежали в свое время злому волхву: встряхивание

на них не подействовало. Тогда решил Костромин отдать их в починку. Это было роковое решение. Но, к счастью и для него и для часов, все петербургские часовщики, к которым он обращался, под тем или иным предлогом отказались браться за эту работу.

Выбрасывать часы Михаилу не хотелось. Не хотелось и показывать свою неудачную покупку дома. Кому приятно стать посмешищем?! Поэтому, вернувшись в Нижний Новгород, спрятал он свое петербургское приобретение в чулане. Прикрыл мешковиной и забыл.

Но часы были волшебными. Они не дали о себе забыть. И в ночь с 9 на 10 апреля 1735 года семью Костроминых разбудил громкий петушиный крик, такой громкий, будто петух за свою громкость жалованье в городской ратуше или у губернатора получал.

Глянул Михаил на ходики — час ночи. Не время для петуха. Да и откуда он в доме взялся?

Во второй раз закричал петух. В третий.

Что за напасть?!

Посмотрел Михаил в щель между ставнями — и увидел свет в окнах соседнего дома, где жил торговец мукой. Стряслось что?

— Кулибиниха от бремени сынком разрешилась,— сказал, входя в комнату с часами Бомелия в руках, отец. И спросил: — Это ты часы в чулан поставил?

— Я.

— А зачем?

— Порченые они.

— Порченые? Да ты что, глухой?

И Михаил Костромин услышал звонкое, ликующее тиканье привезенных им из Санкт-Петербурга часов. Плясали на часовом круге Стрелец с Девой, потешно подпрыгивали Овн с Козерогом, хлопал в ладоши, забыв про свой кувшин, Водолей, в такт музыке качались Весы, и извивались, перебирая плавниками, Рыбы...

— Чудеса!

Но Михаил ошибался. Это было лишь предисловие к чудесам. Подлинные чудеса начнутся позднее, когда подрастет родившийся в ту ночь мальчик и он, Михаил Костромин, подарит ему старинные часы с восьмиугольным циферблатом.

Эти часы будут сопровождать Ивана Петровича Кулибина почти всю его долгую жизнь, описанную Иваном Сократовичем Ремезовым в книге о Кулибине, изданной в Петербурге в 1879 году.

* * *

— В отличие от многих из нас судьба не лишена чувства юмора и иронии,— задумчиво сказал Василий Петрович.— Свойствен ей и сарказм. Иногда она не прочь добродушно посмеяться над своими избранниками, разыграть их. Но может и поскоморошничать, а то и поглумиться...

Посудите сами.

Паренек, подающий пиво в грязной немецкой харчевне, становится великим астрономом Кеплером; неграмотный мальчик из поморов — Ломоносовым; низкоквалифицированный рабочий с рельсопрокатного завода — Авраамом Линкольном; неудачливый крестьянин, над которым подшучивают соседи,— поэтом Бернсом; ученик обойщика — Мольером, а бездарный рожечник в оркестре — непревзойденным Бенвенуто Челлини...

Что же касается Ивана Петровича Кулибина, то, мне думается, он доставил своей судьбе немало веселых минут. Видимо, смешно было смотреть на ошеломленные лица крупных ученых, рассматривавших модель уникального одноарочного моста, сделанную человеком, который не должен был иметь о мостах никакого представления.

Эта модель стояла затем в парке у князя Потемкина. И князь, некогда один из самых способных студентов Московского университета, исключенный за «чрезмерную леность и нехождение», любил, показывая иноземцам модель, объяснять, что русский человек в отличие от англичан да немцев может до всего собственным умом дойти. «Учить Кулибина — только портить»,— говорил князь.

Но если Кулибин считал, что, оставив его самоучкой, судьба зло подшутила над ним, то ошибался. Он был ей нужен вовсе не для этого. Штат своих придворных шутов она уже заполнила.

Судьба желала провести эксперимент.

Правда, Кулибину отводилась в нем весьма незавидная роль — не равноправного коллеги, помощника или, наконец, скромного лаборанта, а роль подопытного... нет, не кролика — гения.

Вы, конечно, помните прототипов Робинзона Крузо, а тем более его самого? Весьма увлекательные приключения. Но не только приключения. Это опыт «на выживаемость» человека, приобщенного к цивилизации и оказавшегося на необитаемом острове.

Кулибин, судя по всему, предназначался для иной мо-

дификации того же эксперимента. Выдающийся механик и изобретатель был лишен возможности получить образование.

В Нижнем Новгороде проживало тогда немногим больше пяти тысяч человек. Среди них были купцы, дворяне, монахи и монахини, чиновники, попы, будочники, портомои, мастеровые, рыбаки, разбойники, хлебопеки, лекари и знахари.

Но когда у губернатора генерал-поручика Аршеневского испортились часы, он приказал отнести их в кладовую, так как знал, что в городе нет часовщика...

Мой отец высказал предположение, что, сделав микроскоп, телескоп и электрическую машину, подаренные им впоследствии Екатерине Второй, Кулибин не мастерил их, а вторично изобретал. Это, конечно, было шуткой. К тому времени Иван Петрович побывал в Москве, приобрел кое-какие инструменты, прочел труды по физике, математике и механике, в том числе и некоторые работы Ломоносова. Но в каждой шутке есть своя доля истины. Была она и в шутке отца.

Многие годы своей жизни Кулибин действительно потратил на изобретение, как теперь говорят, «велосипеда», то есть создавал и открывал то, что было уже открыто и создано до его рождения. Кстати, если уж мы вспомнили о велосипеде, то следует сказать, что Кулибин может по праву считаться крестным отцом его дедушки. Именно он сконструировал и сделал чудо того времени — сказочный экипаж, который без лошадей и кучера лихо мчался по Невскому, пугая богобоязненных прохожих.

В этой «повозке-самокатке», как Иван Петрович назвал свое колесно-педальное детище, выкатившееся на улицы Петербурга прямо из русской сказки («по щучьему велению, по кулибинскому хотению»), были использованы маховое колесо, тормоз, коробка скоростей, подшипники качения...

Выжил в Нижнем Новгороде (немало, впрочем, потеряв) технический гений Кулибина. Оставшись верен своему призванию, Иван Петрович не спился, не повесился, не стал рыбаком или будочником. Но коэффициент его полезного для России действия, естественно, значительно снизился.

Сначала он был в глазах нижегородцев непутевым мальчонкой («Вот несчастье-то у Кулибиных! Ваньке уже тринадцатый, а толку — шиш: знай себе меленки да кораблики режет!»). Но затем, когда странный парень

запросто, будто чихнул, починил губернатору часы английской работы — одних колесиков добрая сотня наберется,— к нему прониклись почти таким же уважением, как к косоглазому Федьке, который не только по канату с шестом ходил, но мог даже на оном приплясывать.

А вот микроскоп, электрическая машина и телескоп, чтобы звезды небесные на счетах отщелкивать, будто весовой товар или локотный,— это уже настораживало: с богом, что ли, на канате тягается? («Иду вчерась мимо дома Кулибиных. А тут по времени святые колокола православных к обедне сзывают. Глянула на Ивана — батюшки! — перекорежило его всего. Вот те крест! Нет, люди зазря говорить не будут: как есть с нечистой силой связался. Не к добру евонные микроскопы да телескопы. Адской серой от их воняет, спаси нас господи!»)

* * *

— Одному из спутников Магеллана,— сказал Василий Петрович,— Себастьяну дель Кано, был пожалован герб, прославлявший в веках его подвиг. На нем не было свирепого леопарда, мощного льва, орла или иных хищников, столь излюбленных рыцарями всех стран и времен. Внутреннее поле герба заполняли всего-навсего две перекрещивающиеся палочки корицы в не менее скромной рамке мускатных орехов и гвоздики. Но зато пряности венчал рыцарский шлем, над которым парил в воздухе земной шар с краткой, но достаточно выразительной надписью по латыни: «Ты первый совершил плавание вокруг меня».

Если бы Ивану Петровичу Кулибину пожаловали дворянство, а вместе с ним и герб, то на этом гербе следовало бы поместить часы с восьмиугольным циферблатом (кажется, они были первыми часами, с устройством которых Кулибин смог подробно ознакомиться). Над часами — сделанную из шестеренок и украшенную вместо самоцветов знаками зодиака корону короля часовщиков. А вокруг изобразить героев былин и народных сказок: Илью Муромца, Добрыню Никитича да Алешу Поповича; заколдованных царевен, мудрых Иванушек-дурачков и глупых умников.

Что же касается надписи, то она гласила бы: «Я превратил механику в сказку, а сказку — в механику».

Чтоб вы меня в дальнейшем не обвинили в плагиате,— продолжал Василий Петрович,— на всякий случай оговорюсь: проект герба и надписи принадлежат не мне,

а отцу. Это придумал он, и придумал, как мне кажется, весьма удачно. В своих работах Кулибин всегда пытался соединить сказку с реальностью, технику — с чудесами, математический расчет — с фантазией сказителя.

Думаю, что сказочную сущность механики Кулибина чувствовали еще его современники, в том числе и Александр Васильевич Суворов. Рассказывают, что, встретив как-то у князя Потемкина механика-самоучку, известный полководец трижды поклонился ему (первый поклон — «Вашей милости!»; второй, более глубокий,— «Вашей чести!»; третий, поясной,— «Вашей премудрости мое почтение!»). Затем взял он Кулибина за руку и сказал окружающим: «Гляжу на изобретения Ивана Петровича и будто сказку наяву вижу. Помилуй бог, сколько ума! Верьте мне, он еще изобретет нам ковер-самолет!»

Самое любопытное здесь в последней фразе. Суворов говорит не о том, что Кулибин изобретет летательный аппарат или механизм, а воплотившийся в народной фантазии ковер-самолет, необходимую принадлежность многих русских сказок.

Кулибин — механик-сказочник. Он не рассказывает сказки, а делает их из дерева и металла.

«В некотором царстве, в некотором государстве...»

И катится себе без лошадей и кучера по улицам Санкт-Петербурга дивный экипаж.

И превращает темную петербургскую ночь в солнечный день сделанный умными руками доброго волшебника доселе никем не виданный фонарь.

Как плывет корабль?

Известно как: или под парусами или с гребцами.

И все? И все.

А вот и нет, смеется сказочник. И кулибинский чудо-юдо корабль не плывет, а, будто ярмарочный акробат, карабкается, подтягиваясь на канате, вверх по течению реки...

Ярче всего эта особенность кулибинской механики проявилась в часовом деле.

Часовое дело всегда дружило со сказкой.

Существует предание о монахе-аскете Луитпранде, жившем в восьмом веке, который за свою праведную жизнь был щедро вознагражден всевышним не только на небе, но и на земле. Луитпранду было даровано право создать песочные часы (некоторые считают, что песочные часы были известны задолго до начала новой эры — это заблуждение).

Легенда о пророчествах водяных часов Гарун-аль-Рашида, которые в качестве подарка были присланы прославленным султаном Карлу Великому. Легенда о древнеримских часах, принадлежащих Помпею: необыкновенные механизмы, созданные для Карла Пятого Виком; сказочные башенные часы в Страсбурге работы Дасиподия.

Список часов, в которых сказка дополняла механику, а механика — сказку, можно было бы продолжить. Но кулибинские часы и по сегодняшний день занимают в этом списке особо почетное место.

Находясь в Нижнем Новгороде, Кулибин задумал и сделал с помощью Костромина (речь, разумеется, идет о финансовой помощи!) часы, по форме и величине напоминающие гусиное яйцо средних размеров.

Инструменты для изготовления этого уникального прибора Кулибин делал сам.

Деталей в часах насчитывалось свыше тысячи. А специальных инструментов механику потребовалось около ста.

Костромин вместе с одряхлевшим уже Гаврилычем иногда заходили в дом к Кулибину и, затаив дыхание, смотрели, как тот работает.

Колдун! Истинный колдун! Но, может, именно такие колдуны и нужны России?

Конструируя и изготовляя эти часы, Кулибин одновременно был сказочником, часовщиком, стихотворцем, скульптором, серебряных и золотых дел мастером, композитором, музыкальных дел мастером (замечу в скобках, что нынешнее фортепьяно тоже ему кое-чем обязано), столяром, слесарем, токарем, литейщиком, кузнецом и бог знает кем еще!

Но зато и часы получились такими, что полюбоваться ими вместе со всей своей семьей явился к Кулибину сам нижегородский губернатор генерал-поручик Яков Семенович Аршеневский. Побывали и прочие именитые жители. Говорят, приезжали даже из других волжских городов.

На первый взгляд, детище механика-самоучки особого впечатления не производило: часы как часы. Циферблат со стрелками. Каждые полчаса и четверть часа звонко бьют маленькие молоточки. Забавно, конечно, но такими забавами в екатерининские времена уже никого не удивишь.

Но стоило посетителям набраться терпения, и они попадали прямо в сказку.

Тик-так...

Часы мелодично отстукивали последние секунды уходящего часа, и тотчас же бесшумно распахивались узорчатые кружевные дверцы.

Тик-так!

Ошеломленные зрители вглядывались в глубину открывшейся перед ними пещеры. Тускло поблескивал гроб Иисуса Христа. Застыли у гроба богочеловека серебряные воины в полном вооружении. Стоят, не шелохнутся. Еще мгновение — и легкокрылый золотой ангел едва заметным движением сдвигает с крышки гроба тяжелый камень.

Тик-так!

Стража падает ниц. В пещере появляются дивные жены-мироносицы.

После этого куранты трижды играют молитву «Христос воскрес», и двери закрываются.

Такого, пожалуй, не то что в Нижнем Новгороде или, к примеру, в Самаре, но и в Петербурге не увидишь. Не устриц французских глотать!

Но это еще не все.

Часы предназначались в дар Екатерине Второй, и Аршеневский хотел, чтобы привыкшая к славословиям императрица сохранила добрую память о посещении подвластной ему губернии. Поэтому Кулибину было предписано сочинить на приезд Екатерины стихи. Кулибин справился и с этим. Более того, стихи он сам, без помощи композитора-песенника (тогда таковых не было), положил на ноты.

Чего только ни умели эти часы! Разве вот мастер не научил их кричать петухом и кудахтать курицей... Но ни папа Сильвестр II, ни погибший при Иоанне Васильевиче Грозном волхв и механик Бомелий не поставили бы это обстоятельство в вину нижегородскому мастеру: и времена меняются, и часовые механизмы, и механики. А Костромин — тот был в восторге.

Нижегородский губернатор генерал-поручик Аршеневский снял со своего пальца кольцо и подарил мастеру. По его мнению, часы должны были прийтись императрице по душе. Лакома она была до всяких придумок, как говорил Аршеневскому его петербургский приятель, большой знаток придворной жизни. Да и сама в сем преуспела. Шутки любила изобретать, танцы, фейерверки.

А недавно новое слово придумала — «хахаль». Зело возвышенное и благолепное слово. А вот что обозначает, приятель забыл...

* * *

В Эрмитаже при Екатерине Второй устраивались так называемые «большие собрания» — шумные балы с сотнями гостей; «средние» — для нескольких десятков приближенных, взысканных доверием, милостью и приязнью императрицы, и, наконец, «малые собрания». На них неизменно присутствовали лишь несколько близких Екатерине людей.

Для «малых собраний» императрицей были написаны специальные правила, которые вывешивались у входа в Алмазную комнату. Они напоминали, как подобает себя здесь вести:

«Оставить все чины вне дверей, равномерно как и шляпы, а наипаче шпаги. Местничество и спесь оставить также у дверей. Быть веселым, однако же ничего не портить, не ломать, не грызть. Садиться, стоять, ходить как заблагорассудится, несмотря ни на кого. Говорить умеренно и не очень громко, дабы у прочих головы не заболели. Спорить без сердца и горячности. Не вздыхать и не зевать. Во всяких затеях другим не препятствовать. Кушать сладко и вкусно, а пить с умеренностью, дабы всякий мог найти свои ноги для выхода из дверей. Сору из избы не выносить, а что войдет в одно ухо, то бы вышло в другое, прежде нежели выступить из дверей».

Виновный в нарушении этих правил подвергался штрафу. Он должен был выпить стакан холодной воды и выучить наизусть шесть строк из скучнейшей «Телемахиды» Тредьяковского, которому Ломоносов некогда посвятил стихи: «Языка нашего небесна красота не будет никогда попрана от скота...»

Время коротали в легкомысленных шутках, веселых играх и всевозможных выдумках, до которых Екатерина действительно была весьма «лакома». Одной из традиционных игр на «малых собраниях» было состязание — кто из присутствующих сможет лучше и забавней состроить рожу. Каждый старался, не жалея сил. Некоторые, пытаясь в этом деле достигнуть совершенства, неделями не отходили от зеркала. Но, как известно, таланты не делаются, а рождаются. Поэтому неизменным победителем в состязаниях выходил барон Эрнест Ванжура. Известный в Вене композитор, пианист и скрипач, Ванжу-

ра не только прижился в России, но и приобрел в качестве капельмейстера придворной оперы определенный вес. Однако подлинной вершины своей карьеры он достиг лишь при посещении «малых собраний».

Ванжура обладал уникальнейшей способностью, морща кожу лба, спускать волосы до уровня бровей, а затем, как парик, передвигать их направо и налево. За это барон на «малом собрании» был удостоен чина шутовского капитана. Сама Екатерина далее чина поручика не продвинулась. Она лишь умела опускать и опять поднимать свое правое ухо.

На одно из таких «малых собраний» и были доставлены в Алмазную комнату часы Кулибина.

Часы поместили на почетное место — между изображением Полтавской битвы, выточенным под надзором токаря Нартова Петром I, и табакерками, шашками и наперстком работы самой Екатерины, которая в часы досуга читала, вязала или, подражая своему великому предшественнику, занималась «токарным художеством».

Екатерина рассчитывала на то, что часы произведут фурор. И не ошиблась.

Даже барон Ванжура, немало повидавший диковинок во время своих странствий по Европе, и тот был ошеломлен. Прослушав сыгранные часами мелодии, Ванжура пошутил, что с превеликим удовольствием зачислил бы их на любую вакансию в оперный оркестр.

— Умны, изящны, красивы и, в отличие от многих музыкантов, совсем не фальшивят,— сказал он по-немецки, не слишком уверенно чувствуя себя в русском.— А главное — это чувствуется в каждой шестеренке — порядочны и скромны. Уверен, что они никогда не будут подсиживать своих товарищей по оркестру, неумеренно пить вино, требовать вперед жалованья... Но позвольте поздравить ваше величество с необыкновенно удачным приобретением, которое делает честь вашему вкусу. Одна из немногих в этом мире вещей, к которым нельзя придраться,— выдумка, мастерство, исполнение... Даже затрудняюсь, чему отдать предпочтение. Все божественно. Узнаю венскую работу.

— Зело ошибаетесь, капитан,— по-русски ответила Екатерина, делая вид, что вытягивается во фрунт, не приподнимаясь, однако, со своего кресла, на подлокотнике которого лежала табакерка с нюхательным табаком.

— Вы есть дерзкий офицер, поручик,— подыгрывая императрице, грозно сказал Ванжура.— Всем офицерам

во всех армиях известно хорошо, что старшие в чине никогда не ошибаются. Всем офицерам известно, что старшие в чине всегда говорят истину.

Правое ухо Екатерины смиренно опустилось.

— Прошу пардону, капитан. Но сии часы изготовлены не австрийским мастером.

— Неужто французом?

— Нет.

— Швейцарцем?

— Нет.

— Англичанином? Итальянцем? Испанцем? Голландцем?

— Не угадали, капитан.

— А кем же?

— Русским.

Волосы барона опустились до бровей, а затем прикрыли глаза.

— Майн готт! — воскликнул он.— Но этот часовщик обучался все-таки у австрийского мастера?

— Увы,— сказала Екатерина, и ухо ее гордо приподнялось.

— А у кого?

— Или у господа бога, или у князя тьмы.

— Отменные учителя,— признал Ванжура.— А как в России называют мастеров, которые своим искусством обязаны только им? — и барон показал пальцем на потолок.

— Само-учками,— сказала Екатерина, которая сама лишь недавно выучила это трудное русское слово.

Часы Кулибина заняли отведенное им место в Алмазной комнате, а затем были помещены в так называемый Кабинет Петра Великого.

Самому Ивану Петровичу предложили стать заведующим механическими мастерскими Российской академии наук, покинуть Нижний Новгород и переехать в Петербург.

Здесь он построил лифт, поднимавший кабину с помощью винтовых механизмов, создал оптический телеграф, разработал конструкцию «механических ног», то есть протезов... Здесь же ему была вручена золотая медаль на Андреевской ленте. Две аллегорические фигуры, изображавшие Науки и Художества, держали над именем Кулибина лавровый венок. Надпись гласила: «Достойному. Академия наук — механику Кулибину».

«Достойному...» Это слово не напрасно было выгра-

вировано на медали академии. Ведь нередко лавровые венки раздавали и недостойным...

* * *

— Таким образом, насколько я понимаю, столик в «Ларце времени», который стоял в простенке между двумя окнами, предназначался для волшебных часов Бомелия и часов, подаренных Иваном Петровичем Кулибиным Екатерине Второй? — спросил я у Белова.

— Вы близки к истине, но все-таки не угадали,— сказал Василий Петрович.— Согласно все той же легенде, часы Бомелия, или Папы Сильвестра II,— в конце концов для нас это безразлично — сгорели вместе с домом Кулибина во время пожара 1814 года. После этого Иван Петрович Кулибин уже не оправился.

Вначале по просьбе своего бывшего ученика и помощника во многих делах часовых дел мастера Пятирикова — великолепного умельца, многое перенявшего от учителя, Кулибин перебрался к нему, а затем уехал в село Карповка, где жили его дочь с мужем. Позднее Иван Петрович купил маленький полуразвалившийся домик, где и умер 30 июня 1818 года, ровно через двадцать лет после смерти своего нижегородского покровителя — Михаила Андреевича Костромина. Похоронили Кулибина на Петропавловском кладбище. Хоронили скромно — денег не было. Вдова вынуждена была заложить за триста рублей стенные часы «Летнее солнце», сделанные мастером незадолго до смерти. Потом они были выкуплены сыновьями покойного.

Пятириков врезал в поставленный на могиле памятник изображение часов, подаренных некогда Ивану Кулибину Михаилом Костроминым. В восьмиугольном циферблате на позолоченном часовом круге скорбели, оплакивая великого мастера, знаки зодиака...

Кладбищенские старухи говорили, что по ночам можно услышать тиканье изображенных на памятнике часов. Поэтому местные жители старались на всякий случай обходить могилу Кулибина стороной: врут, верно, старухи, а все ж лучше от греха подальше. Береженого и бог бережет...

Итак, часы Бомелия сгорели в 1814 году и уже не могли попасть ни в чью коллекцию. Свершив все, что им было предначертано, часы с восьмиугольным циферблатом завершили свою жизнь вместе с легендой о них.

Не предназначался столик в «Ларце времени» и для часов, подаренных Кулибиным Екатерине Второй.

И все же... столик в простенке был поставлен для часов Кулибина.

Нет, никаких противоречий! Просто дело в том, что Кулибин, как выяснилось, сделал за свою жизнь не менее пятидесяти — шестидесяти часов. И делать он их начал в молодости. Не все из созданных им механизмов были венцом технической мысли, но почти все отличались оригинальностью решений и свойственной Кулибину сказочностью.

Пятириков любил говорить, что кулибинские часы он отличит не то что по виду, но даже по запаху, как отличают цветы на лугу. В этом, естественно, было преувеличение, но весьма умеренное.

Однако мы с вами несколько отвлеклись.

О не известных раньше часах Кулибина отец узнал из бумаг, переданных дочерью выдающегося механика-самоучки редактору «Нижегородских губернских ведомостей» Мельникову (впоследствии — известный писатель Мельников-Печерский).

Многое отец почерпнул из встреч с упоминавшимся уже мною Храмцовским (в 1875 году он редактировал «Нижегородский биржевой листок»), председателем Нижегородской ученой архивной комиссии Александром Серафимовичем Гацисским и правнуком Кулибина. Молодого Кулибина отцу удалось разыскать в Петербурге. (Иван Петрович имел двенадцать детей. Сын Дмитрий был гравером, Александр и Петр работали в Сибири горными инженерами, Семен стал чиновником и дослужился до статского советника. Но ни один не выбрал себе доли отца и не стал изобретателем или часовщиком. Правнук Кулибина, с которым разговаривал отец, преподавал в реальном училище.)

Среди часов, сделанных Кулибиным в Нижнем Новгороде до того, как он переехал в Петербург, были «екальщики», маятниковые деревянные часы «Птичий двор», «Жар-птица» и «Царевна». В столице Кулибин тоже не забывал про часы, хотя времени для любимого дела у него оставалось мало.

Василий Петрович достал из картотеки папку, развязал тесемки.

— Вот,— сказал он,— составленный собственноручно Кулибиным перечень его новых работ в Петербурге. Под

номером 17 мы можем прочесть про «часы карманные большой пропорции с новым ходом, у коих в цыферблате будут движиться разнообразно 7 стрел и показывать: зодии 12 знаков небесных, месяцы, градусы, повседневные числа, из коих в 4 года одно только переставлять рукою, седмичные дни в планетных знаках, часы, минуты, а секунды по астрономическому движению и четверти секунд, течение луны в шаровидной фигуре, течение солнца, котораго восхождение и захождение во всех днях года по здешнему и Московскому градусу с календарем будет согласно, при коих и другие представления».

Любопытная запись и под номером 24:

«По Высочайшему Ея Императорскаго Величества повелению, починкою исправил и возобновил часы, представляющие между разных растений пень дубоваго дерева с отрослями, листьями и желудками, зделаннаго из бронзы, на коем павлин, петух и сова в клетке в натуральный рост таких животных зделаны из разных металлов же, и движутся разнообразно, подобно живым».

Делал Иван Петрович в Петербурге и часы-игрушки, а также игрушки с часовым механизмом.

Надо сказать, что Екатерина Вторая была холодной матерью, но горячей бабушкой, поэтому дети Павла — будущий император Александр I и великий князь Константин, отрекшийся впоследствии от престола в пользу Николая I,— находились при ней. В воспитании внуков она отводила немаловажное место игрушкам. Поэтому по велению императрицы Кулибин был вынужден порой откладывать исключительно важные дела, чтобы заняться придумыванием игрушек.

Отцу рассказывали, что Кулибин придумал для обучения великих князей часы-букварь в виде мудрой совы, гвардейского солдата, который каждый час посвящал воинским артикулам, часы — музыкальную шкатулку...

К установлению часов Кулибина был приобщен и я.

Приготовив уроки, а иногда и не сделав их, я часами перелистывал страницы старых газет и журналов. Это было увлекательное занятие. Прошлое на время становилось настоящим. «Санкт-Петербургские ведомости» за 1799 год сообщали, что:

«Лифляндская 20-ти лет девка, искусившаяся в шитии белья, в вязании чулок, мытии шелковых материй и прочих рукодельях, и которая при том кушанья готовит, продается в 4-й Адмиралтейской части близ Никольскаго

моста в доме под № 43, где ее видеть можно во втором ярусе на левой руке»;

«Предписывается всем господам инспекторам не принимать прошений о увольнении в отпуск от корнетов и прапорщиков, кои сие делают от лени»;

«В доме графа Аракчеева, состоящего по Мойке подле экцерциргауза, потребен из немцев кучер, который бы был порядочного поведения. Таковой может явиться к дворнику»...

Много порядком устаревших новостей и канувших в Лету распоряжений правительства Павла Первого узнал я прежде, чем наткнулся на очень любопытное объявление.

«Желающие купить,— значилось в нем,— верные и искусно устроенные механические вокальные часы, кои играют на флейте, арфе и басе 10 разных штук и представляют: во-первых, великолепное село, на левой стороне которого находится трактир, на верх коего из трубы выходит трубочист, бьет часы и после последнего удара прячется паки в трубу; а на правой стороне виден под деревом сидящий и на флейте играющий пастух, а не подалеко от него на лошади почталион, который соответствует пастуху игранием на роге; а во-вторых, трактирщика, стучащего служанке в окно и приказывающего подать почталиону пить, с изображением, что служанка приходит и несет бутылку и стакан, а за служанкою бежит собачка и лает на почталиона, и попугаем, который отвечает на вопросы до 50 разных слов и поет арии,— могут для условия в цене явиться ко вдове Миллер, живущей у Каменного моста в доме по № 121; оные же часы она и показывает с платежем по 25 коп. с персоны за вход, равно показывает она перспективную иллюминацию».

Я был горд своей находкой. Но в глубине души понимал, что ценность ее может вызвать некоторые сомнения. Спору нет, «механические вокальные» часы госпожи Миллер, которые в 1799 году она готова была продать или продемонстрировать за 25 копеек вместе с «перспективной иллюминацией» каждому желающему, были уникальны. Чего стоит один лишь попугай, который поет арии и отвечает на вопросы!

Но ведь столик в «Ларце времени» предназначался не вообще для часов, пусть даже уникальных, а только для часов Кулибина.

Было, конечно, очень соблазнительно приписать мою

находку Кулибину. Действительно, по яркой и озорной сказочности, столь свойственной произведениям механика-самоучки, по щедрому использованию музыки (недаром барон Ванжура собирался определить подаренные Екатерине часы в оперный оркестр) и некоторым другим характерным особенностям можно было сделать вывод, что часы вдовы Миллер сконструированы Кулибиным.

Но не следовало забывать и о другом. Творчество Ивана Петровича носило сугубо русский характер — оно, как выразился один из его почитателей, «всегда щеголяло в лаптях».

А где они, эти «лапти», в «механических вокальных» часах госпожи Миллер?

И в помине их нет.

На все эти «за» и «против» обратил мое внимание отец. Он же поздравил меня с успехом: как-никак, а «вокальные механические часы» с попугаем, который отвечал «на все вопросы до 50 разных слов и пел арии», были моим первым открытием (а в розыске часов Кулибина и последним).

Отец отправился в Нижний Новгород, а оттуда в Петроград. В поисках часов Кулибина, так же, как и в розыске перстня-талисмана Пушкина, он был неутомим.

Не знаю уж какими путями, но ему удалось установить, что часы из «Санкт-Петербургских ведомостей» были сделаны учеником знаменитого швейцарского часовщика Пьера-Жака Дроза Августом Штернбергом, который в 1770 году переехал в Россию, где работал в механических мастерских Российской академии наук под началом Ивана Петровича Кулибина.

Кулибин многим помог Штернбергу и в разработке конструкции часов, известных тогда под названием «Говорящий попугай», и в их изготовлении. Об этом свидетельствовала надпись, выгравированная Штернбергом на часах.

«Говорящий попугай» в 1782 году был куплен академиком Миллером, который год спустя скончался.

Кто приобрел эти часы у вдовы академика, неизвестно. Но, пройдя через какое-то число рук, они (вернее, не сами часы, а только механический попугай: почтальон, трактирщик и служанка приказали долго жить) оказались у выдающегося русского скульптора Михаила Осиповича Микешина, создавшего проекты памятников Тысячелетия России в Новгороде, Богдана Хмельницкого в Киеве, короля Педро IV в Лиссабоне. Микешин охотно

откликнулся на просьбу отца о встрече. Выяснилось, что он тоже коллекционирует часы.

— Моим любимым героем, Петр Никифорович,— говорил он отцу,— был некогда император священной Римской империи Карл V. В молодости он коллекционировал королевские и герцогские короны, а когда поумнел, то поселился в монастыре святого Юста в Испании и стал коллекционировать часы. Его любимым занятием было сидеть в комнате, заставленной и увешанной часами. Он считал, что люди и часы очень похожи друг на друга: некоторые опережают свое время, другие не поспевают за ним, но и те и другие идут не вперед, а по кругу...

Микешин показал отцу свою коллекцию. Попугая среди ее экспонатов не было.

Ошибка? Нет. На самом деле попугай есть. Но, к сожалению, из-за какой-то поломки механическая птица отказалась и петь и говорить. Микешин приобрел его уже в таком виде. Сейчас он отдал попугая известнейшему в Москве антиквару и специалисту по всяким диковинным старинным часам — Вадиму Григорьевичу Мецнеру. Мецнер обещал ему подыскать часовщика, который сможет вдохнуть в попугая жизнь.

Отец хорошо знал Мецнера, услугами которого неоднократно пользовался. Кстати, именно у него он приобрел часы Аракчеева, «астрономические часы» Ивана Юрина и некоторые другие экспонаты своей коллекции.

Мецнер продемонстрировал отцу зеленого попугая с хохолком на голове и растопыренными крылышками. Попугай был меньше спичечного коробка. Трудно было поверить, что внутри такой миниатюрной птички находится сложнейший механизм.

— Часовщики считают, что попугая делал сам Кулибин,— сказал Мецнер.

— Он действительно пел арии?

— У меня нет оснований в этом сомневаться.

— И отвечал на вопросы?

— Могу лишь повторить уже сказанное мною.

— А когда его починят?

— Ответ на этот вопрос интересует меня самого,— сказал Мецнер.— Пока я не могу подобрать часовщика, который бы взялся за эту работу. Кулибины рождаются раз в двести лет, а Штернберги — не чаще, чем в полустолетие.

— И все-таки вы рассчитываете найти специалиста?

— Надеюсь,— сказал Мецнер. Но уверенности в его голосе отец не почувствовал.

Таким образом, моя находка в «Санкт-Петербургских ведомостях» была несомненной удачей.

В остальном же отцу не везло. Здорово не везло. Безвозвратно исчезли, не оставив никаких следов, сделанные Кулибиным в Нижнем Новгороде часы «Илья Муромец», «Птичий двор», «Жар-птица», «Царевна».

А исправленные и «возобновленные» мастером часы, «представляющие между разных растений пень дубового дерева с отрослями, листьями и желудками», будто сквозь землю провалились.

Неудача за неудачей. Поражение за поражением. И вдруг...

Просматривая подшивки старых журналов, отец наталкивается в 23-м номере «Москвитянина» за 1853 год на небольшую заметку «Кулибинские часы», подписанную неким Обнинским.

Белов достал из своей папки очередной документ и прочел мне:

— «К реестру произведений Кулибина в 14 номере «Москвитянина» прошу редакцию позволить мне прибавить следующее: стенные астрономические часы большого формата, недельные.

В середине циферблата — золотой двуглавый орел, под ним вензель государыни Екатерины II. Кругом на серебряной доске надпись: «Приеменито имя ея во веки». В верху — луна в голубиное яйцо. В циферблате золотое солнце. Двенадцать месячных знаков. Обозначены затмения солнца и луны. Черный и белый круги показывают время дня и ночи, а стрелка — високосные годы. Пути и перемены разных планет. Числа дней, названия месяцев и сколько в котором дней.

На дверцах футляра — круг географический. Другой круг — отгадывающий, сколько у кого денег в кармане (столько раз часы ударят), лишь бы было не более 84 рублей.

На минутной стрелке устроены удивительно маленькие часы в гривенник; не имея никакого сообщения с общим механизмом часов, показывают время очень верно.

Еще несколько штук, которые определить может астроном.

История часов следующая. Граф Бутурлин, имевший свой дом в Немецкой слободе, купил оные часы у Кулибина за 18 тысяч ассигнаций. Перед нашествием фран-

цузов в Москву граф уехал в Воронежскую вотчину. А смотритель дома в Москве, желая сохранить драгоценные часы, снял оные с футляра, завернул в циновку и опустил в домашний пруд.

Так часы пролежали в пруде до весны. После их вынули, графский часовщик Леонтьев вычистил, и часы идут до сих пор.

Если угодно редакции прислать освидетельствовать, во всякое время дня, то я очень рад буду, что диковинное произведение нашего русского механика, стоившее ему много труда и соображений, не погибнет в реке неизвестности.

Жительство имею в Москве на Пятницкой, против церкви святого Климента, в собственном доме.

П. Н. Обнинский.

Ноябрь, 21».

Василий Петрович дочитал до конца опубликованное в журнале письмо Обнинского и аккуратно положил его обратно в свою папку.

— Можете себе представить, голубчик, какое впечатление произвела эта публикация на отца,— сказал он.— То, что граф Дмитрий Петрович Бутурлин, адъютант Потемкина, а впоследствии директор Эрмитажа, был большим поклонником Кулибина и приобрел у Ивана Петровича описанные Обнинским часы, ни для кого тайной не являлось. Но не являлось тайной и другое. В 1817 году Бутурлин уехал во Флоренцию, где поселился в купленном им палаццо Никколини. Здесь он прожил до самой смерти, то есть до 7 ноября 1829 года, и был погребен в Ливорно.

Предполагалось, что часы Кулибина вместе с другими экспонатами своего домашнего музея и богатейшей библиотекой граф перевез в Италию (после его смерти библиотека продавалась в Париже с аукциона. С молотка пошли и картины известных художников, скульптура, ювелирные вещи).

Говорили, что часы Кулибина были куплены на аукционе каким-то богатым англичанином. А бывший сослуживец отца уверял его, что видел собственными глазами эти часы в доме некоего римского фабриканта, который перепродал их своему родственнику.

И вот оказывается, что часы Кулибина никогда не покидали Москву.

Но так ли это?

Может быть, Обнинский — жулик, решивший спекулировать на интересе к творчеству Кулибина?

Может быть, но все-таки не похоже — «жительство имею в Москве на Пятницкой, против церкви святого Климента, в собственном доме».

Жулики, как правило, предпочитают не сообщать своего адреса и редко живут в собственных домах. По крайней мере, мелкие жулики...

Кто же этот П. Н. Обнинский?

Отец навел справки. Оказалось, что Петр Наркизович Обнинский — уважаемый человек, старый москвич. Кончал университет по юридическому факультету, затем работал какое-то время в Калужской губернии мировым судьей, вернулся в Москву. Теперь служит прокурором Московского окружного суда. Опытный юрист, по убеждениям либерал.

Итак, с самим Обнинским никаких подвохов. Но из того, что часы когда-то ему принадлежали, вовсе не следует, что они и сейчас являются его собственностью. Он мог их продать или подарить.

Нет, знакомые Обнинского утверждали, что часы попрежнему у него.

Отец никак не хотел поверить в свою удачу.

Но через день или два он получил возможность не только посмотреть на кулибинские часы, но и, как положено истинно русскому, пощупать их руками.

— Не верю, что они передо мной,— признался он гостеприимному хозяину.— Будто все во сне.

— А вы еще раз пощупайте,— посоветовал тот.

Отец осторожно погладил футляр.

— Ну как?

— Кажется, поверил... наполовину.

— Хотите, чтобы они угадали, сколько при вас денег?

Обнинский нажал на какую-то кнопку, и часы поспешно, словно боясь опоздать, пробили двадцать один раз.

— Двадцать один рубль? — торжествующе спросил Обнинский.

Отец засмеялся.

— Двадцать. Им уже больше ста лет. Так что следует сделать скидку на старость. А на один рубль при подсчете даже я могу ошибиться. Чего же от них требовать.

— Нет, нет, Петр Никифорович! — запротестовал Об-

нинский.— Они не ошибаются. Получше проверьте карманы.

— Извольте. Но...

— Проверьте, проверьте!

Отец вывернул карманы, и из них посыпалась мелочь.

— На рубль не наберется.

— А вы пересчитайте.

Отец пересчитал.

— Нуте-с?

— Почти рубль. Девяносто пять копеек. Двадцать рублей девяносто пять копеек. Так что прошу у часов извинения.

— А это? — Обнинский достал закатившийся под диван пятачок.— Ровно двадцать один рубль, Петр Никифорович. А заметьте: не только в гимназии, но даже в церковноприходском арифметике не учились. Своим умом дошли.

— Или кулибинским.

— Это вы верно заметили,— развеселился Обнинский.

Отец осторожно перевел разговор на свою коллекцию часов, рассказал о поисках часов, сделанных Иваном Петровичем Кулибиным, легенду про Бомелия и его пророчества.

— Весьма любопытно,— заметил Обнинский.— Но я гляжу, что самый главный для себя вопрос вы тщательно обходите...

— Что вы имеете в виду? — сделал недоумевающее лицо отец.

— Вы хотите приобрести у меня часы Кулибина, не так ли?

— Да.

— А что пророчествовал по этому поводу злой волхв Бомелий?

— Боюсь, что по этому вопросу он не успел высказать свое мнение.

— Я тоже этого опасаюсь,— согласился Обнинский.— Тогда решать нам. Я не коллекционер, Петр Никифорович, и признаю, что часам Кулибина больше понравится у вас. Но без них мой дом сразу же опустеет. Уж больно я к ним привык. Я хочу подумать. Мой ответ через месяц вас устроит?

— Конечно. Я вас очень хорошо понимаю.

— Вот и отлично.

Часы оказались в хорошем состоянии. Надо было

лишь отрегулировать ход — они отставали на шесть минут в сутки — починить механизм стрелки, указывающей на затмения солнца и луны.

— Часовщикам не показывали?

— Избави бог! — испугался Обнинский.— Я их к этим часам на пушечный выстрел не подпускаю. Святое правило.

— Очень разумное правило,— согласился отец.— Но, мне думается, что сейчас можно сделать из него исключение.

...К тому времени Мецнер через своих петербургских знакомых разыскал придворного часовщика Генриха Вольфа, репутация которого не вызывала никаких сомнений. По приглашению Мецнера Вольф приехал в Москву и уже успел доказать, что ему не зря так густо курили фимиам. Он, правда, еще не вернул попугаю Микешина его былую разговорчивость, но все же механическая птица вновь запела. А это немало. И отец посоветовал Обнинскому (он никогда потом не мог себе этого простить) отдать часы Кулибина для починки Мецнеру.

— Вы о таком слышали?

— Как и каждый москвич,— сказал Обнинский.

В этом ответе было, конечно, некоторое преувеличение. Мецнера знал не каждый, а только тот, кто интересовался антиквариатом. Зато любители старины не обделяли его своим вниманием. В доме Мецнера было что посмотреть и к чему прицениться.

Все стены здесь были увешаны мраморными, бронзовыми и фарфоровыми медальонами; миниатюрами на слоновой кости в золотых рамках; рыцарскими эмблемами; фламандскими коврами и старинными гравюрами. На столиках высились саксы и севры, расписные вазы, покрытая патиной старая бронза, резные олонецкие шкатулки из кости. И кругом — часы. Часы настенные, каминные, напольные. Часы швейцарской работы, русской, немецкой, английской, французской...

— Вольф пробудет у Мецнера еще с неделю,— сказал отец.

— Не премину воспользоваться его услугами.

Действительно, на следующий же день после встречи с отцом Обнинский завез Мецнеру кулибинские часы.

А еще через день Мецнер был убит. Его убили в спальне, выстрелом из револьвера. Самые ценные вещи

антиквара, в том числе кулибинские часы, были похищены.

— Кто же убил Мецнера?

— Этого полиция не установила,— сказал Василий Петрович.

— Но подозревали, разумеется, Генриха Вольфа?

— Нет. У Вольфа было алиби.

— Он в тот день уезжал из Москвы?

— Нет, он просто в нее не приезжал,— загадочно сказал Василий Петрович.

— Не понимаю.

— Генрих Вольф и не думал покидать Петербург. В Москву к Мецнеру приехал человек, выдававший себя за придворного часовщика Генриха Вольфа.

— А кем он был в действительности?

— Этого полиция установить не смогла, а может быть, не захотела.

— И на этом заканчивается история кулибинских часов?

— Я этого не говорил. Много лет спустя мне удалось пролить некоторый свет на происшедшее. Во всяком случае, мне так кажется...

— Когда же это случилось?

— В тысяча девятьсот сорок пятом году, голубчик. Сразу же после войны.

* * *

— Вы, конечно, слышали про знаменитую Янтарную комнату,— сказал Василий Петрович.— Инкрустированные янтарем различных цветов и оттенков стены, двери, картины из янтарной мозаики, украшения... Все это в 1942 году было разобрано гитлеровцами, упаковано в ящики и отправлено в Кенигсберг, нынешний Калининград. Там Янтарную комнату немцы некоторое время экспонировали, а затем, уже в октябре 1944 года, вновь разобрали, увезли и где-то спрятали.

Розысками Янтарной комнаты занимались сотни людей. Одно время к этим розыскам был приобщен и я.

Вот тогда-то мне привелось несколько раз беседовать с молодым немецким искусствоведом Георгом Гудденом, который принимал участие в описании мозаик Янтарной комнаты.

Гудден являлся противником фашистского режима и при первом же удобном случае перешел к нашим. Он очень хотел помочь отыскать следы Янтарной комнаты,

но это оказалось ему не под силу. Зато с его помощью мне удалось, кажется, прояснить кое-что другое...

Вы помните «детективный вариант» начала нашего повествования?

— Убийство в Москве антиквара и самоубийство в Баварии Людовика II?

— Совершенно верно,— подтвердил Василий Петрович.— Так вот, Людовик утонул в озере у замка Берг. А вместе с ним погиб некий врач, профессор Гудден, который пытался удержать злосчастного короля от самоубийства.

Во время одной из наших бесед я спросил у Георга Гуддена, однофамилец он того профессора или родственник. Оказалось — внучатый племянник. Разговор, естественно, перекинулся на последние годы жизни Людовика Баварского и обстоятельства, связанные с его смертью.

Тут выяснилось одно странное обстоятельство. Мой собеседник сказал, что, по семейным преданиям, когда труп короля вытащили из воды, в его сведенной руке обнаружили «детскую механическую игрушку в виде зеленого попугая». Попугай был величиной в спичечный коробок, с растопыренными крылышками и хохолком на голове...

Мне казалось, что, наслушавшись рассказов Василия Петровича, я совсем отвык удивляться. Выяснилось, что нет, не отвык. Упоминание о попугае ошеломило меня. На мой взгляд, это уж было слишком.

— Вы думаете...

— Вот именно,— подтвердил он, не дослушав меня до конца.— Георг Гудден описал «детскую механическую игрушку». Это была точная копия птички на часах Штернберга и Кулибина «Говорящий попугай».

— Вы хотите сказать, что человек, который убил и ограбил Мецнера, возможно, действовал по повелению Людовика II?

— Во всяком случае, не исключаю этого.

— Но зачем королю Баварии могли потребоваться эти часы?

— Представления не имею.

— Он же не был сумасшедшим!

— Был.

— Что — был?

— Сумасшедшим был,— сказал Василий Петрович.

На какое-то время я потерял дар речи. Кажется, Белова это полностью устраивало.

— Видите ли, голубчик,— сказал он,— когда я читаю исторические исследования, мне порою кажется, что сумасшедших правителей было значительно больше, чем это принято считать. Но свои мнения я никому не навязываю. Что же касается Людовика II, то это уже не мое субъективное мнение, а факт, подтвержденный заключением психиатров. Он был параноиком. Баварией, по меньшей мере шесть лет, правил безнадежно сумасшедший.

— И никто не заподозрил неладного?

— Разумеется. Да и кого это интересовало? Есть король? Есть. Ну и слава богу! Кабинет министров насторожился лишь тогда, когда король потребовал на свое содержание дополнительных денег, хотя, с моей точки зрения, это было единственное разумное, что он сделал.

Живя в одном из своих роскошных горных замков и окруженный придворными и стражей, король воображал себя то Лоэнгрином, то горным духом, то рыцарем Тристаном. Но кем бы он ни был в ту или иную минуту (Вагнером, Наполеоном, Рембрандтом или Марией Антуанеттой), он постоянно разрабатывал планы пополнения королевской казны.

Для займа в 26 миллионов марок Людовик тайно посылал своих агентов в Бразилию, Константинополь, Тегеран. В случае неудачи с займом король распорядился найти и завербовать подходящих людей для ограбления банков во Франкфурте, Штутгарте, Берлине и Париже.

Кроме того, в разные страны им было отправлено четверо придворных. Каждому из них предписывалось раздобыть любыми способами и привезти ему по двадцать миллионов. Вот почему вполне возможно, что одним из этих четверых и был человек, выдававший себя за придворного часовщика Генриха Вольфа. Как-никак, а имущество Мецнера оценивалось в весьма круглую сумму.

Что же касается часов Штернберга и Кулибина, то должен сказать, что Людовик, несмотря на свое сумасшествие, умел ценить прекрасное. А что может быть прекрасней старинных часов, сделанных золотыми руками мастера?!

— Ну хорошо,— сказал я.— Допустим, «говорящий попугай» действительно оказался в Баварии. Но астрономические часы Кулибина, которые принадлежали Об-

нинскому? Какие основания полагать, что они разделили участь «говорящего попугая»?

— Пожалуй, никаких,— раздумчиво сказал Василий Петрович.— Вполне возможно, что убийца не обратил на эти часы никакого внимания и их в суматохе присвоил кто-то из агентов сыскной полиции. Не исключено также, что, покидая Россию, преступник продал их комулибо из любителей. Да мало ли что еще!

— Значит, надежда отыскать кулибинские часы еще не потеряна?

— Конечно, нет. Может быть, сейчас, когда мы с вами беседуем, кто-то в Москве, Горьком или Ленинграде уже пишет письмо, подобное тому, какое получила в 1853 году редакция «Москвитянина»: «Если угодно редакции прислать освидетельствовать... то я очень рад буду, что диковинное произведение нашего русского механика, стоившее ему много труда и соображений, не погибнет в реке неизвестности. Жительство имею...»

Все может быть, голубчик!

Но как бы то ни было, а кое-что вы уже отыскали...

— Что вы имеете в виду? — спросил я.

— Как что? Повесть-легенду о волхве Бомелии, Иоанне Васильевиче Грозном, нижегородском купце Михаиле Костромине и выдающемся механике-самоучке, часовщике-кудеснике Иване Петровиче Кулибине, память о котором живет в России и по сей день...

«Так, так, так, так»,— подтвердили сказанное Василием Петровичем висящие на стене голубые ходики в виде избушки.

ЭДУАРД ХРУЦКИЙ

НОЧНОЙ «ЗАКОН»

Война прокатилась по этой земле и ушла на Запад. Остался полуразрушенный город, разбитые дороги, сожженные деревни, н лес остался. Война обтекла его, она прошла по дорогам и равнинам, оставляя лес за своей спиной.

Война ушла, а лес продолжал жить своей особенной, никому не понятной жизнью. Там разрывались мины, внезапно возникала яростная автоматная стрельба, вдруг слышался одиночный выстрел, а порой раздавался протяжный и страшный крик человека, прощающегося с жизнью. Он протянулся на многие километры, этот лес. И жизнь его была непонятна и страшна, как и силуэты людей, появляющиеся перед заходом солнца и исчезающие с рассветом.

Деревня Смолы. 3 сентября 1944 г. 18.00—24.00.

День уходил. Еще один многотрудный военный день осени сорок четвертого года. Война оставила на этой земле разбитые дороги.

По этим дорогам на запад шли войска, ползли машины и танки. На запад, на запад, на запад.

День уходил. Крестьяне, закончив работу на полях, закрыв глаза от солнца ладонью, смотрели на бесконечный поток солдат и машин.

Шнроколобый «Додж 3/4» свернул с основной дороги и по пыльному проселку пошел в сторону деревни, приткнувшейся у леса.

По улицам деревни возвращалнсь с работы крестьяне, коровы, мыча, тыкались в ворота домов.

«Додж» въехал в деревню, и шофер, совсем молодой парнишка, резко затормозил. Улицу важно переходили гуси.

— Ты аккуратнее, Ковалев,— недовольно сказал капнтан в шерстяной прожженной пилотке.

«Додж» медленно подкатил к покосившейся хате, на которой висел выгоревший на солнце красный флаг.

С крыльца, опираясь на костыли, сошел человек в застиранной до белизны гимнастерке, в старой пограничной фуражке с когда-то зеленым верхом.

Был он туго перепоясан ремнем с кобурой и совсем бы

смог сойти за кадрового сержанта, если бы не грубо выточенный протез на левой ноге.

— Председатель сельсовета? — спросил вылезший из машины капитан.

— Он самый, Андрей Волощук,— председатель откозырял.

— Кадровый?

— Был старшиной заставы, потом партизанил, а теперь вроде в обоз списали.

— Ничего, старшина,— капитан улыбнулся,— и здесь тоже служба не сахар.

Водитель вылез, достал ведро, опустил его в колодец, начал заливать в радиатор воду.

— Ты бы, Ковалев, сначала нас напоил,— спрыгнул на землю один из солдат.

— Поспеешь, машина больше тебя хочет.

Подошли двое крестьян, протянули кринки с молоком.

— Понимают солдата,— усмехнулся Волощук,— сами служили еще в старой армии.

— Как мне быстрее доехать до Гродно? — спросил капитан.

— Так зачем же вы с дороги свернули?

— По карте через лес вдвое короче.

— Не всегда короче та дорога, которая короче.

— Не понял, старшина?

— Лес, он и есть лес. Там всего хватает.

— Банды?

Волощук посмотрел на темнеющий в сумерках лес.

— Всякое там. Одним словом, гиблый лес.

— Пугаешь. Дело у нас неотложное, потом мы фронтовики, и четыре автомата не шутка.

— Смотрите.

— Прощай, старшина. Заводи, Ковалев.

«Додж» запылил по дороге. Он скрылся за поворотом, и гул мотора исчез в лесу.

Над селом опустилась ночь. Повисла похожая на фонарь луна. Никого. Только, прячась в тени плетней, проковыляла по улицам странная в размытом лунном свете фигура человека.

Волощука разбудил выстрел, и он, еще не проснувшись и не понимая, сон это или явь, расслабленно-бессмысленно лежал, прислушиваясь, в душной темноте хаты.

Звук автоматной очереди вернул его к реальности, и

он вскочил, выдернул из-под подушки наган, по звуку стараясь определить, где стреляют.

И снова прогрохотал автомат, потом еще и еще. Волощук, натягивая брюки и ища костыли, насчитал пять длинных, видимо, в полдиска ППША очередей.

Неумело прыгая на костылях в темной хате, он добрался до сеней и откинул тяжелую щеколду.

Над деревней висела луна, и в мертвенно-желтом свете ее дома деревни и лес за ними казались расплывчато-зыбкими и нереальными.

Опять хлопнул одинокий выстрел где-то совсем рядом и взревел автомобильный мотор. Волощук, подпрыгивая на костылях, едва успел добраться до забора, как на дорогу выскочил тупорылый «додж» с погашенными фарами. В движении его и нечеткой графике очертаний таилось столько непонятной опасности, что Волощук, упав у плетня, вскинул наган и трижды выстрелил по машине.

Трах!

Трах!

Трах!

Выстрелил и перекатился к колодцу.

Из машины зло и хлестко ответили автоматы, трассирующие пули, обрубая листву, впились в бревна избы, загораясь причудливо и ярко. Со звоном посыпалось стекло, рухнул срезанный, словно пилой, стояк навеса.

Волощук, встав на колени, пополз за полуразвалившийся колодезный сруб, ведя револьверным стволом, пытаясь хоть раз выстрелить прицельно.

Но машина уже промчалась мимо его дома и, тяжело урча мотором, уходила в конец села к лесной дороге. Волощук сунул руку в карман, где насыпью лежали патроны к нагану. Вдалеке снова ударил автомат, и ему сразу же ответили длинные и злые очереди. Волощук перезарядил наган. Прислушался. Стрельба прекратилась. Только слышен был удаляющийся шум автомобильного мотора.

Обдирая колени, он пополз к дому, нащупывая руками костыли. Вот один и рядом второй. Теперь Волощук встал и, переваливаясь, заковылял к калитке.

Все так же висела луна над селом, и дома в наступившей тишине показались пустыми и безлюдными.

С трудом передвигаясь на костылях, Волощук вышел на дорогу и остановился, не зная, что делать и куда идти. Луна разломала его тень, и она уродливо и длинно легла на серебристый песок улицы.

Тихо. Непонятная и страшная тишина села таила опасность.

Внезапно он услышал шаги. По дороге кто-то бежал, тяжело стуча коваными сапогами. Уходить было поздно, и Волощук, удобнее уперев костыли в землю, поднял наган.

Темная фигура уже различима на дороге.

— Стой!

— Председатель! Волощук,— донеслось из темноты.— Не стреляй. Слышь? Я это, Гончак.

— А, участковый,— председатель обвис на костылях.

Участковый подбежал, поправляя на плече ремень автомата. Остановился рядом, пытаясь заглянуть в темноту лица.

— Что это, председатель?

— Я тебя хочу спросить, сержант.

— Машина-то, «Додж 3/4», военная машина. Наша.

— Ваша, значит,— сплюнул Волощук.— Тогда бы ты и спросил у них: «Что такое?» Ваших-то.

— Ты чего говоришь? Чего говоришь... Ты же председатель сельсовета... Партизан... Ранение принявший.

— А что я тебе говорить должен? Прыгать на одной ноге? Радоваться? А?

— Откуда они выехали? — участковый полез в карман.— Табак забыл. У тебя нема?

— Залезь в карман. Вроде они от Капелюхов выехали.

Участковый скрутил цигарку, достал кресало и трут, зло звякнул по камню. Вспыхнули в темноте синеватые искры, оранжево затлел трут. Участковый прикурил, затянулся жадно несколько раз, обкусил конец самокрутки, протянул Волощуку.

— Ну, какие наши действия, председатель?

— К Капелюхам пойдем.

— Оно, конечно, так, идти надо. Никак без этого нельзя,— участковый снял с плеча автомат.

И они пошли. Двое. Только двое в этой недоброй ночи.

У забора дома Капелюха они остановились.

— Эй! — крикнул участковый, и голос его прозвучал в тишине неожиданно гулко.— Эй, хозяин! Капелюх, слышишь меня?

В темноте что-то заскрипело протяжно и тоскливо.

Участковый вскинул автомат. Волощук повел стволом нагана.

— Это дверь скрипит в хату,— сказал председатель

шепотом.— Я был у Капелюха, так она прямо воет, проклятая.

— Ладно, Волощук,— участковый протянул ему автомат.— Ты не ходи со мной. При твоих подпорках толку от тебя там не будет. Ты прикрой меня, если что. Полдиска осталось. Так ты короткими. Слышишь?

Волощук взял автомат, передернул затвор. Пружина лязгнула тревожно и звонко. Он посмотрел на дом. В свете луны он показался непомерно большим от теней, прилипших к скату крыши и углам избы.

Участковый достал пистолет, постоял немного, вглядываясь в темноту, и шагнул во двор. Легко, стараясь не стучать сапогами, перебежал лунную дорожку, ведущую от калитки к хате, и остановился.

Снова протяжно заскрипела дверь. Звук был уже привычен, но все-таки неожидан, и опять он заставил участкового вздрогнуть.

Ступени крыльца заскрипели под его шагами. Участковый достал карманный фонарик, желтая полоска света вырвала из темноты крыльцо, золотистую россыпь гильз, какие-то тряпки, валяющиеся у двери.

Участковый толкнул дверь и услышал стон.

— О-о-о! — стонал кто-то протяжно и страшно.

— Кто здесь? — тихо позвал участковый.— Капелюх! — крикнул он сильнее.

— О-о-о! — отозвалось из дома.

Участковый толкнул противно заскрипевшую дверь, и луч фонаря осветил сени — поваленные лопаты и грабли, медное корыто, разбросанные ведра.

— О-о-о!

Луч фонаря мазнул по стенам. В углу сеней в неестественной позе лежала женщина с залитым кровью лицом.

Участковый, споткнувшись о гулко загремевшее ведро, шагнул к ней и осветил фонарем.

На полу, разбросав руки, в порванной ночной рубашке лежала невестка Капелюха Ядвига.

— Ядзя, Ядзя. Это я, Гончак, милиционер, Ядзя!

— О-о-о!

Гончак наклонился, оторвал от подола рубашки женщины полосу и начал аккуратно бинтовать ей голову.

— Ядзя! Ты меня слышишь?..

Женщина продолжала стонать надрывно, захлебываясь, и участковому казалось, что она прощается с жизнью. Луч фонарика вновь побежал по стенам, вырывая один

за другим разбросанные предметы крестьянского скарба. И вид этих вещей, испокон веков имевших свое место, наполнил тревогой душу крестьянина, надевшего синюю милицейскую форму. Но он должен был идти, и, сжав пистолет, шагнул в комнату и повел фонариком.

Трупы. Залитые кровью, почти пополам разрезанные автоматными строчками, лежали там, где их настигла смерть. Разбитые шкафы, поваленный комод — все это увидел Гончак в свете фонаря.

Увидел и, пятясь, спотыкаясь о ведра и грабли, вышел на крыльцо. И здесь его начало рвать.

Волощук услышал странные звуки, будто кто-то плакал, захлебываясь. Он повесил автомат на шею, выдернул из-за пояса наган и заковылял к хате.

— Что?! — крикнул Волощук.

— Так,— захлебываясь, ответил Гончак,— там...

— Что там? Что?

— Капелюхов... побили Капелюхов...

— Всех? — голос председателя сел.

— Нет... Ядзя... Жива... Только стонет... Ранена...

— Где?

— В сенях.

— Что делать будем, Гончак?

— Постой,— Гончак вытер рукавом рот, присел на ступеньки крыльца.— Постой. Надо в райотдел сообщить. Ты, Волощук, здесь будь. Слышишь? Никого не подпускай. Я к телефону. Подмогу надо и врача для Ядзи.

— Только не лесом.

— Лесом скорее. Всего минут двадцать.

— Лесом не ездий, Гончак.

— Надо лесом, председатель, времени у нас нема.

Участковый гнал лошадь сквозь лес. Гнал, низко склонившись в седле, почти лежа на мокрой, пахнущей потом лошадиной шее. Гнал, стиснув зубы, пересиливая страх. И казалось ему, что из-за каждого куста направлен в него бездонный черный ствол автомата.

Райцентр. 4 сентября 1944 года. 1.30.

Райотдел милиции разместился в длинном одноэтажном здании ссудной кассы. С той далекой поры окна были наглухо забраны тяжелыми чугунными решетками. Дежурная часть находилась в кабинете кассира. Комна-

ту делила пополам металлическая сетка с узкой дверью и окошечком для выдачи денег. Дежурный лейтенант в синей выгоревшей милицейской гимнастерке хорошо отточенным немецким штыком-кинжалом нарезал сало, слушая вполуха рассказ помощника, сержанта.

— Вот я и говорю. Вошли они, значит, в дом. В масках. Трое. И говорят: давай ценности. А тот им: нет, говорит, у меня ничего, все, мол, немцы забрали. Тогда они начали его бить. А один примус стал разжигать.

— А примус-то зачем? — дежурный ловко подхватил кусок сала, уложил его на краюху хлеба и протянул в окошко кассы.

— Как зачем? — сержант изумленно, словно на ребенка, посмотрел на лейтенанта.— Штык калить...

— Зачем?

— Пытать собрались.

— А.

— Вот тебе и а... А дочка хозяйская в другой половине спала, она в окно вылезла и на улицу. А тут машина наша едет...

— Ну?

— Что ну? Взяли их. Один, между прочим, полицай бывший.

— До чего сволочи всякой война развела,— дежурный изумленно закрутил головой.— Страх до чего много.

Зазвенел телефон, и лейтенант, с неодобрением посмотрев на него, снял трубку.

— Райотдел милиции, дежурный Слепнев. Кто?! Откуда? Гончак! А! Чего тебе, Гончак? Что? Да говори ты медленнее и не кричи так, я слышу. Что? Что ты несешь? Стой, записываю!

Лейтенант отодвинул кружку с чаем, вытер сальные пальцы прямо о галифе, достал журнал происшествий.

— Диктуй, Гончак,— дежурный начал писать,— так... так... Кто там на месте?.. Волощук... Так... Время... Между 22—23...

Часы на стене сипло пробили один раз.

— Понял тебя. Обеспечь сохранность места происшествия. Действуй!

— Что там? — дожевывая хлеб, спросил сержант.

— В Смолах семью перебили.

— Кто?

Дежурный, не отвечая, подошел к телефону, висящему на стене, и стал крутить ручку:

— Товарищ подполковник...

Деревня Смолы. 4 сентября 1944 г. 4.20.

— Фару зажгите,— приказал подполковник Павлов. Он стоял во дворе усадьбы Капелюха, маленький, в мешковато сидящем обмундировании, в надвинутой фуражке, больше похожий на бухгалтера, чем на человека, отвечающего за борьбу с бандитизмом в этом неспокойном прифронтовом районе.

Вспыхнул авиационный фонарь, укрепленный на длинной алюминиевой стойке, и осветил двор бледным, мертвящим светом.

Работники опергруппы делали свое дело сноровисто и привычно, скрупулезно, сантиметр за сантиметром обшаривая двор.

Из дверей хаты вышла женщина с погонами старшего лейтенанта медицинской службы.

— Что у вас? — спросил подполковник.

— Пострадавшая приходит в себя, касательное ранение головы, следы изнасилования...

— Остальные?

Врач развела руками.

— Вся семья?

— Да, товарищ подполковник, шесть человек. Даже детей не пожалели.

— Так. Давыдочев! Где Давыдочев? — крикнул подполковник.

— Он в доме,— ответил кто-то.

— Ко мне его!

— Давыдочева к начальнику!

Молодой лейтенант выглянул в окно хаты:

— Меня?

— К начальнику.

Давыдочев подошел, на ходу застегивая воротничок гимнастерки.

— Ну, что у тебя? — подполковник внимательно посмотрел на лейтенанта.

— Трупы...

— Я знаю, что не цветы. Конкретнее.

— Семья перебита внезапно! Следов борьбы нет. Некоторых смерть застигла в постелях. Стреляли почти в упор.

— Из чего стреляли?

— Из «шмайссеров». Гильз много. Пули из стены выковыривали.

Лейтенант раскрыл ладонь. На ней лежали деформированные кусочки металла.

Подполковник взял один, поднес к свету.
— «Шмайссер». Еще что?
— Взяты все вещи.
— Что значит «все»?
— Шкафы и комод пустые.
— Как ты думаешь, Давыдочев, много можно взять у крестьянина?
— Не знаю. Но, наверное, немного.
— Правильно. Возможно, нападавшие что-то искали.
— Не похоже, чтоб они что-нибудь искали.
— Смотрите лучше. А может быть, они нашли сразу...
— Товарищ подполковник,— к начальнику подошел высокий пожилой майор,— следы сапог обнаружены, размер сорок второй, судя по рисунку подошвы — сапоги наши, армейские.
— След загипсовали?
— Так точно. Вот еще пачка от немецких сигарет «Каро».
Майор протянул начальнику раздавленную сапогом синюю коробку с золотыми буквами «Каро».
— Так,— подполковник взял коробку, шагнул в свет фонаря, поднес ее к глазам.— Интересно. Вы уверены, что ее оставили нападавшие?
— Уверен.
— Почему?
— У убитого найден большой запас табака-самосада.
— Это ни о чем не говорит. Можно курить и то и другое.
— Не думаю.
— Давыдочев,— он повернулся к лейтенанту,— потерпевшая может говорить?
— Пока нет.
— Срочно ее в город, в госпиталь. Где председатель сельсовета?
— Вот он,— Давыдочев кивнул в сторону сидящего на бревне Волощука.
Павлов пересек двор, подошел к председателю. Тот торопливо начал нашаривать костыли.
— Сидите, сидите. Я тоже присяду. Настоялся. Так как же это, Советская власть?
— А вот так,— Волощук выплюнул цигарку.— Подкрепленье нам нужно. А то я — власть до заката. А потом мы на заячьем, извините, положении.
— Кто «мы»?

Волощук, усмехнувшись, недобро хлопнул ладонью по торчащему за поясом револьверу.

— Есть еще оружие?

— Трехлинейка.

— Я распоряжусь, чтобы вам оставили автомат.

— Лучше «дегтяря» или МГ и патроны, конечно.

— Оставим. Вы видели машину?

— Да.

— Какая марка?

— Навроде как у вас.

— «Додж»?

— Он. На такой же вчера под вечер проезжали машине. Капитан и трое бойцов. Торопились в Гродно. Решили ехать через лес.

— Приметы их помните?

— Товарищ подполковник,— подбежал Давыдочев,— в сарае пилотку нашли нашу, офицерскую.

Подполковник взял пилотку, осветил фонарем.

— Это его пилотка! — крикнул Волощук.

— Чья?

— Да капитана, что проезжал.

— Странно, очень странно. Как вы думаете, зачем они приходили?

— Думаю, за продуктами. В лесу прячется сволочь всякая. Ходят по крестьянам, отбирают муку, сало, птицу. А Капелюх не дал им ничего. Вот они и дождались, когда он госпоставку приготовит. Я в сарай заходил. Чисто. И кабана застрелили, и корову с телкой, да, видать, увезли.

А ночь уходила. Рассвет растворил белый, призрачный свет лампы, и ее погасили. На село из-за леса спускалось утро.

— Товарищ подполковник,— высокий сухопарый лейтенант, эксперт-криминалист, подошел и замолчал, глядя на Волощука.

— Говори, при нем можно.

— Следы машины соответствуют «Доджу 3/4». Резина не новая, правое заднее колесо латаное, оставляет характерный след. Отпечатки загипсованы. Следы машины прослежены по всему селу.

— Хорошо. Иди. Скажи-ка, председатель, кто в том доме живет? — подполковник ткнул пальцем в сторону соседнего плетня.— Вон, кстати, и хозяева.

Волощук поднял голову. У плетня стояли мужчина и две женщины. Они молча глядели на двор Капелюха.

— Гронские это. Казимир, жена его и невестка.

— А где сын?

— Говорят, в польской дивизии служит. В этой, как его...

— В АК?

— Да нет, с нами, в дивизии Костюшко.

— Давыдочев! — подполковник вскочил с неожиданной для его плотного тела легкостью.— Давыдочев!

— Здесь, товарищ подполковник! — подбежал запыхавшийся лейтенант.

— Заправься, фуражку поправь,— подполковник неодобрительно оглядел его.— Ты же уполномоченный ОББ, а ходишь, как начальник банно-прачечного отряда.

— Виноват. Я...

— Гронского приведите ко мне.

Давыдочев, придерживая рукой кобуру, побежал к соседнему плетню.

Гронские попятились, потом почти бегом бросились к хате.

— Стой! — крикнул лейтенант.— Стой, хозяин!

Гронский остановился. Рука, взявшаяся уже за перила крыльца, сжалась, словно он боялся оторваться от спасительного дерева родного дома.

— Хозяин! — еще раз крикнул лейтенант.

Гронский повернулся, медленно, словно ожидая выстрела в лицо.

— Пошли со мной,— махнул рукой Давыдочев.

Гронский с трудом оторвал руку от перил и шагнул к лейтенанту.

— Казимешь! Нет! Казимешь! — закричала жена. Она схватила Гронского за руку и потащила в хату.— Нет,— кричала она по-польски,— не пущу! Нет!

— Вы что? — крикнул Давыдочев.— Прекратите!

Гронский мягко освободил руку и обреченно шагнул к Давыдочеву.

— Прошу! — лейтенант показал рукой на двор Капелюха. У плетня он обернулся и поразился нескрываемому отчаянию, исказившему лицо женщины. Гронский шел медленно, осторожно ступая босыми ногами, словно боясь наступить на что-то острое.

Во дворе усадьбы Капелюха он затравленно огляделся и шагнул к Павлову.

— Гронский? — спросил подполковник.

— Да, пан.

— Вы видели, кто был ночью у вашего соседа?

— Нет, нет.— Гронский заговорил на странной смеси польского, белорусского и русского языков.

— Подождите. Я не понимаю вас.

— Он говорит, что спал,— перевел Волощук,— потом услышал выстрелы. Много выстрелов. Так я говорю, Казимир?

Гронский кивнул и заговорил еще быстрее.

— Они испугались,— продолжал Волощук,— и спрятались в подпол. Так, Казимир?

Гронский опять кивнул головой.

— Я думаю, товарищ подполковник,— Волощук подобрал костыли, тяжело опершись, поднялся.— Я думаю, он действительно ничего не видел, у нас народ напуганный. Сознания в нем мало. Боятся всего. Здесь все были,— продолжал он горько.— И немцы, и бендеры, и власовцы, и аковцы. Убили в народе веру в правду, страх посеяли. А страх — дело опасное, товарищ начальник, он ненависть родит.

— Пусть он идет,— задумчиво сказал Павлов.

— Иди, Гронский, а то твоя баба слезами изошла,— Волощук махнул костылем.

Гронский почти бегом заспешил к своей усадьбе. Павлов смотрел ему вслед и видел, как он перемахнул через плетень, как женщина обняла его и, тесно прижавшись, пошла вместе с ним к хате.

— Вы, товарищ Волощук,— нарушил тишину Давыдочев,— председатель сельского Совета, партийный, значит передовой человек, а чушь городите. Страх, ненависть. Несознательность это, мракобесие. Вы им должны текущий момент разъяснять.

— Момент,— Волощук резко обернулся к лейтенанту, так что костыли заскрипели жалобно, и посмотрел на него недобро и тяжело,— момент, говоришь. Вот ты сначала порядок здесь наведи, а потом я им политграмоту зачту.

Полуторка, гремя и подпрыгивая на ухабах, подлетела к усадьбе Капелюха.

— Товарищ подполковник,— крикнул капитан милиции,— «додж» нашли.

«Додж» стоял на развилке дороги, тяжело осев на переднее колесо. Навалившись на руль, словно заснув на минуту, в нем сидел человек.

— Так,— сказал Павлов,— так.

Он обошел машину, точно любуясь ею. Влез в машину, осмотрел убитого.

— Одна пуля в бок, вторая — в затылок.

— Он, наверное, раненый еще вел машину, а когда скат сел, они его добили, чтоб не тащить.

— Бандюги, они и есть бандюги,— сказал один из милиционеров.

— Положите его и осмотрите как следует.

— Что еще?

— Весь кузов в крови, в бортах шерсть. Видимо, корову тащили. Следы волока уводят в лес,— сказал эксперт-криминалист.

Убитый лежал на земле, в кургузой, явно не по росту солдатской гимнастерке, в фасонистых немецких бриджах и немецких хромовых сапогах с пряжками. Рядом с ним на куске брезента были сложены портсигар, зажигалка, пачка красных тридцаток и немецкий десантный нож.

Павлов взял нож, нажал на кнопку, острое жало выскочило из рукоятки.

— Больше ничего?

— Ничего.

— Грузите в машину.

Мимо убитого вереницей шли жители села. Долго всматривались в залитое кровью лицо. Молча отходили.

— Не опознали,— повернулся к Павлову Волощук.— Я же говорил вам, что народ у нас пуганый, им веру надо внушить в нашу правду и силу.

— Внушим, председатель, внушим,— Павлов повернулся и пошел к дому Капелюха.

Павлов, Волощук, Гончак и Давыдочев стояли у дома Капелюхов.

— Вот вы уедете,— сказал Волощук,— а мы останемся...

Он замолчал внезапно. Из хаты милиционеры выно-

сили покрытые брезентом трупы. Все сняли фуражки.

— Вы их похороните,— сказал Павлов.— Как положено. В лесу у вас банда. Оставляю вам лейтенанта, он вместе с участковым бандой займется.

Волощук недоверчиво посмотрел на лейтенанта. Уж слишком по-юношески тонок был этот парень в синей милицейской гимнастерке.

— Да, помощник...

— Он парень боевой, в разведке служил,— словно оправдываясь, сказал Павлов.— Ранили его, а после госпиталя к нам. Оружие в селе есть?

— А то как же. И оружие, и патроны. Его, оружия-то всякого, там,— Волощук показал костылем на лес,— на целую дивизию хватит, валяется, только собирай.

— Ищите надежных людей. Вооружите их, пусть помогут.

Волощук посмотрел на подполковника, словно хотел сказать: «Вам в городе легко». Но промолчал.

Они шли вдоль деревни. Синие гимнастерки выцвели, сапоги покрыла мучнистая пыль. Солнце, висевшее над миром, было не по-осеннему жарким, и милиционеры расстегнули воротники гимнастерок.

У плетней стояли люди, они молча кивали идущим и провожали их взглядами.

— Молчаливый у вас народ,— усмехнулся Давыдочев.

— Пуганый,— Гончак выплюнул самокрутку.

— Темный народ,— зло ответил лейтенант.

— Не прав ты, лейтенант молодой,— Гончак остановился.— Народ у нас добрый, трудовой. В этой деревне партизаны завсегда и ночлег и еду находили, раненых прятали...

— Так что же они теперь?

— А вон,— Гончак показал на лес,— пока здесь два закона — дневной да ночной.

Давыдочев посмотрел на лес внимательно и долго. В ярком солнечном свете был он совсем не страшным. А, наоборот, веселым и нарядным. И все же рука лейтенанта легла на крышку кобуры.

— Запрягай, Гончак, лошадь,— сказал Давыдочев,— поедем в соседнюю деревню, там еще что и как поспрошаем.

— Я только Волощука предупрежу,— ответил участковый.

«Спецсообщение»

Обл. ОББ Ром милиции Павлову.

Дактилоскопическая установка убитого в деревне Смолы ничего не дала. По нашим данным, в вашем районе дислоцируется бандгруппа, примерный состав до шести стволов. Бандиты нападают на крестьян, отбирают продукты. Они имеют устоявшийся канал сбыта, меняя продукты на деньги и золотые изделия как в районе, так и в области. Исходя из особой опасности бандгруппы, высылаем вам в помощь оперуполномоченного ОББ УНКВД области капитана Токмакова.

Нач. ОББ Клугман.

Райцентр. 4 сентября 1944 г. 12.00.

Сентябрь был жарким. Павлов сидел на ступеньках больницы, расстегнув воротник гимнастерки и сняв фуражку.

Больница была маленькой, чисто выбеленной, оконные рамы покрашены голубой краской. Павлов закрыл глаза и сразу же словно провалился в темноту. Сон был легким и крепким.

Он очнулся от прикосновения. Открыл глаза. Перед ним стоял главный врач больницы Трофимов.

— Хотите, подполковник, я положу вас на диване в своем кабинете?

— Хочу, но не могу.

— Вам необходимо поспать.

Павлов встал, поправил фуражку, застегнул воротник.

— Как она?

— Лучше.

— Поговорить с ней можно?

— Да. Только она плачет все время. Пойдемте.

В маленькой прихожей Трофимов снял с вешалки халат, протянул Павлову.

Халат был широким и длинным, и подполковник словно утонул в нем.

В коридоре плотно стояли койки, и Павлов с Трофимовым шли сквозь эти ряды, провожаемые любопытными взглядами.

У дверей с табличкой «Старшая сестра» главврач остановился.

— Мы ее отдельно положили,— он толкнул дверь.

В маленькой комнате, заваленной узлами с бельем, на широком кожаном, неведомо как попавшем сюда диване лежала женщина с перевязанной головой.

Лицо ее было бледно и неподвижно, только глаза, огромные, серые, жили на этом лице. Они смотрели на Павлова тоскливо и вопросительно.

— Это к тебе, Ядзя,— сказал Трофимов,— вы тут поговорите, а я пойду.

Павлов осторожно присел на край постели.

— Как вы себя чувствуете?

— Хорошо,— чуть слышно, одними губами прошептала женщина.

— Я начальник районной милиции, вы можете ответить на мои вопросы?

— Да.

— Скажите, вы узнали кого-нибудь из нападавших?

— Да.

— Кого?

— Андрея Рокиту,— голос женщины окреп.— Он раньше в нашей деревне жил, потом в городе. При немцах в полиции служил.

— Только его?

— Только. Их пятеро было... Каты... Бог покарает их...

Она кусала губы, сдерживая рыдания.

— Почему они пришли к вам?

— Они ночами ходили по хатам, забирали продукты, а свекор прогнал их, не дал ничего. И дядя Казимир не дал...

— Они были одеты в нашу форму?

— Да.

Ядвига закрыла руками лицо и зарыдала.

Райцентр. 4 сентября 1944 г. 15.00.

В дверь райотдела милиционеры в намокших от пота гимнастерках пытались втащить огромный сейф, украшенный замысловатым чугунным литьем.

Дежурный внутри здания руководил этим нелегким делом.

— Лемех! — слышался сквозь открытые окна его го-

лос.— Лемех! Мать твою!.. Ну подлезь ты под его! Подлезь! Слышь, что говорю?

— Сам подлезь,— тяжело отвечал Лемех,— как командовать, так все, а как таскать...

Павлов сидел на подножке «доджа», наблюдая за стараниями милиционеров. Сейф закупорил дверь, и теперь ни выйти, ни войти в здание было невозможно.

— Лемех! Горячко! — надсаживаясь, кричал невидимый дежурный.

Подполковник встал, подошел к окну и крикнул:

— Авдеев!

Из коридора по-прежнему доносился зычный голос дежурного.

— Авдеев! — крикнул подполковник громче.

У решетки окна появилось красное лицо дежурного:

— Я, товарищ начальник.

— Скоро кончится этот базар?

— Да, я...

— Даю еще пять минут.

— Так он же застрял, товариш подполковник.

— Пять минут, я сказал, хоть динамитом взрывайте.

— Слушаю,— лицо дежурного исчезло.

Подполковник опять подошел к машине, сел на ступеньку.

У ворот райотдела остановился «виллис». Из него выпрыгнул майор Кузьмин и приглашающе указал на вход своему спутнику, капитану в ладном кителе с золотыми погонами.

Павлов, чуть прищурясь от солнца, следил, как офицеры пересекали двор. Кузьмин шел устало, словно человек, трудно и долго работавший, капитан шагал помолодому, упруго, планшет на длинном ремне щеголевато болтался где-то у самых колен.

Они подошли и остановились, приложив руки к козырькам фуражек.

— Товарищ подполковник, заместитель командира отдельного автотранспортного батальона капитан Лесин.

— Здравствуйте, капитан,— подполковник встал, протянул руку.— Ну посмотрите, посмотрите, может, это ваша машина?

— Наша, товарищ подполковник, я ее сразу узнал. Наша.— Капитан обошел машину, похлопал по пыльному борту.— Наша...

— Кто был в машине?

— Капитан Авдеев, помпотех и трое рядовых.

Павлов расстегнул полевую сумку, вынул шерстяную обгоревшую пилотку.

— Узнаете?

— Да, это пилотка Авдеева. Что с ними?

— Видимо, погибли. Напоролись на бандитов.

Капитан Лесин взял пилотку, повертел ее в руках, вопросительно поглядел на Павлова.

— Так как же это, товарищ подполковник, в тылу?

Областной центр. 5 сентября 1944 г. 13.00.

Павлов быстро шел по длинному коридору Областного управления НКВД, рассеянно здороваясь со знакомыми. Он мысленно был уже там, у двери с табличкой «Начальник ОУ НКВД».

Подполковник толкнул дверь и вошел в маленькую приемную. Из-за стола поднялся капитан.

— Минутку,— и он исчез за сделанной под шкаф дверью.

Павлов подошел к столу, взял журнал «Огонек», начал неторопливо перелистывать страницы.

— Прошу,— капитан вновь появился в приемной.

— Товарищ комиссар,— Павлов вытянулся у дверей.

— Здравствуй, Павлов,— начальник управления, высокий плотный человек, с погонами комиссара милиции третьего ранга, тяжело поднялся из-за стола.

— Ну, проходи, садись,— комиссар показал рукой на стул.— Что там у тебя, плохо?

— Плохо, товарищ комиссар.

— Знаю. А я уже приказ приготовил забрать тебя начальником ОББ управления.

— Видно, не судьба, товарищ комиссар.

— Ты, Павлов, фаталист... Прямо, как его, у Лермонтова-то?

— Вулич.

— Точно, Вулич. Ты, однако, что-то мрачно настроен. Есть концы?

— Пока имеются наметки.

— Значит, так и докладывать в обком и в наркомат?

Павлов молчал. Как и все самолюбивые люди, он не терпел замечаний.

— Ну, что молчишь?

— Нечем обрадовать, товарищ комиссар.

— Как с людьми?

— Плохо, товарищ комиссар.

— Я уже дал команду — как Токмаков вернется, к тебе его. Докладывай.

— Банда базируется в районе между деревнями Смолы и Гарь. Командует ею бывший следователь немецкой вспомогательной полиции Андрей Рокита. Приблизительный состав банды — пять-шесть стволов.

— И что они делают?

— Грабят крестьян, забирают продукты.

— Как ты думаешь, Павлов, зачем им столько продуктов?

— Я думаю, они отправляют их в город.

— И я так думаю. Мы располагаем данными, что в районах ездят какие-то люди, одетые в советскую военную форму, выдают себя за интендантов, скупают у крестьян продукты. Мне кажется, дорогу к банде надо искать в городе. Черный рынок. Понял, Павлов? Это сейчас главное.

Комиссар достал из пачки папиросу, постучал мундштуком по коробке.

— Мы связались со штабом охраны тыла и госбезопасностью. Но пока за порядок спрос с нас — милиции. Ты слышал, какие разговоры после налета в Смолах поползли? Мол, наши солдаты грабят и убивают.

— Слышал.

— Помни, армия есть армия, ей воевать надо. ОблНКГБ своим делом занято. Им тоже хватает. А вооруженный бандитизм — наша забота. Вот за это я с тебя спрошу по всей строгости.

Деревня Смолы. 6 сентября 1944 г. 14.00.

Волощук чистил пулемет. МГ лежал на столе, жирно поблескивая смазанным рубчатым кожухом. Ветер шевелил цветы на подоконнике, шевелил газету, разложенную на столе.

— Эй, староста! — крикнул кто-то у дверей.

Волощук положил руку на наган, полузакрытый бумагой.

— Войти можно?

— Входи! — крикнул председатель, он узнал голос соседа.

Гронский, в простой рубашке поверх немецких форменных брюк, тяжело опустился на лавку, начал скручивать цигарку.

— Ну, Казимир? — спросил Волощук.

— Дай документ, староста. Хочу перебраться к брату в город. Боюсь я. Мой дом с Капелюхом рядом. Я ведь тоже продукты отказался дать, сказал им — нет у меня ничего.

— Так говоришь — документ? — зло сощурился Волощук.— Нет! — и он ударил кулаком по столу.

Яруга вышел из хаты и долго, приложив ладонь к глазам, оглядывал лужайку, деревню, лес. Село жило своими дневными заботами. Казалось, никакой войны нет.

Яруга опять огляделся; внимательно и долго осматривал он усадьбу Гронских, пустой дом Капелюхов. Потом, припадая на поврежденную ногу, горбун двинулся к сараю. Открыв тяжелые створки, начал осматривать телегу. Он готовил ее к дальней дороге, смазывая дегтем крепления оглобель и облучка. Потом, найдя в углу кучу тряпья, начал обматывать обода колес. Работал он неторопливо, аккуратно.

Закончив с телегой, Яруга пошел на лужайку, поймал стреноженную лошадь. Запряг ее и выехал к лесу задами.

Телега шла мягко, без шума и скрипа, и горбун был доволен.

В лесу он спрятал телегу в кустарник, забросал ее ветками. Лошадь отвел снова в деревню.

Пыля по большаку, влетели в село две разгоряченные дорогой машины и остановились на середине улицы. Из кабины выскочил молоденький лейтенант в свежем, необмятом еще обмундировании. Выскочил, потянулся, глядя на солнце, и прошелся, разминая ноги. Он радовался жизни, погонам своим с двумя звездочками, ладным хромовым сапогам.

— Слезай,— нарочито строго скомандовал он. Чувствовалось, что ему еще не надоело командовать и носить на боку тяжелый ТТ.

Лейтенант оглядел дворы. Пусто. Только запоздавшие крестьяне торопливо прятались в хаты.

— Лапшин! — крикнул лейтенант.— Организуй помыться.

Лейтенант толкнул калитку, вошел во двор усадьбы.

— Эй, хозяин!

Дом молча смотрел на него окнами, забранными ставнями.

Лейтенант поднялся на крыльцо. Постучал. Дом молчал.

— Товарищ лейтенант,— подбежал сержант Степанов,— да они попрятались все. Ребята хотели купить какой-нибудь еды или сменять, так не говорят просто.

— Почему? — со строгим недоумением спросил лейтенант.

— Вроде как дикие они. Запуганные.

— Странно очень.

Сержант пожал плечами.

— Давай мыться у колодца,— лейтенант скинул гимнастерку.

Они мылись, покрякивая от холода колодезной воды.

...С чердака Волощуку были отлично видны машины, моющийся офицер и солдаты. Он напряженно следил за ними, на всякий случай провожая каждого вороненобезжалостным стволом МГ.

Лес за деревней Смолы. 6 сентября 1944 г. 11.00.

Теперь Яруга вел лошадь к лесу, похлопывая ее по упругому теплому боку. Лошадь встряхивала головой, косила темно-фиолетовым глазом. Яруга вел ее к опушке, где хворостом в кустах была замаскирована телега.

За его спиной настороженно жила деревня. Люди работали во дворах, готовые спрятаться при первом же приближении опасности.

Оглянувшись, Яруга начал разбрасывать хворост. Вот она, телега, смазанная, ладно пригнанная, с колесами, по ободам обмотанными старыми шинелями. Такая не заскрипит, не застучит на кореньях.

Яруга впряг лошадь и за узду медленно повел ее в лес. Он шел тихо, неслышно катилась телега, только лошадь иногда недовольно пофыркивала. Крестьянин шел только одному ему известным маршрутом. Лес был поосеннему свеж и тих.

А он уходил все глубже в чащу, иногда останавливаясь, прислушиваясь.

Поляна. Подбитый легковой автомобиль у кустов. Яруга обошел его со всех сторон, заглянул внутрь. Вынул клеенчатый плащ, осмотрел его, бросил в телегу, потом достал нож и срезал кожу с сидений.

Потом обошел машину, открыл багажник, вынул домкрат, сумку с инструментами, снял запасное колесо. Влез в кабину и начал отвинчивать часы на панели.

Солнце уже поднялось высоко, а Яруга все еще блуждает по лесу. На телеге лежат несколько немецких мундиров, два анкера для воды, здоровенный рулон брезента.

Яруга, ведя лошадь под уздцы, так же осторожно выбирает одному ему знакомую дорогу. Вот тропинка нырнула в кусты, и он пошел по тропинке.

Яруга поднял голову и увидел троих с автоматами.

Он хотел броситься к спасительным кустам, но за спиной его стоял еще один.

Один из троих, высокий, в сапогах, начищенных до матового блеска, в кожаной немецкой куртке, подошел к телеге, взял часы, повертел, бросил обратно.

— Ну что, Яруга, шарашишь потихоньку?

— Я...— голос Яруги сел, он никак не мог справиться с ним.

— Не дрожи, не дрожи, не тронем. Как там власть новая?

— Ничего пока...

— Не знает она о тебе. А?

— Не знает.

— Так вот, чтоб они ничего не узнали и дальше, ты мне поможешь.

Яруга молчал.

— Слышишь, сволочь,— бандит схватил Яругу за рубашку, дернул на себя.— Человеку нашему поможешь.

Яруга молчал.

— Он придет к тебе, скажет, что от меня. А по деревне слух пусти, что это красноармейцы грабят. Понял? Ну, езжай, мразь убогая. И помни. Как они госпоставки подготовят, сразу свистни. Я тебя теперь каждый вечер проверять буду.

Деревня Смолы. 6 сентября 1944 г. 15.00.

Бричка, груженная узлами и сундуками, выехала из ворот усадьбы Гронского. Сам Гронский в городском костюме сидел на облучке, на вещах примостились жена и невестка. Крестьяне, вышедшие из домов, молча глядели вслед бричке.

На дорогу перед самыми мордами коней выскочил Волощук.

— Стой! Стой, Гронский! Ты куда? — Волощук дышал тяжело. Ему нелегко было догнать бричку Гронского.

— В город, к брату.
— Нельзя хозяйство бросать, понял? — крикнул Волощук.— Кто армию кормить будет?
— Какую армию? Червоную?
— Червону!
— Так ты сначала банду слови. Это ж они до меня шли. Понял, староста, до меня, а не только до Капелюха! Уйди с дороги!
— Стой! — Волощук выдернул из-за пояса наган.
Гронский хлестнул коней, они рванули, оглобля задела не успевшего отскочить Волощука, и он упал, выронив наган, а бричка пронеслась мимо него.
Волощук прополз в пыли, дотянулся до оружия. Вскинул наган, потом опустил и долго сидел на дороге, беспомощный и слабый.

Райцентр. 8 сентября 1944 г. 9.00.
На этом базаре торговали всем. Он выплеснулся из огороженного рыночного пространства и заполнил близлежащие улицы. Здесь продавали немецкие, польские, румынские сигареты. Папиросы самых разнообразных сортов. Местный самогон — «бимбер», самодельный, ядовитого цвета лимонад в грязноватых бутылках, конфеты. Продавались за деньги и менялись на продукты часы, золотые украшения, серебряные портсигары, польские и немецкие мундиры, сапоги, костюмы и платья.
В центре, на дощатых рыночных прилавках, приезжие крестьяне торговали салом, битой птицей, окороками и овощами.
Над всем этим местом висел непрекращающийся гул, слагающийся из разговоров, криков и брани.
Телега запоздавшего крестьянина с трудом пробралась сквозь толпу к коновязи. Крестьянин спрыгнул с облучка, привязал лошадь, протянул сторожу шматок сала.
— Припозднился,— сторож понюхал сало, завернул его в тряпицу.
— Так дорога.
— Теперь, Стась, опасно на базар ездить.
— Это как?
— А так. Слыхал, в Смолах целую семью вырезали?
— Брешешь!
— Так то пес брешет. А я дело говорю.

Крестьянин засунул за голенище кнут, взвалил мешок и тяжело зашагал к прилавкам.

— День добрый, панове.

— День добрый.

— День добрый,— ответили ему.

— Что там, в Смолах?

— Плохо,— отозвался пожилой крестьянин.— Семью Капелюха побили.

— Так за что?

— А ты поезжай в Смолы. От них до нас за ксендзом приезжали. Завтра хоронить будут...

Крестьянин замолчал. Сквозь толпу протискивался патруль. Трое патрульных с красными повязками на руках внимательно и цепко оглядывали военных. Вот подошли к одному из них, начали проверять документы, потом остановили другого и повели с рынка.

В другой стороне базара двое в штатском и женщина с перевязанной головой медленно шли мимо людей, торгующих носильными вещами. Женщина подходила, словно приценивалась, разглядывала пальто, кожухи, платья.

Райотдел милиции. 9 сентября 1944 г. 1.30.

— Такие у нас дела, Токмаков,— сказал Павлов, встал из-за стола и словно растаял. Свет лампы освещал письменный стол, вся остальная комната тонула в темноте.

— Что известно о банде, товарищ подполковник?

— Мало. Состав — четыре-пять стволов. Руководит Андрей Рокита, бывший уголовник, при немцах работал в полиции, был связан с гестапо. Сам родом из Смол. Действуют нахально. Нападают на крестьян, едущих с продуктами на базар.

— А куда они продукты девают?

— Думаю, есть посредник, который меняет их на ценности. Ты понимаешь, Борис, ведь не зря они у зубного врача Шнейдермана золото искали. Им ценности нужны.

— У них есть документы и наша форма. Перейдут границу — и ищи ветра в поле.

Токмаков достал папиросу, закурил, помолчал немного.

— Это точно, Сергей Петрович, значит, продукты они меняют. Надо посмотреть в городе, а вдруг выйдем на перекупщика.

— Смотри. Два дня тебе даю, потом в Смолы. Банду надо ликвидировать как можно скорее. Госпоставки на днях сдавать крестьяне будут. Сало, муку, мясо, картофель. Представляешь, если хоть один обоз попадет к Роките? С нас спросят, с милиции. И за людей, и за поставки.

Деревня Смолы. 9 сентября 1944 г. 10.00.

Бо-м!

Гудит колокол. Голос его несется над селом, над дорогой, над лесом.

По пыльной улице движется похоронная процессия. Впереди идет ксендз. Он смотрит перед собой спокойными глазами, произнося вполголоса молитвы.

Бо-м!

Шесть белых гробов из неструганых досок несут на широких вышитых рушниках.

Бо-м!

За гробами тяжело подпрыгивает на костылях Волощук. Он в чистой гимнастерке, с двумя серебром отливающими медалями «За отвагу» на красных заношенных ленточках.

Бо-м!

Вся деревня провожает в последнюю дорогу семью Капелюхов. Лица людей скорбны и неподвижны. Глаза, видевшие много смертей за эти пять лет, смотрят сурово и отрешенно.

Бо-м!

На улицу села выезжает «студебеккер». Шофер тормозит, пропуская процессию.

— Эй, мужики, кого хороните? — кричит шофер.

Бо-м!

Люди молчат. Не поднимают глаз. Словно не видят ни машины, ни солдат в ней.

Бо-м!

Сержант с недоумением смотрит на этих недружелюбных молчаливых людей.

Бо-м!

Похоронная процессия сворачивает к кладбищу. Неспешен ее путь мимо могил с поваленными крестами, мимо свежих бугров земли с дощатыми пирамидками, увенчанными звездой, мимо белых немецких крестов над заросшими могилами.

В разрытую яму опускают гробы.

Гудит колокол.

Из леса трое в куртках поверх советской формы наблюдают за похоронами. Один из них опустил бинокль, усмехнулся:

— Вон того в рясе, хорошо бы сейчас...

Он щелкнул пальцами.

— Да,— ответил ему другой.

— Так где хата Яруги? — спросил третий, крепкий, стоящий спиной.

— Хату, где мы были, помнишь?

— Да.

— Так не та большая, справа, а за ней. Смотри в бинокль. Будешь приходить к нему каждый вечер.

Перекрестие бинокля пробежало по домам и остановилось на одноэтажном маленьком доме.

— Этот?

— Да.

А над лесом плыл грустный голос колокола...

Райцентр. 9 сентября 1944 г. 12.00—24.00.

Чем дальше уходила война, тем размереннее и спокойнее становилась жизнь города. Он уже почти оправился от военных тревог, и только присутствие военных определяло его статус — ближний тыл. Военных было много. Их ежедневно выбрасывал в город железнодорожный узел, они приезжали в командировки, торопились на фронт из госпиталей и запасных полков. Интенданты, трофейщики, саперы, офицеры охраны тыла, службы обеспечения были подлинными хозяевами города.

Люди в военной форме стали привычны. Они как бы дополняли городской пейзаж.

Поэтому никому не бросались в глаза два вышедших из парикмахерской офицера. Такие, как все, в пилотках, в гимнастерках, видавших виды.

Купили у торговки кулек с ягодами, подошли к кино. И дальше по городу. Ах, этот тыловой город! Сколько соблазнов таит он для людей, приехавших с фронта. Как мила им тишина и беззаботность. Как много нужно успеть за короткое время командировки.

Вон ресторан. Маленький, но ничего. Ресторан. И танго выплескивается на улицу. Щемящее, прекрасное старое танго. И голос женщины чуть хрипловато и грустно поет о любви. Заходите, офицеры! Выпейте, потанцуйте. Не вечна ведь командировка. Когда еще вы попадете в

этот город. Наверное, никогда. Другие будут, а этот сотрется в памяти, растает. Мрачноватый, с узкими улочками, с обветшалой готикой домов, с распятием Христа за мутными от пыли окнами.

Вот площадь. А на ней — фотограф. Маленький, круглый человечек в полосатой рубашке и галстуке-бабочке. Он не снимает. Нет. Он колдует. Он может навсегда остановить мгновение. Одну секунду прожитой жизни. Остановить и подарить ее всем.

Съемные декорации. С аляповатыми лебедями и всадниками в черкесках.

Офицеры засмеялись и подошли к фотографу. Один из них снял пилотку, отдал товарищу, зашел за декорацию. Снимай, фотограф. Хочу быть джигитом в черкеске и на коне.

— За фотографиями завтра,— поклонился фотограф, принимая деньги.

Завтра так завтра. У них еще есть время. И день сегодня хороший и длинный. Они поблагодарили фотографа, угостили его папиросой.

День кончился, и фотограф собрал свое имущество. Спрятаны в соседнем доме задники-декорации и тренога с фотоаппаратом. Фотограф идет домой. Знакомые улицы, знакомые дома. В этом городе он знает всех и его все знают. Он вежливо приподнимает шляпу, приветствуя. Он идет с работы. Фотограф вырос и состарился в этом городе. На этих улицах он встречал щеголеватых кавалеристов, прятался в подвале от людей в черных эсэсовских мундирах, видел пьяных, озлобленных власовцев.

У его дома пивная. Много лет ежедневно заходит он сюда.

— Добрый вечер, дорогой Микульский,— приветствует его пожилой буфетчик.

— Добрый вечер, Стась.

Буфетчик наливает фотографу стопку водки. В пивной пусто. Занято всего два столика. У буфетчика есть время поболтать.

Микульский выпивает. Морщится, закусывает моченым горохом.

— Как торговля?

— Сегодня неважно. Вчера было лучше. Крестьяне с рынка.

— Что нового?
— Плохие новости, очень плохие.
— Что такое?
— Бандиты, одетые в русскую форму, побили семью в Смолах.
Фотограф поставил рюмку, посмотрел на буфетчика:
— Не верю. Мало чего болтают бабы на базаре.
— Правда. Мой брат оттуда бежал. Рядом с его домом они убили всю семью.
— О, Гронский, Гронский. А ваш брат ничего не путает?
Буфетчик усмехнулся горько:
— Христом клянусь.
— У Смол лес, а там кого только нет. Спасибо. До свидания.

В маленькой квартирке фотограф снял пиджак и галстук, надел синий халат. Сегодня у него много работы. Надо успеть отдать завтра снимки. Честь фирмы. Что делать!
Горит красный фонарь. Вспыхивает и гаснет увеличитель. Падают в ваночку фотопластинки. Появляются на ней веселые лица людей в военной форме. Широкие улыбки солдат-фронтовиков, радостные девичьи лица.
Улыбка, лицо. Улыбка, лицо. Группа солдат. На снимке крупно лицо человека в черкесской шапке. Фотограф поправляет увеличитель. Опять опускает в ванночку новый снимок. Сквозь закрепитель проявляется на бумаге лицо в рамке от декорации.
Оно проступает медленно. Сначала глаза, потом лоб, потом тонкие губы расплываются в улыбке, тяжелый подбородок. Фотограф долго смотрел на отпечаток, аккуратно вынул его, пошел в комнату. Положил на стол, закурил сигарету и опять долго разглядывал лицо офицера.
В чулане у него архив фирмы. На полках стоят сотни фотопластинок, к каждой из которых прикреплен маленький контрольный снимок.
Фотограф ищет, тщательно перебирая каждую пластинку. Кажется, нашел. Он снова идет в лабораторию. Вспыхивает увеличитель. Плавает в ванночке бумага. И опять медленно проступает лицо. Сначала глаза, потом лоб, потом тонкие губы, тяжелый подбородок. На снимке — тот же человек, только теперь он не в форме

советского офицера, а в щеголеватом костюме, галстук-бабочка, волосы аккуратно причесаны на косой пробор.

Фотограф смотрел на эти снимки, а в памяти всплыла пивная и голос буфетчика всплыл: «Рядом с его домом русские убили всю семью».

На квитанции подпись: «Пан Ромуз. Коммерсант».

Микульский сложил снимки в пакет, спрятал их в карман пиджака. Оглядел комнату, погасил свет.

Фотограф почти бежит по серым предрассветным улицам.

— Стой!

Из-за угла появляется патруль. Два офицера и два солдата с автоматами.

— Документы.

— Вот,— фотограф достает паспорт, в него вложена справка.

Офицер, подсвечивая фонариком, прочел ее, посмотрел на фотографа.

— Ваш ночной пропуск, товарищ Микульский?

— У меня его нет, товарищ лейтенант,— фотограф волнуется.— Мне срочно нужно в милицию.

— В милицию? — переспросил офицер.— Впервые вижу человека, торопящегося в милицию.

— Зови его,— подполковник Павлов застегнул гимнастерку, крепко потер ладонями опухшее, сонное лицо.

Фотограф вошел в кабинет, сел к столу, молча достал из пальто снимки.

— Вот.

— Что «вот»? — с недоумением спросил подполковник.

— Этот человек фотографировался у меня в прошлом году на документы. Тогда его фамилия была Ромуз. Профессия — коммерсант. Вчера он пришел ко мне в форме капитана.

— Этот? — Павлов пододвинул снимки к лампе.

— Да, товарищ подполковник.

— Товарищ Микульский, мне сказали, что вы были в подполье?

— Да, помогал немного.

— Вы можете напечатать нам к утру, ну, двадцать снимков?

— Конечно.

— Мы заплатим...

— Не надо.
— С вами пойдет наш офицер. Когда Ромуз должен забрать снимки?
— В полдень.

Райцентр. 10 сентября 1944 г. 12.00.
Сначала послышалось шипение. Потом над площадью поплыл треск, словно где-то рядом ломали забор, потом начали бить часы на старом костеле. Звук их был неожиданно мелодичный и радостный.

Токмаков беззаботно бросал в рот сладкие ягоды малины. Он стоял, прислонившись к стене дома, лениво оглядывая площадь. У парикмахерской чистил сапоги болтливый старшина в авиационной форме, девушка с погонами старшего лейтенанта разглядывала афишу кинотеатра, возились шоферы у машины с заглохшим мотором, лениво прохаживались у кинотеатра военные.

Все как обычно. Так было вчера, позавчера, неделю назад. Но Токмаков видел, что площадь уже стала капканом, все выходы из нее плотно закрыты.

Время тянется медленно, как телега по разбитым колеям. Часы на костеле показывают 12.30. Старшина-летчик скучающей походкой подошел к фотографу, сел в кресло. Его место на улице заняла девушка старший лейтенант.

13.00. Солдаты вынули двигатель из машины и сели покурить.

13.20. Токмаков вошел в парикмахерскую, занял очередь.

13.31. На площади показался офицер. Вот он, Ромуз. Токмаков сразу же узнал его.

Офицер подошел к фотографу. Тот начал медленно перебирать снимки. Протянул. Офицер пожал ему руку и пошел.

Токмаков «вел» его по городу. Да, Ромуз хорошо знает все проходные дворы, улочки, лазейки в развалинах. Чем дальше он уходил от центра, тем труднее было следить за ним. Так он крутился по городу минут двадцать и наконец свернул на узкую полуразбитую улицу.

Начинался район развалин. Улица, выгнув горбатую спину, вилась меж облупленных домов.

Токмаков догнал его:

— Простите, товарищ капитан, разрешите прикурить.

Ромуз полез за спичками.

Из-за угла выскочила «эмка», она поравнялась с Ромузом, и сильные руки прямо с тротуара рывком втащили его в машину.

— У нас мало времени.

Подполковник Павлов прошелся по кабинету.

— Нам некогда слушать и разбираться в вашем вранье.

Ромуз сидел на табуретке, руки, скованные наручниками, за спиной.

— Вы же прекрасно понимаете, что завтра мы проверим ваши документы. Но мы даем вам шанс.

«Капитан» молчал.

— Так.

Подполковник усмехнулся.

— Глядите.

Он поднес к лицу задержанного две фотографии.

Лицо «капитана» дернулось.

— Ну что, будем молчать дальше, пан Ромуз?

Ромуз вздрогнул, будто его ударили кнутом, попытался встать.

— Вот! — Павлов выбросил на стол пачку папирос «Каро».— Это изъято у вас. А это...— Павлов положил рядом раздавленную сапогом пачку.— ...Эта лежала в Смолах. На дворе убитого Андрея Капелюха.

— Нет!

Ромуз закричал, забился в истерике:

— Нет! Я не был там! Не убивал!

— Кто вам дал документы?

— Недзвецкий... Это он... Я был должен ему... Много... Мы при швабах делали дело на черном рынке... Он дал мне форму... Документы... Сказал: привезешь харчи три раза, и все...

— Адрес!

— Не знаю. Мы встречались с ним каждый вечер в ресторане. Недзвецкий. Только я не знаю... Ничего не знаю насчет убийства...

— Предположим, я вам поверю.

Ромуз качнулся к столу:

— Вы должны мне поверить.

— Где вы получали продукты?

— Люди Рокиты привозили их к разбитой часовне за Смолами. Я на бричке забирал и отвозил в развалины. Отвозил и уходил.
— Кто такой Недзвецкий?
— Он всегда был связан с бандитами — и при немцах, и при Советах.
— Кто ваш напарник?
— Не знаю. Зовут Сергей. Русский. Бывший вор. Его здесь, кроме Недзвецкого, никто не знает.
— Зачем ои приехал?
— У Рокиты убили шофера. А у них иикто водить машину не умеет.
— Сколько человек у Рокиты?
— Пять.
— Как Сергей попадет в банду?
— Я должен отвезти его к часовне завтра в двенадцать. Отвезти и простоять с ним ровно десять минут, потом оставить его и ехать в город.
— Где Сергей?
— На Костельной, семь, у Голембы.
— Когда он вас ждет?
— В восемь.

— Времени мало.— Павлов встал из-за стола.— Ромуз согласен помочь. Кузьмин, блокируй Костельную. Токмаков, сегодня в ресторане берешь Недзвецкого. Ясно?
Офицеры встали, пошли к дверям.
— Помните, ребята,— в спину им сказал Павлов,— снимем банду — люди иам поверят.

Райцентр. 11 сентября 1944 г. 14.00—24.00.
Фотограф работал. Сегодня выдался удачный день. Клиентов было много. И сейчас перед аппаратом сидели два солдата и две девушки.
Микульский накинул темное покрывало. Из-под материи были видны только его иоги в полосатых брючках.
Токмаков ждал, когда же, наконец, освободится фотограф. Солдаты встали, веселой гурьбой окружили Микульского. Отдали деньги, взяли квитанции. Отошли.
Токмаков почти бегом пересек площадь и плюхнулся иа стул перед аппаратом.

Микульский понимающе посмотрел на него и спрятался под покрывалом.

— Готово, товарищ капитан.

Токмаков встал, подошел к фотографу и, протягивая деньги, сказал:

— Вы очень нам нужны, товарищ Микульский.

— Хорошо,— тихо, одними губами ответил фотограф.

Машина остановилась у костела. Офицеры свернули на узкую улочку, пахнущую дурной пищей и нечистотами.

— Притон,— с осуждением сказал один из офицеров.— У нас такого давно нет.

— Это где, «у вас»? — усмехнулся в темноте капитан Крюков.

— Ну, дома.

— Дома. Ты в милиции без году неделя. Этого «добра» везде хватает.

Седьмой дом зиял мрачной, глубокой, как тоннель, аркой. От стены отделился человек в штатском.

— Где люди? — спросил Кузьмин.

— На месте.

Миновав глухую длинную арку, офицеры вошли в темный квадрат двора. Только сквозь маскировку на первом этаже прорывалась узкая полоска света.

— Здесь? — спросил Кузьмин.

— Да.

В свете карманных фонарей лестница казалась еще более щербатой и обветшалой. Дверь с вылезшим войлоком.

— Давай, Ромуз.

Ромуз постучал. Тишина. Он постучал снова. За дверью послышались шаги.

— Кто?

— Это я, Големба, Ромуз. Сергей здесь?

— Здесь, с бабой. Сейчас.

Дверь распахнулась. Кузьмин шагнул в прихожую.

— Тихо,— он зажал рот хозяину,— тихо, иначе...

Хозяин, щуплый, в сорочке без воротничка, закивал головой.

— Где он?

— В комнате с бабой.

— Пошли.

Первая комната напоминала склад. Видимо, хозяин собирал дорогую мебель из разбитых домов.

Кузьмин подошел к двери, прислушался. Тихо. Он толкнул дверь, и оперативники ворвались в комнату. Дико завизжала голая женщина, вскочив с постели. Ее напарник спал, пьяно разбросав руки и бессмысленно улыбаясь.

— Интересно,— Кузьмин сунул руку под подушку, достав пистолет ТТ.— Берите его. Вы, гражданка, одевайтесь, тоже с нами поедете. А вам, гражданин Големба, придется здесь с нашими людьми поскучать. Засада у вас будет.

На эстраде ресторана играл оркестр. Два аккордеониста, саксофон и ударник.

Веселый прыгающий мотив немецкого фокстрота заполнил маленький зал.

Ресторан был небольшой. Столиков пятнадцать. Его так и не успели отремонтировать после уличных боев. Когда-то хозяева строили его с претензией на «столичный шик», поэтому в маленьком зале преобладала покрытая золотом лепнина. Но это было когда-то. Сейчас на потолке и стенах расположились монстры с отбитыми головами, руками. У некоторых просто не было туловища. Голова и руки. Или одни ноги. Тусклый свет керосиновых ламп бросал на стены и потолок причудливые тени, заставляя лепных монстров оживать на секунду в своем безобразии.

В углу ресторана высился когда-то щеголеватый, словно дорогой автомобиль, бар, отделанный полированным деревом. Но щеголеватым он был до уличных боев. Теперь его наскоро зашили крашеными досками, и он потерял былую элегантность, став похожим на старый деревянный сундук.

И тем не менее ресторан был полон.

Микульского хорошо здесь знали. Почтительно поклонился мордатый швейцар, метр, бросив гостей, устремился навстречу фотографу.

На эстраде появилась певица, высокая, красивая блондинка с усталым лицом. Она увидела Микульского, послала ему воздушный поцелуй.

Фотограф раскланивался со знакомыми, пробираясь к стойке бара.

Певица запела. Голос ее низкий, чуть с хрипотцой, заполнил зал щемящей грустью.

Один из офицеров, сидящих за столом, внимательно следил за фотографом. Он видел, как Микульский подошел к бару, поздоровался с барменом, взял налитую рюмку, повернулся к соседу, о чем-то заговорил с ним.

Певица пела о чем-то грустном. Танцевали несколько пар, сквозь музыку доносились обрывки разговоров.

Микульский выпил и заказал еще рюмку. Он стоял у бара, облокотившись грудью на стойку, глядя куда-то за спину бармена. Казалось, он весь под обаянием голоса певицы, под обаянием довоенного танго.

Высокий человек в коричневом спортивном пиджаке, в бриджах и офицерских сапогах с высокими голенищами, бросил на стойку деньги и пошел к выходу, протискиваясь сквозь танцующих.

Микульский допил рюмку, вынул из кармана платок, вытер губы.

Один из офицеров встал и не спеша пошел к выходу. Высокий подошел к дверям в гардероб, огляделся и цепко, оценивающе оглядел зал. Толкнул дверь.

В вестибюле ресторана гардеробщик натягивал плащ на подгулявшего посетителя. Двое офицеров надевали фуражки у треснувшего наискось зеркала.

Недзвецкий взял свою кепку. Подошел к зеркалу.

На одну секунду в мутноватой глубине его он встретился глазами с офицером. И зафиксировал напряженные лица двух других офицеров, отраженных в зеркале, двоих в милицейской форме у выхода и растерянного гардеробщика.

Недзвецкий прыжком пересек вестибюль и прыгнул в окно. Зазвенело разбитое стекло, упала маскировочная штора.

Он мягко, умело опустился в кривом узком переулке и выдернул из кармана пистолет.

— Стой! — крикнул кто-то.

Недзвецкий выстрелил и, петляя от стены к стене, побежал по переулку.

— Стой!

Зарокотал за спиной мотор.

Недзвецкий оглянулся, его преследовал «виллис». Он прижался к стене, двумя руками поднял тяжелый парабеллум.

Выстрел!

Выстрел!

Выстрел!

Машина вильнула, с грохотом врезалась в ворота арки.

Недзвецкий бросился дальше.

Один из оперативников поднял пистолет.

— Не стрелять! — крикнул Токмаков.— Живым брать.

Токмаков бежал мягко и пружинисто, постепенно нагоняя несущуюся в узкой трещине улицы высокую фигуру.

Недзвецкий оглянулся. Один из преследователей догонял его.

Он выстрелил.

Пуля ударилась в стенку. Кирпичная крошка полоснула болью по щеке.

Токмаков пригнулся. Недзвецкий обернулся снова. Офицер был жив и догонял его. И он понял, что стрелять они пока не будут. Поэтому остановился и навел пистолет, ловя капитана на мушку.

Из подворотни выскочил комендантный патруль. Старший патруля, сержант, увидел человека в штатском, целящегося в капитана, и вскинул автомат.

— Не стреляй! Не...

На узкой улочке очередь прогремела необычайно громко.

Недзвецкий выронил пистолет и рухнул на бок.

Капитан подбежал к нему, перевернул лицом к свету. Недзвецкий был мертв.

Токмаков посмотрел на растерянного сержанта, на подбежавших офицеров, безнадежно махнул рукой и сел на кромку тротуара, закрыв лицо руками.

Осенний ветер раскачивал над городом большие, словно вырезанные из елочной бумаги, звезды.

Павлов и Токмаков сидели на бревнах в глубине двора райотдела, сидели и курили.

— Ну вот, Токмаков,— нарушил молчание подполковник,— я тебя не неволю.

— Так разве в этом дело, товарищ подполковник,— Токмаков встал, хрустко потянулся своим большим и сильным телом.— В другом дело.

— Да, ты прав. Значит, этот Сергей Симаков — дезертир, бывший уголовник, шофер из автобата. Знал его только Недзвецкий.

— ...Големба и Ромуз. Големба — в квартире, под контролем, Ромуз поведет тебя.

— Прикроете?

— Конечно. Легенда Сергея — сапожник. В Смолах он должен ждать связного. Угнанная им машина, ты видел, где спрятана?

— Все видел.

— Пойдешь без оружия. В Смолах у развилки есть колодец старый, там мы спрячем твой ТТ и четыре обоймы. Документы готовы — и права Симакова, и справка из сапожной артели. Ты ведь тоже раньше сапожником был, в детдоме. Понял?

— А чего не понять?

— Ты вправе отказаться.

— Ночь-то какая,— Токмаков глубоко затянулся и бросил папиросу.

— Только Сергей этот — блатной, весь в наколках.

— Пошли, сейчас кое-что увидишь,— хохотнул Токмаков.

Дежурный вскочил, увидев начальника и капитана.

— Редкое зрелище,— засмеялся Токмаков,— картинная галерея.

Он стащил гимнастерку.

— Вот это да! — ахнул дежурный.

На груди у капитана красовалась могила с крестом, на предплечьях затейливо переплетались кинжалы и змеи.

— Серьезно,— закачал головой Павлов,— штучная работа, где это ты?

— Я ж детдомовский, кололись от глупого шика. Не поверите, мне в сороковом путевку дали в Ялту, так я днем купаться стеснялся. Ночью бегал.

— Быть посему,— Павлов пошел к дверям.— Иди переодеваться.

Подполковник пошел к дверям.

— Витя,— повернулся к дежурному капитан,— у тебя гранаты есть?

— Лимонки.

— Дай одну.

Лес у деревни Смолы. 12 сентября 1944 г. 8.00.

Повозка подъехала к развалинам часовни ровно в

полдень. Токмаков соскочил на землю, хлопнул Ромуза по плечу.

— Ну, бывай, друг, Зоське скажи, чтоб не скучала, бимбер готовь, скоро вернусь,— громко крикнул он и добавил шепотом: — Езжай, помни, ты под прицелом.

Ромуз стремительно развернул подводу и, нахлестывая лошадь, помчался к городу.

Токмаков огляделся, поднял мешок, подошел к часовне. Христос с отбитыми взрывом ногами печально глядел на лес, дорогу, на красоту осени.

Токмаков бросил мешок и сел, прислонясь спиной к нагретым солнцем камням.

Время таяло. Никто не подходил. Ему было жарко сидеть на солнце, и он скинул старую штопаную гимнастерку. Здесь не ялтинский пляж, и стесняться ему было некого.

Время шло. Никого.

Токмаков закрыл глаза и задремал.

Он открыл глаза и увидел сапоги. Он даже успел различить прилипшие листья на высоких хромовых голенищах.

Он поднял глаза.

Над ним стоял человек в щеголеватых бриджах и кожаной немецкой куртке. Потом он увидел прямо перед собою автоматный ствол.

Он лениво поднял руку и отвел его в сторону:

— Не люблю.

— Никто не любит,— усмехнулся человек.— Ты кто?

— А ты?

— Я Рокита.

— А, это ты,— Токмаков неохотно поднялся,— а я сапожник.

— Оружие есть? — спросил Рокита.

Токмаков развязал горловину мешка и вынул нож.

— Это не оружие.

— Смотря где, у нас в городах лучше не надо.

— Вор?

— Законник.

— Сидел? — Рокита с интересом рассматривал татуировку.

— Было.

— Ну, как там?

— Попадешь — узнаешь.

— Смелый,— Рокита повернул автомат стволом вниз.— Законник, машину видел?

— Видел.
— Кури,— Рокита протянул пачку сигарет «Каро».
— Богато живете.
Оии закурили. Помолчали.
— Работы на три дня,— сказал Рокита.
— Моя доля?
— Сорок тысяч.
— Годится. Потом разбегаемся, ии вы меня, ии я вас ие знаю. Я подаюсь на восток.
— Там посмотрим.
— И помии: я на мокрое не пойду.
— Посмотрим. Документы хорошие?
Токмаков кивнул.
— Пойдешь в деревию, иачнешь сапожничать, тебя мой человек иайдет.
— Как я его узиаю?
— Убогий он.
— Это как?
— Кривобокий.
— Компания.
Токмаков засмеялся и потяиулся.
— Ты, старшой, мои права возьми, не дай бог сапожиик да с правами.
— Давай.
Токмаков расстегнул карман гимиастерки, вытащил пачку бумажек, протянул Роките. Тот, ие глядя, суиул их в карман куртки.
— Цветные в деревне есть?
— Кто?
— Мильтоны.
— А, есть двое, там Волощук, староста советский, сволочь одноногая, его особенно берегись.
— Как мне дойти до деревни?
— По этой тропинке иа большак, а там прямо.
— Я пошел.
Токмаков пошел по тропиике, спиной ощущая злой глазок «шмайссера».

Деревня Смолы. 12 сентября 1944 г.

Волощук, Гончак и Давыдочев обедали. Оии сидели в избе Волощука, которая была одиовременно и сельсоветом, и жильем.

На столе стоял закопченный чугун с картошкой, лежал иа газете шмат сала, в котелке видиелись огурцы.

— Может, консервы открыть? — спросил Давыдочев.

Он сидел, прислонившись спиной к лавке, положив рядом автомат.

— Да зачем, пока жратва есть,— ответил из угла Гончак.

Он снял гимнастерку, и рубашка его белоснежно белела в углу избы.

Волощук нарезал сало трофейным штыком-кинжалом. Резал его крупно, от души.

— Устал,— сказал он.— Ноги горят просто. Всю деревню обскакал. Госпоставку распределял по дворам.

— Когда свозить будут? — спросил Гончак.

— С утра.

— Куда складывать?

— В амбаре у Гронского. Амбар же теперь пустой.

— Опасное это дело,— Гончак взял сало,— а вдруг банда?

— Будем спать в амбаре,— сказал Давыдочев.

— Оно конечно, лейтенант, только потом все это хозяйство через лес везти надо.

За окном залаяла, забилась на цепи собака.

Давыдочев схватил автомат, передернул затвор. Гончак выглянул в окно.

От калитки к дому шел человек в польской полевой форме.

Скрипнуло крыльцо, загремело в сенях.

— Можно?

— Заходи.

— Я — Гронский, сын Казимира Гронского, Станислав.

— А...

Волощук улыбнулся, встал.

— Здравствуй, товарищ Гронский, здравствуй. Как, на совсем или в отпуск?

— Отпуск по ранению, две недели. Где мои, староста, то есть, простите, председатель?

— В город к брату подались, да ты не сомневайся, живы они, здоровы.

Гронский достал документы, положил на стол.

Давыдочев взял их, посмотрел внимательно, протянул Гронскому.

— Ну, что ж,— Гронский встал,— мне пора. В город пойду.

— Послушай, капрал...

Волощук подхватил костыли, заковылял к Гронскому.

— Поживи у нас. Дня три всего. Банда в лесу, а ты парень боевой,— Волощук щелкнул по колодке на гимнастерке Гронского.— Всего три дня. Помоги нам в город госпоставки свезти.

— Не могу, председатель. Ты же сам солдат. Я своих не видел с сорок первого.

— Жаль. Дам тебе завтра подводу, автомат дам. И поедешь.

— Ну — коли так — спасибо, а я пока дом осмотрю. Как стемнеет, ко мне прошу, закусить. Часиков так,— Гронский откинул рукав так, чтобы все видели часы,— в девять.

— Добро.

Волощук вышел на порог и увидел человека, сидящего на крыльце.

— Ты кто?

Человек поднялся, достал кучу справок и квитанционную книжку.

Волощук прочел справку, улыбнулся.

— Вот это дело. Сапожник нам нужен. А то я в районе просил, обещали еще месяц назад.

— План-то будет? Я ж от артели работаю.

— Будет, а ты чего не в армии? — подозрительно спросил председатель.

— Там справка, контуженый я. Эпилепсия.

Волощук с сожалением посмотрел на здорового симпатичного парня.

— Где тебя?

— Под Минском.

— Ты к нам надолго?

— На неделю. Ты мне вон ту хибару,— сапожник ткнул пальцем в разваленную баньку,— под мастерскую отдашь?

— Пошли.

Деревня Смолы. 13 сентября 1944 г.

Известие о том, что в селе появился сапожник из города, быстро облетело дворы. К концу дня угол баньки был завален сапогами, ботинками.

Токмаков работал, насвистывая лихой мотивчик.

— Сапожник!

Токмаков поднял голову.

Перед ним стоял горбун Яруга.

— Сапоги к завтрому сделай.

— А, так это ты?
— Я.
— Что для меня есть?
— Нет.
— Завтра к утру заходи.
На улице Яруга столкнулся с Гронским. Капрал шел по селу в новой, вынутой из вещмешка и поэтому мятой форме, в фасонистых сапогах. На его френче блестел орден Отечественной войны, две медали и крест.
— День добрый, дядька Яруга.
— Ты стал прямо маршал.
— Ты скажешь!
— Надолго?
— Завтра к своим уеду. А я до тебя.
— Так пошли в хату.
— Часу нет, продай дядько бимберу.
— Сколько?
— Бутылки три.
— Один выпьешь?
— Да нет, встречу обмоем, Волощук придет да милицианты.

Деревня Смолы. 13—14 сентября 1944 г. 22.30—2.30.
Как только стемнело и деревня затихла, Токмаков вынул кирпич из обвалившейся печки, достал ТТ. Завесил окно брезентом, зажег коптилку. Пистолет лежал в руке привычно и удобно. Токмаков выщелкнул обойму, проверил патроны, несколько раз передернул затвор, затем с треском вогнал обойму в рукоятку, загнал патрон в патронник и поставил пистолет на предохранитель. Задул коптилку, снял брезент с окна, сунул пистолет за пояс. Пора.
Он вышел из баньки, огляделся и мягко, почти неслышно, словно большой живущий в темноте зверь, побежал вдоль затихших домов.
На опушке, возле дома Яруги, Токмаков лег, спрятавшись в кустарнике. Он ждал.

Станислав Гронский зажег две лампы-трехлинейки, и в покинутом доме стало даже уютно. Свет ламп, мягкий и добрый, осветил декоративные венки из цветов, развешенные на стенах, и они словно ожили. Станислав открыл комод, на дне пустого ящика валялась игрушечная аляповатая лошадка со сломанными ногами. Он взял ее, повертел в руках, усмехнулся и, прислонив к

стене, боком пристроил на комоде. Наконец в старом, рассохшемся шкафу он нашел то, что искал. Кусок материи в блекловатых цветах. Он взял его и постелил на стол вместо скатерти. Потом снял со стены один из венков, положил в центр стола. Открыл консервы, снял с печи чугунок с картошкой, нарезал сало. Отошел, оглядел стол и водрузил на нем три бутылки с самогоном. Сел, закурил и начал ждать гостей.

Токмаков тоже ждал.

Они пришли сразу все трое. Гончак, Волощук и Давыдочев. Гончак оглядел стол, крякнул довольно и поставил на него котелок с малосольными огурцами.

— Хорош стол,— засмеялся Волощук и вытянул из кармана завернутый в тряпицу кусок домашней ветчины. Давыдочев достал банку американской колбасы с яркой наклейкой.

— Прошу дорогих гостей,— Станислав повел рукой,— за скромное угощение простите. Но нет дорогой мамуси.

— Да чего там,— Гончак открыл бутылку.

Гости сели так, чтобы контролировать окна и дверь. Гронский посмотрел на них и улыбнулся снисходительно.

— Ну, с приездом, Станислав Казимирович,— Волощук поднял кружку.

Токмаков ждал. Чутко слушал шум леса.

А они уже выпили понемногу, уже вспомнили фронт, за друзей подняли чарку.

— Чего вы пуганые такие в тылу-то,— Гронский закурил.

— Банда, брат,— Гончак грохнул кулаком по столу,— сволочь всякая крестьянина обирает. Ты по деревне шел, сам видел — как вымерла. Запугали людей.

— Оставались бы здесь, Станислав.

— Не могу, братья, всю войну того часу ждал, когда своих обниму.

— Не неволю,— Волощук разлил самогон,— сам служил, знаю, что такое отпуск.

Токмаков услышал свист, напрягся, словно для прыжка. Свист повторился. И ночь для капитана сразу же наполнилась ощущением тревоги и опасности.

Глаза, привыкшие к темноте, различили уродливо-нереальную фигуру Яруги, не идущего, а словно скользившего, низко припав к земле.

Токмаков напрягся, приготовясь идти за ним, но затрещали кусты, и со стороны леса вышел коренастый человек, лица которого капитан разобрать не мог. Они встретились и остановились буквально в пяти шагах от Токмакова.

— Ну? — спросил приземистый.

— Харч повезут завтра.

— Так, а где власть?

— Гуляют. Сын Гронского на побывку приехал, у него и гуляют, бимбер у меня взяли.

— Все в доме Гронского?

— Ага.

— Ну, ты иди, Яруга, иди,— в голосе коренастого послышался охотничий азарт.— Иди, у меня для них гостинец припасен.

Коренастый шел задами деревни уверенно и быстро. Так ходят обычно люди, хорошо изучившие местность.

Токмаков двигался за ним, больше всего на свете боясь оступиться.

У дома Гронского капитан отстал. Легко перемахнув через плетень, он опередил бандита на несколько минут.

В доме играла гармошка, и чей-то голос, несильный, но приятный, пел «Землянку».

Токмаков прижался к сараю и снял ТТ с предохранителя. Бандит перелез через забор. Он был шагах в трех от капитана. Коренастый сунул руку в карман и достал гранату-лимонку.

Токмаков выстрелил, не давая ему выдернуть кольцо. Песня оборвалась.

Токмаков прыгнул к упавшему, поднял гранату и побежал.

Гончак из окна увидел убегающего человека и ударил по нему из автомата. Давыдочев стрелял с крыльца вслед неясной, петляющей среди заборов фигуре.

Токмаков бежал, слыша за своей спиной грохот автоматов, пули с противным визгом проносились мимо, кроша плетни, сбивая макушки кустов.

— Посвети-ка,— приказал Давыдочев.

Свет фонаря вырвал из темноты фигуру человека, ле-

жащего лицом к земле, с руками, намертво вцепившимися в траву.
— Слушай, Гончак, а его же в затылок хлопнули.
— Да, дела,— участковый наклонился над убитым.
Станислав подошел к Волощуку.
— Когда поставки в город везете?
— Через два дня,— рассеянно ответил председатель.
— Давай автомат, я с вами их в город повезу.

Гончак с Давыдочевым отошли к забору, закурили.
— Так, кто же его в затылок хлопнул, а, лейтенант?
— Не знаю, не знаю.
Давыдочев затянулся глубоко, так глубоко, что огонь папиросы на секунду выхватил из темноты его лицо.

Деревня Смолы. 14 сентября 1944 г. 7.00.
На рассвете Давыдочев спрятался у баньки, где поселился сапожник. Было рано, но у покосившейся стены баньки уже горел костерик, над которым на ржавом шомполе висел котелок. Сапожник вышел из баньки, приспособил на стене маленькое зеркальце, достал из мешка мыло, помазок и опасную бритву, потом он снял котелок, отлил в кружку горячей воды и начал бриться.
Давыдочев разглядывал его крепкую спину с буграми мышц, пороховую синеву татуировок.
— Осень, прохладное утро...— напевал сапожник.
Картина эта так не вязалась с образом сапожника-инвалида, что Давыдочеву хотелось немедленно подойти и арестовать этого человека. Но что-то удерживало его. Давыдочева не покидало странное чувство, что он где-то уже видел его.

Скрипели по селу телеги, стучали по колдобинам тачки, крестьяне свозили во двор Гронского госпоставки. Волощук сидел у весов, Станислав Гронский, здороваясь с односельчанами, взвешивал муку, сало, битую птицу.
Гончак сидел на крыльце дома, положив автомат на колени, курил, цепко поглядывая по сторонам.

Токмаков чинил сапоги, насвистывая. Внезапно свет, падающий из двери, закрыла фигура человека. Токмаков поднял голову.
В дверном проеме стоял Яруга.

— Сапоги готовы?

Токмаков молча достал из-под лавки немецкие сапоги с короткими голенищами, бросил их Яруге.

— Деньги.

— Ты что?

— А ничего. Девяносто рублей. Тут тебе не частная лавка, а госартель.

Яруга посмотрел на Токмакова и понял, что деньги отдавать придется.

Он полез за пазуху, вынул тряпицу, достал три мятые красные тридцатки, бросил их на стол.

— Как от души отрываешь,— усмехнулся Токмаков.

— Ты наживи. Велено передать, завтра чтобы был готов к вечеру.

— Иди.

Солнце уже высоко висело над селом, день клонился ко второй половине. Токмаков вылез из баньки и сел на пороге. Он курил бездумно, глядя перед собой.

Проходящие крестьяне вежливо кивали ему, и он улыбался им добродушно. Давыдочев шел мимо бани. Он уже несколько раз проходил мимо, пытаясь вспомнить, где же он видел этого странного сапожника.

— Лейтенант,— тихо окликнул Токмаков,— зайди, бесплатно косячки подобью.

Давыдочев стягивал сапог, внимательно вглядываясь в знакомое лицо. Но вспомнить, где он его видел, не мог.

— Не узнаешь, Давыдочев?

Это было настолько неожиданно, что Давыдочев вздрогнул.

— Лейтенант Давыдочев Александр Петрович, год рождения двадцать первый, москвич, окончил Рязанскую школу младших лейтенантов.

— Вы кто? — Давыдочев схватился за кобуру.

— Токмаков я, капитан Токмаков. Память плохо тренируете, лейтенант, помнишь, когда тебя в райотдел милиции направляли, я у полковника Клугмана сидел.

— Помню,— смущенно выдавил Давыдочев,— вспомнил теперь. А я смотрю...

— Давай сапог.

Токмаков ножом срезал стоптанную часть, начал набивать косячок.

— Завтра они нападут. Завтра, понял? Утром пошли Гончака за опергруппой, о деталях договоримся ночью.

Деревня Смолы. 15 сентября 1944 г. 1.30—2.30.

В баньке было душно, и Токмаков спал с открытой дверью. Проснулся он от странного ощущения опасности.

Он вскочил. У дверей кто-то стоял.

— Кто?

— Я,— услышал он хриплый голос Яруги.— Вставай, пошли. Ждет.

Токмаков встал, натянул гимнастерку.

— Скорее.

— Зачем?

— Узнаешь.

Токмаков оглянулся с тоской, понимая, что пистолет из-за печки достать не удастся. Но взял с лавки приготовленный на всякий случай мешок.

После темноты свет керосиновых ламп-трехлинеек был особенно ярок, и Токмаков на секунду зажмурился. Когда он открыл глаза, то увидел Рокиту и трех бандитов. Они сидели в горнице Яруги за столом, положив автоматы рядом на скамейку. На столе стоял самогон, лежали остатки еды.

Лица их показались Токмакову похожими, на них лежал одинаковый отпечаток затравленности и злобы.

— Здорово, разбойнички,— Токмаков усмехнулся.

Рокита встал, тяжело посмотрел на Токмакова.

— Сегодня идем брать харчи и немного резать старосту, полячишку и милицейских. Понял?

— Ты же передавал — завтра.

Токмаков старался говорить спокойно и равнодушно.

— Хорошие дела нельзя откладывать.

Бандиты засмеялись.

— Ты останешься здесь. Мы тебя запрем в подвале. Мы тебя не знаем. Так будет лучше. А как покончим с этим, ты машину пригонишь.

Токмаков быстро оглядел комнату. Цепко, словно примериваясь. Четверо, а он один. Сейчас они пойдут и перестреляют ребят. И выход у него оставался один. Страшный, но один. И жить ему оставалось считанные минуты.

— Ладно, ты здесь хозяин.

Токмаков шагнул к столу, взял бутылку самогона и кусок сала.

— Это, чтобы мне в погребе страшно не было, а то я темноты боюсь.

Рокита улыбнулся снисходительно.

Токмаков поднял с пола мешок, поставил на лавку, развязал горловину, сунул руку, нащупал в глубине гранату и выдернул кольцо.

— Раз,— прошептал он одними губами.— Два. Три! — громко крикнул он и бросил гранату в центр стола.

Он увидел столб огня, поднявшийся к потолку, но боли не почувствовал, просто наступила темнота.

Взрыв разметал бандитов, выдавил стекла хаты, лампа упала, и горящий керосин полился со стола на пол.

Давыдочев без гимнастерки, с автоматом, первым ворвался в комнату.

Горел пол, дым, удушливый и темный, тянулся к двери. Разбросанные взрывом бандиты валялись на полу, огонь лизал куртку Рокиты.

— Токмаков! — крикнул Давыдочев.— То-кма-ков!

Райцентр. 18 сентября 1944 г. 14.00.

Они вышли из парикмахерской. Подтянутые, в синих гимнастерках с серебряными погонами, на которых одинаково алел орден Красной Звезды. Парикмахерша, женщина не старая, с интересом посмотрела им вслед.

Над городом висело солнце, яркое солнце бабьего лета.

Они немного смущались в этом городе, полном фронтовиков, обвешанных наградами.

Но все равно им было весело. Они попили ядовито-красный морс. У кино потолкались. Купили ягод у старушки и пошли по улицам, жуя ягоды и провожая взглядом хорошеньких женщин.

Вот площадь. А вот и фотограф на ней. Смеясь, они подбежали к нему. И вот уже фотограф усаживает их.

Гончак сел, а Давыдочев стал за его спиной, положив локоть на декоративную колонку.

Давай, фотограф, снимай.

Микульский спрятался под покрывало.

— Внимание!

Замерли, стараясь согнать с лица улыбку. Но трудно это. Очень трудно. Они еще очень молодые, только их преждевременно состарила война.





РАССКАЗЫ

ЛЕОНИД СЛОВИН

НА ВОСЬМОМ ПУТИ

Посадка иа электропоезд в Аэропорту была спешной. Он до последней минуты стоял иа платформе. Садились в головные вагоны — наиболее удаленные от здания порта — здесь иаходилась бнлетиая касса. Кроме того, в Москве стоянка такси и вход в метро тоже располагались блнже к голове поезда.

Последние вагоны заннмалн те, кто об этом ие знал или не успевшне добежать до кассы. Онн и становились, как правило, легкой добычей контролеров-ревизоров.

Перед самым отправлением Деиисов увндел сержанта, сопровождавшего поезд до Домодедова,— из молодых, хваткого, хотя н несколько медлнтельного.

— Помощь требуется?

— Все в порядке,— ответнл тот.

— Это хорошо.

Деннсов поздоровался с сержантом, но поехал отдельно.

После первых остановок — Авнационной и Космоса — людей в поезде поуменьшилось. Места возвращавшнхся со смены работнков аэропорта, как обычно, в это время ннкто не занял, им предстояло пустовать до Москвы.

В Домодедове Деиисов вышел в тамбур, посадка здесь тоже была иебольшой, а стояика —долгой.

— «Двести первый»...— услышал Деиисов под курткой из мнниатюрного радиоприеминка. Сержант, сопровождавший состав, вызывал его по рации.— Как меня слышишь? Прнем...

Электрнчка отошла от перрона медлеино. Сразу за выходными стрелками действовало ограиичеие скорости, н поезд пополз совсем тихо.

Деннсов нажал иа манипулятор:

— Ты где?

— В Домодедове. На путях...

— Слушаю!

— Такая история...

Электричка прибавила скорость. Связь каждую минуту могла прерваться.

— ...Сейчас вышел из поезда...— Голос сержанта за-

метно терял силу.— Вижу, что-то упало между последним вагоном и платформой...

— Быстрее! Что имеино? — Денисов жал на манипулятор, будто это могло помочь.

— Я поднял. Ничего такого... Носовой платок. Коричневатый, новый еще... Может, зря радирую...

— Ну!

— Паспорт: «Андреев Виктор Васильевич...» Старого образца. Еще банковская лента, оборваиная.— Самое важное он почему-то отнес в конец своего сообщения.— В сберкассах ими деньги обертывают. Написано: «Сто штук по пятьдесят рублей...»

— Быстрее! Ты заходил в этот вагон?

— Только заглянул. Там едут пятеро без билетов. И еще контролеры-ревизоры...

В микрофоне раздался треск, рация замолчала.

Денисов поправил куртку, откинул воротник.

«Упаковочная лента от пяти тысяч... Главиое: почему выбросили?! И вместе с паспортом...»

Набрав скорость, электропоезд словио успокоился, теперь его почти не болтало. Ничего примечательного, проходя по вагонам, Денисов не обнаружил. Большое количество чемоданов, баулов. Даже ие зная, можно было догадаться, что электричка — из Аэропорта. В предпоследнем, положив голову на чемодан, дремал незнакомый капитан милиции. Инспектор не стал его будить, прошел в следующий тамбур.

«Сейчас все должно выясииться...— он поправил куртку, ручка пистолета под мышкой больше не выпирала.— Или же, наоборот, еще больше запутаться».

Сквозь стекло двери Денисов окииул взглядом салон. Пассажиров было не менее двадцати, но он быстро выделил сначала двоих, сидевших по одну стороиу прохода, потом еще одного — по другую.

В сущности, ничего примечательного ни в самих безбилетниках, ни в их поведеиии не было. Мордастый, с полотенцем на шее, о чем-то спрашивал сидевшего напротив, очевидно, музыканта — с футляром от альта на коленях. Еще один — долговязый, в плаще, в замшевой приплюснутой кепчонке — прямо против двери полировал ногти. Долговязый кого-то ждал: пока Денисов стоял у схемы участка, он несколько раз обернулся к дальнему тамбуру.

Лицо Долговязого показалось знакомым, Денисов определенно видел его на фотоприложении к ориенти-

ровке: «Объявлен в розыск!» Но в связи с чем? По транспортной милиции или по городу? Сразу возник десяток вопросов и один — самый главный: как ему, Денисову, следует поступить?

Он отметил, что все окна в вагоне закрыты. Выбросить паспорт и все остальное можно было только сквозь вентиляционные отверстия над дверями дальнего тамбура. Или из дверей во время стоянки...

«Кто же выходил из салона? — После отправления из Домодедова прошло не менее четырех-пяти минут.— Чтобы выйти в тамбур и вернуться, достаточно полминуты...»

Еще один пассажир — добродушный, с лысиной в полголовы. Когда Денисов вошел, ревизоры заканчивали выписывать ему квитанцию штрафа за безбилетный проезд.

— Немец? — переспросил старичок ревизор.— Такая фамилия? Первый раз слышу...

Впереди стукнула дверь. Денисов повернул голову. В дальнем тамбуре показался пятый пассажир — в короткой кожаной куртке, в берете, с бледным измученным лицом.

Альтист подвинулся, давая ему место:

— По-моему, товарищ ревизор ждет вас, чтобы о чем-то спросить...— Скуластое смуглое лицо музыканта расплылось в улыбке.

— О чем-то! — Мордастый пригладил седой ежик.— О билетах, конечно!

Ревизоры поздоровались с Денисовым, которого знали:

— Как раз кстати... Пассажиры эти... Штраф не платят и фамилий не называют.

— Почему не называют? — обиделся Немец.— Я и паспорт показал. И прописку.

— При-мор-ский край!..— протянул ревизор.

— А вы приезжайте! Заодно и штраф получите! Красотища у нас! — Немец подмигнул.

— Заканчивай, пожалуйста,— сказал ревизору напарник.— И пошли дальше.

Они передвинулись по другую сторону прохода — к Мордастому. Оставшись без собеседника, Немец поймал взгляд пассажира в кожаной куртке и берете:

— Плохо перенесли полет?

— Есть немного,— тот поморщился, отгоняя дурноту.

Немец сменил тему:

— У нас на Дальнем Востоке сейчас хорошо — зима!

В магазинах чавыча, папоротник... Не пробовали? Японцы на валюту покупают. Вкус! Белые грибы... Вы откуда сами?

— Из Новосибирска.

— Тоже не ближний край. Учитель?

— Бухгалтер.

— На предприятии? В школе?

— В Запсибзолоте.

— Значит, вам ездить приходится,— Немец погладил лысину.— О папоротнике мало кто знает. В прессе о нем не писали...

— Все до Москвы? — ревизор перебил его.— Платить штраф собираетесь?

— Придется...

— А билетную кассу надо все-таки ставить ближе к аэропорту,— буркнул Мордастый, доставая трехрублевку. За ним уже все безбилетники полезли за деньгами.— Чтобы человек мог купить билет у поезда, а не бежал бы в последнюю минуту вдоль состава.

— Да, но кого они будут тогда штрафовать? — спросил Немец.

— Фамилии назовите,— уже спокойнее предложил ревизор.

— Пименов А Фэ,— сказал Бухгалтер, лицо его снова покривилось.

— Сидоров,— Долговязый скинул плащ, остался в пуловере с бегущими голубыми и красными полосами и шелковом кашне.

У него была сильная спина боксера или грузчика, сухощавое длинное тело. В разговоре он участия не принимал.

«За что он разыскивается? — снова подумал Денисов о Долговязом.— Крупное мошенничество? Шулер?»

Мордастый поправил полотенце на шее:

— Мигель де Сервантес Сааведра. Можете написать просто Сервантес...

— Следующий...

— Данилов,— отрекомендовался музыкант.— Альтист Данилов.

Выписав квитанции, ревизоры присели в купе. Теперь уже как пассажиры: их заинтересовало сообщение Немца о дальневосточном лакомстве.

— На вид трава! А вкус белых грибов,— повторил Немец.

— Между прочим, о папоротнике писали,— Мордас-

тый перекатил желваки на щеках ближе к глазам.— И не раз. «Наука и жизнь», к примеру.

— Дорогая штука? — спросил Альтист.

— Да нет...

Денисов не мог не заметить: съехавшиеся с разных сторон, впервые словно бы видевшие друг друга, пассажиры сближались легко и беспечно, будто в соответствии со знакомым, заготовленным заранее сценарием.

— Может, перекусить по этому случаю? — спросил Немец.— У меня сало есть.

Кто-то засмеялся:

— Лучше бы папоротник!

— Станция Бирюлево-Пассажирская,— крикнула в микрофон проводница. Пронзительный голос, пробившись сквозь хрип, разнесся по составу.— Следующая — Бирюлево-Товарная. Повторяю...

«Надо позвонить на вокзал, чтобы встретили. В одиночку я могу все испортить...» — Денисов поднялся.

Немец, в сущности, утвердил его в принятом решении, заметив на вопрос одного из ревизоров: «Одни, знаете ли, предпочитают синицу в руках, другие ставят на журавля в небе!..»

Электричка затормозила, на ходу раскрывая двери. Уже выходя, Денисов поймал в стекле чуть сгорбленную мускулистую спину с бегущими по пуловеру полосами, болезненное лицо Бухгалтера и метнувшийся ему вслед тяжелый взгляд Долговязого.

«Если ничего не произойдет непредвиденного,— подумал Денисов,— через двадцать минут Долговязый будет в Москве на вокзале. Там его встретят. Кажется, он ничего не заподозрил...» — Денисова беспокоил этот откровенно злобный взгляд.

Но поворачивать назад было поздно.

...Он прошел к билетной кассе, постучал в окошко. Людей на платформе было мало. Электричка двинулась, сомкнув жесткие громыхающие двери.

— Разрешите позвонить? — Денисов показал удостоверение.— Транспортная милиция участка...

Кассирша поднялась, чтобы открыть дверь.

— Пожалуйста.

Денисов вошел. В помещении было сумрачно. Видавший виды телефонный аппарат на столе оказался подсоединенным к другому, у кассы, мелодично отзванивавшему с каждым оборотом диска. Денисов набрал номер дежурного.

— Ты где? — спросил Антон Сабодаш.

— В Бирюлево-Товарной. Запиши...

Денисов взглянул на висевшее над столом расписание.

— Электропоезд 6548. Из Аэропорта. В последнем вагоне пятеро. Надо организовать встречу.

Кассирша отодвинулась от окошка, молча смотрела на него.

— Что-нибудь произошло? — Антон сразу насторожился.

— Один из них определенно в розыске.

— В связи с чем?

— Телефонограмму не помню,— Денисов ушел от взгляда кассирши.— Долговязый, высокий, в шелковом кашне...

— Все пятеро знают друг друга? — уточнял Антон.

— Это и меня интересует... Трудно сказать.

Дежурный подумал.

— Я распоряжусь, чтобы, не доезжая до Москвы, в последний вагон подсел милиционер.

— Это можно сделать на Москве-Товарной.

— Ты скоро будешь?

— С первой же электричкой,— Денисов не стал говорить о других своих подозрениях.— Как на вокзале?

— Пока тихо...— Антон вдруг снова встревожился: — В движении поездов сбой! Сейчас позвонили: «окно» по техническим причинам. Как же ты попадешь на вокзал?

— Что-нибудь придумаем... Автобус! — Денисов взглянул на часы: — Все! Связь по рации. Мой позывной...

— «Двести первый»...

Денисов кивнул кассирше, прикрыл за собой дверь, сбежал вниз с платформы. Был час пустых автобусов и свободных такси. За овощной палаткой торговали розами. Какая-то женщина на проезжей части останавливала машину жестом, каким сажают у ноги служебных собак.

«А если я ошибся? — Денисов вспомнил бледного, в берете и кожаной куртке Бухгалтера.— Если ему грозила опасность? Где преступник, там может появиться и жертва...»

Подошел автобус. В нем не было никого, кроме спавшего на заднем сиденье пьяного. Денисов прошел к кабине.

— Есть абонементные книжки,— объявил шофер для собственного удовольствия.— Рекомендую приобрести...

«Может, следовало до Москвы ехать вместе с ними? — снова подумал Денисов.— Но я не знаю, кто из них заод-

но с Долговязым. Без сомнения, в поезде он не один...— Денисов представил своих недавних попутчиков, какими увидел их, войдя в вагон.— Мордастый? Альтист? Немец?..»

До метро «Варшавская» остановок почти не делали. Денисов смотрел в окно. Май стоял неожиданно холодным. Поднятые воротники пальто, едва распустившаяся зелень. Белые стволы берез перед Покровкой напоминали простенький рисунок на занавесках. За мусоросжигательным заводом, в стороне, плыла в небе огромная труба.

Неожиданно под курткой часто и неразборчиво, как горячечный больной, захрипела рация, Денисов не разобрал ни слова. Потом рация замолчала, но, подъезжая к «Варшавской» и затем, в метро, несколько раз вновь просыпалась и тревожилась.

На вокзал Денисов попал еще засветло. Горели приглушавшие свет желтоватые светильники. Шел девятый час. Инкассаторская машина выруливала к пригородным кассам, где ее ждал милиционер.

Денисов на ходу придвинул микрофон, вызвал дежурного.

— «Двести первый»? — поразился Сабодаш.— Где находитесь?

— На вокзале, рядом со справочной. Электричку встретили?

— Да... Но об этом потом! — Антон был краток.

— Что-нибудь случилось?

— Срочно в конец платформы. На восьмой путь... Как поняли?

— Восьмой путь... Что произошло?

— Транспортное происшествие.

— Наезд?

— При неясных обстоятельствах.

— Исход?

— Со смертельным исходом. Скорее.

Срезав угол против багажного отделения, Денисов пробежал вдоль элеватора, свернул к железнодорожному полотну. По другую сторону путей, за стрелками, он увидел сигнальные огни, темную массу электропоезда, несколько человек внизу, на рельсах, рядом с высокой платформой.

— Такие дела...— Антон ждал у торца платформы.— Сюда и «скорую» едва ли подгонишь! — Он закурил.

Мощная фигура Антона, гиревика-тяжеловеса, выра-

жала растерянность. Впереди, в нескольких шагах, мелькнул фонарик, Денисов узнал женщину — врача медкомнаты.

— Давно вы здесь? — Денисов подошел ближе.

— Нет...— она не подняла головы.— К сожалению, все бесполезно.

Денисов остался рядом, Антон сунул ему в руку фонарь.

— Я вызвал оперативную группу из управления. Следователя, эксперта...— Он обернулся.— Вон они.

По платформе в их сторону двигалось несколько человек.

— Междупутье хорошо смотрели? — спросил Денисов.

— Кажется, ничего подозрительного...

На шпалах белели клочки бумаги, палочки от эскимо. Опустевший электропоезд темнел у платформы.

Денисов подумал:

«Стояла ли электричка здесь в то время, когда обнаружили труп, или прибыла потом?»

У края шпал, за тропинкой, протоптанной вдоль забора отделения перевозки почты, на спине лежал человек. Выражение застывшего лица показалось Денисову знакомым. Остановившийся взгляд был устремлен по диагонали на крышу элеватора, по другую сторону путей.

Денисов узнал короткую кожаную куртку, на которую обратил внимание в электричке. Где-то рядом должен был валяться беспрестанно сползавший на лоб берет. Денисов нагнулся, нащупал у ног смятый головной убор.

Сомнений не было: это был Бухгалтер.

Денисов тронул Антона за руку.

— Как насчет людей, о которых я звонил? Их не смогли доставить?

— Частично,— Антон пальцами загасил папиросу «Беломор», спрятал в пачку, чтобы не оставлять окурок на месте происшествия.— Но основного доставили — Долговязого. Проверить пока не успели. С ним еще двое...

— Как они выглядят?

— Седой, моложавый, с полотенцем на шее...

— Мордастый.

— И еще один. Со странной фамилией...

— Немец?

— Кажется.

— А Альтист? С инструментом...

— Музыканта в вагоне не было. Он нужен?

Денисов кивнул на лежавшего:

— Это Пименов... Рекомендовался бухгалтером Запсибзолота.— Он помолчал.— Возможно также, что его фамилия Андреев. Андреев Виктор Васильевич. Альтист всю дорогу о чем-то его расспрашивал. Это один из тех, с которыми я сегодня ехал из аэропорта, из Домодедова.

Уже в отделении, вернувшись после осмотра платформы, Денисов на фотографиях снова увидел застывшие глаза Бухгалтера, обращенные к верхней точке на крыше нового элеватора.

— Труп молодого мужчины правильного телосложения. Веки не сомкнуты, роговицы мутноватые,— диктовал эксперт-медик,— отверстия ушей и рта свободные...

— Есть что-нибудь новое? — спросил у Денисова следователь.

— Пока ничего.

Дежурный следователь в наброшенном на плечи пальто писал, положив протокол на сложенные кубом запасные шпалы.

— В теменной области,— продолжал медик,— распространяясь в задние отделы лобной и левой височной области, пальпируется обширная гематома...— Он отстранился, чтобы не мешать работнику научно-технического отдела, перешедшему от обзорной съемки к узловой.— Записали?

Железнодорожный путь был плохо освещен и далеко отстоял от вокзала. С одной стороны его тянулась высокая асфальтированная платформа, по другую темнел забор отделения перевозки почты и пустырь, поблескивавший осколками битого стекла. Тропинкой, на которой лежал труп, пользовались в основном железнодорожники. Пролегавшая вдоль полотна, она начиналась метрах в восьмистах, на Москве-Товарной, у жилых домов; однако жители, особенно в вечернее время, предпочитали добираться электричкой или автобусом, а не шагать темной пустынной тропой.

— А если коротко подытожить? — спросил Антон Сабодаш у судебно-медицинского эксперта.— Что получается?

— Перелом свода черепа,— медик выпрямился,— обширные повреждения теменной области... Кровоизлияния во внутреннюю полость.

— Наезд транспортного средства...— следователь отставил протокол.— Но многое неясно. Как этот человек оказался здесь? Когда прибыла электричка и наши вошли в последний вагон, его уже не было. Выходит — он

прошел в голову состава, а затем по платформе вернулся назад? Зачем?

— А что делали остальные трое? — спросил Денисов у Антона.— Которых доставили в отдел... Просто сидели на своих местах?

Антон затянулся дымом.

— Кажется, стояли в тамбуре. Все трое... Я не успел узнать детали. Их только привели — и сразу звонят: «Труп!..»

— Кто его обнаружил?

— Составитель поезда. Осаживали назад вагоны. Составитель двигался вдоль полотна...

— Не мог этот человек прилететь на самолете из Новосибирска! — следователь попался беспокойный. Он снова отставил протокол.— Ни из Новосибирска, ни из другого города!

— Почему? — спросил дежурный.

— Документов нет.

— Может, это он выбросил паспорт? — сказал Сабодаш.— Вместе с платком, с оберткой денежных купюр...

— А зачем? — следователь нахмурился.— Один почему и зачем. Почему пошел не к вокзалу, а сюда, в неосвещенный конец станции? Зачем выбросил документ?

Антон кивнул:

— И носового платка в карманах нет... Его сверток!

— Может, грозила опасность, о которой мы не догадываемся...— Эксперт-криминалист уже несколько минут молча прислушивался к разговору.— А он знал. И действовал соответственно обстоятельствам... Вот ответ сразу на оба ваших вопроса.

— Не понял! — сказал следователь.

— Документ этот как бутылка, брошенная потерпевшим кораблекрушение... Сигнал о помощи.

— Почему же он не обратился к инспектору?

— Он выбросил паспорт до того, как Денисов вошел в вагон.

— А потом?

— Всякое бывает...— Для эксперта-криминалиста расследование делилось на две части: в одной он участвовал как специалист и слыл в ней докой, сведения же для второй — собственно раскрытии преступления — черпал в основном из детективной художественной литературы.— Я не берусь ответить сразу.

— Где паспорт? — спросил Денисов.

— Сейчас должны привезти,— отозвался Антон.— Интересно взглянуть на фотографию Андреева...

— Когда наши входили в вагон... Уже здесь, на вокзале... Между пассажирами не было спора, размолвки? — снова заговорил Денисов.

— Вид у них был растерянный.

— А что доложил постовой, который подсел в электричку на Москве-Товарной?

— Он, собственно, ничего не видел. Я дал ему команду находиться в тамбуре предпоследнего вагона, а по прибытии поезда помочь младшему инспектору и тем, кто с ним. До этого времени я приказал не показываться на глаза.

— Кто-то идет...

От забора отделились две темные фигуры.

— Составитель поездов. Это он обнаружил труп,— сказал Антон.

Вторым был работник отделения перевозки почты.

— Как было дело? Повторите,— обратился Сабодаш к составителю.

Высокий костлявый мужчина в оранжевом рабочем жилете поверх телогрейки переступил с ноги на ногу:

— Почтовый осаживали. Слышу, сзади упало что-то. Тяжело... Как шпала! Мне ни к чему сначала...

— Крика не было?

— Ни звука.— Составитель поправил завернувшуюся полу жилета.— Стрелку перевел, иду назад... Вижу: лежит! А перед тем электричка прошла,— он показал на темневшие у платформы, впереди, вагоны.

— И больше никого вокруг?

— Кто-то поднялся с путей на платформу. Быстро-быстро... Почти бегом. Направился в сторону вокзала.

— Примет не запомнили? — поинтересовался следователь.

— Того? На платформе? — переспросил составитель.— Нет.

— Милицию вы вызвали?

— Я. Вернее, мы вместе,— он показал на работника почты.

— Граждане пассажиры!..— разнеслось сверху, из темноты, по всем платформам.— Если вас не встретили с поезда или вы потеряли родных и знакомых...

— Потерпевший мог от кого-то убегать,— сказал эксперт.— Он бежал и не заметил поезда... Электрички ходят бесшумно.

— А машинист? — возразил следователь.— Он доложил бы дежурному по обороту поездов!

— Представьте, что потерпевший круто свернул и попал в слепую зону под кабиной...

— Главное — быть уверенным, что его никто не подтолкнул. Знать мотивы поведения...

Денисов нагнулся над трупом. Туфли пострадавшего были на месте — удар оказался не самым сильным — электричка тормозила.

— ...Встречайтесь у справочного бюро в зале номер два! — предложило радио.— Повторяю...

Денисов ощупал одежду Бухгалтера: в одном месте пола куртки оттопыривалась.

— Карманы не осматривали?

— Пока только поверхностно.

— Кажется, бумажник... Деньги! — сказал он, посмотрев.— Деньги, газета...

По знаку следователя присутствовавшие на осмотре понятые — мужчины и женщина — подошли ближе.

— Пятидесятирублевые купюры,— Денисов передал пачку следователю.— Старая газета...— Он вгляделся: — «Рекламно-информационное приложение к газете «Вечерний Новосибирск».

— Любопытно...

Деньги пересчитали.

— Сто штук! Это кроме тех восьмиста рублей, что лежали в наружном кармане,— следователь обернулся к дежурному.— Ориентировку с описанием трупа дали?

— Сразу же,— Сабодаш кивнул.— «Неизвестный мужчина, на вид тридцать пять — сорок лет...» Словесный портрет, одежду.

— Передали по железнодорожному узлу?

— И по городским отделениям тоже.

— Дайте дополнение: «При себе имел деньги в сумме... купюрами...» Как положено.

Следователь и эксперт вскоре уехали — они входили в оперативную группу Управления внутренних дел. Дальнейшее предстояло дежурному наряду милиции вокзала — установление личности погибшего, опознание, воспроизведение обстоятельств происшедшего.

Пока Сабодаш организовывал осмотр главных путей, Денисов свернул на подъездные пути. Они начинались поблизости от места происшествия — между вокзалом и мостом и сворачивали на холодильники и близрасположенные базы. Он прошел метров четыреста, но в будках

стрелочников ему ничем не смогли помочь. На ситценабивной и кожевенном тоже ничего никто не знал, а составитель уходил ужинать.

— Как? — спросил Антон, когда Денисов возвратился.

— Пока ничего. Остается надежда на Долговязого и тех, кто доставлен вместе с ним.

Было поздно. На мачте, рядом с блокпостом, зажглось звено прожекторов. Стало светлее. Время от времени под двухпролетным мостом вспыхивал луч электрички: очередной неприметный вначале клубок бесшумно катился к вокзалу, стремительно разматывая за собой темно-зеленую перфорированную освещенными окошками ленту вагонов.

— Товарищ капитан,— подошедший к дежурному милиционер козырнул.— Звонили из сорок пятого отделения. По нашей ориентировке.

— Что у них? — спросил Сабодаш.

— Разыскивают одного...

— Похож на погибшего?

— Не совсем. Но надо проверить...

— Кто он?

— Работал на заводе... В отделе снабжения...

Антон почувствовал его затруднение.

— В чем дело? Можно говорить — все свои.

— Разыскивается как брачный аферист. Похитил деньги у женщины, за которой ухаживал.

— Давно?

— С месяц.

— Крупную сумму?

— Пять тысяч в банковской упаковке. И тысячу так...— милиционер поборол скованность.— Она официантка с Курского. Обещал жениться... Из сорок пятого отделения поехали за потерпевшей. Часа через полтора должны быть...

— Это он. Уот!..— сказал Сабодаш. Версия сразу пришлась ему по душе. Многозначительное носовое «Уот!» на этот раз выражало удовлетворение.— Надо ускорить фотографии... Успеете? — он нашел взглядом техника оперативно-технической группы.

Тот пожал плечами:

— Если нужно...— Парень был безотказный.

— Постарайся.

— Пошли,— сказал Денисов. Труп был отправлен в

морг, больше на месте происшествия их ничего не удерживало.

Они поднялись на платформу. На седьмом пути готовился к отправлению почтово-багажный поезд на Астрахань. Из раскрытых дверей тянуло запахом кочевой жизни — рыбной снедью, горячим, разварившимся картофелем.

Подходя к отделению милиции, Денисов тронул Антона за руку.

— Помимо всего дай телеграмму в Новосибирск насчет Пименова А Эф. Пусть установят...

— Но в выброшенном паспорте — Андреев...— Антон удивился.— Андреев Виктор Васильевич!

— Неважно. Пусть проверят также и по тресту Запсибзолото.

Трое доставленных из электропоезда ждали Денисова в его кабинете, в старой, не подвергавшейся реконструкции части вокзала. С доставленными был старший сержант. Когда Денисов появился, старший сержант сразу ушел.

Первым заговорил Немец:

— Выходит, вы следили за ними еще в поезде? — Он сидел у окна, рядом с расположившейся на подоконнике колонией кактусов.— Вы ищете тех двоих, что убежали? Я сразу догадался: поведение, разговоры... Здесь трудно ошибиться.

— Вы их знаете? — спросил Денисов.

— Я? Нет. Но, может, другие знают? — Денисову показалось, что он взглянул в угол, где Мордастый чуть ослабил полотенце на шее, но полностью не снял.— Теперь, наверное, сидят где-нибудь в ресторане. Но ничего — долго не побегают. Поймают...

— Где они вышли?

— На последней остановке перед Москвой. По-английски: не прощаясь...

«Значит, Бухгалтер шел не от вокзала! — Денисов поправил бумаги на столе.— Он и Альтист вышли из вагона на Москве-Товарной, после чего Бухгалтер темной тропинкой направился вслед за электричкой к платформе... Что заставило их оставить поезд? Где находился Альтист во время несчастного случая? Какова его роль в происшедшем?»

— Может, они заподозрили что-нибудь? — Немец снова беспокойно заерзал на стуле.

Никто не ответил. Мордастый оглядывал помещение. Опора, поддерживавшая арочный свод, стрельчатые окна и ступени у входа явно вызвали его интерес: кабинет Денисова, построенный в начале века, напоминал монастырскую трапезную.

Долговязый равнодушно полировал ногти.

— Музыкант определенно вел себя странно,— Немец погладил лысину.— Как они выходили, я, собственно, не видел... Дремал.

— Они вышли вдвоем? — спросил Денисов у Долговязого.

— Вместе,— Долговязый кивнул.— А Музыканта я увидел у киоска в аэропорту. Покупал «Советскую музыку». Мне показалось, он кого-то ждал.

— Бухгалтера?

— Не утверждаю.

— А вы?

— Я бывшего сослуживца встречал. Из Душанбе.

— Встретили?

— Не прилетел.

— И что теперь? — поинтересовался Немец. Он внимательно прислушивался к разговору.— Встретитесь?

— Придется ждать, пока позвонит,— Долговязый с неудовольствием посмотрел в его сторону.

Немец удивился:

— И адрес не знаете?

— Лет пять не виделись...— Долговязый поспешил снова заняться ногтями.— Нас еще будут вызывать? — Ему не терпелось узнать, почему их доставили в милицию.

— Сам я — москвич,— пояснил Долговязый. Его спина боксера или грузчика слегка сгорбилась, точно под невидимой тяжестью.— С Шаболовки. Документы, правда, с собой не ношу. Меня всегда можно вызвать.

Он ждал вопросов, но Денисов только переложил на столе бумаги. Неожиданная гибель Бухгалтера заставляла видеть в случившемся цепочку непонятных пока, тревожных фактов — аспект бóльший, нежели банальное задержание преступника по фотоориентировке.

— Когда вы обратили внимание на Музыканта? — спросил он.— Задолго до того, как выехали из Аэропорта?

— Минут за двадцать.— Долговязый повернулся к Мордастому: — Кажется, вы стояли вместе с ним.

Мордастый пожал плечами:

— Я стоял у киоска, там было плохо с одним пассажиром. Но я был один. Может, вы меня с кем-то путаете?

— Я обратил внимание на полотенце.

— И все же я был один.

Молчавший во время этого диалога Немец тоже спросил Мордастого:

— Разве вы вошли в электричку не вместе с Музыкантом?

— Я?

— Я шел сразу за вами...

Продолжить опрос Денисову не пришлось: снизу, из дежурки, позвонил Сабодаш.

— Я послал наверх помощника с фотографиями и одеждой погибшего. Соседний кабинет свободен. Помощник оставит все там, в кабинете, потом подменит тебя.

— Так.

— Приехали по поводу опознания...

— Ты поручаешь это мне?

— Здесь инспектор сорок пятого отделения... Он поможет.

Не выпуская из руки телефонную трубку, Денисов отвернулся к окну.

— Я очень занят.

— Денис! — объяснил Антон как начинающему.— Потерпевшую привезли из дома, из Томилино. Знаешь, где это?

— Я освобожусь через двадцать минут.

— Она спала... Ее разбудили, попросили собраться... Она работает в железнодорожном ресторане, завтра ей на работу. Ты все себе отчетливо представляешь, Денис? Ей обещали, что долго не задержат. Она согласилась...

Денисов снова переложил бумаги на столе.

— Хорошо... А что с паспортом? Его доставили?

— Паспорт, выброшенный из электрички? Сейчас привезли. Подослать тебе?

— Да. Мы правильно передали данные в Новосибирск?

— Все верно: Андреев Виктор Васильевич, тамошний уроженец. Женат, двое детей.

— Чья фотография на документе? Похож на погибшего?
— Совсем незнакомое лицо.
— И ни на кого из доставленных?..
— Нет.
— А как с пропиской?
— Прописка новосибирская. Я уже заказал разговор с областным Управлением внутренних дел. Сразу дам тебе знать.

Инспектор сорок пятого отделения милиции оказался знакомым, но Денисов не мог вспомнить, по какому делу он приезжал на вокзал раньше. Инспектор был молодой и выглядел тихоней — белесый, старательный и аккуратный.
— Привет,— Денисов поздоровался.— Женщина здесь?
— Внизу. Волнуется!.. Само нетерпение.
Пока Антон с помощью дежурного наряда подбирал понятых из пассажиров, они накоротке поговорили.
— Она одна? — спросил Денисов.
— Еще я привез шофера отдела сбыта. Тоже женщину. Она возила разыскиваемого по объектам.
— Смогут опознать?
— Если это он — непременно,— инспектор нервно зевнул.
— Как все получилось?
— Представился инженером. Одинокий солидный мужчина, в годах. Постоянно ужинал в ресторане на Курском, всегда почти в одно время, за одним столом. Она — официантка. Одинокая... Обычная история.
— Он в годах? — переспросил Денисов.
— Выглядит моложаво.
— Как он завладел деньгами?
— Собственно, официантка сама отдала. Теперь кусает локти. Сказал, что у него неприятности на работе, срочно нужно внести шесть тысяч. Через два дня обещал отдать. Ей пришлось снять со счета...
— Почему занимаетесь вы? Не Курский вокзал...
— Передача денег произошла на нашей территории — на автобусной остановке. Действительно, повезло...
На лестнице раздался шум, инспектор сорок пятого поморщился:
— Это она.

Денисов поднял лежавшие на столе еще теплые, после глянцевателя, фотографии. Черты погибшего на них — фас и оба профиля — приобрели значительность, какой Денисов не заметил в больном обеспокоенном лице Бухгалтера при жизни. Здесь же, на столе, лежали фотоснимки двух других потерпевших.

— В Новосибирск он выезжал? — Денисов смешал фотографии.

— Мог. Он по три месяца не вылезал из командировок. Дальний Восток, Сибирь...

— Сюда? — в кабинет вошли понятые — две молодые женщины с новыми одинаковыми сумками.

Инспектор сорок пятого обернулся к Денисову:

— Кого приглашать первой? Шофера?

— Давай потерпевшую.

Денисов объяснил понятым их обязанности — женщины промолчали: собственное прикосновение к чужой беде, несомненно, показалось обеим лишним, даже назойливым. Казенные стены кабинета не располагали к длительному пребыванию в нем.

— Без нас нельзя? — спросила одна, побойчее, в беличьей шапке.

— Закон обязывает.

В дверь постучали. Вошедшая — молодая женщина — выглядела усталой.

— Стеблова Нина...— она подошла к столу.

— Где вы работаете?— спросил Денисов.

— В транспортном отделе шофером... Александр Ефимович был проведен на должность инженера отдела снабжения. Ему выделяли дежурную автомашину...

— Он долго у вас работал?

— Недолго. Можно сказать, совсем мало.

— А где другая женщина?

Стеблова замялась:

— Не идет: думает, что о н здесь.

— Труп в морге.

— Ей объясняли — не верит... Говорит: до смерти боюсь мертвяков!

Денисов подвинул протокол.

— Предупреждаю об ответственности за ложные показания. Подпишите... Посмотрите эти фотографии.

— Позвольте...— Стеблова только на мгновение прикоснулась взглядом к фотоснимкам.— Не то. Александра Ефимовича здесь нет.

— Это точно?

— Я бы его сразу узнала.

Дверь в кабинет приоткрылась. В коридоре слышались голоса:

— Я говорю: там только фотографии...— Инспектор сорок пятого держал дверь, не давая ей захлопнуться.

Резкий голос, похожий на мужской, возражал:

— С какой стати ему бросаться под поезд с деньгами? Подумайте!

— Это другой вопрос. Но надо же вначале убедиться. Приметы не полностью, но подходят. Главное — сумма! Банковская упаковка. И те же купюры...— Инспектор, наконец, нашел убедительный довод: — Не собираетесь же вы дарить их чужим людям?

Он победил. В дверях показалась голова и мощный торс. Мужеподобная матрона лет шестидесяти — прямая, с морщинистой высокой шеей и каменным выражением лица, не здороваясь, быстро подошла к столу.

— Где? — женщина быстро разбросала фотоснимки.— И для этого меня вызвали? Ничего похожего!

— По-вашему, не он? Вы хорошо смотрели? — спросил инспектор сорок пятого отделения.

— А где одежда? — лицо ее побагровело.— Покажите кашне!

— Кашне не было.

— Не было? — потерпевшая была уже в коридоре.— Смеетесь? Он одевался как интеллигентный человек! Я с первого дня твержу: шелковое кашне, галстук! Месяц не могут найти!..

— Бывает, везу его от нее...— шепотом сказала Стеблова.— Он всю дорогу молчит. Только вздохнет: «Вы не можете представить, Нина, сколько надо воображения, чтобы с нею остаться...»

— Одевался хорошо? — спросила одна из понятых.

— Это точно. Всегда в пуловере, в галстуке...

— Вдвойне подлец,— объявила понятая в беличьей шапке.

В коридоре потерпевшая дергала все двери подряд:

— Куда идти? Что вы меня тут заперли?

— Минуту! — крикнул Денисов.

Он вспомнил ориентировку.

Инспектор сорок пятого отделения удивленно посмотрел на него.

— Зайдите с потерпевшей ко мне в кабинет. Рядом...

— Боюсь, она никуда не пойдет...

— Этот человек задержан. Он сейчас у меня.

Денисов поднялся, с понятыми прошел к себе. Трое, сидевшие в его кабинете, по-разному реагировали на их появление.

— Становится интереснее! — нарочито бодро сказал Немец.— Я остаюсь.

Мордастый пригладил седой ежик, сделал попытку снять полотенце. Только Долговязый продолжал полировать ногти: он узнал голос в коридоре.

Официантка ворвалась в кабинет, как смерч. Взгляд ее с налета уперся в пуловер с бегущими полосами и шелковое кашне.

— Здравствуйте, Александр Ефимович! — Лицо и шея потерпевшей были теперь густо-свекольного цвета.— Что же вы больше не приходите на Курский вокзал ужинать?

Сержант неловко присел сбоку, у стола, выложил перед Денисовым упакованные в целлофановые пакеты вещественные доказательства. Антон передал с ним выброшенные в Домодедове паспорт, платок, ленту банковской упаковки с надписью — «пятьдесят штук по сто рублей» — заодно «Рекламное приложение к газете «Вечерний Новосибирск», найденное у Бухгалтера.

— Все здесь,— это был тот же сержант, из молодых, цепкий, хотя и медлительный, который радировал Денисову в Домодедове о свертке и о безбилетных пассажирах, ехавших в последнем вагоне электрички.

Денисов пожал его вялую руку.

— Поздравляю. Люди оказались действительно интересные...

— Хорошо, что вы были в поезде...

В кабинете он чувствовал себя уютно. Денисов то и дело ощущал на себе его беспокойный взгляд.

— Итак, вы должны были сопровождать электричку от Аэропорта до станции Домодедово. Дальше сопровождение не предусмотрено декларацией. А потом?

— Перехожу на встречную...— Сержант добросовестно перечислил маршрут.— Потом к Москве. Ночую в Аэропорту...

— Я понял. Как же получилось со свертком?

— Ревизоры пошли в последний вагон, а я остался в тамбуре. В Домодедове вышел из поезда...

— Пассажиры последнего вагона могли вас видеть?

— Вполне. Дверь в тамбур стеклянная. А то, что я

выйду в Домодедове, они знать не могли...— Он заговорил увлеченно: — Только вышел на платформу, смотрю, сверток летит... Аккурат между платформой и поездом.

— Откуда его выбросили?

— Из дверей. Перед самым отправлением...

— Кто?

— Этого я не видел. Спрыгнул на путь, подобрал сверток, развернул. И сразу вам по рации.

«Паспорт выбросил Бухгалтер. Никто иной,— подумал Денисов, когда сержант ушел.— Выбросил, потому что испугался: вдруг у него обнаружат документ Андреева. Но зачем ему чужой паспорт? И с какой стати, увидев милиционера, он поспешил уничтожить улики?! Составитель, обнаруживший труп, слышал, как кто-то поднялся с путей на платформу, быстро направился в сторону вокзала... Признается ли Альтист — если мы его установим — в том, что был с Бухгалтером до последней минуты? Если — да, то как он объяснит все — почему никому не сообщил о несчастном случае? Не вызвал «скорую»? Наконец, почему оставил пострадавшего одного — скрылся с места происшествия? — Денисов поднялся, сделал несколько шагов к двери, вернулся к лежавшим на столе вещественным доказательствам.— Альтист наверняка скажет, что ничего не знал о несчастном случае, что, выйдя из вагона, они с Бухгалтером сразу же разошлись в разные стороны...»

Он по привычке осторожно взял в руки ленту банковской упаковки — она была стандартной, с двумя продольными красными полосами, фиолетовый штамп отделения банка был смазан и не читался. Зато дата была хорошо различима: «15 апреля».

«В этот день внутри упаковки лежали пять тысяч рублей,— подумал Денисов.— Кому они предназначались? Где получены?» Чтобы ответить на эти вопросы, требовалось время. Он обратился к другим вещественным доказательствам.

Из паспорта Андреева можно было почерпнуть только то, что документ призван был засвидетельствовать — установочные данные, место работы, прописку, социальное и семейное положение его владельца. Все это было уже известно.

«Рекламное приложение» было двухмесячной давности. Денисов пробежал газету глазами: рекомендации, извещения. Петитом набранный текст:

«Вашей мебели необходим ремонт?»

«В Академгородке потерялась собака...»
«Куплю ударную установку...»
Одно из объявлений было отчеркнуто:
«Комната для одного человека, ул. Объединения... Остановка «Универмаг «Юбилейный»...
Денисов позвонил дежурному:
— На всякий случай попроси Новосибирск проверить...— Он продиктовал отчеркнутый в «Рекламном приложении» адрес.— А вдруг! Может, Пименов снял комнату на улице Объединения? — Газета с объявлением в кармане погибшего могла, конечно, оказаться случайной.— Насчет прове́рки Андреева ничего нет?
— Нет... Здесь машинист подошел и помощник с ним. С той электрички, что сбила Бухгалтера. Я послал к тебе,— Антон подумал.— А в Новосибирск я позвоню. Все?
— Пожалуй.
— А как поступить с задержанным? Ну, с этим Долговязым? Сорок пятое отделение просит передать его им. У них уголовное дело.
— Пока повремени.
Антон насторожился:
— Значит, ты считаешь, что он тоже... причастен к несчастному случаю?
— У Долговязого мог быть сообщник в электричке,— уточнил Денисов.— Пока я не знаю кто... Неясно, почему Бухгалтер выскочил из поезда...
В кабинет постучали.
— Войдите.— Денисов положил трубку на рычаг.
Машинист и помощник оказались одного возраста, оба сверстники Денисова. Они повторили то, что инспектор уже знал.
— В Москве приняли нас на восьмой путь, самый неудобный для пассажиров. От первого вагона до вокзала расстояние порядочное...— Машинист сел в старое кресло в углу, с удовольствием вытянул ноги.— На путях, когда подходили к платформе, никого не было. Шли с обычной скоростью... А у восьмого пути сбоку кусты, шпалы сложены.
— Мог потерпевший попасть под электропоезд так, что вы не заметили? — спросил Денисов.
Ответил помощник:
— Если только свернул на путь перед самым электровозом... Убегал бы от кого-то, например. Кабина высоко, поэтому впереди образуется небольшая слепая зона.

Тропинка рядом с дорогой. Поверни круче на близком расстоянии — и пожалуйста!

— Себя не жалеют,— вставил машинист.— Будто негде ходить!

Помощник договорил:

— Когда видимость хотя бы частично ограничена, все может случиться...

— Мне они все сразу показались подозрительными,— заметил Немец,— особенно Музыкант. Он определенно никого не встречал в аэропорту и никуда не собирался лететь.

— Почему вы об этом подумали? — спросил Денисов.

— И слепому ясно. Я его еще в здании порта приметил. У места выдачи багажа.

— Что он там делал?

— Наблюдал. Ходил вокруг, смотрел, как люди получают багаж. Иногда заговаривал с пассажирами.

— О чем? Знаете?

— Я близко не подходил.

— Долго он находился у места выдачи?

— Порядочно. Из Душанбе прибыл рейс, потом, помоему, из Еревана. Я два раза к справочной подходил, справлялся. И оба раза его видел.— Немец пригладил платком вспотевшую лысину.— Ненадежные ребята: что Музыкант, что Мордастый...

Телефонный звонок прервал его. Звонил Сабодаш:

— Сейчас разговаривал с Новосибирском. Паспорт Андреева, который выбросили из электрички, украден у него еще в январе, в автобусе, в районе Гусинобродского жилмассива...

— Какого?

— Гусинобродского. В Новосибирске.

— А владелец паспорта?

— Андреев? Жив. Сейчас к нему выезжали домой. Семейный человек, производственник. Никуда не выезжал.

— Он знает Пименова?

— Первый раз слышал фамилию.

— А по приметам?

— Никого не вспомнил.

Денисов подождал.

— По адресному бюро проверили?

— Пока нет. Пименовых А Эф много. Сейчас делают

выборку...— Антон помедлил, очевидно прикуривая.— Кроме того, я просил проверить адрес на улице Объединения.

— Они позвонят?

— Как только закончат. Я дал твой телефон.

— Не забудь то, о чем я просил...— Речь шла о проверке Немца по картотекам Московского уголовного розыска.

— Жду. Сейчас должны сообщить результаты.

— Тот, Долговязый...— заговорил Немец, увидев, что Денисов положил трубку,— сказал, что встречал бывшего сослуживца и не знает его адреса. Тот знает, а этот — нет! Будет теперь ждать, когда он ему позвонит... Тот знает, а этот — нет!

— Вы не поверили ему?

— Ерунда! Когда он позвонит? Может, завтра, может, через год!

— А Мордастый? — спросил Денисов.

— Он действительно подходил к киоску «Союзпечати», стоял рядом с Музыкантом. Чуть сбоку. А теперь отрицает... Что за люди у вас здесь?

— Никак не привыкнете? — Денисов делал вид, что принимает условия игры, предложенной собеседником, в которой Немцу отводилась роль человека прямого, простодушного, не очень далекого.

— Больше недели в Москве не выдерживаю...— Он явно обрадовался денисовской реплике.— Одно оправдание: подарки семье...

— Что-нибудь стоящее?

— В прошлый раз дочери шубу отхватил. Жене и теще — сапоги.— Он повеселел.

Телефон тихо звякнул. Денисов поднял трубку.

— Новосибирск?

Снова звонил Сабодаш:

— Я проверил, как ты сказал...

— Слушаю.

— Все сходится... Он действительно Немец... Ударение на втором слоге. Николай Михайлович, пятьдесят пять лет. Слышишь? Выселен из Москвы за тунеядство Сокольническим райнарсудом. Тому два года. В Москве сейчас без прописки и определенных занятий. Предупреждался отделом внутренних дел на Казанском вокзале о выезде в семьдесят два часа.

— Давно?

— Второго числа этого месяца. Да!.. В прошлом при-

влекался к ответственности за соучастие в убийстве. Дело прекращено за недостаточностью доказательств...

Пока Денисов разговаривал, доставленный с нарочитым интересом оглядывал кабинет. В то же время Денисов был уверен в том, что Немец внутренне весь напрягся, пытаясь понять, о чем идет разговор.

— Он больше не нужен? Сейчас я приду за ним,— договорил Сабодаш.

— Еще есть разговор...

— Иду к тебе.

Антон появился через несколько минут.

— Когда вас последний раз предупреждали за проживание в Москве без прописки? — спросил он без подготовки, еще с порога.— Второго? А какое сегодня число?

Несмотря на внезапность, вопрос не застал доставленного врасплох.

— Предупреждение от второго не может считаться действительным...

— Почему же? — Антон достал папиросы, присел у стола. Стул под ним жалобно пискнул.

— В тот день я только еще прибыл в Москву...

Немец начал объяснять, пересыпая рассказ номерами исходящих документов, именами-отчествами работников паспортного ведомства нынешних и прежних — память у него оказалась отличной. Он и не думал сдаваться — не зная материалов дела, спорить с ним было бесполезно.

Денисов ждал, когда он вернется к событиям, происшедшим в поезде. По логике происходившего такой бывалый человек, как Немец, рано или поздно должен был прийти к выводу, что милицию вокзала в данный момент интересуют главным образом Бухгалтер и Альтист, и, отводя удар от себя, заговорить об этих обоих.

Наконец Немец досадливо вздохнул, достал сигареты:

— Можно?

Денисов кивнул.

— Ну и денек...— Он прикурил.— Знал бы — никуда не ездил сегодня... Только проигрался в дым. И к вам попал. Весь прок.

— В карты играли? — спросил Денисов.

— Было. В «северного дурака»...

Денисов представил себе, как все произошло, когда он и ревизоры вышли из поезда в Бирюлево-Товарной.

«Картишек нет?» — спросил Альтист или кто-то другой.

У кого-то из попутчиков, может у Долговязого, ока-

залась колода, совершенно новая — чтоб не насторожить.
«Купил в аэропорту. Свеженькие...»
«В подкидного?» — спросил кто-то.
Потом была короткая дискуссия:
«Наигрались... Может, в «северного дурака»?»
«Пока будем учиться — приедем...»
«Да нет, проще простого: три карты...— Картинка — десять очков, туз — одиннадцать. За остальные — очки, как в фигурном катании — шесть, семь, восемь... У кого больше — выиграл. По копеечке!»
«Разве что для интереса!»
Денисову было любопытно, как Немец обрисует дальнейшие события в электропоезде. В прошлогоднем случае фигурировала именно эта азартная игра под названием «северный дурак». Группа шулеров играла обычно против одного игрока — «жениха», который об этом обычно не догадывался. Его обирали до копейки.
«Кто в этот раз был жертвой? — подумал Денисов.— Бухгалтер? Кто-то ведь знал, что он везет пять тысяч наличными...»
Но Немец был краток:
— Счастье, что всех денег с собой не взял...— Он провел рукой по карманам.— Сейчас бы не знал, на что сигарет купить.
— Где вас так обобрали? — спросил Денисов.
— Только вы ушли... После Бирюлево-Товарной. Бухгалтер не хотел играть, так его буквально заставили.
— Кто?
— Эти. Вы же знаете.— Он неожиданно обернулся к Антону.— Что-нибудь случилось?
Застигнутый врасплох Сабодаш — простая душа — не подумал скрыть происшествие:
— Человек погиб! Вот что.
— Погиб?
— Бухгалтер...
Несколько минут Немец сидел, словно что-то решая, потом качнул головой:
— Теперь видите? Все рассчитали, сволочи... Вот кем вам следовало бы заняться!
— Кто начал карточную игру? — в свою очередь, спросил Антон.
Но Немец уже принял решение.
— Это вы, пожалуйста, их спросите,— он показал глазами за дверь.— Поймите меня правильно: дело принимает серьезный оборот. Не надо меня впутывать...

— И все же!

Он покачал головой:

— Не хочу рисковать. Главный у них, по-моему, Долговязый. А этот, с полотенцем на шее... Мордастый. Скорее всего — соучастник.

— Кто выиграл последнюю ставку?

Немец колебался.

— Долговязый? Мордастый?

— Бухгалтер! Как вы только что сказали, теперь его уже нет в живых...— Он платком смахнул с лысины капельки пота.— Сам приговор себе подписал... А карты сдавал я.

— Лиза неглупая,— Долговязый отложил пилочку, обвел глазами кабинет.— Теперь, когда вы меня разыскали, она переменит тактику. Потребует письменного обязательства вернуть долг, трудоустройства. Она понимает, если меня посадят, свои шесть тысяч она так скоро не получит...

Он помолчал, прислушиваясь. По восьмому пути, внизу, рядом со зданием, размеренно-тяжело катил прибывающий состав.

— Меня передадут в сорок пятое отделение или оставят здесь?

Денисов не ответил.

— Там, в отделении, все ясно. Статья сто сорок седьмая. До двух лет.— Долговязый поднялся, размял ноги.— Но они ошибаются: Лиза простит. Утром придет с передачей.— Он сел, снова достал пилочку для ногтей.— А здесь, в вокзальной милиции, непонятно. Почему нас не отпустили?

— Попутчик ваш...— Денисов намеренно не уточнил, поправил карандаши в пластмассовом стакане.— Попал под поезд. Скончался полтора часа назад.

— Борис?

— Вы знаете его?

Долговязый хрустнул переплетенными пальцами.

— Господи!.. Жена ничего еще не знает?

— Нет. Он москвич?

— Москвич. Это я затащил его сегодня с собой в аэропорт! Он словно знал! Не хотел ехать...— Долговязый снова хрустнул пальцами.— Некому было сидеть с детьми... Жена работает. Еле уговорил.

— У него дети?

— Две девочки, пацан,— Долговязый стиснул зубы.— Такой забавный... Меня зовет Шурой. Слух абсолютный! Опус шесть играет. Чайковского!..

— Итак: Борис поехал с вами в аэропорт...

— Я обещал: «В последний раз. Нужно вернуть Лизе деньги... Чувствую, отхватим крупный куш». Умолял. Только в ногах не валялся...— Он покачал головой.— Надо же так заблуждаться!

— Деньги, которые вы получили от Лизы,— спросил Денисов,— они потрачены?

— Почти ничего не осталось.

— От шести тысяч?

Долговязый помолчал.

— Можно сказать «виноваты карты», но это неточно,— на лицо наползли морщины.— Игра, риск... Может, что-нибудь и удалось бы сегодня в поезде...

— Крупно играли?

— Не успели как следует развернуться.— Долговязый помолчал.— Знаете, почему я говорю откровенно? Из-за Бориса. И потому, что обмана сегодня не было. В проигрыше — я. Состав преступления, как говорят, отсутствует,— он пристально осмотрел ногти на руке, рукавом пуловера навел глянец.

— Вы приехали в аэропорт еще утром? — спросил Денисов.

— Да. Весь день не везло: то «жених» попадется без денег, то деньги есть — не хочет играть... День сегодня хороший, но ветреный. Заметили? Все больше сидят в помещении. Это хуже. Думал, так и уедем ни с чем.

— Потом?

— В зале для выдачи багажа, в правом крыле,— чувствую — кто-то меня тихо толкнул. Осторожно оглядываюсь: незнакомый. Но по лицу, по глазам вижу — бывалый... Игрок. Где-то встречались... Мигает, чтобы я спустился в туалет. Поодаль идет мужчина в кожаной куртке, берете. Оглядывается по сторонам, но меня не замечает...

— Бухгалтер?

— Он самый...

Картина прояснилась. Как Денисов и предполагал вначале, связью Долговязого по имени Борис был не Бухгалтер, а Альтист. Бухгалтеру с самого начала была уготована роль жертвы.

— ...Я знаком показываю Борису: «Начинаем... На время исчезни!» Он понял — мимо меня к киоску «Союз-

печати»... Там, кстати, кому-то стало плохо, вызывали «скорую»...

— А Бухгалтер?

— Я не смотрю за ним. Спускаюсь вниз, мужчина уже ждет меня. Тот, который подтолкнул в зале.

— Это был Немец...

— Да. «У меня,— говорит,— «жених» на пять тысяч!» Вообще-то он выразился — «на пять кусков!». Не в том суть.

— Немец не сказал, откуда стало известно про деньги?

— Нет. И я не спрашивал.

— Потом?

— Борис пошел к электричке...— Долговязый достал платок, поднес к глазам.— И мы все поодиночке потянулись за ним. Электричка уже отправилась.

— Дальше? — Долговязому требовались частые короткие вопросы.

— Обратные билеты у нас были. Но я решил: будет лучше, если ревизоры нас вместе всех оштрафуют. Познакомят, одним словом. Или объединят.

— Бухгалтер охотно сел за игру?

— Он надеялся на Немца. И, видимо, на Мордастого.

— А что Мордастый?

— Я так и не понял его роли.

— Банк был велик?

— Я дал выиграть восемьсот рублей...

Денисов понял: речь шла о деньгах, что были обнаружены у Бухгалтера при осмотре в наружном кармане.

— Наживу он заглотил. Оставалась последняя сдача. И один перегон до Москвы.

— Надеялись, что успеете отыграться? За две минуты?

— Опыт есть...— Долговязый ухмыльнулся.— Все рассчитано... А время — оно как хлеб за столом. Можно сразу съесть, а можно растянуть на весь обед,— рассказывая, Долговязый не испытывал ни малейшего стеснения.— У меня было тридцать одно очко, у него тридцать, Немцу я сдал двадцать девять. Теоретически почти невероятная раскладка. Последняя остановка. Проводница объявляет: «Москва-Товарная». Сейчас закроют двери... Вдруг Бухгалтер бросает карты, бежит к выходу. Двери закрываются. Все. С концами.

— А причина?

— Не понимаю.

— Может, он заподозрил обман?
— Вряд ли. И почему именно теперь?
— А Борис?
— Бросил карты — у него был мизер. Курил в тамбуре. Естественно, бросился вслед за Бухгалтером. Деньги-то наши, кровные.
— А вы?
— Еду дальше. Как в тумане... Дикая полоса невезения! А когда электричка пришла на вокзал, ваши из двух дверей: «Минуточку! Придется пройти с нами...» Это судьба.
Денисов встал, сделал несколько шагов к окну. Путь внизу снова освободился. Стоя несколько сбоку, у стены, можно было увидеть и место происшествия: тропинку вдоль забора отделения перевозки почты, сложенные кубом новые шпалы.
— Борис жив,— сказал Денисов, отходя от окна. В стекле тотчас отразилась люстра под потолком кабинета, колонна, поддерживавшая арочный свод.— Обнаружен труп того, кого вы хотели обыграть. Бухгалтера.
— Господи! — Долговязый театрально воздел руки.— Ты есть!
Телефон мелодично вызвонил — Денисов поднял трубку.
— Новосибирск на проводе,— объявила телефонистка.
— Доброй ночи,— голос раздался совсем близко.— Вы интересуетесь Пименовым? Прописанным в Новосибирске он не значится. Все же мы нашли его. Он снял комнату в Заельцовском районе, на улице Объединения... Записывайте.— Звонивший предпочитал доходчивые короткие фразы.
— Адрес у нас есть,— ответил Денисов.
— Мы проверили: Пименов вчера днем вылетел в Москву.
— Вы хотите сказать — «сегодня»?!
— Нет. Вчера. Хозяин, который сдал комнату, проводил его в аэропорт Толмачево, посадил в самолет.
— Вы говорили с хозяином?
— Сам он, к сожалению, отсутствует. Я передаю со слов соседей, коллега.
— Очень прошу— перепроверьте все через хозяина квартиры,— попросил Денисов.
— Я жду его с минуты на минуту. Еще?
— Что говорят соседи?

— Пименова толком никто не знает. Днем отсутствует, с соседями не общается.
— Может, речь идет о ком-то другом?
— Нет. Кожаная куртка, берет... Вылетел в Москву.
— Он без семьи?
— Одинокий.
— Уточните цель вылета в Москву.
— Непременно.
— Улица Объединения... Это далеко от вас?
— Порядочно.
— Как же быть?
— Как только он появится, мне сообщат.
— А что Запсибзолото?
— С этим труднее. Представляете, сколько у них объектов? Будем проверять. Я позвоню позже.

Разговаривали недолго, но аппарат еще несколько минут не отключался, какие-то звонки проходили в кабинет. Денисов поднимал трубку — никто не отвечал.

Долговязый машинально следил за ним.
— Что-то еще?
— Мне нужен Борис,— сказал Денисов.
— Сегодня?
— И как можно скорее. Телефон у него есть?
— Есть,— Долговязый подумал.— Но лучше, если я сам позвоню. У вас он не возьмет трубку.
— Не говорите, где вы. Скажите, чтобы он был дома, никуда не уходил.

Долговязый набрал номер, выждал несколько гудков, положил трубку на рычаг, потом позвонил снова. На этот раз трубку сняли сразу.
— Это я,— сказал Долговязый.— Все в порядке... Никуда не уходи... Я скоро приеду,— не дожидаясь вопросов, он пальцем утопил рычаг.— Сидит с детьми. Вообще-то, когда жена на работе, их обычно уводят к матери, она рядом живет. Мы скоро поедем?

Денисов посмотрел на часы.
— У меня еще есть дела. По-вашему, Немец и Бухгалтер хорошо знали друг друга?
— Не думаю,— Долговязый покачал головой.

Денисов еще раньше отметил — Долговязый не отличался особой проницательностью.
— А другой? Что можно о нем сказать?
— С полотенцем? Этот так себя до конца и не раскрыл... Скорее всего у Немца были причины, по которым они не афишировали свое знакомство.

Не дождавшись звонка из Новосибирска, Денисов позвонил сам: на душе у него было беспокойно.

— Это Денисов. Из Московского управления внутренних дел на железнодорожном транспорте. Что нового? Хозяин квартиры еще не возвратился?

Дежурный инспектор из Новосибирска успокоил:

— Пока нет, коллега. Я обязательно позвоню, не беспокойтесь.

— Дело в том, что Пименов наверняка прилетел в Москву не вчера, а сегодня.

— Уверены?

— Его мутило. Он плохо перенес полет.

— Бывает и так. О чем, по-вашему, это свидетельствует?

— Не знаю. Может, о болтанке... Как у вас с вылетом на Москву?

— Нет вопросов: шесть рейсов ежедневно. Места практически есть всегда. Два часа лёта...— Они явно не находили общий язык.

— Может, все-таки Пименову не удалось вчера вылететь? Где может находиться хозяин квартиры? Вернется он?

— Этого я не знаю. В крайнем случае перенесем разговор с ним на утро.

— Как он характеризуется?

— По моим сведениям: личность сомнительная.

— А конкретно?

— Я назвал бы его скорее чудаковатым. Он в годах, имеет высшее образование. Работает на вокзале носильщиком... Что еще? При деньгах. Живет один.

— Странно...

Немец, который в эту минуту входил в кабинет в сопровождении дежурного милиционера, бросил быстрый внимательный взгляд на телефонный аппарат, отозвавшийся характерным для междугородной связи звонком, на Денисова.

— Насчет меня? — он кивнул на телефон.— Зря... Потом убедитесь. С Дальнего Востока я вернулся другим человеком.

— Садитесь,— предложил Денисов.— Вы не сказали, что идея втянуть Бухгалтера в карточную игру принадлежит вам...

Дежурный милиционер вышел, оставив Немца в углу на стуле.

— Но уверяю вас,— Немец положил руку на серд-

це.— По просьбе самого Бухгалтера. Он хотел развлечься...

— Вы были знакомы?

— Первый раз видел! Он только прилетел, а мне, наоборот, дают подписки, чтоб вылетал...

— Как вы узнали, что при нем деньги?

Немец развел руками:

— От него! Он сам ко мне подошел: «Вы москвич?» Говорю: «Да». Ему нужно было остановиться на несколько дней. В гостиницу он не хотел.

— А насчет карт?

— Он сказал, что был бы не против перекинуться в картишки по-крупному.

— Что он еще говорил о себе?

— Бухгалтер Запсибзолота. Вы тоже слышали... «Должен сделать в Москве кое-какие покупки...»

— А вы?

— «Могу,— я сказал,— порекомендовать одной особе. Но у меня был аналогичный случай... Прежде хотел бы убедиться в кредитоспособности...» Пименов подумал, потом поманил меня,— Немец показал загнутый крючком палец.— Отогнул обшлаг куртки: «Взгляните...» Смотрю: пачка денег в банковской упаковке. «Впечатляют?» — «Вопросов,— говорю,— не имею».

— Ваши попутчики по электропоезду знали об этом?

Немец поднял голову:

— Вы можете гарантировать, что со мной ничего не случится, если я расскажу правду?

— Что вы имеете в виду?

— Что я не окажусь там, где Бухгалтер?

— Несомненно.

— Игроков этих я уже потом встретил. В зале выдачи багажа. Долговязого я и до этого видел. Он раньше ездил в Шереметьево, теперь на аэропорт Домодедово переключился. Мигнул ему: «Спуститесь в туалет. Есть «жених». Ну, и завертелось... При первой сдаче Музыкант сунул ему шестерку, короля и десятку. Мне — пятнадцать очков, Долговязому вроде как не везло... Проигрывал.— Немец почти слово в слово повторил то, что Денисов уже знал.

— Бухгалтер не отказывался от игры?

— Нет. Перемигнулись с ним: играем вместе...

— Выходит, вы играли и с тем, и с другими?

— Выходит.

— А все-таки?

— Там было бы видно.
— Как вы сидели в вагоне?
— Как и при вас: Мордастый с Музыкантом лицом к голове поезда. Напротив, у окна, Бухгалтер. Я — рядом...— Немец вздохнул.
— Вы видели милиционера, который садился в поезд на Москве-Товарной? — спросил Денисов.
— Я — нет.
— Может, Бухгалтер видел?
— Не думаю: он и не смотрел в окно, бедняга.— Немец развил мысль: — На Москве-Товарной хотел от них убежать. Схватил с кона выигрыш. Не рассчитал, что Музыкант пасет его в тамбуре...— Он снова навязывал Денисову свою игру — упрощал и наивничал, будто не было у него позади в довольно пестрой биографии ни тунеядства, ни высылки, ни привлечения к уголовной ответственности за особо опасное преступление — соучастие в убийстве.
— Бухгалтер знал, что играет против шулеров? — спросил Денисов.
— Нет. Я не говорил.— Он, видимо, сказал правду, потому что ему лично это признание ничем не грозило.— И жулики вели себя тонко.
— Вы показывали Бухгалтеру свои карты? — Ответ не совсем устроил Денисова.— Я хочу спросить: знал ли он, сколько у вас очков при каждой сдаче?
— Знал. Я показывал ему карты.
— И при последней сдаче тоже?
— Тоже.
— Хотите что-нибудь добавить? — Денисов взглянул на часы.
Немец не мог понять, что интересует Денисова, казался растерянным. Несколько секунд он сидел молча, уткнув подбородок в ладони. Денисова поразила его непоказная тревожная сосредоточенность, устремленные в одну точку впереди себя глаза. Казалось, от этого ответа зависела его жизнь.
Наконец он выдохнул:
— Пока нет.

— Будьте осторожны...— предупредил Денисова и ехавшего вместе с ним младшего инспектора Сабодаш.— Возьмите на всякий случай наручники.
— Обязательно.

Денисов сунул наручники в карман, соединенные цепочкой две металлические скобы глухо лязгнули.

— Если что — сразу давайте знать.

— Все будет в порядке.

Ехали долго, минуя массивы новых застроек. Пересекли сохранившуюся в черте города предназначенную к сносу деревушку, Долговязый показывал дорогу. За огромным незастроенным пространством снова показались дома, трубы.

— В том доме...— Долговязый показал рукой в направлении автобусной остановки.

Остановка называлась невыразительно — «Продмаг». Район был незнакомый. Рядом с остановкой белела палатка, длинная стойка с разбитой пивной кружкой в углу.

Альтист жил в четырнадцатиэтажной башне, на восьмом этаже. Звонить им не пришлось — услышав лифт, он сам вышел на площадку — растерянный, в мешковатых брюках и майке. Увидев Долговязого в сопровождении Денисова и младшего инспектора, он на время потерял дар речи.

— Пройдемте на кухню,— Долговязый первым вошел в квартиру.— Сюда.

Кухня была пустой, неуютной, в ней словно никогда не готовили. Отсутствовал самый намек на провизию. Семья, по-видимому, питалась на стороне.

— Что произошло после того, как вы выскочили из поезда? — спросил Денисов.

Все четверо стояли посреди пустой кухни, Альтист никак не мог опомниться.

— На Москве-Товарной?

— Нам все известно: цель поездки, обстоятельства. Брачная афера...

— Вы имеете в виду Лизу?

— Да. В ваших интересах отвечать искренне. Что произошло?

Альтист, наконец, взял себя в руки.

— Я стоял в тамбуре, когда он выскочил на платформу. Пулей! Даже не оглядывался. Раздумывать было некогда...

— Дальше.

— Я тоже вышел. Пристроился к пассажирам, которые ждали электричку в обратную сторону. Я слышал, как он спрашивал дорогу к вокзалу...

«Все-таки приезжий,— подумал Денисов.— Абсолютно не знал местности...»

— Вы пошли за ним?

— Он унес деньги...— Альтист собрался с духом, посмотрел Денисову в глаза.— Не знаю, говорил ли вам Александр...— не оборачиваясь, он кивнул на Долговязого.— Деньги на игру я взял из сбережений матери. Временно. Она не знает... Он спустился с платформы, направился к вокзалу. Я пошел за ним. У вокзала я надеялся встретить Александра... Я не знал, что вы возьмете его в вашу контору. Извините: в милицию.

— Бухгалтер шел впереди? — продолжал расспрашивать Денисов.— В скольких метрах?

— Примерно в тридцати.

— Спешил?

— Он шел быстро. Несколько раз оглянулся.

— А вы?

— Следом! Что мне оставалось? Футляр я сунул под пальто. По-моему, он меня не узнал.

— Вы под мостом проходили?

«Если Альтист прошел под мостом,— рассудил Денисов,— он должен был пройти и мимо места происшествия. Свернуть там негде...»

— Под мостом тоже.

— Дальше!

— Потом потерял его. Как под землю провалился...— Он удрученно посмотрел на Долговязого.

— Где это произошло? — спросил Денисов.

— Мы шли вдоль забора. Вдруг сзади я заметил электричку, она шла быстро, но совершенно беззвучно. Я перебежал на другую сторону путей.

— А он?

— Электричка оказалась между мной и им. Больше я его не видел. Поезд прошел к вокзалу, остановился. Я выскочил на платформу: впереди никого. И сзади — тоже...

«Так могло быть,— подумал Денисов,— Пименов шел по другую сторону пути, круто свернул и был сбит раньше, чем Музыкант поднялся на платформу. Электрички действительно ходят бесшумно».

— ...Я быстро прошел по платформе, но никого не встретил...

Он не договорил: мальчуган лет четырех вбежал в кухню, на смуглом личике не было и тени сна.

— При нем ни слова...— умоляюще шепнул Альтист.— Спать! — крикнул он сыну.— Сколько можно говорить!

Мальчуган тонко чувствовал обстановку: увернувшись от отца, бросился к Долговязому.

— Шура! Я к тебе... Ты не уйдешь? А что вы делаете?

Долговязый отвернулся, издал носом хлюпающий звук.

— Иди спать,— сказал он спустя минуту.

— Не пойду! — крикнул тот.— Хочешь, я сыграю тебе Опус шесть?

— Завтра... Или через пару лет,— Долговязый вздохнул.— Когда я опять приду.

Денисов спросил у Альтиста:

— Кроме вас, взрослых сейчас нет?

— Только я. Жена на работе.

— А мать? Она живет рядом?

— В больнице. Сердце...

— Вы работаете?

— Не то чтобы постоянно. Устраиваюсь...— Альтист оглянулся на сына.— Теперь уж обязательно устроюсь.

— Об этом позаботятся...— Денисов объяснил, где находится отдел на вокзале.— Приедете завтра. С паспортом. Я выписываю вам повестку.

— Что-нибудь случилось с Бухгалтером?

Денисов спросил в свою очередь:

— Что вы можете сказать о нем?

Альтист пожал плечами:

— У него были деньги. И немалые. Вам известно?

— Почему он выскочил из поезда?

— Не знаю. Дело, по-моему, не в восьмистах рублях, которые он выиграл.

— Что-нибудь заподозрил? — Денисов знал, что так оно и было, но ему хотелось услышать ответ Альтиста.

— Вряд ли. Мы вели игру достаточно тонко...

— В чем же дело?

— Понятия не имею.

— Может, в том человеке — с полотенцем? — вступил в разговор Долговязый.— Он себя странно вел.

— Мордастом? — Альтист покачал головой.— Он не имеет отношения.

— Вы видели его у «Союзпечати»? — спросил Денисов.

— Да. Там пассажиру стало плохо. Он помогал до прибытия «скорой». Кандидат наук... Или доктор. Тот, из «скорой помощи» у него учился...

— А Немец? Вы его видели раньше?

Альтисту, наконец, удалось подхватить сына на руки.

— Не видел. Вчера, между прочим, он тоже приезжал в Аэропорт.

— Он рассказал об этом?

— Дежурная на выдаче багажа узнала его, поздоровалась: «Сегодня опять провожаете?»

— «Провожаете»? А как вел себя Немец по отношению к Пименову?

— У Немца была странная власть над ним. Я слышал, как он сказал: «Делай, что говорят!..» И еще: «В твоем положении не выбирают...»

«Любопытно...» — подумал Денисов.

Долговязый воспользовался паузой:

— Могу я передать несколько слов Лизе? — Он обернулся к Альтисту.— Позвони, пусть принесет сигареты и теплые носки.— Александр Ефимович был в своем амплуа.— Май, а холодно! И еще носовых платков...

— Извините, что задержал,— Денисов поднялся из-за стола.— Вы свободны. Закон разрешает нам три часа для разбирательства. Это необходимо, если кто-то настаивает на том, что он дон Мигель Сервантес де Сааведра.

Доставленный поправил полотенце на шее.

— Какая разница, если речь идет о квитанции за безбилетный проезд? Надеюсь, в истории большой литературы этот факт пройдет незамеченным. Михаил Семенович Савельев или дон Мигель Сервантес де Сааведра... В институте я был известен под обоими этими именами.

— Вы заканчивали первый медицинский?

— Было.

— И работаете в их базовой клинике. У профессора...

— Вы звонили туда?

— Пришлось звонить профессору домой. Вы ведущий хирург, ведете весьма интересную работу.

— Это он сказал?

— Да.

— Считается, что мы принадлежим к разным школам.

— Еще раз извините.

— Я не в обиде. Увидел много поучительного. Мне всегда казалось, что аферистов пора заносить в Красную книгу...

— Так пока еще вопрос не стоит.

— Что им будет? — спросил Савельев.

— Каждому — свое. Во всяком случае, продолжать

прежнюю деятельность им не позволят... Вы в метро? — Денисов шел на вокзал, обоим было по пути.

— Да. Обидно: каждый в жизни должен найти работу по душе.

— Кем показался вам Бухгалтер? — спросил Денисов.— Какого вы мнения о нем?

Хирург задумался.

— У него какие-то трудности? Мне он показался до смерти запуганным. Лицо постозное, отеки... Все время тер ладони.

Денисов перевел разговор.

— Что у вас с горлом? — он показал на полотенце.

— В лесу был. Да вот подхватил ангину. Теперь, кажется, уже лучше.

Денисов улыбнулся:

— Набор домашних средств лечения известен...

— Даже слишком.

— Приедете домой, согреетесь...— На этом можно было ставить точку.

— Пожалуй. Хотя...— Медик как-то болезненно покривил рот.— Не хочется. И, честно говоря, не с кем теперь...— Он погладил короткий серебристый ежик на голове.

Денисов внимательно взглянул на него.

— Помните, у Евгения Винокурова? — Савельев помолчал.— «Ушла?» И я сказал: «Ушла»...»

Времени для разговора не осталось. У метро хирург, прощаясь, подал руку:

— Порою очень важно, чтобы было кому сказать: «Горло болит», «Книжку потерял...» Или даже такой пустяк: «А я сегодня весь день провел в лесу»... Согласны?

Денисов пожалел о том, что должен спешить.

— Удачи,— пожелал он.

— Вам тоже. До свиданья.

Денисов повернул к платформам. Вокзал затихал. Поток пассажиров напоминал теперь прерывающийся ручеек, устремившийся к одной-единственной — последней — электричке. Все остальные пути были заняты поездами, остававшимися ночевать у платформ — холодными, неосвещенными.

Милиционера, который вместе с младшим инспектором доставлял Долговязого, Немца и Медика из электропоезда в милицию, Денисов нашел на посадке в поезда дальнего следования. Он стоял недалеко от локомотива, рядом с дежурной по посадке.

— На Москве-Товарной садился я в предпоследний вагон, чтобы не дать им уйти по составу,— рассказал милиционер.— Сел осторожно. Как велел дежурный...— Это был молодой парень, пограничник — из недавно принятых.— Из последнего вагона видеть меня не могли...

В общем-то, можно было не сомневаться в том, что он сделал все, как следовало.

— Один из тех, кто был нужен, выскочил из вагона на Москве-Товарной...

— Не вспомните ли, много людей садилось в последний вагон? — спросил Денисов.— Может, был какой-нибудь милиционер? Ехал по случаю...

— Помню. Посадки в последний вагон совсем не было, товарищ старший лейтенант.

Денисов повернул к отделу. Навстречу, со стороны трамвайной остановки, бежали к электричке опоздавшие. Милиционер полностью подтвердил его вывод: «Бухгалтер выскочил из вагона не потому, что увидел садившегося в поезд милиционера...»

— «Двести первый»!..— вызвал его по рации Антон.— Скоро будете на базе?

— Иду к вам.

— Понял. Есть дело.

«Образ действий Бухгалтера в электричке был жестко определен условиями, в которых он по какой-то причине находился с момента прилета в Москву... Увидев направлявшегося в вагон вместе с ревизорами сержанта, он выбросил в Домодедове паспорт и ленту от госбанковской денежной упаковки, платок...— Денисов пошел медленнее: разгадка случившегося была совсем близко.— Платок? — Но мысль внезапно увела в сторону: — Немец!.. Странные взаимоотношения Бухгалтера с Немцем, которые не остались незамеченными и Альтистом и Хирургом. Что за опасность грозила Бухгалтеру?»

Он вернулся в отдел. В дежурной части было непривычно тихо, Антон готовил все к утренней сдаче смены. Материал о несчастном случае с Пименовым был оформлен и лежал на видном месте, рядом с протоколами на Немца и Долговязого. Здесь же находились подобранные у поезда в Домодедове паспорт и носовой платок.

— Снова звонили из сорок пятого...— сказал Антон.— Насчет Долговязого. Можно отдавать?

— Нам он больше не нужен.

— А как насчет передачи? — Антон осторожно отогнул штору на окошке, выходившем в соседнюю комна-

ту — для заявителей. Сбоку, у самого окна, сидела уже знакомая Денисову официантка.— Теплые носки, немного фруктов...

— Мне кажется, можно принять.

Денисов хотел идти.

— И еще...— Антон беспокоился теперь по другому поводу.— С утра инспекторские стрельбы. Я совсем упустил из виду. А мы после ночи...— Гиревик, косая сажень в плечах, державший тяжелый пистолет как пластмассовую игрушку, Антон на стрельбах, как правило, рвал спусковой крючок — пули летели в сторону.— Не знаю, что делать...

— А вы напевайте...— выглянул из телетайпной помощник.— Чтоб не ждать выстрела, товарищ капитан. Помогает...

Денисов снял с доски ключ от кабинета, он не мог еще всерьез думать о предстоящих стрельбах.

— Насчет Пименова больше не звонили?

— Нет. Заказать Новосибирск?

— Сам позвоню.

— Что-нибудь новое? — спросил Антон.

— Кажется, да. Потом скажу.

Он поднялся по лестнице, полуосвещенным коридором прошел к себе. Было слышно, как на путях, внизу, гулкими от непривычной наступившей тишины голосами перекликались уборщики. Он подошел к окну. Мелькнули и скрылись в воротах сигнальные огни очередной машины отделения перевозки почты. Электронное табло в начале платформы перед тем, как заснуть до утра, негромко застучало и затихло, обозначив время отправления следующей электрички — «04.00».

«Банковская упаковка, паспорт, платок...— Денисов принял решение.— И еще Немец...»

Не зажигая в кабинете свет, он на ощупь набрал номер телефона. В Новосибирске трубку снял все тот же дежурный инспектор.

— Опять вы? — спросил он. Денисов успел ему основательно надоесть.

— Я снова насчет хозяина квартиры...

— Пока не вернулся. Соседи бы мне позвонили.

— А вдруг? Сколько сейчас времени в Новосибирске?

— Четыре часа разница! Считайте...

— Ночь. А его нет.

— Где он может сейчас быть? У нас с вами одна до

рога, а у них сто... И в Москве так, правда? Когда ищешь...

Денисов позавидовал его спокойной уверенности.

— Я утром съезжу,— пообещал инспектор.— Съезжу и обо всем расспрошу. Утром он обязательно явится.

— Считаете? — усомнился Денисов.

— Что вы можете предложить?

Денисов уже решил.

— Пименов такой же бухгалтер Запсибзолота, как мы с вами...

— Допустим.

— Он жил на квартире у диковатого одинокого человека, у которого водились деньги и который... Скажем так: исчез. Последние двадцать четыре часа Пименов вел себя загадочным образом. Хозяин квартиры днем проводил его в Москву, а Пименов появился в Москве через сутки. С крупной суммой денег. При этом он поспешил отделаться от паспорта, по которому летал. И от носового платка...

— То есть вы подозреваете преступление? — не выдержал инспектор.

— Надо срочно пригласить понятых, взломать дверь... Платок Пименова мы утром направим на судебно-биологическую экспертизу на предмет установления следов крови. И еще: проверьте, что у вас есть на человека по фамилии Немец.

Уезжать домой из-за нескольких часов не было смысла: утром — инспекторские тренировочные стрельбы. Денисов убрал бумаги в сейф, полил кактусы на подоконнике.

«Главное,— думал он,— представить себе логическую цепочку...»

Было ясно: Пименов выскочил из электропоезда, как только понял, что в Москве, у вагона, их будет встречать милиция, потому что встреча с милицией не входила в его планы из-за того, что произошло накануне ночью в Новосибирске.

«...Во время последней остановки поезда Пименов уже знал точно: встретят! В то же время можно было не сомневаться в том, что он не видел милиционера, подсевшего в электричку на Москве-Товарной».

В своих рассуждениях Денисов уже несколько раз мысленно доходил до этого рубежа.

Внизу, на первом этаже, громко, по-ночному хлопнула

дверь, раздались голоса. Двое прошли в бытовку. Наступал получасовой перерыв.

«...Отгадку следует все-таки искать в информации, которую Пименов получил в пути следования...— Это значило — начинать все сначала.— Милиционер, сопровождавший электропоезд, сошел еще в Домодедове. В вагоне появился я, ревизоры обратились ко мне как сотруднику милиции. Пименов и другие это слышали... Чтобы не вспугнуть Долговязого, в Бирюлеве-Товарной я тоже вышел из поезда...»

Внизу все стихло.

Денисов сидел молча. Никто не звонил, не поднимался по лестнице, не спешил к нему, чтобы облегчить его положение.

«...Пошел к кассе. Меня могли видеть из вагона.— Денисов представил отходящую электричку, окошко кассы, хлынувшую к переходному тоннелю толпу.— Пожалуй, это! Бухгалтер видел, как я подошел к кассе. Уголовнику не надо объяснять, что инспектор розыска идет в кассу не за билетами... Звонить! Но о чем? Может, о том, что я выполнил задание и еду домой?! Что-то произошло на Москве-Товарной, и это открыло Пименову глаза...»

Денисов вышел в коридор, прошел вдоль запертых дверей кабинетов. Свет в коридоре из экономии был выключен. Светильник на перроне бросал отблеск на лестничную площадку, ящик с пожарным инвентарем.

«Что могло произойти на стоянке? Перед стоянкой? — Денисов попытался воссоздать всю картину.— Долговязый сдал карты на последнюю игру. Он сдал Пименову тридцать очков — великолепный шанс почти без риска швырнуть на кон все пять тысяч. Самому Долговязому досталось тридцать одно очко, но... Опытный актер, он не выдал себя, только недовольно поморщился, когда Альтист, получивший мизер, смешал карты. Тогда, вероятно, Долговязый пропустил момент, когда Немец показал Пименову свой актив — двадцать девять очков...»

Все вдруг стало на свое место.

«...Пименов догадался, что играет против шулеров! Тридцать и двадцать девять очков вместе! Теоретически почти невероятная раскладка. Шулера в электричке...— Денисов остановился у окна, заглянул вниз — там было безлюдно. Он вернулся в кабинет, поудобнее устроился за столом.— Шулеров милиция, как правило, знает по фотографиям... До Пименова сразу дошел смысл моего телефонного звонка из кассы. Времени на раздумье не оста-

валось. Он понял — на следующей остановке всю группу будут брать. И выбежал из поезда...»

Борясь со сном, Денисов представил еще, как Пименов бежал по путям среди фиолетовых и красных сигнальных огоньков, не разбирая дороги, спотыкаясь о стрелочные переводы, а потом вдруг круто повернул с тропинки к платформе у самой головы идущего локомотива.

Одно до сих пор оставалось непонятным: Немец...

Личность человека, простодушно нахваливавшего дальневосточный папоротник и поминутно отиравшего пот с лысины, казалась Денисову зловещей и неразгаданной им до конца.

«Немец знал о пяти тысячах не потому, что Пименов показал ему их в аэропорту,— Денисов был убежден в этом.— Человек, совершивший преступление, не мог с легкостью довериться первому встречному. Немец по какой-то причине знал о том, что произошло с Пименовым в Новосибирске... Поэтому держал Бухгалтера в своих руках. И, кроме того, хотел вытянуть часть его денег с помощью Долговязого и Альтиста...— Денисов вдруг почувствовал, что засыпает, мысль осталась незавершенной.— Воспользовавшись случаем, Пименов бежал не только от милиции, но и от Немца...»

Спал Денисов тяжело, рывками, часто просыпался и снова проваливался в пустоту. Ему снились предстоящие стрельбы: огромный тир, далеко отстоящие друг от друга высоченные деревянные кулисы, черные мишени в глубине сцены. Голосом помощника Сабодаша кто-то крикнул: «А вы напевайте, товарищ капитан,— успокаивает!» Неожиданно раздались звуки музыки. Словно зажурчал неглубокий лесной ручей, пронизанный теплыми неторопливыми лучами. На дне ручья желтел песок. Отбрасывая косые тени, стремительно скользили по поверхности плавунцы.

«Опус шесть»,— подумал Денисов.

Телефонный звонок резко вернул к действительности.

— Разбудил? — участливо спросил новосибирский инспектор.— А у нас уже день...

По тону Денисов сразу заподозрил худшее:

— Что там, в квартире? Труп?!

— Мог быть. Если б человек еще немного оставался без помощи. Два тяжелых ранения в грудь, одно в голову. Но, кажется, все обойдется... Сейчас на операции.

— А что врачи? — крикнул Денисов. Ему вдруг показалось, что его не услышат.— Что говорят врачи? Как все произошло?

Голос инспектора из Новосибирска раздался совсем близко:

— Врачи говорят: «Будет жить»... Пименов узнал, что хозяин квартиры снял деньги со счета, и днем вылетел в Москву, чтобы обеспечить себе алиби. Ночью он действительно вернулся, когда считал, что никто его не увидит. А утром улетел. Ночью все и произошло...

— Как Пименов попал на эту квартиру? — спросил еще Денисов.— Что-нибудь уже известно?

— Хозяин квартиры всегда этого боялся... Был весьма щепетилен в выборе квартирантов...

Инспектор неожиданно прервал разговор, чтобы что-то кому-то объяснить там, на другом конце провода. И тут Денисов внезапно поймал себя на том, что мучительно пытается вспомнить лицо Немца во время их последнего разговора и не может — а видит только уткнувшийся в ладони подбородок, устремленные перед собой в одну точку на стене глаза.

«Он колебался...— понял Денисов.— Взвешивал: стоит ли решиться на явку с повинной».

Инспектор извинился, снова заговорил в трубку:

— Мы интересовались. На эту квартиру Пименова рекомендовал некто Немец. Объявляем его розыск...

ЕВГЕНИЙ МАРЫСАЕВ

МАРШРУТ № 14

I

Павел сверился по карте аэрофотосъемки. Дальше маршрут лежал через хребет.

Подняв голенища бахил, они, балансируя руками, перешли по скользким замшелым камням быструю и обмелевшую в это время года реку. Распаренные ступни мгновенно захолодели сквозь толстый слой резины — река питалась ледниками, разбросанными в каменных цирках высоко в горах.

Маршрутный рабочий геолога, Лева, низкорослый и очень широкоплечий, похожий на пень малый, остановился у подножия хребта и, как всегда перед подъемом, обреченно выругался. По равнинным маршрутам Лева, грузно ступая и не сгибаясь под тяжестью рюкзака с образцами, без видимого напряжения, словно трактор, мог пройти несколько часов кряду, подъемы же давались ему с трудом: как он выражался, «дыхалка заклинивала».

А Павел любил карабкаться на горы. Видеть, как внизу все шире раздавалась долина, буйно заросшая лиственницами и березами, как все у́же становилась река в белых бурунах, доставляло ему несказанное наслаждение. В его движениях, быстрой ориентировке на трудной тропе, профессиональной привычке опираться при подъеме на три точки — две руки и нога или две ноги и рука — чувствовался хорошо тренированный спортсмен-альпинист. Об этом говорила и вся его ладная росло-сухощавая фигура в геологическом диагоналевом костюме и болотных сапогах, стиснутая в поясе широким офицерским ремнем; с правого боку — кожаный планшет, пистолет в кобуре, слева пристегнуты геологический компас и кинжал в чехле. В руке он держал геологический молоток с длинной ручкой.

Через каждые двадцать — тридцать метров Павел останавливался и начинал постукивать молотком, откалывая образцы пород. За это время Лева успевал нагнать геолога. С него лило в три ручья, а дышал он шумно, как паровоз. Маленькие медвежьи глазки были красны от напряжения, густая и широкая, как лопата, борода, не

растущая лишь на внушительном, картошкой, носу, лоснилась от пота.

— Что, Лев, тяжко? — усмехнувшись, спросил Павел и передал рабочему образцы пород.

— В гробу я видел...— сипло ответил тот, но так и не досказал, что́ именно он видел в гробу.

«Тяжелый человек! — в который раз подумал Павел.— Впрочем, черт с ним. Мне-то какое дело?»

Ежегодно работая с поисково-съемочной партией на Крайнем Севере, Павел вдосталь насмотрелся на разных людей. Это в городе человека не раскусишь сразу; полевые условия Севера, подобно рентгеновскому аппарату, просвечивают его мгновенно, насквозь. Как правило, рабочими в партию прилетали люди двух категорий: или безусые мальчики, отчаянные романтики — их Павел любил и отчего-то даже завидовал им,— или мрачные, озлобленные субъекты, ищущие временного укрытия в экспедициях от алкоголизма, семейных неурядиц, а порою и от кар Уголовного кодекса. Лева, разумеется, относился ко второй категории.

На вид ему за сорок, на самом деле чуть больше тридцати. Что-то страшноватое, матерое виделось в кряжистой фигуре, бычьей шее Левы, в его толстых, как тумбы, очень коротких ногах, несоизмеримых с длинным туловищем. Порою в маршруте Павлу становилось не по себе: а не трахнет ли его сзади Лева по голове, не столкнет ли в пропасть? Такому беспокойству были определенные причины: нрав у малого, под стать внешности,— зверский. Однажды, например, в центральном лагере сезонник, шутник-балагур, начал подтрунивать над Левой. Ни слова не говоря, тот тяжело подошел к шутнику и так ударил его ребром ладони по шее, что бедняга взвыл. Турчин, начальник партии, влепил Леве «строгача» за рукоприкладство, заставил извиниться перед шутником, на том дело и кончилось. Павел понимал: злых от природы людей не существует, что-то сделало Леву таким. Об этом «что-то» ему иногда хотелось спросить сезонника, но всякий раз скучно думалось: «Зачем? Какое мне дело до переживаний этого мохнатого неумытого типа?»

...На вершине хребта кое-где островками лежал снег, в голых скалах филином ухал, разбойничал ледяной ветер, но здесь не донимал, как в долине, бич Севера — мошка.

Лева записал в радиометрическом журнале показания радиометра — прибора, висевшего у него на груди

(он показывает интенсивность радиации), наклеил на образцы пород кусочки пластыря с условным буквенным обозначением, сложил их в свой вместительный рюкзак и, укрывшись от ветра в небольшом гроте, закурил самокрутку. Павел, подняв капюшон геологической гимнастерки, записал общую характеристику пород, срисовал заинтересовавший его коренник, что мощной грудью выпирал из недр, с тем, чтобы исследовать его в следующем маршруте. Затем сунул объемистую записную книжку геолога в планшет и хотел уже было окликнуть Леву, чтобы идти дальше. Но передумал. Засмотрелся. Разве можно все это не любить?.. Верно, этой неиссякающей с годами любовью к лесам, озерам, рекам, горам он обязан был выбору своей профессии. Замер, околдованный, когда в далеком детстве родители вывезли его из душной Москвы за город, в лес. Таким зачарованным пестрой, разноцветной землею и остался на долгие годы. «Все в мире относительно, кроме вот этого. Это вечно, свято...» — глядя вниз, в долину, несколько возвышенно думал Павел, хотя его немало покоробило бы, если бы кто-то вдруг взял да сказал эти его мысли вслух — возвышенных слов он терпеть не мог.

Долина купалась в тугом дымно-лиловом мареве, рожденном распаренными жарою топкими мхами, нагретой водою и холодным ветром с гор. Река блестела, как чешуя гигантской рыбины. Спокойные воды озер горели мягче, нежнее. С порывами ветра дымно-лиловое марево приходило в движение, и казалось, что по зеленой тайге с белыми прожилками берез пробегала рябь. В горах каждый звук отчетлив, как на воде. Вот панически закричала сойка, очевидно, ее настиг ястреб-стервятник; вот всплеснулась крупная щука в одном из бесчисленных озер; вот затрещали сучья, и на каменистую косу реки, к водопою, неторопливо, хозяином, вышел медведь. С хребта он казался Павлу размером с мышку. На высоте воздух был родниковой чистоты, и отсюда хорошо различались дальние цепи гор, зубчатые хребты, одинокие скалы. От игры света с воздухом и горы, и хребты, и скалы светились таким неправдоподобным, колдовским свечением, что казалось — напиши художник все это, не поверят люди, недоуменно пожмут плечами: бред, мол, плод безудержной фантазии. Вон там оранжевая гора, яркая, как апельсин, а там нежно-сиреневая; за ними, словно невесомая, повисшая в воздухе, цвета камня амазонита. Шальное солнце, как бы наверстывая упущенное за дол-

гую зимнюю спячку, и день и ночь буйствовало в небе уже третий месяц кряду. Небо заневестилось — в алых, голубых, зеленых лентах...

— Пошли, что ль? Холодина собачья, и жрать охота.

Павел оглянулся. Перед ним стоял Лева в своей почерневшей, не стиранной с начала сезона брезентовой штормовке; из-за плеча торчал ствол «тулки». Глаза геолога невольно остановились на руках Левы. Пальцы, как обычно, были сжаты в кулаки; он всегда так ходил, будто ежеминутно ожидал внезапного нападения. Каждый кулак был размером с голову младенца, а цвет кожи на них ничем не отличался от цвета бахил. Лева не умывался даже по утрам. Недаром рабочие за глаза прозвали его Серой Шейкой и отказывались жить с ним в одной палатке. Лева разбил себе маршрутку (одноместная палатка) на отшибе центрального лагеря. На люди он появлялся только тогда, когда звонила рында, подвешенная на суку лиственницы возле палатки-столовой.

«Повезло мне в этот сезон с рабочим, повезло»,— тоскливо подумал Павел, все еще не отрываясь от чудовищных кулаков Левы, упруго поднялся и предложил:

— Давай рюкзак понесу.

Лева промолчал, будто не слышал этих слов. Главная обязанность маршрутного рабочего — таскать тяжелый рюкзак с образцами.

Что-что, а ее Лева выполнял исправно.

Они начали спускаться с хребта. Павел прыгал с камня на камень с проворством горного барана; Лева ступал по-медвежьи грузно и неуклюже.

Голые камни вершин остались позади. Базарно закричали кедровки, птицы, похожие на маленьких ворон. Они вошли в обширную рощу стланика-кедрача. Неприхотливое деревце это, стелющееся по земле, первым ласкает глаз идущего с голой вершины геолога.

Возле родника, бьющего из недр говорливым ручейком, Павел и Лева, не сговариваясь, остановились. Лучшего места для привала не найти. Обычно, пока Лева готовил обед (это тоже обязанность рабочего), Павел неподалеку обследовал коренники. Сейчас же он решил привести в порядок записи в книжке геолога и остался на привале.

Между тем Лева развел костерок, наполнил водою тонкую жестяную банку из-под яичного порошка, служившую чайником, и подвесил ее на проволоке над костром. Затем извлек из рюкзака пробный мешочек с про-

дуктами. Павел посмотрел на него как раз в тот момент, когда он разрывал холодную вареную утку, убитую вчера на маршруте.

— Послушай, Лев,— строго сказал Павел, глядя на черные руки сезонника.— Сначала не мешало бы руки вымыть.

Лева разломил наполовину буханку серого хлеба, потом стал заваривать чай.

— Тебе говорят. Оглох?

— Шел бы ты...— лениво ответил Лева.

«Скотина, скотина!..»

— Я есть не буду! — запальчиво, как-то по-мальчишески крикнул Павел.

— Дело хозяйское. Не жри.

Сам Лева с аппетитом закусил, и они, спустившись в долину, пошли обратным маршрутом к центральному лагерю.

Несмотря на десятый час вечера, солнце стояло высоко в небе. Белые ночи уже не удивляли, а раздражали; хотелось зорь, темноты.

Дорогу то и дело преграждали то беспорядочные нагромождения камней, то завалы бурелома, то «дышащая» топь. Донимала мошка. Из-под ног взлетали глухари, утки, панически хлопая крыльями. Павел забыл об охоте, хотя по неписанному закону каждый для общего котла должен принести из маршрута какую-нибудь дичь.

«Люби человечество после таких вот...» — тоскливо думал Павел, прислушиваясь к тяжелым шагам Левы, который шел позади.

В экспедиции к Павлу Князеву относились доброжелательно. Считали его работящим малым и хорошим товарищем — качества, отнюдь не лишние в полевых условиях Севера. Геологини находили Павла красивым; в сочетании с черной, аккуратно подстриженной бородкой и черными, крупно вьющимися кольцами волос на голове особенно хороши были по-девичьи продолговатые синие глаза. И еще геологини говорили, что нельзя современному парню быть таким стеснительным. Действительно, врожденная стеснительность, граничащая со стыдливостью, очень мешала ему. Вечерами у костра все веселятся, поют песни, подтрунивают друг над другом. Павел же садился всегда в тени, упорно молчал и отчего-то смущался. Взять гитару и спеть песню, как другие, он не мог, хотя умел играть и обладал неплохим голосом и слухом. Его тянуло к товарищам, песням, веселью. Но вот насту-

пал странный момент, когда обилие народа начинало раздражать, шутки друзей казались неостроумными; он знал, что́ именно в следующую минуту должен сказать тот или иной его товарищ, и ему вдруг становилось невыразимо скучно. Незаметно Павел уходил; лежа на нарах в своей палатке, покручивая транзистор, думал, анализировал. Отчего всем весело, а ему скучно? Эта проклятая стеснительность? А вдруг то, что все и сам он принимают за стеснительность, есть на самом деле что-то другое? Например, нелюдимость? Это все чаще приходило ему в голову. Но тогда почему он, Павел Князев, в общем-то мало чем отличный от своих товарищей, нелюдим? «Взрослею, верно,— так думал геолог.— Двадцать шесть стукнуло. Юность ушла, ушла». Разве можно, рассуждал Павел, сравнить его, теперешнего, с тем наивным мальчиком, который когда-то впервые прилетел на свою первую студенческую практику? Детская мечта совершать великие открытия разлетелась в пух и прах: время кустарей-одиночек, оказывается, давно кануло в Лету. Вместо золотых самородков и кимберлитовых трубок — бесчисленные хозяйственные заботы и план, план, план... Завтра маршрут номер девять — одиннадцать километров строго на северо-запад. Послезавтра маршрут номер десять — двенадцать километров на северо-восток. Общая геологическая съемка земли. Образец на геохимию. Образец для шлифа. На спектрозолотометрический анализ. И бесконечные отчеты, отчеты... Павел понимал, что действовать на авось, вести поисковые работы без общей геологической съемки земли, отчетов, геофизики, аэрофотосъемки так же нелепо в наше время, как пахать землю деревянной сохою, ведь поиск в геологии — кропотливая, подчас скучная работа людей многих специальностей. Но расстаться с юношеской мечтою самому найти богатые месторождения золота, алмазов было трудно. А расстаться пришлось.

И с начальством не повезло. Да, Турчин, начальник партии,— знающий, опытный геолог, кандидат наук, его ценят в министерстве. Но он как бы подавляет подчиненных своими знаниями, опытом. «Делай так, как я сказал»,— его любимая фраза. Всегда уверенный в своей правоте, он не умеет и не желает выслушивать других; Павел чувствовал себя простым исполнителем, не больше. Недаром толковые геологи, например, Саша Белов, Юра Преображенский, ушли от Турчина в другие партии.

...Позади громыхнул выстрел. Павел оглянулся. Стрелял Лева. Громадная северная сова сложила в полете крылья и пушистым комом снега рухнула на землю.

— Мерзавец...— прошептал Павел, раздраженный бессмысленным убийством.

Лева склонился над добычей, ударом кинжала отрубил большую голову и сунул ее в карман рюкзака; туловище осталось лежать на земле. Ни слова не говоря, он пошел дальше.

Вскоре на излучине реки показался центральный лагерь — десятка два добела выгоревших жилых палаток, круглая, в форме шатра, палатка-столовая и палатка-камералка, где геологи иногда работали после маршрутов. Не прощаясь с Павлом, даже не взглянув на него, Лева свернул к своей маршрутке, разбитой на отшибе.

...Утром, спускаясь к реке с мохнатым полотенцем через плечо, Павел посмотрел на Левину палатку и невольно вздрогнул: большеглазая голова совы была насажена на передний кол маршрутки.

«К черту! — твердо решил геолог.— Попрошу Турчина дать мне нового рабочего».

II

Павел жил в одной палатке со Станиславом Никольским; несколько лет назад они вместе закончили геологический факультет МГУ, и их распределили в одну экспедицию.

Станислав был довольно рослым узкоплечим парнем, с красивой гривой светлых волос, русобородый; на хрящеватом носу — «интеллигентные» очки в тонкой золоченой оправе, за стеклами поблескивали темные глаза. Девушки говорили о нем так: парень он видный, но только больно уж «выпендривается», считали его гордецом. Действительно, на людях Станислав держался независимо, с большим достоинством, но, зная Станислава лучше других, Павел вовсе не считал его гордецом, а причислял к натурам необщительным, склонным к уединению. Впрочем, несмотря на то, что Павел познакомился со Станиславом еще на первом курсе, он до сих пор никак не мог определить точного и ясного отношения к нему. Что-то ускользающее от обычного аршина, которым Павел привык мерить людей, было во взгляде темных глаз, в его характере. В партии считали их друзьями и ошибались; дружба предполагает полную или почти полную откро-

венность, заботу, даже некоторую нежность во взаимоотношениях. Этого не было. Они были простыми знакомыми.

Вечерами, после маршрутов, когда свет белой ночи мешал уснуть, они, лежа на нарах, вели длинные разговоры. Говорили о разном. Рассуждения Станислава часто не нравились Павлу, но, как человек от природы очень мягкий, он не возражал с пеной у рта, а неопределенно тянул: «Не знаю... Все может быть...» Говорил в основном Станислав.

Вот и сегодня, вернувшись из маршрута, они лежали на нарах и разговаривали. Павел слушал приятеля очень внимательно: подобные беседы он считал неплохой тренировкой для ума.

— ...За последние шестьдесят — семьдесят лет наука и техника сделали головокружительный бросок вперед, подобно волшебному джину, который тысячелетия был закупорен в бутылке и вдруг вырвался наружу,— говорил Станислав, пощипывая свою шотландскую бородку и закидывая ногу за ногу.— Электронно-вычислительные машины за несколько минут справляются с работой, равной месячному труду штата экономистов и плановиков. Граммы вещества способны двигать огромный ледокол. Обжит космос, американцы даже на Луне сапогами натоптали. Да... А человек в своем нравственном развитии за тысячелетия цивилизации ушел очень недалеко от своего волосатого прародителя. Для примера возьми хотя бы своего Леву. Чем не неандерталец? Порою мне кажется, что развитие науки и техники обратно пропорционально нравственности, прогресс превращает человека в самого страшного из зверей — цивилизованного зверя. Когда-то убивали каменными топорами и стрелами; теперь их заменили атомные бомбы и напалм. Один маньяк правит государством и методично уничтожает свою и другие нации. Еще один отдает приказ в мгновенье ока стереть с лица земли город с многотысячным населением. И все молчат, а если раздаются разумные голоса, то они тонут в этом страшном молчании.

— Да... возможно,— соглашался Павел, хотя мрачные выводы приятеля вызывали в нем протест.

Незаметно Станислав переменил тему разговора:

— Кто-то сказал: «Я люблю человечество в целом, но терпеть не могу каждого человека в отдельности». Умная, хотя и беспросветно-мрачная ирония. С возрастом, опытом, знаешь, что часто приходит в голову? Все деяния че-

ловека, добрые, злые ли, направлены к одному: извлечь выгоду для себя. На остальных ему плевать с высокой колокольни. Недавно был свидетелем любопытной сцены. Турчин уговаривает рабочего не увольняться, тот както образом вынюхал, что в Магаданской экспедиции рабочим на полсотни больше платят. Турчин бьет на сознательность, долг. Сезонник осведомляется о зарплате Турчина. Оказывается: в три раза больше рабочего. Затем следует диалог: «Машину, дачу имеешь?» «Ну, имею». «А у меня нет ни того, ни другого. А поэтому, начальник, кончай треп разводить». И наш Турчин замолчал.

— Обожди, обожди...— перебил Павел.— Возьми меня. Да честное же слово, я не ищу никакой выгоды для себя. Я просто люблю свою профессию, и мне вполне хватит крыши над головой, койки и трехразового питания.

— Представь, я тоже люблю свою профессию,— усмехнулся в ответ Станислав.— Одно другого не исключает. Но держу пари! Где-то внутри тебя сидит этакий жадный и завистливый человечек, который день и ночь твердит тебе одно и то же: я хочу быть старшим геологом! Я хочу быть начальником партии! Я хочу быть начальником экспедиции! Я хочу иметь большую зарплату, чтобы купить все, что можно купить!

— Нет, нет...

— Да, милый, да. Се ля ви. Разница лишь в том, что один пробивает себе дорогу локтями и кулаками, другой действует завуалированнее, тоньше.

После таких слов приятеля Павлу хотелось нагрубить ему, назвать Станислава своим именем — махровым циником в образе интеллигента, но что-то удерживало его от этого. Что именно? Простое нежелание портить приятельские отношения или нечто другое, посерьезнее? Над таким вопросом Павел не задумывался.

— За все грехи наши тяжкие,— продолжал между тем Станислав,— какая-то неведомая сила наказала людей самой страшной из кар — одиночеством. Чудовищно одинокими были такие исполины, как Толстой, Чехов. Неодинококи в этом мире лишь идиоты. Мы бежим от одиночества, собираясь в компании, встречаясь с женщинами, но все это помогает, подобно морфию, только на время. Возможно, есть счастливцы, избежавшие нести сей тяжкий крест, например, влюбленные, но ведь настоящая любовь — величайшая редкость...

«Да, да, в этом он прав, он неглуп, очень неглуп»,— мысленно соглашался Павел, потому что одиноким чув-

ствовал себя с юности. Лишь однажды, на время, когда он встретил Лилю, это давящее чувство улеглось. Но потом она ушла, и все началось сначала. Павлу казалось, что одиночество с годами пройдет, как проходит недуг, должна выработаться привычка, наконец, к одиночеству, но шли годы, оно не проходило, а привыкнуть к этому давящему чувству было невозможно.

— Кстати, о женщинах...— начал было Станислав.

Павел рывком поднялся с нар.

— Извини. Пройдусь немного, голова что-то разболелась,— соврал он. О женщинах Станислав говорил нехорошо, с липкой пошлинкой. Этого Павел не выносил.

Было около полуночи. Солнце наполовину скрылось за зубчатым хребтом. Оно как бы присело отдохнуть, чтобы через считанные минуты начать свое извечное движение. Все в долине было винно-красным, как бы раскаленным: гранит скал, стволы лиственниц и берез, река, лениво передвигавшиеся клубы туманов на берегах. Над ущельем медленно проплыли два лебедя. Белые птицы сейчас казались розовыми.

Несмотря на поздний час, геологи и рабочие не расходились по палаткам. Они сидели вокруг костра, у реки; оттуда доносились смех, звучные аккорды гитары.

«Нет, они не чувствуют себя одинокими, они веселы и не притворяются, что им весело,— подумал Павел, и его неудержимо потянуло к товарищам, прочь от палатки, где находился Станислав.— Но что мне, мне мешает быть таким, как они?..»

III

Утром Павел сидел у Турчина. Он пришел просить начальника дать ему взамен Левы другого рабочего.

В палатке-камералке, где принимал Турчин, кроме Павла находились Люба, только этой весною окончившая МГРИ (Московский геологоразведочный институт), хрупкая большеглазая девушка, неуклюжая, плоскогрудая, похожая на подростка, и юный техник Коля Толкунов, только прилетевший в партию на свою первую в жизни работу. Турчин проводил с Колей инструктаж по технике безопасности.

Павел присел на грубо сколоченной лавке рядом с ожидавшей своей очереди Любой, шепнул ей:

— Что, вызывал?

— Нагоняй, наверное, будет...— тихо ответила Люба; губы ее подрагивали.

Павел знал, что тоненькой этой девушке, никогда не занимавшейся спортом, очень трудно даются маршруты, особенно через горы и хребты. Вечерами он видел Любу заплаканной и от души жалел ее. Такое случается с новичками. В нелегкую работу геолога они втягиваются, как правило, постепенно, лишь в конце сезона.

Рыжебородый (в полевых условиях Крайнего Севера считалось дурным тоном ходить бритым), рыжеволосый Турчин, весь заляпанный четкими и крупными веснушками, смахивал на Соловья-разбойника: плечи штангиста, массивный подбородок, шальной взгляд светло-карих глаз; на лбу — неизменная повязка самурая, чтобы пот не застилал глаза. Он сидел за огромным, врытым в землю лиственничным столом, заваленным картами аэрофотосъемки, образцами пород, деловой перепиской, и говорил Коле Толкунову зычным басом:

— В горах осыпей остерегайся. Покатишься вниз — костей не соберешь. Реку переходи с величайшей осторожностью. Заблудиться в тайге — в два счета. Отлучаться из лагеря без моего разрешения категорически запрещаю, иначе выгоню к чертовой матери. Вот и все... Да! Не вздумай из дробовика медведя бить. Разорвет в клочья. Стрелять только из карабина и только в случае нападения.

— А если я ему из дробовика с близкого расстояния влеплю? — храбро сказал Коля.

— Тебе русский язык понятен? За-пре-ща-ю! Все. Распишись и приступай к работе. Хватит трали-вали разводить.

Коля Толкунов вышел из камералки; Турчин, упершись веснушчатыми руками в стол, тяжело посмотрел на Любу.

— Что ж мне с вами делать прикажете, голубушка? — пробасил он.— Хреново работаете. Маршруты вам не под силу, ни один в срок не сделали. Рублем я вас уже наказывал. Чем думали, когда в МГРИ поступали?

— Я бы попросила вас не грубить,— пятнисто покраснев, перебила Люба.

— Попросила! — махнул рукою Турчин.— Начитались разных идиотских книжек, где труд геолога отождествляется с увлекательным туризмом, вот и возомнили себя геологом. Что, не так? Так, голубушка, так. Иначе б заблаговременно и серьезно занялись спортом, крепкие мышцы геологу нужны не менее светлой головы.

«Как ему не стыдно так разговаривать с женщиной! —

все кипело внутри Павла.— И этот человек — кандидат наук, известный в геологии специалист!..»

Люба сидела, низко опустив голову. Турчин тяжело и протяжно вздохнул и посмотрел на Павла, как бы ища у него сочувствия.

— Будь моя воля,— прихлопнув ладонью по столу, сказал он,— ни за что бы баб в геологоразведочные вузы не принимал!

— Вы хам! Хам! — вдруг крикнула Люба и вскочила с лавки.— С вами невозможно работать! Недаром от вас бегут геологи, недаром!

Прокричав это, она выбежала из камералки.

Турчин с минуту барабанил пальцами по столу, раздумывая. Потом сказал Павлу:

— Везет мне на истеричек! Но ничего не поделать: угроза термоядерной катастрофы, стресс и прочие наимоднейшие понятия. Нервы у людей напряжены до предела.

— Как у вас с Любой... некрасиво получилось, очень некрасиво,— промямлил Павел.

— Хватит об этом,— коротко отрезал Турчин, перебирая на столе бумаги.— С чем пожаловал, Князев?

— Видите ли, у меня личное дело... может, даже не совсем личное,— начал Павел, отчего-то сконфузившись.— Мой маршрутный рабочий, Лев Кондаков,— ужасно тяжелый человек.

— В каком смысле? Отказывается таскать рюкзак с образцами, плохо ходит? — поморщившись, перебил Турчин.

— Как раз в этом отношении он идеален... Я имею в виду его моральное состояние. Он чем-то угнетен, подавлен и срывает свое зло на всех и вся. Нельзя ли попросить другого рабочего? И для дела, думаю, будет...

— С Кондаковым нельзя работать, потому что он зол, со мною — потому что я хам! — оборвал Турчин.— Послушай, Князев, у нас не детский сад, и мы не в бирюльки играем. С меня требуют план, и только план, и при этом не учитывают особенностей характера моих подчиненных. Давай-ка не будем заниматься склоками. Будем работать. Дать нового рабочего не могу — нету. Заменить — тоже: по какому это праву я должен подсовывать нехорошего Кондакова другому, а тебе вручать хорошего? Все. Точка. Иди, ты должен уже быть в маршруте.

Павел поднялся и вышел из камералки. «Свинья! Разговаривает как с мальчишкой! И я его на «вы», а он будто не замечает и «тыкает». Действительно — хам!»

В Павле говорило оскорблениое самолюбие.

Стаиислава в палатке ие было: ои уже ушел в маршрут. Павел пристегиул к ремию геологический компас, кобуру с ТТ, плаишет, извлек из железиой баики с водою геологический молоток (в воде его держали, чтобы ие рассохлась ручка).

Лева покуривал возле своей маршрутки; заметив геолога, не спеша поднялся, надел рюкзак, перекинул через плечо казениую одиостволку.

В это время загудел вертолет. Зелеиый МИ-4 прилетал с базы экспедиции, из большого северного поселка, раза два-три в месяц — завозил в партию продукты, геологическое сиаряжеиие, почту, сиимал отряды с дальних точек работ.

— Покури еще,— сказал Павел Леве.— Узиаю, может, письма есть.

Павел ждал письма от Лили. Оиа ии разу не иаписала ему за этот сезои, ио ои все равио ждал.

Лева молча сел возле своей маршрутки. Почта его не иитересовала. Ему вообще никто не писал.

Вертолет выиырнул из-за сопки и иачал кругообразиое сиижение. Ои с грохотом опустился иа камеиистом пятачке, обозначеиим с четырех углов флажками из марли.

Когда перестал вращаться винт, Павел первым подбежал к отворившейся дверце и прииял из рук бортмехаиика пухлую пачку писем. Дрожащими руками ои перебрал письма. Ему, как всегда, писала только мать. Павел побрел было к палатке Левы, чтобы идти с рабочим в маршрут, когда виимаиие его привлекла следующая сцеиа. От камералки шли двое: Люба, за ией — Турчин. Начальник партии удерживал девушку за рукав, та, вся в слезах, вырывалась, иа ходу поправляя рюкзак за плечом, и кричала:

— Уходите от меия все! Не держите меия вы, мужик!

— Учтите: домой полетите за свой счет, геолог обязаи отработать до коица сезона,— предупредил Турчии.

— Ну и пусть!

— По собствеииому желаиию хотите уволиться? Не получится, голубушка. Сегодия же даю РД (радиограмму) на базу: увольняю вас как иесоответствующую должиости.

— Пусть, пусть!

— Истеричка! Рожайте детей и возитесь с кастрюлями, а не лезьте в поле!

Залезая в багажное отделение вертолета, Люба споткнулась и упала. Бортмеханик поспешно помог ей подняться.

«Я б таких на пушечный выстрел не подпускал на руководящие должности. Работа с людьми предполагает прежде всего человечность. Ну, дал бы ей маршруты полегче, к концу сезона, глядишь, и втянулась бы. Как он этого не понимает!»

Но ввязываться Павлу не хотелось. Да и поздно было: вертолет с Любой взлетел.

IV

...Они сидели в плавучем ресторане на Москве-реке и пили сухое вино с легкой закуской.

В парке в этот теплый майский вечер было полно народу. Играла музыка; с аттракциона, со всех сторон освещенного прожекторами, — три вагончика, катящиеся по наклонным спиралеобразным рельсам с хорошей скоростью,— то и дело слышался женский визг.

Лиля была задумчива, грустна. В последние несколько месяцев она очень переменилась. Разве узнать в теперешней Лиле прежнюю хохотушку! Причину перемены Павел понимал так: она, как и всякая девушка, думала о замужестве, своей семье, а он «тянул резину». «Баста!» — решил он сегодня. Он думает о ней, он любит ее. Так в чем же дело? Товарищи его давно женаты, имеют детей и, кажется, счастливы. Что же мешает и ему быть счастливым? Решительно ничего!

Он медлил, потому что волновался. Три простых и старых, как мир, слова казались ему стертыми, даже оскорбительными. «Надо сказать что-то пооригинальнее»,— думал он, глядя на дрожащее отражение тысячи огней в Москве-реке.

Но ему не пришлось сказать того, что он хотел сказать. Первой заговорила Лиля:

— Я долго думала, Павел, отчего я разлюбила тебя? Вначале полагала простейшее: полюбила — разлюбила. Но потом поняла другое... Ты равнодушен, чудовищно равнодушен. Тебя не трогает, не удивляет ничто, решительно ничто! А потерять способность удивляться — все равно что потерять душу, самое себя. В музеях тебе невыразимо скучно, и ты зеваешь: «Зачем мне надо знать, какого покроя пальто носил Маяковский и в каком кресле любил сидеть Чехов?» Балет, это чудо, ты презираешь;

«Все эти Джульетты и Одетты были уместны в прошлом веке»... А помнишь, на наших глазах насмерть разбился мотоциклист? Я разрыдалась, а ты сказал с ужасающим спокойствием: «Успокойся, Лиля, в огромном городе с таким движением несчастные случаи — в порядке вещей». Посмотри вокруг, как блестят у молодежи глаза, как хорошо они смеются. Твои же глаза не отражают ни радости, ни грусти, они всегда спокойны и тусклы. Ты ни разу не хохотал от души... Не пойму я одного: почему ты такой? Что тебя сделало таким?

Потом, когда Лиля, извинившись за что-то, ушла, Павел до полуночи сидел на палубе и мучительно раздумывал над тем, что она говорила ему здесь. Лиля права, права: потерян острый вкус к жизни; просыпаясь по утрам, он уже не улыбался, как в юности, просто оттого, что за окном светит солнце и поют птицы. Отчего, отчего? Быть может, потому что решительно все вследствие природных способностей давалось ему легко, без особой борьбы? Школа, которую он шутя окончил с серебряной медалью, диплом вуза с отличием? Или потому, что его мать и отец были обеспеченными людьми, и он не имел ни малейшего представления о нужде, не умел ценить и радоваться куску хлеба?

Этого Павел не знал.

V

Маршрут лежал через тундровую долину. Кочковатая марь дышала — дрожала и колыхалась, как студень.

Павел оглянулся на Леву. Тот тащил тяжелый рюкзак с образцами и матерился, когда выше колен проваливался в вонючую тундровую кашу.

— Лев, кто ж по мари ходит след в след? Провалишься в два счета,— предупредил Павел.

Лева ничего не ответил, но прислушался к замечанию геолога.

До сухого места, где начиналась сопка, Павлу оставалось несколько хороших прыжков, когда позади раздался чавкающий утробный звук и вскрик. Павел вздрогнул и быстро обернулся. Лева угодил в тундровое окно и по грудь скрылся в коричневой жиже. Руки, как клещи, обхватили кочку, но она дышала и готова была вот-вот уйти вместе с человеком в трясину. Лева хрипел, задрав вверх спутанную бороду, маленькие медвежьи глазки как

бы разом увеличились в размере и, казалось, вылезли из орбит.

Прыжок, другой — и Павел возле плененного тундрой человека. Лег в развороченную, отвратительно пахнущую гнилью трясину, намертво вцепился пальцами в штормовку рабочего.

— Рюкзак, рюкзак скинь к чертовой матери!..— прокричал Павел.

— Кххы... кххы...— хрипел в ответ Лева.

Павел освободил плечи пленника от лямок рюкзака. Затем просунул ему руки под мышки и начал рывками выдергивать Леву из страшной ловушки. Прошло бесконечно много времени, но горловина тундрового окна так плотно сдавила человека, что все усилия оказались напрасными. Павел измучился вконец; под ним образовалась яма, готовая поглотить и его.

Только теперь он заметил рядом растущую одинокую молодую березу.

— Обожди, Лева! Попробую нагнуть березу...— сиплым, сорванным от напряжения голосом сказал он.— Продержись немного один...

Как когда-то в далеком детстве, озоруя, он забрался почти на самую верхушку дерева, ухватился за ствол и повис на нем — береза изогнулась дугой и плавно опустила его на землю. Еще несколько минут ушло на то, чтобы подвести ствол к Леве. Тот ухватился за него. Павел подполз сзади и опять просунул ему под мышки руки — и пленник, весь в липкой, как мазут, грязи медленно вылез наружу.

Некоторое время они лежали, обессиленные, на мху, распластав руки. Затем поднялись и, пошатываясь, выбрались на сухое.

— Двигаем к реке, отмыться не мешает,— предложил Павел.

У реки они разделись догола, по пояс залезли в ледяную воду и долго смывали с тела тундровую грязь. Потом развели костер и грелись крепчайшим чаем. Есть не хотелось, хотя было время обеда.

Одежда возле жаркого пламени высохла за четверть часа. Лева первым натянул штормовку и начал было закидывать за плечи рюкзак, чтобы идти маршрутом.

— Да ты отдохни, отдохни,— разрешил Павел.— Такое пережить...

Лева сел у костра, высыпал из кисета на плоский камень мокрую махорку и долго водил над нею дымящей-

ся головешкой — сушил. Наконец свернул «козью ножку» и закурил.

Они долго молчали. «Ему не мешало бы поблагодарить меня,— усмехнувшись, подумал Павел.— Я ему все-таки одолжение сделал — жизнь спас». Но Лева сосредоточенно пыхтел самокруткой и не думал благодарить своего спасителя.

Было жарко, даже быстрая река не давала прохлады. Воздух лениво колыхался сизым душным маревом. Донимала мошка, лезла в уши, ноздри, рот, за воротник; Павел вытащил из кармана геологической гимнастерки тюбик с мазью «Дэта» и вымазался ею.

Чрезвычайное происшествие могло бы сблизить Павла и Леву. Об этом подумал Павел. Установить более или менее сносные отношения с маршрутным рабочим он хотел с единственной целью: чтобы не раздражаться на выходки Левы, не отравлять себе жизнь вынужденным присутствием этого тяжелого человека. «Даже у мифических злодеев,— думал Павел, поглядывая на заросшее лицо Левы,— в глубине души, под семью замками, должно таиться хорошее, человеческое. Надо лишь подыскать ключик, и человеческое проявится».

— Я однажды видел, как олень в трясине тонул,— сказал Павел.— Как он кричал, какое страдание выражали его глаза!

Лева посмотрел куда-то мимо головы геолога.

— Да уж не приведи господи такую смерть,— помедлив, ответил он.— Ни врагу, ни зверю...

«Кажется, я делаю первые успехи!» — обрадовался Павел и спросил:

— А ты откуда родом? Сколько вместе работаем, а друг о друге ничего не знаем.

— Лаврентьевские мы, с Рязанщины.

«Господи! Говорит так, будто помещика Лаврентьева крепостной».

— Это что ж, село, деревня?

— Село. Не слыхал?

— Да не приходилось.

Дальше — больше.

— А кем же в своем селе работал?

— Трактористом.

— На Север-то чтó подался?

Лева нахмурился и отвернулся. Павел пожалел, что спросил о причине отъезда на Север: он был почти уверен в том, что Лева совершил в родном селе преступле-

ние или поступок, граничащий с преступлением, и нашел в экспедиции временное укрытие.

— Да ясное дело, почему работяги на Север едут! Заработать, не секрет,— вышел из неприятного положения Павел.— Гро́ши всем нужны.

«Пожалуй, на сегодня хватит. Лед тронулся!»

Он уже поднялся, чтобы идти, когда Лева неожиданно заговорил, косноязычно, как бы выдавливая из себя слова:

— Деньга, конешно, нужна всякому... да не в ёй дело! Эхма, душу теребить-тревожить, как острый нож! А накипело, накипело, хоть головой в омут... Жил я, Паша (он впервые назвал Павла по имени, до сих пор вообще его никак не называл), не хуже других, в хате — телевизор, шкаф немецкий, с Рязани привезенный, сервант тоже заграничный. Баба — загляденье, глаз не отвести, не знаю уж, как за меня, бегемота такого, пошла. Аж в углах от красы ее сияет... А сейчас, по мне, лучше б она рябая да кособокая была, потому как все беды у нас, мужиков, от бабьей красы: тянет к ней, что к меду в улье, сунулся — а на тебя орава пчел.

Павел снова сел на камни. «Наконец-то прорвало, родимого... Невероятно: у этого типа — красавица-жена! Любопытно, любопытно! Эпилог обещает быть трагическим».

— ...Дочку и пацана имел,— продолжал между тем Лева.— Пацана Ванькой назвал, меньшая — Анюта. Ванька, чертенок, бедовый — страсть! Кто яблоки в соседском огороде воровал? Ванька. Кто подрался? Ванька, а кто ж еще. Словом, отец вылитый, мордой тоже на меня похож, губастый да носастый. А ближе, поди ж ты, Анюта мне была, так в душу и лезла. В мамашу пошла: что цветочек аленький. На пашне, бывало, вымотаюсь, сычом гляжу, а припомню, как она глазенки от удовольствия закрывает, когда конфету сосет, так сердцем враз и оттаю... Ага. Жили с бабой, как все: лаялись, мирились. Выпивал, как водится, с мужиками, не так, чтобы на бровях ползти, и не часто. Пьяницей не был. Случалось, с бабой-то сцепимся, потому строптивая она очень. Ну, вдарю ей разок, чтоб приструнить, на то и муж; правда, рука у меня, что гиря. Заревет скотиной голодной, я ж казниться начинаю, потому как любил ее до беспамятства... Ага. Прошлый год приезжает на село новый учитель, моих лет мужик, но холостой еще. В совхозе нашем он в школе рабочей молодежи не знаю уж чему учить там

начал. Как-то в хату к нам стучится. «Авдотья Кирилловна,— говорит (это бабу мою так звать),— прослышал я, что у вас восемь классов образования. Отчего ж дальше не учитесь? Годы ваши еще молодые. Супругу вашему, конешно, трудно начинать все сначала, всего четыре класса, но вам...» А сам, учитель-то, старается на нее не глядеть, а если зыркнет, то сразу этак виновато глаза опускает. Баба ж моя, сука, аж зашлась вся, ровно в кровати. Но о том я слишком поздно задумался. Не знал, что они еще раньше друг дружке глянулись, а то б и ей, и ему враз ноги пообломал. Ага. Баба в сельпо бежит, портфелишко себе покупает, тетради, ручки, что надобно, словом, для ученья. И опосля коровника в школу спешит, как на праздник, а перед тем у зеркала кудряшки свои накручивает. Я-то, дубина, только посмеиваюсь: «Уж не в институт ли, мать, на старости лет поступать собралась?» А она мне бедово так: «А что! Не всю жизнь в навозе ковыряться». Ученье, мол, свет, а неученье тьма. Потянуло ее, значит, к чистой жизни. Как-то мне замечание делает, мол, после смены надо душ принимать. Работа у меня, известное дело, не в белом халате: то на тракторе, то под трактором. А мыться я, грешным делом, сызмальства не люблю, харю с утра ополоснул, и все. Так она спать отдельно начала! По мужской надобности чуть не силой брал ее. Что-то, думаю, происходит нехорошее с моей Авдотьей Кирилловной... Между тем, замечаю, начали кумушки на селе шушукаться, на меня то с усмешкой, то с жалостью поглядывать. В неведении до конца оставался. К лучшему, может, оно? Иначе б кого-нибудь из них порешил и сейчас в земле лежал бы, а не разговаривал с тобой...

«Как? — разочарованно подумал Павел.— Она ему наставила рога, и все обошлось миром? Какая банальщина! Я-то думал...»

— ...Прихожу, значит, со смены и рот разеваю: шкафы открыты, тряпки разбросаны, половину посуды из серванта будто корова языком слизала,— продолжал Лева.— Мать-перемать, думаю, ограбили! «Авдотья!» — кричу. Никто не откликается. И только теперь записочку на столе вижу. Так и так, пишет Авдотья, уходит, мол, она с детьми к учителю, потому как промеж них возникла великая любовь. Тут на меня, как на шибко пьяного, вроде как темнота погребная нашла. Как с топором по улице бежал, как очутился возле хаты учителя — ничего не помню. А на крыльце учительском стоит Рыжов, наш уча-

стковый, в полиом милицейском облачеиии, при оружии. «Добрые люди,— говорит,— посоветовали мне за тобой иынче присмотреть, Кондаков. И ие зря советовали. Брось топор, нди с миром». «Рыжов,— это я отвечаю,— ие стой иа пути, а то и тебя вместе с ними!» Ои пистолетик тогда свой прямехонько в лоб мие наводит. А в это время сзади дружиинички иабрасываются, долго ль, коротко ли, руки за спину заламывают и в участок ведут. Рыжов делу бы ход мог дать, за решетку засадить, потому как я сопротивлеиие властям оказал, да пожалел меия. Посадил в кутузку, что при участке, пить-есть прииосил, все беседовал. Возьми, мол, себя в руки, переживи. Три дии не выпускал. Потом выпустил, ио глаз с меия не сводил, тенью ходил. Тогда уж и запил я! Хлещу ее, родимую, а облегчеиья иет и иет. Все из хаты пропил, за одежку свою принялся. Скоро и одежку пропил. Встаю как-то в дрожи похмельиой, а опохмелиться-то и нечем. Этого и ждал наш Рыжов. Заходит. «Вот что,— говорит,— надумал, Коидаков: а ие уехать тебе из села, хотя бы на время? Я б,— говорит,— на твоем месте уехал, тем паче, что учитель официально зарегистрировал с Авдотьей Кирилловиой брак, усыиовил Ваньку и удочерил Аиюту». «Так оиа же,— кричу,— ие разведеиа со мной!» «Суд развел,— отвечает,— когда ты в запое был». И просит: «Уезжай, прошу тебя, иначе я тебя как аитиобщественного элемеита и злостиого туиеядца суду предам». Ушел он. Дожил, думаю, Лев Коидаков. Из передового тракториста райоиа, у которого грамотами все стены обклеены, в аитиобщественного элемента и туиеядца превратился. Вспомиил Авдотью, детей... Гляжу, крюк в потолке торчит. В сеиях срываю веревку бельевую, петля, табурет и прочее. А веревка возьми да оборвись: тяжел я очень. Сижу, зиачит, иа полу, шею потираю, а сам думаю: пожить-то хочется, подохиуть-то всегда успеется. Ну, а потом на Север подался...

Лева замолчал и иачал сворачивать иовую самокрутку.

Павлу стало скучио. Чужая жизнь, чужие переживаиия его иикогда ие трогали и не иитересовали. Его интересовало только собствеииое «я», и иичто больше. Потом он вдруг вспомиил Лилю. «А может, я пережил горьких мииут ие меиее, чем ои,— подумал Павел, с иеприязиью глядя иа Леву,— одиако горе мое ие дало мие права срывать свое зло на других и иабрасываться иа людей, как цепная собака». Было мгновеиье, когда Павел хотел вы-

сказать эти мысли Леве, но потом скучно подумалось: а зачем? Какое ему дело до него?

А Лева мысленно как бы перенесся в родное Лаврентьевское. Ему хотелось поговорить:

— Помню, с Анютой раз пошел по грибы. На ней сарафанчик красный, ну, что ягодка. Задумался о чем-то, глядь — нет рядом дочки. Забегал, перепугался — страсть! Она же...

— Пора идти,— зевнув, перебил его на полуслове Павел и поднялся.

Лева как бы осекся, с нескрываемой ненавистью посмотрел на геолога.

— Проверь радиометр, работает ли? — спросил Павел.

Лева глядел на свои бахилы и не отвечал.

— Лев, слышишь? В радиометр вода небось попала, проверь, работает ли? — громче повторил он.

Лева, ни слова не говоря, поднялся и зашагал маршрутом, ступая по-медвежьи косолапо.

«Да, экземплярец! Второго такого не сыскать,— подумал Павел.— Только что душу изливал, а сейчас вдруг... С чего бы это он? И вправду сказано: чужая душа — потемки...»

И на следующий день, и через два, и через три дня Лева оставался таким же мрачным, невыносимо тяжелым человеком, каким был и раньше. Даже хуже: прежде, бывало, двумя-тремя словами за маршрут перекинется с Павлом, а теперь словно оглох и онемел. Изредка геолог ловил на себе его взгляд, от которого становилось страшно. Точно так же он смотрел и на других людей. «Какая-то... патология зла,— невольно поеживаясь, думал Павел.— Боже, а до конца сезона еще несколько месяцев! Может, опять поговорить с Турчиным?..»

VI

Через несколько дней, как всегда в половине девятого утра, Павел подошел к Левиной палатке. Обычно Лева в это время покуривал, сидя на самодельной лавке, и поджидал геолога, чтобы идти в маршрут. Сейчас на лавке его не было, и Павел окликнул:

— Лева!

Никто не ответил, но из палатки доносились неясные шорохи. Павел поравнялся с маршруткой и откинул полог.

Лева лежал на животе и, морща лицо, бил себя по пояснице кулаками.

— Что, брат, прихватило?

Лева промычал в ответ невнятное.

Зима на Крайнем Севере, несмотря на лютую стужу, влияет на человеческий организм очень благотворно, а вот лето гнилое; особенно дает знать о себе радикулит, даже у людей богатырского здоровья начинают трещать суставы.

— Щас подымусь...— хрипло выдавил, наконец, из себя Лева.

— Да куда ж ты, милый, в таком состоянии в маршрут! — замахал руками Павел.— Полежи денек, может, отойдешь. Я к Турчину сбегаю, спрошу замену тебе.

— Да сказал же! Встаю щас,— сердито повторил Лева.

Но геолог все-таки пошел просить замену.

Турчин был в камералке. Выслушав Павла, он подозрительно спросил:

— Может, он сачкануть надумал? Третьего дня Морван, рабочий Ланкова, тоже «захворал». А как все в маршрут ушли, он ружьишко за плечо да в тайгу белок бить подался.

— Нет, нет, Кондаков в этом отношении чрезвычайно честен,— убежденно сказал Павел.

— А ну, пойдем-ка глянем на твоего Кондакова.

«Сейчас наломает дров и совсем испортит мои отношения с Левой!» — испуганно подумал Павел, а вслух предложил:

— Не надо, не ходите. Я лучше один в маршрут пойду и рюкзак с образцами понесу.

— Одному в маршрут запрещено ходить инструкцией,— сухо ответил Турчин.— Что случись с тобой — я первым под суд пойду.

— Тогда я прошу вас... поделикатнее, что ли, с Кондаковым... У него очень тяжелый характер.

— Что он, институтка, чтобы поделикатнее? — усмехнулся начальник партии.— На сопли у меня нет времени.

В правильности своих решений и убеждений Турчин никогда не сомневался.

Лева, согнувшись, уже прохаживался возле своей палатки — разминался. Турчин и Павел поравнялись с ним.

— И сильно прихватило, Кондаков? — спросил начальник партии.

— Да есть малость,— ответил Лева.

— Ну, малость не в счет. Разойдешься в маршруте. А то Павел тревогу забил.

— Я его об этом не просил.

— Ну-ну... Эх, люди-людишки! — вздохнул Турчин.— Никому-то работать неохота, думают, денежки просто так достаются. Я тут Павлу пример приводил: Морван третьего дня, видишь ли, тоже «захворал». А как все в маршрут — он ружьишко за плечо...

— Шел бы ты от меня со своими примерами к такой-то матери,— сплюнув сквозь зубы, оборвал Турчина Лева.

— Ну, пошли, Лев, коли можешь идти,— поспешно сказал Павел.

— Обожди, Князев, обожди,— начальник партии вплотную подошел к Леве.— Слушай, Кондаков, кто тебе дал право так со мной разговаривать? Ты норов свой поубавь, последний раз предупреждаю. И Павел на тебя жалуется, другого рабочего просит.

«Тупица! Вот тупица!» — с отчаянием подумал Павел и даже застонал от досады.

А Лева ответил Турчину очень странно:

— Что ты взъелся? Не ровня я, мол, тебе? Врешь, милый, врешь. В жизни все равны, и цари, и трубочисты, потому как всем в одной земле гнить...

* * *

Вечером Павел рассказал Станиславу о поступке Турчина.

— Не понимаю, ты меня удивить этим хочешь? — спросил приятеля Станислав.

— Просто до меня не доходит, как интеллигентный человек с высшим образованием может быть лишен элементарного чувства такта? — горячо сказал Павел.

— Стоп! Прежде всего позволь узнать, на каком основании ты причисляешь Турчина к интеллигентам? Только потому, что он имеет высшее образование и после посещения туалета моет руки? Жалкий аргумент, как говорят французы. Такие люди, как наш дражайший начальник, останутся неандертальцами и духовными паралитиками с дюжиной вузовских дипломов в кармане. Это как горб, и лечение здесь бесполезно; их исцелит одна могила. Впрочем, Турчин был бы уместен в роли командира в штрафном батальоне.

— Иронизировать ты умеешь неплохо,— заметил Павел.

— Позволь, какая же это ирония?

— А отчего бы не пойти к Турчину,— опять горячо сказал Павел,— и не сказать ему всего того, что мы думаем о нем? Ведь очевидно, что замечать подлость и не противостоять ей есть не меньшая подлость.

Станислав то ли зевнул, то ли вздохнул.

— Извини, но ты напоминаешь младенца, познающего бытие, с извечным вопросом: а почему? — сказал он.— Ты сейчас изрек не дилемму, а аксиому. Наш мир был бы идеален, если бы люди неукоснительно следовали ей.

— И все же — почему? — повторил Павел.

— Ты предлагаешь мне пойти к Турчину? Избавь, пожалуйста, избавь. Во-первых, земная проза: я не желаю портить отношения с начальством. Во-вторых, аксиома не требует доказательств, а изрекать аксиомы ужасно скучно. В-третьих, Турчин попросту не поймет, что от него хотят... Впрочем, у меня прекрасная идея, Павел! Уж коли ты затеял весь этот разговор, отчего бы тебе не пойти к Турчину? Так прямо и скажи: «Вы, товарищ Турчин, кретин, а поэтому...»

— Перестань, Станислав, я не шучу.

— Я тоже не шучу.

Павел замолчал и включил транзистор, желая показать, что он не хочет более продолжать этот разговор.

И чего он раскипятился? Да плевать ему на Турчина, Леву. Они живут своей жизнью, он — своей.

Павлу стало невыразимо тоскливо. Почему-то сейчас вспомнилось вдруг, что у него никогда не было настоящих друзей, которых бы он любил, которые любили бы его. Вернее, были знакомые ребята, хорошие парни, они смогли бы со временем стать друзьями Павла. Но не становились ими. В глубине души он чувствовал: не хотели. Отчего? Этого Павел не знал.

Потом, в который раз за сегодняшний день, перед глазами появилась Лиля. Ему стало тяжело, очень тяжело...

VII

Был обычный день и обычный, не тяжелый и не легкий, маршрут, помеченный в радиометрическом журнале, что лежал в полевой сумке Левы, номером четырнадцать.

Плавилось неутомимое солнце белой ночи. Над долиной низко висела густая сиреневая дымка, рожденная распаренной жарою кочковатой марью, и казалось, что тайга плавала в сиреневой воде. На мелководной реке,

несущейся бешеным потоком по каменистому руслу, дымки не было; лиственницы и березы по берегам вырисовывались с предельной четкостью. Коричневые, в глубоких морщинах стены ущелья прорезали ложбины, по которым звенели ручьи. Истоки ручьев находились у ледников, в царстве вечной зимы. Ледники лежали на головокружительной высоте твердыми голубыми панцирями.

Павел и Лева шли трудной бараньей тропою, то поднимаясь на скалы, то спускаясь к топкой мари. Попутно велась обычная работа: геолог откалывал образцы, измерял геологическим компасом азимут земли, писал в записной книжке общую характеристику пород, рабочий наклеивал на образцы кусочки пластыря с условным буквенным обозначением, записывал в радиометрическом журнале показания радиометра. Один раз Лева допустил ошибку, записав метраж не в той графе журнала, и Павел сделал ему замечание. Геолог ожидал, что сезонник нагрубит в ответ: так Лева всегда реагировал на замечания. Но нынче, против обыкновения, он сказал непривычным для него извиняющимся тоном: «Да, Паша, сейчас поправлю». Павел даже удивился и внимательно посмотрел на него. Поразили глаза Левы, совсем не злобные — во взгляде стыла беспросветная тоска. «Что-то не то с ним сегодня»,— подумал Павел.

Они поднялись на сопку, делившую долину надвое. Противоположная сторона сопки обрывалась вертикальной стеною. Далеко внизу прыгала по камням, пенилась река, и лиственницы, растущие по берегам, казались кустарником. Спуск в долину находился левее, где сопка была пологой, но Павел заметил под обрывом, на выступе, заинтересовавший его коренник и сказал Леве:

— Я тут молоточком постучу. Ты пока отдохни.

Лева, ступив на кромку обрыва, посмотрел вниз и спросил:

— Сорвешься — костей небось не соберешь?

— Разумеется. Все равно что упасть на асфальт с крыши двадцатиэтажного дома.

— Страшная смерть...

— Не думаю. Установлено, что человек умирает от разрыва сердца во время падения, еще не достигнув земли.

Лева недолго помолчал. Потом сказал:

— Нет. Все равно страшная смерть. Уж лучше...— он хлопнул по прикладу одностволки,— приставить к башке эту вот штуковину.

— Ну и мысли у тебя, Лев! — усмехнулся Павел.

Он осторожно спустился на гранитный карниз и застучал молотком. В неширокой трещине Павел заметил дымчатый нарост с характерной формой виноградной грозди. Это был горный хрусталь, довольно редкая находка для Крайнего Севера. Пришлось повозиться с полчаса, чтобы аккуратно сколоть образец.

Когда тяжелый дымчатый осколок лежал на ладони, Павел поднялся и хотел было окликнуть рабочего, чтобы передать ему образец. Но не мог произнести ни слова. Слова будто застряли в глотке.

Лева стоял над пропастью, на самой кромке, где ниже на карнизе находился геолог, и, покачиваясь из стороны в сторону, округлившимися, безумными глазами глядел в пропасть. Казалось, еще секунда — и он загремит вниз. Состояние, в котором находился сейчас Лева, случается с людьми часто; название этого недуга — боязнь высоты. Она парализует все движения, и пропасть тянет к себе магнитом. Так кролик бывает загипнотизирован немигающими глазами удава. Павел не сомневался, что именно этот недуг поразил Леву.

— Назад! Шагни назад!..— прокричал он.

Когда геолог быстро поднялся по гранитным выступам на вершину сопки, Лева сидел на камне и сворачивал самокрутку. Он безучастно посмотрел на своего начальника.

— Фу ты, черт, напугал меня!..— облегченно вздохнул Павел.— Голова закружилась?

— Что я, барышня какая? — закурив, спокойно ответил Лева.— Голова у меня крепкая, сроду не кружилась.

— Ничего не понимаю... Мне показалось...

— Крестись, коли кажется,— перебил Лева, и взгляд его разом принял обычное, хмурое выражение.

Он поднялся, закинул за плечо одностволку и зашагал маршрутом.

...Настало время обеда. Привал сделали в долине, на берегу реки, под огромной разлапистой лиственницей.

Лева вел себя как-то странно. Зачем-то натаскал для костра мокрых кореньев, зная, что они не будут гореть. Содержимое пакета с «Домашним супом» высыпал в походный котелок и повесил его над пламенем, а воды налить забыл. Все сгорело.

Над головою раздались мягкие нечастые удары крыльев. Вытянув длинные шеи, низко-низко пролетели два гуся. Павел быстро поднялся, следя за полетом птиц. Они

опустились на той стороне реки, за перелеском, где блестело небольшое озеро.

— Лев, я сбегаю, может, повезет! Хотя гуси чрезвычайно осторожны...— охваченный охотничьим азартом, возбужденно сказал Павел, расстегнул кобуру и вытащил пистолет.— Пожалуй, и твое ружьишко прихвачу. С близкого расстояния дробовым сподручнее бить.

Геолог хотел поднять с земли одностволку. Лева положил на приклад темную ладонь и коротко сказал:

— Ружья не дам.

— Да почему, чудак?..— опешил Павел.

— Не дам, говорю, и все тут.

Их взгляды встретились. На мгновенье в голове Павла пронеслась жуткая догадка. Но только на мгновенье. «Дьявол, с этим типом я, кажется, сам начинаю с ума сходить! Что в башку пришло...»

— Тяжелый ты человек, Лев, очень тяжелый,— вздохнул геолог.

— С волками жить — по-волчьи выть,— был равнодушный ответ.

— Да разве мы похожи на волков? Что ты чепуху несешь!

— А кто ж вы еще?

— А!..— махнул рукою Павел, поднял голенища бахил и начал переходить по мшистым камням реку.

Вскоре он вышел на противоположный берег, стараясь не трещать сучьями, углубился в тайгу.

За деревьями показался просвет, пронзительно засинело озеро. В центре озера плавали два гуся, тяжелые, отъевшиеся к близкой осени. Павел пополз по-пластунски, боясь быть обнаруженным пугливыми птицами. Когда расстояние между дичью и ним сократилось до сотни метров, он понял, что не промахнется, пуля поразит цель. «То-то обрадуется наша повариха»,— самодовольно подумал он, вытягивая из-за ствола лиственницы руку с пистолетом. Стрелял Павел превосходно. Мушка легла под белую грудь гуся, который был крупнее своего собрата.

Раздался выстрел.

Но стрелял не Павел. Он с недоумением оглядел маленький аккуратный ТТ и только теперь понял, что выстрелил кто-то, кто был позади.

Так часто случалось в маршруте: то Павел, то Лева, не предупреждая друг друга, били по дичи. Но сейчас Павел неосознанно, шестым чувством вдруг понял, что

дичь здесь ни при чем, что случилось страшное, непоправимое...

Ои бежал к стоянке, забыв о гусях, взлетевших с паиическими хлопками крыльев, забыв обо всем иа свете. Левая иога пружииисто зацепилась за корневище лиственницы, и ои упал, с размаху ударившись лбом обо что-то твердое. Боли ие было, вериее, ои почувствовал ее гораздо позже. Переправляясь через реку, поскользнулся иа камнях и упал вторичио, с головою исчезнув в ледяиой воде. То, что вода была ледяная, он почувствовал также ие сразу.

На стояике дымился иебольшой костерок.

Последиий раз Павел видел Леву сидящим иа корточках возле костерка и поэтому ие сразу заметил его. Лева лежал рядом, на спиие. Около иего валялась одиостволка. Павел подошел ближе и застоиал, закрыв глаза: выстрел вдребезги разиес черепиую коробку человека.

VIII

Тело Льва Коидакова переиесли в лагерь и положили в маршрутке. Потом по рации связались с райоиным городом и сообщили о ЧП.

Несколько дней Павел находился в страниом, так ие вяжущемся со случившимся, состоянии апатии. Людей он ие замечал, взаимоотиошеиия с товарищами его ие интересовали; в маршруты с иовым рабочим он ходил механически, как робот; природа его не трогала — зрение с бездушиостью фотоаппарата лишь отмечало деревья, скалы, реки, ручьи... Зачем? Пришло письмо от Лили, которого ои ждал с таким иетерпеиием. Павел равнодушио, как зараиее известиое и скучиое деловое послаиие, вскрыл коиверт и пробежал глазами письмо. Жеищии сам дьявол ие поймет! Лиля писала, что любит только его, Павла, таким, каким ои есть, что поияла это виезапио, и клялась в любви до гроба. Как был бы счастлив Павел, если эта весть пришла бы иесколько дней назад! Сейчас же в голову полезли иехорошие, сквериые мыслишки: оиа нарвалась иа подлеца, обожглась, а годы уходят, и в старых девах оставаться не хочется...

В лагере отметили разительную перемену, происшедшую с Павлом. Не было прежией мягкой безвольиой улыбки, которая почему-то очеиь иравилась девушкам. Улыбаться ои перестал. Всегда вежливый, предупредительиый, сейчас Павел оскорбительно ие замечал вопросов, обращенных к нему, и даже мог иагрубить. Ему про-

щали все, предполагая, что подобное состояние человека естественно, оно вызвано смертью того, с которым Павел ежедневно делил тяготы маршрута, которого знал лучше других.

В лагере строили догадки: случаен ли был выстрел или Лева покончил с собой? Сомневались в окончательном выводе и товарищи из районной прокуратуры, прилетевшие в лагерь расследовать причину смерти Льва Кондакова. Один из них долго изучал старенькую одностволку. Со спусковым крючком обнаружилась неполадка, ослабла пружина: при взведенном курке достаточно было слегка дотронуться до него пальцем, и выстрел неизбежен. Предположили, что Кондаков, заметив дичь, взвел курок, но по каким-то причинам не выстрелил. Курок он забыл снять с боевого взвода (такое частенько случается с охотниками). На привале Кондаков решил проверить, не залилась ли в ствол тундровая грязь, так как выстрел может разорвать сталь. (Он имел обыкновение носить одностволку дулом вниз.) Лева взял ружье за ложе и заглянул в дуло. Палец случайно коснулся спускового крючка...

Павел продолжал пребывать в состоянии полнейшего равнодушия ко всему на свете, потому что понимал: Леве ничто не может помочь. Ему казались ненужными, нелепыми осмотр места смерти Кондакова, тщательное изучение ружья, беседы следователей с геологами и рабочими. Почему? Потому что он ЗНАЛ причину смерти Левы.

Следователи, разумеется, беседовали и с Павлом.

— Скажите, в каких отношениях вы находились с погибшим?

— Вы хотите спросить, убивал я его или нет? Не убивал. Я не способен убить человека, даже если этот человек будет убивать меня.

— Пожалуйста, отвечайте на поставленный вопрос: в каких отношениях вы находились с погибшим?

— Особых симпатий к нему не питал. Как, впрочем, не испытывал и ненависти.

— А как относился к вам Кондаков?

— Думаю, так же.

— Вы полагаете, что Кондаков покончил с собой?

— Да.

— Причина?

— Он как-то тонул в трясине, но мне удалось спасти его. Расчувствовался он, что ли... не знаю. В двух словах поведал свою жизнь: был женат, жену очень любил, имел

сына и дочку, их тоже любил, особенно девочку. Жена с детьми ушла к сельскому учителю.

— И все? Маловато. Если бы каждый уходил из жизни по этой причине, добрая треть человечества исчезла бы с лица земли.

— Я говорю о настоящей, редкой любви, а не о простом сожительстве, пошлой привычке, которую принимают за любовь... Кстати, Кондаков пытался повеситься в первые дни, когда его покинула жена.

— Вот это очень и очень важно. Он сам вам рассказывал? Пожалуйста, вспомните все подробности разговора.

— К чему все это? Левы нет и никогда его не будет, понимаете?..

Следователи улетели. Павел так и не понял, какая из двух версий показалась им более аргументированной.

В далекое рязанское село Лаврентьевское полетела телеграмма, сообщавшая о смерти маршрутного рабочего Льва Кондакова. В телеграмме еще просили ответить: переправлять ли тело в Лаврентьевское или похоронить погибшего здесь, на Крайнем Севере? Ответ пришел от бывшей жены Льва Кондакова и походил на приговор: «Похоронить на месте». Очевидно, близких родственников у него не было.

Недалеко от лагеря мощным взрывом аммонита в гранитной породе вырыли могилу, из жердей лиственницы сколотили гроб. Стоя над могилой, женщины поплакали, мужчины хмуро покурили. Могилу засыпали, в изголовье перенесли валун пудов на десять и написали на нем белой масляной краской: «Лев Кондаков. Трагически погиб в маршруте».

* * *

Павел пожелтел с лица, осунулся. Это отметили в партии. Приходя из маршрута, он не вел длинных разговоров со Станиславом, сокровенные беседы с глазу на глаз, которые он так любил раньше, сейчас раздражали его, казались пустой тратой времени. Несколько раз Павла видели неподвижно сидящим возле могилы Кондакова.

Как-то вечером в палатку вошла медсестра с чемоданчиком в руке. Она измерила Павлу температуру, давление, прослушала со стетоскопом. Температура оказалась нормальной с точностью до десятой доли градуса. Давление — идеальное. В легких не было хрипов.

— Он абсолютно здоров, не понимаю, чем вызвано

ваше беспокойство? — пожав плечами, сказала потом медсестра геологам н рабочим, по просьбе которых оиа осматривала Павла.

И медсестра была права: физическн Павел был совершенно здоровым человеком. Но ежеминутно, н днем и иочью, с поразительной ясностью, мельчайшнмн подробиостямн, как иаяву, в памяти Павла всплывала сцеиа: Лева снднт на берегу реки, нзливает душу — косиоязычно, размахнвая руками, говорнт о том, что мертвой тяжестью лежало на сердце многие месяцы. Особенно не давали покоя его глаза, ищущне человеческого сострадаиия, обыкновениого человеческого сострадания, н ннчего больше. Маленькие, невыразительные, некрасивые, оии преследовали Павла повсюду, сводили с ума. В маршруте ои откалывал образец — с осколка камня глядели эти глаза; разговаривал с кем-либо, и глаза собеседиика непремеиио напомииалн ему глаза Левы.

«Если бы, если бы,— мучительио думал Павел,— я тогда просто выслушал его, даже не пытался бы успокоить, лишь посочувствовал вниманием, может, и не было бы такого нсхода? Он бы сейчас ходнл, дышал, видел солнце?»

— Да прн чем здесь я?! — бормотал он.— Разве я убивал Леву? Я, который, как все говорят, мухи не тронет?

«Нет, какой же ты убийца,— саркастически усмехался в ответ кто-то внутри Павла.— Ты хуже. Человек, чело-век находился у последней черты, над обрывом, и ждал, что ты протянешь ему руку помощи. Но ты протянул руку для того, чтобы толкнуть его в пропасть».

— Но я не зиал...— пытался противоречить себе Павел.

«Не лги мне, Павел, мне невозможно лгать,— опять усмехаясь, перебивал беспощадиый «кто-то».— Дело в том, что ты все ЗНАЛ и убил созиательно не пулей, а леиью душевной, полным равнодушием к страдаииям человека».

Еслн бы... Если бы... Эти бескоиечные «если бы» мучили н преследовали Павла даже во сие.

Если бы... Еслн бы... Особеино часто вспомииалась Люба, которую уволил Турчин, ее тонкие бледные руки, иеоформнвшееся, угловатое тело подростка. Очевидно: Турчнн не имел никакого права так обращаться с Любой, поступил с нею, как махровый иевежа. И если бы Павел в решающий момент не помалкивал подленько, а выска-

зал то, что думает о нем он и другие, может, все обернулось бы иначе, и Люба не испытала потрясения, которое, безусловно, не прошло для нее бесследно?

— Если бы... Если бы...— сидя возле Левиной могилы, шептал Павел, обхватив голову руками.

Его тянуло сюда, к этой могиле, с непреодолимой силою, как преступника тянет на место совершенного им преступления. Глаза Левы стояли перед глазами Павла, временами он даже слышал его глуховатый неласковый голос. «Лев Кондаков. Трагически погиб в маршруте»,— читал и перечитывал геолог грубо написанные масляной краской слова на валуне-обелиске и шептал, качая головою:

— Нет, надпись должна быть другой, другой...

В. ПШЕНИЧНИКОВ

ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ

— Ковалев! Лейтенант Ковалев! Василий! Да отзовись ты...

Он не сразу понял, кого окликали, и продолжал пристально наблюдать за летным полем. Там, в невесомом мареве, то укорачиваясь, то удлиняясь от знойных испарений, набирал обороты «Боинг». Едва заметные на расстоянии крапинки иллюминаторов, дрожа, поблескивали на солнце. Казалось, толстобрюхий самолет никогда не взлетит, так долго длился его разбег. Наконец у самой кромки взлетной полосы, за которой начинался лес, «Боинг» тяжко поднялся, подобрал шасси и косо потянул в вышину, оставляя за собой грязно-бурый след и надрывный удаляющийся грохот.

— Ковалев! Заснул, что ли? Зову, зову...

Не оглядываясь, Ковалев по голосу определил: Ищенко. Даже будто бы увидел из-за спины красное, распаренное лицо своего друга, его сердито надутые губы. Ковалев неотрывно смотрел, как стремительно пропадал, превращаясь в точку, большегрузый лайнер. Потом облегченно вздохнул, снял фуражку, изнутри вытер платком дерматиновый ободок тульи.

— Чего искал-то, Микола? — Ковалев повернулся.

— Тебя вызывает полковник.

Ковалев на мгновение приостановился, оглянулся назад, словно растаявший в небе «Боинг» мог каким-то чудом вернуться и занять прежнее место на полосе. Но от самолета не осталось уже и следа.

Ковалев обязан был проследить за отлетом «Боинга», на борту которого находился выдворенный за пределы Советского Союза иностранный турист. Всего три часа пробыл он на нашей земле, а ощущение осталось такое, будто трое суток. Неприятное ощущение.

...Турист этот прибыл утренним рейсом, в пору, когда остывший за ночь асфальт еще не успел накалиться до духоты, а трава на газонах до неправдоподобия натурально пахла травой, не сеном. Ковалев любил этот переломный час перехода утра в день, любил за особый настрой души, всегда возникавший в нем от ощущения, даже ожидания обязательной неповторимости и многообещающей

новизны. Да и голову еще не ломило, не сдавливало от гигантского напряжения, которое человек почти неизбежно испытывает во всяком большом современном городе. Ковалев замечал: что-то происходило с людьми в скоротечные эти мгновения. Они как бы заново нарождались на свет, были менее раздражительны, заботливей, бережливей относились друг к другу.

Именно таким удивительным утром самолет иностранной авиакомпании и доставил на нашу землю заокеанского туриста.

Поначалу никто не обращал особенного внимания на общительного пассажира: мало ли восторженных людей путешествует по всем точкам земного шара?

Турист лип буквально ко всем: то надоедал разговорами своему пожилому соотечественнику, страдавшему одышкой, то радостно протягивал контролеру-пограничнику через стойку кабины пустяковый презент — пакетик жвачки, в приливе чувств даже готов был его поцеловать, то кинулся помочь какой-то растерявшейся старушке заполнить таможенную декларацию и вовсе запутал, сбил ее с толку. С таможенником, когда подошла его очередь предъявлять багаж на контроль, заговорил на едва понятном русском так, словно они были старинными приятелями, лишь вчера расстались после пирушки, и теперь им необходимо вспомнить подробности весело проведенного вечера.

Багажа у него оказалось немного — чемодан да тяжелая коробка с пластинками. Таможенник перелистал конверты, словно страницы книги: Чайковский, Шостакович, Свиридов. Новенькие блестящие конверты отражали солнечные блики.

— Классика! — восторженно пояснил турист, постукивая твердым ногтем по глянцу картона.

Таможенник тоже оказался любителем классической музыки и, насколько знал Ковалев, по вечерам заводил в своей холостяцкой квартире старенький «Рекорд», внимая печальным органным фугам Баха... Только непонятно было, какая надобность туристу везти с собой в такую даль Шостаковича и Чайковского, если записей композиторов полно в любом музыкальном магазине? Другое дело поп-музыка или диск-рокко, в последние годы хлынувшие из-за границы, будто сор в половодье...

Дотошный таможенник подозвал к себе Ковалева, сказал негромко:

— Кажется, это по вашей части...

Когда туристу предложили совместно послушать его диски, он в смущении оглянулся, изобразил пальцем вращение и сказал:

— Нет этой... фонограф.

— Найдем,— заверили его.

Наугад выбрали из пачки первую попавшуюся пластинку, поставили на вертушку. После нескольких витков знакомой мелодии в репродукторе послышался легкий щелчок, и мужской голос, чуточку шепелявя, провозгласил:

— Братья! К вам обращаюсь я...

Иностранец буквально взвился на своем стуле: это подлог, у него были записи настоящей классической музыки!..

Ковалев молча наблюдал за тем, как менялось, становилось злым только что развеселое лицо интуриста, и невольно сравнивал, вспоминал... Еще мальчишкой он жил с отцом на границе, в крошечном старинном городке под Калининградом. Из самых ранних детских впечатлений осталось в памяти, как они ловили в необъятном озере метровых угрей. Мрачная с виду рыба брала только на выползня — огромного червя длиной с толстенный карандаш, охотиться за которым надо было ночью, с фонариком. Мальчик сначала не решался к ним подходить, но отец сказал, что никакой земной твари бояться не надо, и он осмелел, а потом оказался даже добычливей отца... На свет выползень не реагировал, но шаги слышал чутко, лежал, наполовину вытянувшись из норки, посреди утоптанной пешеходной тропы, наслаждался ночной прохладой. Надо было осторожно, на цыпочках приблизиться к нему, перехватить жирное извивающееся тело выползня у кратера норки и держать так, пока не расслабятся мощные, будто пружины, мышцы пресмыкающегося, постепенно вытягивая его из земли целиком...

Чем-то иностранный турист напоминал Ковалеву скользкого выползня.

— Вы подсунули мне чужие диски, это подлог! — брызжа слюной и багровея на глазах, визгливо кричал иностранец.

Начальник смены пограничников, в кабинете которого велось прослушивание, провел ладонью по лицу, будто к нему пристала липкая паутина, спокойно спросил:

— Коробку вы несли сами? Сами. Кто же у вас мог вырвать ее из рук и совершить подлог?

Сраженный таким простым доводом, турист крикли-

во заявил о произволе, препятствующем «свободному» обмену идей, о попранной демократии, нарушении принципов интернационализма, провозглашенных самим Лениным... Последнюю фразу он произнес на патетике, видимо, приберегал ее напоследок как главный аргумент.

Начальник смены, майор, тяжело поднялся из-за стола, какое-то время в упор разглядывал иностранца. Даже он, привыкший к дисциплине и самоконтролю, едва сдерживал свои чувства.

— Послушайте, вы...— голос майора звучал жестко.— Читайте, если вы грамотный человек,— майор указал иностранцу на плакат у себя за спиной.

Медленно шевеля губами, тот с трудом прочел: «Мы стоим за необходимость государства, а государство предполагает границы. В. И. Ленин».

— У вас еще будет достаточно времени поразмыслить над всем этим у себя дома,— уже спокойней заключил майор.— Выездная виза сегодня же будет передана с соответствующим заявлением вашему консулу. Для вас же путешествие закончено. Лейтенант Ковалев! Подготовьте материалы о выдворении гражданина из пределов СССР как нарушителя советских законов, задержанного с поличным... Проследите за его отправкой ближайшим рейсом...

И вот теперь, «проводив» любителя классической музыки, Ковалев шел к начальнику контрольно-пропускного пункта, недоумевая, зачем он мог понадобиться так срочно? Ищенко тоже ничего толком не знал и лишь поторапливал друга: скорей, и так времени потеряно много.

После улицы из кабинета начальника КПП пахнуло духотой закупоренного помещения. Ковалев доложил о прибытии, с удивлением отметил, что полковник встречает его с улыбкой.

— Не догадываетесь, зачем я вас вызвал? Только что позвонили из роддома: ваша жена родила. Все благополучно. Дочь. Надо же, повезло! А у меня одни парни, трое.— Полковник встал, протянул лейтенанту обе руки: — Поздравляю, Ковалев, от души поздравляю. Можете смениться, Ищенко я дам распоряжение, и домой.— Он взглянул на часы: — Служебный автобус отходит через двадцать минут. Не опоздайте. Желаю счастья!.. Да, если нетрудно, захватите и передайте начальнику аэропорта вот этот конверт. Там марки,— пояснил он смущенно,— наши сыновья затеяли обмен. Дружат, понимаете ли, до сих пор, раньше-то мы жили в одном доме...

Ковалев автоматически взял из рук начальника конверт. От счастья он сейчас плохо соображал.

На пути, перегородив узкий проход между двумя залами, попались неуклюже растопыренные стремянки маляров, затеявших косметический ремонт аэропорта, полные до краев ведра с побелкой и краской. Сами маляры — две девушки и парень в низко надвинутой на лоб газетной пилотке — работали на деревянных мостках под самым потолком, и оттуда летела на пол мелкая известковая пыль. Рискуя разбить себе лоб, вывозиться в мелу, Ковалев вихрем помчался к лестнице, ведущей на второй этаж, взялся за перила. И внезапно будто обожгло руку.

Прямо перед собой, чуть ниже ладони, он увидел пачку денег.

Деньги были свернуты в рулон и засунуты под фанерную обшивку, которой строители на время ремонта перегородили зону спецконтроля от общего зала, облицевали косыми листами перила и лестничный марш. В сумеречной тени шаткой некрашеной стенки, за которой находились таможенный зал и «накопитель», свернутые в рулон деньги легко можно было не заметить или принять за продолговатый сучок, мазок краски, а то и за мотылька, распластавшего овальные крылья по яичной желтизне фанеры.

Даже на глазок, без подсчета, Ковалев мог сказать, что обнаружил крупную сумму.

«Сотни четыре, не меньше. Доллары? Фунты? Или в наших купюрах?»

Медленно, будто внезапно что-то вспомнив, он повернул обратно, сосредоточенно нахмурил лоб. За ним могли наблюдать, и Ковалев, чтобы не выдать себя, не показать охватившего его волнения, на ходу открыл клапан почтового конверта, достал из него блок марок.

В блоке оказалась серия аквариумных рыб диковинных форм и расцветок. Он выудил из пакета следующий блок, притулился к киоску «Союзпечати» наискосок от лестничного марша и принялся углубленно изучать зубчатые бумажные треугольнички с изображением далеких солнечных стран. Под руки попался клочок с оторванным краем, на котором неподвижно застыла неправдоподобная в своей буйной зелени пальма, растущая срези знойных барханов, словно воткнутая в песок метла.

Время шло, а возле денег никто не появлялся. Ковалев просмотрел марки по второму кругу. Все эти сфинк-

сы, райские птички, запеченный яичный желток солнца, унылые бедуины в белых тряпицах на головах мало занимали его, но он старательно придавал своему лицу выражение неподдельного интереса. Уже и сама лестница с едва видной отсюда точкой спрятанных денег казалась ему похожей на застывший, словно пирамида, рисунок марки, а цель, ради которой Ковалев торчал в общем зале, была еще далека.

Откуда-то сбоку вывернулся Ищенко, подрулил к киоску, заговорил с подхода:

— Ну ты даешь, Василий! Лучшему другу — и не сказал. Хорошо, шеф просветил. Ну, поздравляю!

— Николай...

— Потом будешь оправдываться, за праздничным столом. Дуй скорей на автобус, осталось всего три минуты.

— Николай, слушай меня. И не оглядывайся. Под перилами лестницы — тайное вложение. Чье — пока не знаю. Сообщи начальнику смены. И пришли сюда когонибудь, хоть Гусева, что ли. Да объясни, пусть не бежит, как на пожар, а то все дело испортит. Ну, давай! У тебя и своих дел по горло. Автобус пусть едет. После сам доберусь, на такси. Так Гусева ко мне подошли...

Первогодок Гусев вошел в зал вразвалочку, покачивая чемоданчиком с таким видом, будто получил десять суток отпуска и вот-вот уедет домой.

«Артист! — восхищенно подумал Ковалев.— Смотри, как преобразился!»

Гусев изобразил на лице, что безмерно рад встрече с лейтенантом, затем хозяйски, чтобы не мешал, поставил чемодан на прилавок закрытого киоска. Незаметно шепнул, что Ищенко ввел его в курс дела, и тут же начал рассказывать какую-то смешную нескончаемую историю про одного своего знакомого, встретившего на заячьей охоте медведя.

«Артист! — снова искренне поразился Ковалев.— Откуда что взялось?»

Мимо них проходили люди, о чем-то говорили между собой, но Ковалев их почти не слышал, словно ему показывали немое кино.

Однажды, еще до училища, когда он служил рядовым на морском КПП и стоял в наряде часовым у трапа, ему тоже показывали «кино». В иллюминаторе пришвартованного к причалу океанского лайнера, на котором горе-

ли лишь баковые огни, вдруг вспыхнул яркий свет. Ковалев мгновенно повернулся туда и остолбенел: прямо в иллюминаторе плясали две обнаженные женщины, улыбались зазывно и обещающе. Он не сразу сообразил, что это из глубины каюты, затянув иллюминатор белой простыней, специально для него демонстрировали порнофильм. А потом к его ногам шлепнулось на пирс что-то тяжелое. Записка, в которую для веса вложили монету или значок! Он немедленно вызвал по телефону дежурного офицера. Тот развернул записку, прочел: «Фильм блеф, отвод глаз. Вас готовят обман». Всего семь слов. Внизу вместо подписи стояло: «Я — тшесны тшеловек». Ясно было, что готовилось нарушение границы... В тот вечер, усилив наблюдение за пирсом, наряд действительно задержал агента. Прикрываясь темнотой, тот спустился с закрытого от часового борта по шторм-трапу и в легкой маске под водой приплыл к берегу. С тех пор Ковалев накрепко запомнил «кино» и неведомого «тшесного тшеловека», который, наверняка рискуя, вовремя подал весть. Где он теперь?..

Время по-прежнему тянулось, будто резиновое. Гусев успел дорассказать свою историю и начал в нетерпении поглядывать на лейтенанта, потому что не привык на службе стоять просто так, без дела. Вот уже и маляры покинули свои подмостки, должно быть, отправились перекусить или передохнуть. Следом за ними спустился и паренек в легкомысленной газетной пилотке, поставил ведро со шпаклевкой к фанерной стенке, совсем неподалеку от денег. Ковалев напрягся. Маляр повертел туда-сюда белесой головой, полез в карман, закурил. Снова оглянулся по сторонам, словно отыскивая кого-то.

В это время внизу, у самого пола, видимо, плохо прибитые фанерные листы, разгораживавшие два зала, разошлись, и в проеме показалась рука, сжимающая продолговатый сверток. В следующий миг пальцы разжались, пакет оказался на заляпанном побелкой полу, а рука, мелькнув тугой белой манжетой, убралась. Листы фанеры соединились.

Гусев даже подался вперед, готовый немедленно начать действовать, но лейтенант незаметно осадил его: стой и не спеши. Пограничник должен уметь выжидать, в этом тоже его сила.

Вдруг Ковалев увидел, как паренек-маляр, хорошо видимый Ковалеву, докурил свою сигарету, затоптал окурок и еще раз, уже медленно, оглядел зал. Потом он тес-

нее прижал ведро к стене и заспешил вслед за ушедшими девушками.

— Наблюдайте за пакетом и деньгами,— приказал Ковалев солдату.— Потом обо всем доложите. Я — в накопителе.

Унимая гулко бьющееся сердце, сдерживая поневоле участившееся дыхание, Ковалев вошел в накопитель, отгороженный от общего зала и различных служб временной фанерной перегородкой до потолка. Обычно Ковалев избегал появляться здесь без надобности, потому что некоторые излишне нервозные и подозрительные иностранцы заранее ждали от этих загадочных русских какого-нибудь подвоха и незаметно, исподтишка фиксировали каждый шаг пограничного офицера; некоторые из них, пряча глаза, в душе желали, чтобы он поскорее покинул помещение.

На этот раз народу в накопителе было немного. Две дамы в строгих, неуловимо похожих деловых костюмах с глухими воротами под горло, сидели в ожидании своего багажа на полужестком диванчике, будто в парламенте, и важно вполголоса беседовали.

«Не по погоде одежда,— посочувствовал им Ковалев.— Жарко сейчас в кримплене».

Ковалев поневоле примечал профессиональным взглядом всякую мелочь. У той, что постарше, подремывал на коленях шоколадно-опаловый японский пикинес с приплюснутой морщинистой мордочкой и как бы вдавленным внутрь носом. Крошечной собачке не было никакого дела до журчащих звуков разговора хозяйки и ее собеседницы. Невнятный людской гомон, смешанный с заоконным аэродромным гулом, тоже мало беспокоил породистое животное, и пикинес невесомо лежал на хозяйских коленях, словно рукавичка мехом наружу.

Возле диванчика, неподалеку от дам, склонился над распахнутым кейсом тучный потный мужчина, по виду маклер или коммивояжер. Зачем-то присев на корточки, он перебирал кипы бумаг в своем пластмассово-металлическом чемоданчике с набором цифр вместо замков; шевеля губами, вчитывался в развороты ярких реклам или проспектов и собственных раритетов. Галстук у него сбился на сторону, словно мужчина только что оторвался от погони и сейчас наспех ревизовал спасенное им добро.

На Ковалева, прошедшего неподалеку, «коммивояжер» даже не поднял глаз.

Широкое окно посреди накопителя было обращено ко взлетно-посадочной полосе, и около него, сплетя за спиной длинные пальцы, неподвижным изваянием застыл человек спортивного склада. Ранняя седина выделялась в его волнистой шевелюре. Мужчина пристально наблюдал за тем, как в отдалении то и дело вихрем проносились самолеты различных авиакомпаний.

Вот мужчина повернулся, явив Ковалеву чеканный, как на медали, профиль лица, боковым зрением цепко охватил мало в чем изменившуюся обстановку зала и опять вернулся к прежней позе, лишь сверкнули из-под обшлагов пиджака дорогие запонки. Во всем его облике ясно читалась единовластная уверенность в себе и полнейшее равнодушие к происходящему вокруг.

«Такие должны хорошо играть в гольф и лихо водить машину»,— подумал Ковалев, вспомнив мимоходом какой-то не то английский, не то американский фильм.

Не было у Ковалева ни малейшего желания угадывать среди прочих иностранцев единственного, нужного ему человека, подозревать из-за одного всех, потому что в большинстве своем это были нормальные здравомыслящие люди, многие из которых еще помнили последнюю опустошительную войну или, во всяком случае, знали о ней хотя бы понаслышке. Но кто-то из них, занятых сейчас своими будничными делами, пытался, словно мышь, воспользоваться ничтожным просветом, щелью, чтобы совершить нечто противозаконное, идущее во вред государству и, таким образом, во вред ему самому, Ковалеву.

Примириться с этим Ковалев не мог.

Он продолжал наблюдение. Сцепленные за спиной, узловатые в костяшках пальцы иностранного пассажира и напоминали те, что на мгновенье мелькнули в отжатом проеме фанерного стыка, и были отличны от них. Чем? Размером, формой?.. Лейтенант, как бы фотографируя руки до мельчайших подробностей, до малейшей жилки, сравнивал и сравнивал запечатленное в памяти и видимое воочию; он боялся ошибиться.

Словно почувствовав на себе посторонний взгляд, мужчина расцепил руки, молча и, как показалось лейтенанту, презрительно скрестил их на груди.

Ковалев поспешил отвернуться.

Его внимание привлек сначала бородатый не то студент, не то просто ученого вида пассажир, по слогам читавший согнутую шалашиком книжку из серии ЖЗЛ об Эваристе Галуа, название которой Ковалев прочел на

обложке. Время от времени «студент» поднимал глаза и, не переставая бубнить, исподлобья окидывал зал, находил какую-нибудь точку и на ней замирал, подолгу уходил в себя. Толстая сумка, висевшая у него через плечо, была раздута сверх меры.

Чуть скосив глаза, Ковалев увидел маленького вертлявого человечка в мягких замшевых туфлях и болотного цвета батнике, надетом явно не по годам. Заказав себе в небольшом буфете, набитом всякой всячиной, порцию апельсинового сока, мужчина сначала удивленно разглядывал отсчитанный ему на сдачу металлический рубль с изображением воина-победителя, а потом гортанно начал требовать себе лед.

— Эйс, битте, льёт,— тыча пальцем в стакан, требовал он попеременно на разных языках.— Льёт, а? Нихт ферштеен? Айс!

Явный дефект речи не позволял ему выговаривать слова четко, и Ковалев волей-неволей улыбнулся: уж очень похоже было английское «айс» на вопросительное старушечье «ась?». Сам иностранец тонкости созвучия не улавливал, и оттого еще забавней выглядело его лицо с недовольно надутыми губами и сердитым посверкиванием глаз.

Знакомая Ковалеву буфетчица, Наташа, которой гордость не позволяла объяснить покупателю, что холодильник сломался и пока его не починит монтер, льда нет и не будет,— эта Наташа безупречно вежливо, старательно прислушивалась к переливам чужого голоса, как бы не понимая в нем ни единого слова.

Недовольно бурча, иностранец в батнике побрел от полированной, сияющей никелем стойки буфета, на ходу сунул нос в стакан, подозрительно принюхался к его содержимому и на том как будто успокоился. Апельсиновый сок ему пришелся по вкусу.

Другие пассажиры были менее колоритны, почти ничем не привлекли внимания офицера, и, глядя на их обнаженную аэропортом жизнь, Ковалев напряженно думал: кто? Кто мог осуществить тайное вложение? Коммивояжер? Любитель гольфа? Или «студент»? А может, этот, в батнике? Все они с одинаковым успехом могли проделать нехитрую манипуляцию со свертком — и ни о ком этого нельзя было сказать с достаточной уверенностью. Любое предположение заводило Ковалева в тупик, а он все равно упрямо продолжал размышлять. Две чопорные дамы, сидящие в накопителе, словно в парламен-

те, естественно, отпадали, потому что с их надменным видом никак не вязалось понятие грязного дела, недостойного их высокого положения. Благодушный семьянин с двумя хорошенькими девочками-близнецами, расположившимися неподалеку от дам, или восковолицый священник в долгополой сутане, выхаживающий по периметру накопителя, тем более не могли быть заподозрены.

И все же сверток поступил в общий зал именно отсюда, из накопителя...

Надо было как-то оправдать свое присутствие здесь, в месте, удаленном от пограничного и таможенного контроля, и Ковалев купил в буфете пачку каких-то разрисованных импортных сигарет, хотя терпеть не мог табачного дыма.

— Вы сегодня удивительно хороши,— он обратился к Наташе подчеркнуто на «вы».

Девушка поправила крахмальную наколку и сообщила лейтенанту:

— К концу недели завезут «Мальборо». Оставить?

Ковалев покачал головой: нет, не надо. Но невольно улыбнулся в ответ на ее заботу. Со стороны можно было подумать, что лейтенант-пограничник зашел сюда с единственной целью — поболтать с хорошенькой буфетчицей. Что ж, тем лучше. Он с улыбкой отдал Наташе честь и озабоченно направился в самый угол зала, где в стороне от других примостилась на стуле сухопарая миссис, почти старуха, которой уже ни к чему были ни пудра, ни крем, ни прочие атрибуты молодости.

Она прибыла в Союз с предыдущим рейсом, минут тридцать назад, но все еще не отваживалась покинуть зал и выйти на воздух. При посадке самолета ей стало дурно, стюардесса без конца подносила ей то сердечные капли, то ватку с пахучим нашатырем.

В аэропорту занемогшую пассажирку ждал врач, но от помощи она отказалась, уверяя, что с нею такое бывает и скоро все само собою пройдет. Просто ей нужен покой — абсолютный покой и бездействие, больше ничего.

Она сидела под медленно вращающимися лопастями потолочного вентилятора, вяло обмахиваясь остро надушенным платком. Весь ее утомленный вид, землистый цвет лица, кое-где тронутого застарелыми оспинами, нагляднее всяких слов говорил о ее самочувствии. Возле ее ног дыбились два увесистых оранжевых баула ручной

клади, и было любопытно, как она сможет дотащить их до таможенного зала.

Ковалев остановился напротив, учтиво спросил по-английски:

— Не могу ли я быть вам чем-ннбудь полезен?

Увядающая миссис натужно улыбнулась:

— О нет, благодарю, мне уже лучше. Весьма вам благодарна.

Белая батнстовая кофточка колыхалась от малейшего дзижения иностранки. Но поверх кофточки, усмиряя воздушную легкость батиста, пряча под собой тщедушное тело, громоздилось нелепое черное кимоно с шнрокими рукавами, делавшее женщину похожей на излетавшуюся ворону.

Ковалев устыдился столь внезапного, неуместного своего сравнения, будто оно было произнесено вслух и услышано; но и отделаться от навязчивого образа оказалось не так-то просто. Он поспешно кивнул пожилой нностранке и легким шагом пересек по диагонали продолговатый зал накопителя.

Теперь у Ковалева не оставалось ннкакой уверенности, что таинственный владелец пакета может быть обнаружен. И потому червячок неудовлетворения, почти юношеской досады точил и точил его душу, проннкая глубоко, в самое сердце. Уязвленное профессиональное самолюбие не давало покоя, звало к активным действиям, а что именно предпринять, Ковалев не знал.

И словно в утешение ему, каким-то чудом вызванная из недр памятн яркой звездочкой взошла в потемках душн внезапная радость: теперь нх на земле трое — он, жена н малышка. Дочь... Как они ее назовут? Кем воспитают?..

Еще давным-давно, классе в четвертом или пятом, Василий смотрел в театре чудесную сказку «Снежная королева». Он до слез жалел, что ему досталось от родителей такое неинтересное нмя, н тогда же, жалея себя, решил, что, еслн в будущем у него появнтся дочь, он назовет ее Гердой. Ну, а если сын, то Кеем...

Ковалев усмехнулся: детство все, наивное детство. Сейчас сплошь и рядом Деннсы да Ирины, как у Ищенко, да еще Светочки.

Хотя и с трудом, он заставил себя на время не думать о дочери, тем самым не позволяя себе расслабиться и размякнуть, потому что невозможно было совместить яркий сполох звезды — рождение дочерн, его продолжения на

земле,— с тем, что его повседневно окружало, что приучило на многое, очень на многое смотреть совсем иными глазами, чем все. И, пожалуй, впервые его кольнуло покуда безотчетное, но явственное отцовское чувство тревоги за судьбу дочери, за ее будущее. Ведь это на нее, познавшую лишь живительное тепло материнской груди, были нацелены рыла нейтронных бомб, на нее обращали яд возможной новой войны невидимые головорезы.

И с этой новой для себя мыслью, с тревогой, подступившей к самому сердцу, Ковалев поспешил к начальнику контрольно-пропускного пункта.

В кабинете «шефа», как называли молодые офицеры начальника КПП, по-прежнему стояла вязкая духота. Лопасти вентилятора, слившись в круг, разгоняли застойный жар лишь в ограниченном пространстве впереди себя, шевелили на лбу полковника прядку волос. Закупоренные от аэродромного шума двойные окна в алюминиевых рамах лишь добавляли тепла, накаляя кабинет, как через увеличительное стекло.

Сбоку, за приставным столиком, низко склонился к столешнице вызванный пограничниками офицер управления. Он сверялся с записями в коричневом добротном блокноте и на вошедшего не смотрел.

Ковалев коротко доложил, что установить, хотя бы предположительно, владельца пакета не удалось. Полковник сдул со лба спадавшую прядку волос, молча кивнул, указывая лейтенанту на стул. Глаза его были подернуты той спокойной матовостью, которая отличает в человеке большой опыт и знания. Ковалев втайне боготворил его, чем-то напоминавшего ему отца, после которого у матери осталось с десяток спешных любительских фотографий да вылинявшая за годы форма пограничного офицера. Отца настигла бандитская пуля уже после войны, и Василий, сколько себя помнил, всегда благоговел перед памятью о нем. Оттого никогда и не позволял себе в присутствии полковника вольных поз, мало-мальских неуставных отношений, хотя совместная их работа не проводила резкой грани между начальником и подчиненным, а, наоборот, большей частью ставила их обоих почти в равное положение.

Ковалев таил, ничем не выказывал своего истинного отношения к полковнику; ложное чувство самозащиты однажды продиктовало ему: не хочешь выглядеть перед ним излишне сентиментальным — не проявляйся, сжи-

май эмоции в кулак, потому что ты не юный пэтэушник, даже не студент, а человек в погонах, с которого спрос особый. Конечно, со временем он понял, что его рациональная теория страдает односторонностью, что глупо сдерживать в себе естественные природные начала, но уже ни перестроить, ни как-то перекроить себя на новый лад не мог: за полтора года послеучилищной службы на КПП в нем тоже сформировался, пусть не до конца, собственный характер, диктовавший свои нормы отношений и личного поведения.

Он и теперь вежливо, но твердо отказался от приглашения полковника сесть, стоял на удобном для разговора расстоянии.

— Вот что, лейтенант Ковалев...— Начальник КПП несколько раз нажал и отжал голубую кнопку остановки вентилятора, наблюдая за тем, как она глубоко утопает в круглой нише и вновь показывается оттуда, возвращаемая упругой пружиной.— Вот что... В свертке оказались рулоны восковки. Все тексты на ней — враждебного, подстрекательского содержания.

Полковник на минуту умолк. Ковалев терпеливо ждал продолжения разговора.

— Деньги, по всей вероятности, никакого отношения к пакету не имеют: слишком велико от них расстояние от пола, туда из щели не дотянуться. Видимо, кто-то решил избавиться от них таким образом. Бывает... И маляр тоже тут ни при чем — обыкновенный честный человек, хороший производственник, комсомольский секретарь бригады... Меня в данном случае беспокоит другое.— Полковник взглянул в окно, где синем-сине расстилалось небо без единого облачка до самого горизонта.— Разберемся: почему в пакете оказались только восковки? Обнаруженные восковки — не шапирограф, для них нужна специальная краска. Думается, надо искать недостающую часть «комплекта». Но — наши «опекуны» за рубежом слишком предусмотрительны, чтобы засылать столь далеко «неукомплектованного» агента... А может быть...— полковник перевел взгляд на офицера управления.— Может быть, агент — новичок, так сказать, попутчик, которого за плату уговорили доставить к нам эту мерзость с тем, чтобы потом передать ее по назначению.— Полковник с силой нажал кнопку остановившегося вентилятора.— Вот еще один вариант: трусость. Обыкновенная трусость, которой подвержены и опытные агенты. Вот, испугавшись чего-то, наш «гость» и выбро-

сил восковки. Таможенников мы уже предупредили, а им во внимаиии не откажешь.

Начальник КПП откинулся на спинку стула.

— Вам все ясно, лейтенант Ковалев?

— Так точно!

Вернувшись в зону пограничного коитроля, Ковалев некоторое время понаблюдал за работой контролеров. К ним в застекленные кабинки доверчиво, словно дети, протягивали паспорта и визы недавно прибывшие пассажиры, пытались о чем-то заговаривать, путаясь в словах и дополняя их где улыбкой, где жестами. Нигде никакого ии затора, ни недоразумения. Ревнивое, сладостное чувство током пробежало по жилам лейтенанта: его питомцы! Не зря корпел с ними на занятиях по идентификации личности, приучал к тонкостям обращения с документами. Теперь любой работает, как часики: поприветствует иностранца на языке его родины, окинет профессиональным взглядом паспорт, въездную визу владельца, проставит штамп, и — встречай, земля русская, заморского гостя! Встречай и привечай, открывай богатства русской души и необъятных российских просторов!..

В таком счастливом, почти праздничном настроении наблюдал Ковалев за работой своих подчиненных. И единственное, что огорчало его в этот момент душевного подъема, это неоконченная история с пакетом, в которой пока реально существовали лишь обнаруженные рулоны восковки да помнился быстрый, нервный промельк узкой руки с белой манжетой между желтых фанерин...

Когда пограничники уже заканчивали оформление пассажиров с прибывшего рейса, в дверях накопителя показалась прихворнувшая миссис. Видимо, она достаточно отдохнула, пришла в себя, потому что, хотя и пригибаясь, несла свой груз сама.

Следом, вытирая лоб платком, спешил с прижатым к животу кейсом тучный «коммивояжер».

Помахивая непонятно откуда взявшимся зонтом, вышел «любитель гольфа», как мысленно окрестил его Ковалев, мельком, ленивым полувзглядом окинул происходящее.

Человек в молодежном батнике и обросший «студент» столкнулись в дверях и никак не могли разойтись — обоим мешала битком набитая заплечная сумка обладателя книги об Эваристе Галуа.

Две дамы в строгих черных костюмах вышли из две-

ри накопителя, словно из кельи монастыря, храня на лицах прежнее недоступное выражение. У одной из них на руках по-прежнему подремывал разморенный жарой мохнатый пикинес. Сходство дам с монашенками усиливалось еще и тем, что они шли как бы в сопровождении священника в долгополой сутане, под его молчаливым взором не смели позволить себе даже лишнего шага.

Пожилая миссис, ближе всех оказавшаяся к стойке, подтягивала баулы поближе. Тяжелый груз чуть ли не вырывал из ключиц ее худые руки, жилы на шее напряглись — вот-вот лопнут. Ковалев хотел было ей помочь, но возле нее тотчас оказался пассажир в батнике, жестом предложил свои услуги. Однако пожилая миссис, с виду женщина бессильная, так шмякнула баулы об пол, так свирепо глянула на них сверху вниз, словно это были ее кровные враги, с которыми надлежало расправиться. Иностранец в батнике пожал недоуменно плечами и придвинулся поближе к «студенту», переложившему книжку под мышку.

Еще не отдышавшись после такой нагрузки, увядающая миссис полезла в карман кимоно за сигаретами, густо задымила, выпуская в недавно побеленный потолок едкие табачные струи.

Ковалев удивленно наблюдал за ней: так смолить — никакого здоровья не хватит.

Пассажиры разбрелись меж высоких столиков, принялись заполнять таможенные декларации. «Любитель гольфа» писал быстро, почти не отрываясь, с высоты своего роста глядя на продолговатый листок декларации. «Коммивояжер» отчаянно потел, и высунутый наружу кончик языка выдавал его немалое старание. Человек в батнике оказался небольшого роста и потому писал, едва не лежа подбородком на толстом пластике стола. Что-то не устраивало его в четких графах, он поминутно хмурился и комкал один лист за другим. Неподалеку от него заполнял документ сутуловатый «студент». Он так и стоял, не выпуская из-под руки, очевидно, понравившуюся ему книгу о великом математике, хотя она явно ему мешала.

Обладательница рыжих баулов справилась с декларацией быстро, одним махом. Ковалев подумал, что наверняка в ее руке перо трещало, отчаянно брызгало и рвало плотную бумагу — так быстро мелькала ее узкая ладонь. Сделав дело, сухопарая миссис выпростала худые руки из болтающихся рукавов кимоно, без надобности

щелкала и щелкала блестящей импульсной зажигалкой, поминутно прикуривая и без того подожженную длиннющую сигарету с темно-коричневым фильтром. Яркий румянец покрыл ее щеки, и Ковалев снова удивился, потому что видел всего несколько минут назад полустаруху, которая сейчас сбросила, по крайней мере, десяток лет.

Между тем «любитель гольфа» тоже освободился, с невозмутимым видом стоял, опершись на длинный зонт-автомат с изогнутой ручкой, и поглядывал на озабоченных своих соотечественников. Поднимали головы и остальные пассажиры, еще недавно дожидавшиеся своей очереди на оформление въездных виз в накопительном зале.

Знакомый Ковалеву таможенник, к низкому столику которого помолодевшая миссис подпинывала и подпинывала по скользкому мраморному полу свои оранжевые крутобокие баулы, незаметно переглянулся с лейтенантом, даже, кажется, подмигнул: вот, мол, дает, такой и годы и хворь нипочем!..

Пора было предъявлять ручную кладь на таможенный контроль, но иностранка отчего-то не спешила браться за баулы, уступала место другим. «С чего бы это?» — насторожился Ковалев.

Иностранка стояла к нему в профиль — маленькая и растерянная. Пристальнее прежнего окидывая взглядом ее тщедушную фигуру, Ковалев интуитивно угадал на ее поясе едва заметное утолщение, тщательно укрытое тяжелой тканью просторного кимоно. Такая диспропорция сначала озадачила лейтенанта, когда-то изучавшего анатомию человека и знакомого с основами живописи. Затем тонкая ниточка рассуждений повела за собой мысль, подсказывая Ковалеву безошибочный вывод...

Насколько Ковалев мог определить, таможенник тоже что-то почувствовал. Лицо его вмиг стало серьезным, сама собой угасла веселая улыбка, и таможенник вновь обрел торжественно-деловой вид. Два кадуцея в эмблемах петлиц его форменного кителя сияли на солнце крошечными запрещающими светофорами.

Даже не взглянув на баулы, таможенник спросил у миссис, все ли деньги и ценности указаны в декларации.

Иностранка фыркнула, видимо, что-то не понравилось ей в старательном произношении этого человека, облаченного в темно-синий мундир.

— Еще раз повторяю, миссис...

— Миссис Хеберт, если угодно.

— Миссис Хеберт, все ли деньги и ценности вы указали в таможенной декларации? — настаивал служитель на своем.

— Все! — отрубила пассажирка хрипловатым от табака голосом.

— Ну, что ж...— Таможенник протянул руку, требуя показать ему зажигалку, которую дама не выпустила из рук, даже когда заполняла декларацию и вздымала баулы на оцинкованный стол.

Осторожно он снял с блестящей безделушки заднюю крышку, выковырнул шилом комок ваты. На его подставленную ковшиком ладонь горошиной выкатился черный бриллиант, остро блеснул на свету отшлифованной гранью. Таможенник бережно взвесил, как убаюкал, его на руках, словно там было что-то живое, хрупкое, и в любой момент могло рассыпаться на куски. Черный бриллиант! Редкость необычайная. Точно его цену трудно даже назвать...

— Вам придется пройти в комнату для личного досмотра,— объявил таможенник иностранке, от изумления потерявшей дар речи.

Она не сопротивлялась, не устраивала крикливых сцен. Брела вслед за неумолимым таможенником, будто в шоке, не видя ни дороги, ни собственных ног. Вдоль тела безжизненно, плетьми свисали когда-то, должно быть, красивые руки с длинными пальцами, белые полоски манжет туго охватывали запястья.

Вызванная в комнату для личного досмотра пожилая женщина-таможенник сняла с нее плоский набедренный пояс с фляжками, наполненными специальной типографской краской трех цветов.

Дальнейшее она воспринимала как сон. Ей предъявили для опознания пакет в первоначальном его виде, развернули и показали содержимое — рулоны восковок, спросили, признает ли она эти вещи своими. Женщина равнодушно подтвердила: да, пакет и находящиеся в нем восковки — ее. И вдруг разрыдалась — безудержно, навзрыд.

— Я знала, знала, что все так и будет,— заговорила она вслед за первой, самой бурной волной слез.— Это они меня вынудили, они! Запугали, что к старости я могу остаться без крова и пищи, что меня вышвырнут на улицу или упекут в дом престарелых. Они все могут. О, теперь я вижу, что они со мной сделали! Сначала они уби-

ли моего мужа, подстроили, будто он погиб в автомобильной катастрофе. Но я-то догадываюсь, я убеждена, что это не так. Мой муж был осторожный человек, он никогда не переходил улицу в неположенном месте и всегда оглядывался; но он слишком много чего знал и всегда мог рассказать о них, всегда! А потом его не стало, и тогда они принялись за меня.

Женщина судорожно схватила протянутый ей стакан, сделала несколько торопливых глотков. Вода стекала по ее птичьей шее, пропитывала блузку — она ничего не замечала и говорила, говорила, захлебываясь словами от давно скопившегося гнева:

— После похорон ко мне пришли какие-то люди и сказали, что муж остался должен фирме, с которой сотрудничал, огромную сумму. Не знаю, что это была за фирма, муж не любил своей работы и никогда ничего мне о ней не говорил. И о долге — тоже... Мой дом быстро опустел, потому что я привыкла во всем полагаться на мужа и сама нигде не работала. А как иначе, ведь я ничего не умела делать такого, что принесло бы доход. Долг не только не погашался, но и возрастал, уж не знаю, как так у них получалось. Проклятье! Я огрубела и уже дошла до того, что сама себе начала стирать белье и готовить завтрак. А потом... потом они выкупили мою закладную на дом и сказали, что теперь я у них в руках. «Как птичка,— сказали они,— птичка, которой можно подрезать крылышки». Они требовали, чтобы я согласилась работать на них, как это делал муж, и тогда у меня ни в чем не будет нужды.

Она сделала еще один торопливый глоток, бездумно начала перекатывать стакан с водой в ладонях. Ее никто не торопил, и женщина, вздохнув, продолжала:

— Однажды какой-то черный автомобиль промчался совсем рядом со мной, только чудо помогло мне остаться в живых. И тут я не выдержала. О, вы не знаете, что такое завтрашний день без куска хлеба и без надежды, что такое наши дома для престарелых, куда идут, чтобы умереть не на улице, не под чужим забором... Меня каждую ночь преследовали кошмары, будто я босиком ступаю по холодному полу этого гадкого дома. Б-р-р!.. Нет, вам многого не понять! Я всю жизнь прожила в достатке, мой муж неплохо зарабатывал, чтобы содержать и меня, и дом. Детей у нас не было, так что разорять было некому. И вдруг — все кувырком!.. А те люди, что навещали меня после гибели мужа, сулили мне райскую жизнь, по-

кой и обеспеченность до самой смерти. Они подарили мне бриллиант только за то, чтобы я поехала к вам по туру. И путевку в вашу страну — тоже они приобрели! О, мой бриллиант...

— Кстати, миссис Хеберт, зачем вам понадобилось возить бриллиант с собой, да еще в такой, я бы сказал, оригинальной «оправе»? Насколько я понял, вы ведь не собирались его продавать?

— Разумеется, не собиралась. Я держала его, как у вас говорят, на черный день. Да, я пыталась спрятать его у себя дома, даже нашла для него ямку в стене, в кухне, под кафелем. Но у нас, знаете, слишком ненадежны дома, чтобы быть спокойным за свое добро.

— Тогда отчего вы не указали камень в таможенной декларации? Он был бы в абсолютной сохранности, уверяю вас. Наши законы гарантируют неприкосновенность личной собственности.

Иностранка вскинула удивленные глаза, не понимая, шутят над нею или говорят правду.

— Вы что, не знали этого? Да или нет?

Она прошептала едва слышно:

— Нет...

Ковалев, все это время молча стоявший у стены кабинета, где шел первичный допрос, взглянул на стол. В самом его центре выделялась на белом листе бумаги усеченная пирамидка камня. Всего лишь камень, продукт природы. А сколько судеб сошлось вокруг него! Нет, когда его дочь вырастет большой, он позаботится, чтобы золотой телец не стал для нее идолом, знаменем жизни. Как можно, чтобы человеком управлял минерал?.. Чтобы в итоге прожитой жизни — печальном итоге — оставалась такая ничтожная, сомнительная ценность? Ковалев взглянул на женщину, все еще не унявшую рыдания.

— Чем вы должны были заниматься в Советском Союзе? — спросили ее.— Конкретно: ваши задачи и цели?

— Вот именно — заниматься, потому что делать я ничего не умею,— раздраженно произнесла иностранка.— Я кое-как научилась вязать, только кому сейчас нужны мои вязаные чулки, когда их полно всюду, в любой лавочке? А те господа научили меня обращаться с этими штуками,— кивнула она на фляжки и розовые восковки, ворохом сложенные тут же, с краю стола.— Я должна была намазывать формы краской, печатать, а потом засовывать эти дурацкие листовки в почтовые ящики по

подъездам! И так — все дни моего пребывания в любом вашем городе. Но в последний момент я чего-то испугалась и решила избавиться от пакета. Хорошо, что я нащупала ногой щель; это меня спасло. Я тут же успокоилась. В конце концов, меня никто не контролировал из тех господ, только я слишком поздно догадалась об этом. А тем людям всегда можно было сказать, что я сделала все, как они велели. О, позор! — Она закрыла лицо обеими руками.— Я — и какие-то почтовые ящики!

Присутствующие на первичном допросе переглянулись, осторожно спросили:

— У вас все, миссис Хеберт?

— А что у меня может быть еще? Что? С меня и так достаточно, довольно. Я устала и... и довольно.

Женщина снова закрыла лицо ладонями, горько, безутешно заплакала. Но слезы мало-помалу иссякли. Она подняла голову, с беспокойством спросила:

— Что мне за это будет?

— Вот протокол допроса.— Офицер управления протянул ей несколько листков: — Прочитайте и распишитесь.

— И... что со мной сделают? — напряглась она.

— За попытку незаконного провоза антисоветских материалов вы будете выдворены из пределов Советского Союза. Остальное — дело вашей гражданской совести.

Иностранка обвила длинными пальцами голову, сжала ее, как обручем.

— Кстати, бриллиант вы можете забрать с собой.— Офицер протянул ей камень.— На память. Он все равно фальшивый. Вот заключение экспертизы. Обыкновенная красивая стекляшка. Как видите, ваши господа оказались не столь щедры на расплату.

Иностранка сидела оцепенев, потом начала что-то искать на столе среди других вещей.

— Закурите? — Ковалев ловко вскрыл пачку, выщелкнул из ароматной ее глубины длинную сигарету.— Пожалуйста, не стесняйтесь,— предложил он почти тем же тоном, каким разговаривал с «больной» иностранкой в закупоренном прямоугольнике накопителя.

Пожилая миссис, на глазах растерявшая остатки былой стати, жадно потянулась к протянутой сигарете.

— Можете оставить себе всю пачку.

Ковалев без сожаления отдал ей красиво разрисованную коробку импортных сигарет, потому что сам не терпел, просто не выносил губительного, вредоносного дыма.


NORMANDIE-NIEMEN



ДОКУМЕНТЫ И ФАКТЫ

«НОРМАНДИЯ — НЕМАН»: к 40-летию создания полка

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Каждый год в мае мы отмечаем День Победы. Каждый год в августе Франция отмечает День освобождения.

Освобождение Франции, Норвегии, Голландии, Бельгии, Австрии началось в 1943 году, когда на Волге потерпела поражение армия Паулюса. Залпы наступающих Донского, Юго-Западного и Сталинградского фронтов возвестили о начале освобождения Европы. Но война еще шла. Огромный театр военных действий протянулся от Волги до Средиземного моря. Боролись всюду, там, где люди не хотели смириться с фашистским ярмом.

Особое место в борьбе народов Европы против фашизма занимало французское Сопротивление.

У народа Франции была трагическая судьба. Он пережил «странную войну», разочарование в «линии Мажино», бессилие правительства, трагедию Дюнкерка, предательство Петена.

Трагедия Франции была тем более ощутима, что на нее с надеждой смотрели народы Европы. Они рассчитывали на ее военный потенциал, армейскую мобильность, на знаменитую французскую воинскую славу. Но мужественных французских солдат, храбрых офицеров и талантливых генералов предала кучка политических интриганов, пришедших к власти. Народ Франции не сложил оружия. Слово «Сопротивление» по сей день является синонимом мужества и героизма. Борьбу с фашизмом возглавила Французская коммунистическая партия. В одном строю с французами дрались за освобождение Европы и советские люди, бежавшие из немецких концлагерей. К весне 1944 года во Франции действовало 35 советских партизанских отрядов: «За Родину», «Ленинград», «Чапаев», «Максим Горький» и др. Они уничтожили 3500 гитлеровцев, пустили под откос 65 воинских эшелонов, взорвали 3 моста, взяли в плен 650 немецких солдат и офицеров.

Сорок лет назад, 22 марта 1943 года, в небо на Западном фронте поднялись первые истребители Як-1, несшие на крыльях опознавательные знаки «Сражающейся Франции».

5000 боевых вылетов, 869 воздушных боев, 273 сбитых вражеских самолета — таков боевой путь полка «Нормандия — Неман».

В ноябре 1942 года, в дни, когда разворачивалась битва на Волге, в Советский Союз прибыли 14 французских летчиков и 58 авиамехаников. Семьдесят два верных сына Франции стали костяком будущего авиационного полка.

Среди первых пополнений был молодой аспирант (будущий офицер) воздушных сил «Сражающейся Франции» Игорь Эйхенбаум, и о нем наш первый рассказ.

С. МИТРОХИНА

ПОЗЫВНОЙ «Я — МИШЕЛЬ»

По рассказам ветерана полка «Нормандия — Неман», радиста, офицера связи и переводчика майора Игоря Ричарда Эйхенбаума

Майор Игорь Ричард Эйхенбаум воевал на советско-германском фронте в 1-м отдельном истребительном авиационном полку «Нормандия — Неман» с сентября 1943 года по май 1945 года. Во время наступления Красной Армии на 3-м Белорусском фронте он осуществлял радионаводку на передовой, вызывая французских летчиков на прикрытие наземных войск или на перехват вражеских самолетов. Был фронтовым переводчиком. После окончания войны становится генеральным секретарем ассоциации французских летчиков-ветеранов «Нормандии — Неман». Ассоциация призвана хранить память о победе над гитлеровским фашизмом и о тех, кто отдал свои жизни ради этой победы, беречь и укреплять узы дружбы между французскими ветеранами полка и их советскими братьями по оружию.

Майор И. Р. Эйхенбаум награжден многими французскими и советскими орденами и медалями, в том числе — высшей французской наградой — орденом Почетного легиона и советским орденом Отечественной войны II степени.

Будущий офицер полка «Нормандия — Неман», радист, пулеметчик, авиамеханик Игорь Ричард Эйхенбаум служил в одной из регулярных частей французской армии на Мадагаскаре[1]. Однажды он обедал в небольшом уютном кафе и вдруг услышал по радио: «Сегодня, 22 июня 1941 года, Германия напала на Советский Союз без объявления войны».

Человек эмоциональный, он не смог сдержаться и, вскочив, закричал изо всех сил:

— Теперь конец Гитлеру, он проиграет войну! Советский Союз победит!

[1] В то время одна из французских колоний в Африке (так называемая «заморская территория»).

Это заявление, как и другие подобные, стоило ему тюремного заключения и окончательного занесения в списки «контра», «неблагонадежных», то есть тех, кто решил быть в рядах «Сражающейся Франции» [1].

Они, патриоты, любящие свою родину и готовые отдать жизнь за нее, не могли смириться с позорной капитуляцией Франции. Их поддерживал тогда призыв генерала де Голля:

— *Ко всем французам! Франция проиграла битву! Но Франция не проиграла войну! Самозванные правительства сдались, поддавшись панике, забыв честь, отдав страну в рабство. Несмотря на это, ничто не потеряно, потому что эта война — мировая война. ...Я призываю всех французов, где бы они ни находились, присоединиться ко мне... Наше отечество — в смертельной опасности. Давайте все бороться, чтобы спасти его!!!*

Это воззвание прозвучало 18 июня 1940 года из Лондона, через два дня после того, как маршал Петен подписал позорное для Франции перемирие; армия разоружена, страна оккупирована, сопротивление фашистам карается смертной казнью. Но патриоты не сдавались: отовсюду, где стояли регулярные части французской армии, в Силы Свободной Франции (ССФ) вступали те, кто не хотел сдаваться и не был согласен с петеновским режимом [2]. За одну лишь попытку побега военных в Лондон, где формировались ССФ, была введена кара — расстрел на месте или каторжные работы.

Но они все равно бросали свои части и шли на смертельный риск побега, чтобы сражаться за честь родины.

...Путь Игоря Эйхенбаума во Францию лежал через

---

[1] 3 сентября 1939 года, после нападения фашистской Германии на Польшу, Англия и Франция объявили войну Германии, но это была так называемая «странная война», потому что никаких военных действий предпринято не было. 16 июня 1939 года к власти пришло капитулянтское правительство Петена, немедленно обратившееся к немецко-фашистскому командованию с просьбой о перемирии, которое было заключено. Две трети территории Франции было оккупировано (а в ноябре 1942 года оккупирована и вся страна). Французские патриоты во главе с Французской коммунистической партией организовали народное движение Сопротивления. В Лондоне возникло движение за освобождение Франции, получившее название «Свободная Франция» (с июля 1942 года — «Сражающаяся Франция»), во главе которого находился генерал Шарль де Голль.

[2] Капитулянтское правительство Петена избрало своей столицей город Виши, поэтому петеновский режим называли также вишистским режимом.

Россию. Так же, как путь его будущих товарищей по эскадрилье (а позже — полку) «Нормандия».

Итак, Мадагаскар.

— Я сидел тогда в военной тюрьме за антифашистские высказывания, когда ко мне пришел товарищ передать необычную новость: в Джибути, крупном стратегическом вишистском порту, требуются механики. Но, поскольку город блокирован английскими войсками, туда могут отправить только добровольцев.

Это была удача! Ведь здесь, на острове Мадагаскар, за мной постоянное наблюдение, не убежишь, а вот в Джибути, на континенте, где рядом — союзные антигитлеровские войска англичан,— это более вероятно.

Он дал согласие на перевод в Джибути.

ПОБЕГ

Каждого из прибывших летчиков принял лично, с глазу на глаз, командир ВВС французского Сомали, предупредив:

— Мы тут не шутим, чуть что — сразу расстреливаем.

Дело в том, что в Джибути и в соседних гарнизонах бывали уже удачные и неудачные попытки бегства. Поэтому принимались различные предосторожности: на ночь и в нелетную погоду из моторов под личную ответственность дежурного вынимались детали. Ангары запирались на замки. Часовые стреляли в каждого подошедшего.

Эти порядки существовали уже два года и всячески «совершенствовались».

Начальником ангара был старшина Пьер Лабат. При первом же знакомстве он и Игорь Эйхенбаум поняли, что у них одинаковые цели, взгляды и настроения.

Выбраться из Джибути поездом нечего было и думать (на границе с Абиссинией военные власти разобрали полотно), угнать самолет — почти невозможно. Но они все равно решили лететь. Правда, были люди, которые знали морской «брод» и могли провести через него. Однако бежать на самолете было не только заманчиво, но и необходимо: ССФ не имели своей техники, и каждый самолет, не только боевой, но и просто транспортный, ценился на вес золота.

А в Джибути обстановка становилась все мрачнее: в

гарнизоне выпускалась вишистская газета, где сообщалось, что немецкие войска вот-вот победят Советский Союз, что Сталинград пал. Поощрялись также доносы на патриотов: «Кто скажет, где находится голлистская сволочь, получит две пачки сигарет». Радиоприемники были изъяты у населения, и хотя в официальную информацию не верилось, все-таки оснований для оптимизма было мало.

Две попытки побега сорвались. И вдруг снова везет: Лабату предложено лететь в Алис-Абъет, где из-за технических неполадок совершил вынужденную посадку самолет, который теперь надо ремонтировать.

В последний момент перед отлетом Пьер делает вид, что болен, и остается на аэродроме. А Игорь, воспользовавшись тем, что «заведовал» оружием, завладев ключами, в течение ночи полностью разоружил базу, вынимая детали из пушек и пулеметов и прокалывая шины у самолетов, чтобы исключить возможность погони.

Они выбрали для побега самолет устаревшей конструкции — «Потез-25» (максимальная скорость — 200 километров в час). На современной машине бежать не решились — сложно пилотировать, ведь оба — не пилоты, а техники. Это дополнительный риск, ведь их легко могут нагнать, но зато — меньше возможности разбиться. И вот «Потез-25» в воздухе. Пограничники, получившие телефонограмму о побеге, обстреляли самолет. Сделали несколько выстрелов и англичане, пока не увидели сброшенный им сигнал — дымовую шашку — и утяжеленную коробочку с запиской, содержащей просьбу дать посадку. Это произошло 5 декабря 1942 года в 6 часов утра.

ПУТЬ НА РУССКИЙ ФРОНТ

Побег имел резонанс: два авиатехника, не умея пилотировать, бежали к де Голлю на самолете! Из Лондона пришел приказ — направить смельчаков в Англию. Там формировались французские десантные части для будущей высадки союзников.

Но неожиданно старшина Игорь Эйхенбаум, авиамеханик, стрелок-оружейник и моторист, получает совершенно иное предложение. Приходит запрос из России: кто из механиков запишется добровольцем во французскую авиачасть «Нормандия»? Он был механиком и, значит, станет добровольцем. К тому же он еще и стрелок!

На следующий день после вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз генерал де

Голль встретился с советским послом в Лондоне И. Майским и высказал желание, чтобы добровольцы-французы сражались в рядах Красной Армии против гитлеровцев.

К тому времени многие французские летчики, бежавшие из петеновской Франции и колоний, рвались в бой, но не имели самолетов. Советский Союз согласился принять французских добровольцев в ряды своих ВВС и обеспечить их боевой техникой. Весной 1942 года по распоряжению Национального комитета «Свободной Франции» в Раяке[1] *(Ливан) стала формироваться новая истребительная авиачасть «Нормандия», позднее ставшая полком. Первая группа добровольцев — четырнадцать летчиков и пятьдесят восемь механиков — прибыла в Советский Союз в конце 1942 года. 4 декабря эскадрилья «Нормандия» приказом командующего ВВС Красной Армии была включена в состав Советских Военно-Воздушных Сил. Почетное наименование «Неманский» полк получил 28 ноября 1944 года, отличившись в боях при прорыве обороны немцев на Немане. С этого дня «Нормандия» стала называться «Нормандия — Неман».*

Но Игорю Эйхенбауму не пришлось быть нн механнком, ни стрелком. Майор Мнрлесс, офнцер связн, только что вернувшийся из Москвы в Тегеран, вызвал его к себе. Разговор носил конкретный н неожнданный характер.

— Вы летнте туда не как техник, а как переводчик.

— Переводчиком — ни за что! Я не попугай! Я не смог стать пнлотом из-за блнзорукостн, но я механнк, а главное — спецналнст по вооруженню, стрелок, и хочу летать и бомбить фашистов.

— Но «Нормандия» — истребительная часть. И в самолете-истребителе есть место только для пилота.

— В таком случае я отказываюсь быть добровольцем в «Нормандни».

Он упрямо стоял на своем, спорил, и майору Мнрлессу понадобнлось еще трижды беседовать с ннм, чтобы в конце концов убедить:

— Подумайте, ведь большинство парней из «Норманднн» не знают нн слова по-русски, онн чувствуют себя потерянными в этой стране, столь отличающейся от нашей. Кроме того, начинается наступление под Ельней, и

[1] Впоследствии французские летчики называли себя «раяками» — в память о первой своей авиабазе, а также пользуясь этим наименованием как паролем.

командир Пуйяд никогда еще так не нуждался в человеке, который свободно говорит по-русски и сможет, находясь на передовой, осуществлять радионаводку и вызывать истребителей «Нормандии» для поддержки наземных войск.

Игорь Эйхенбаум согласился, но все равно некоторое время был твердо уверен, что прибыл в Советский Союз не драться с врагами, а просто повторять чужие приказы.

— Итак,— в последний раз спросил Мирлесс,— даете ли вы согласие?

— Да, мой майор. Но поймите меня — мне не хотелось бы быть только переводчиком.

Майор Мирлесс оказался прав: профессия фронтового переводчика — это не только перевод, это — непрерывное действие. И особенно в полку, где почти никто из пилотов не говорил и не понимал по-русски. Правда, некоторые слова понимали все: «давай, ами француз, давай», «от винта», «есть», «прием, прием», «француз, мерси» и, конечно,— «Орел», «Смоленск», «Орша»...

На фронте его ждали самые разнообразные поручения и наиболее трудная и опасная для переводчика военная работа — радионаводка на передовой... Он разыскивал своих пропавших без вести товарищей, летал в партизанские отряды.

Но тогда, 18 сентября 1943 года, на тегеранском аэродроме, имея в руках билет до Москвы, он не представлял еще себе всего круга будущих обязанностей.

Вместе с ним летел Поль Пистрак, тоже с детства знавший русский язык и тоже до конца войны — бессменный переводчик полка.

Остановка в Астрахани. Первое, что они видят,— огромный эвакогоспиталь, расположенный недалеко от древней кремлевской стены. Они поражены количеством тяжело раненных. Некоторые забинтованы с ног до головы, многие на костылях, кто-то не в силах самостоятельно идти, опирается на плечи товарищей, кого-то несут на носилках.

> Какие же тяжелые бои идут в Советском Союзе — вот первая мысль, которая приходит мне в голову. Это первый непосредственный контакт с «русской» войной, и мне не забыть его по сей день. Во мне закипает злоба. Скорее на фронт! С этого мо-

мента и все время потом я знаю: здесь, в России, идет беспощадная, не на жизнь, а на смерть, война с фашизмом. А ведь я видел войну в Сирии и в Англии. Но там она не всегда ощущалась, порой о ней удавалось забыть. Здесь же она была с тобой каждую минуту.

19 сентября 1943 года. Сталинград... Им дали возможность увидеть город с высоты бреющего полета. Самолет описал несколько кругов над городом и над Волгой. Круги эти навсегда запечатлелись в его глазах, потому что это были круги ада.

> Город Сталинград имел шестьдесят километров в длину, и все эти шестьдесят километров были сплошными развалинами. Разрушения в таком масштабе даже трудно было себе представить. Балки, трубы — все перевернуто, искорежено, покрыто ржавчиной и дымом. Куски стен с оконными или дверными проемами, кучи щебня, обломки пушек, танков, гражданская утварь. Если не всматриваться, то видишь кругом только изуродованные балки и — камни, и камни, и камни.
>
> Как военный, я понимал, что это была за битва и чего стоила русским победа.

Он знал и раньше, что русские стояли насмерть. За ходом Сталинградской битвы следили все антифашисты. «Мы, французы,— скажет спустя сорок лет ветеран полка «Нормандия — Неман» Пьер Матрас,— внимательно наблюдали за Сталинградской битвой, день за днем отмечая на карте малейшие изменения в ходе сражения... Сталинград был поворотом войны, одной из решающих ее побед».

...Самолет приземлился на южной окраине Сталинграда — фронтовом поле «Бекетовка». Пассажирам было разрешено осмотреть город, вернее, ту его часть, где можно было хоть как-то ступать по земле. Вид сверху все-таки отличался от той картины, которая предстала перед глазами теперь: беспорядочное нагромождение обломков и осколков имело, оказывается, свой «порядок»; все эти куски металла — алюминия, чугуна и стали — были на вес золота. Их собирали в кучи, развозили и складывали: алюминий с алюминием, сталь со сталью, чугун с чугуном, чтобы переплавить и ковать новое оружие. «Все для фронта, все для победы» — этот лозунг войны осуществлялся повсюду.

Необычная экскурсия завершилась осмотром дома

сержанта Павлова; стены, как сито, былн пробиты пулями.

Двадцать пять лет спустя он снова увндит этот дом, когда в составе делегацни 303-й авнадивизин во главе с генералом Г. Н. Захаровым посетит Сталинград. Город давно уж восстановлен, и ннчто не напомннает ту груду камней н железа, которую он увндел в сентябре сорок третьего. Но дом сержанта Павлова оставался таким же, какнм был тогда. У входа стоял часовой, охраняя этн камни, потому что каждому хотелось взять на память релнквню. Игорь Эйхенбаум попросил разрешения взять несколько кирпнчей для выставок о Велнкой Отечественной войне, которые, как ветеран «Нормандин — Неман» н генеральный секретарь ассоцнацин, он устранвал во многнх городах Францнн. С трудом, благодаря личной просьбе генерала разрешение было получено.

А в 1971 году во Франции выставку «Нормандия — Неман» в Велнкой Отечественной войне» в составе советской делегации посетнл сам легендарный сержант Павлов. Он ннкак не ожндал увидеть здесь куски «своего» дома и оставил такую взволнованную надпнсь в кннге отзывов:

«Ннкогда не думал, что в Париже увнжу кнрпнчн, которые защищал 58 дней».

...Земля Сталинграда была плотно забнта пулямн, снарядамн, мннами н осколкамн. Меснво битого кнрпича и расплавленного металла. И — запах въевшейся, казалось на века, гарн. Земля дымилась спустя почтн восемь месяцев после битвы! Что же здесь было тогда, знмой 43-го?

В молчаннн, потрясенные, все вернулнсь на авиаполе.

— Я ощутил потребность двигаться, ндтн куда глаза глядят. После всего увнденного было необходнмо побыть одному. Я все шел н шел вперед, и до самого горнзонта не было вндно ннчего, кроме каркасов пушек, танков, груды обломков самолетов н бесконечных верениц автомашин всех тнпов и размеров: это свознлн кучн металла, чтобы перековать его в новое оружие.

Вдруг послышались удары молота. На расстояннн прнмерно километра я заметил два снлуэта. Подошел ближе и увидел старого кузнеца. Ему

было приблизительно лет шестьдесят. Огромным молотом с очень длинной рукояткой он бил на взмах какой-то кусок металла. Это была броня немецкого танка. Старик стучал и стучал молотом, продолжая ломать на части изуродованный танк. Рядом был мальчик лет двенадцати. Поздоровались. Кузнец, видимо, понимал, что происходит с каждым новым человеком, увидевшим руины города, и по-своему ответил на мой безмолвный вопрос:

— Город что... Восстановим... А вот жизней не вернешь.

На глазах у него показались слезы, и, словно оправдываясь, он добавил:

— Я участвовал еще в первой битве. В обороне Царицына.

Слов его никогда не забуду: жизней павших не вернешь.

МОСКВА — МОНАСТЫРЩИНА

Вечером самолет приземлился на Центральном московском аэродроме. Несколько дней проходят в ожидании приказа.

12 октября приказ получен. В качестве офицеров связи и переводчиков Эйхенбаум и Пистрак в звании младших лейтенантов получают назначение в полк «Нормандия». Они летят на фронт. В том же самолете — генерал Пети, глава французской военной миссии, и летчик-истребитель Жюль Жуар, на счету которого уже пять сбитых фашистских самолетов.

Он сбил их еще в 1940 году во Франции. Жуар — один из самых заслуженных французских летчиков. Он очень красив, молод и очень смел.

Полевой аэродром «Слобода» возле Монастырщины, в восьмидесяти километрах от Смоленска. Первая встреча с летчиками «Нормандии», точнее, с теми пятнадцатью, которые остались в живых после Орловско-Курской битвы. Среди погибших Литтольф, Ларжо, Бернавон, де Тедеско, Кастэлен, Верней, Преснози, Бальку и первый командир полка Жан Тюлян, отличавшийся отчаянной храбростью. Побег Тюляна из петеновских войск к союзникам вдохновил многих других. Как и все, что делал этот командир, побег был рискованным, точно продуманным и стремительным.

Тюлян был капитаном и командовал эскадрильей в Раяке. Утром 5 декабря 1940 года вылетел на

тренировочный полет вместе со своим ведомым Жоржем Амарже. Набрав заданную высоту (9 тысяч метров), Тюлян передал по радио: «Испортилась подача кислорода, пикирую, пробиваю облако, идите за мной».

Амарже выполняет приказ, но, выйдя в свою очередь из облака, не увидел самолета ведущего. Покружил над морем, но следов аварии не обнаружил. На базе Тюляна также не было! А он бежал на территорию Палестины, в ряды Сил Свободной Франции. Этот побег Тюляна и еще несколько побегов других летчиков, которым тоже удалось бежать на боевых самолетах, позволили создать первую истребительную эскадрилью ССФ под названием «Эльзас», командиром которой и был назначен Тюлян. Эскадрилья трижды переформировывалась, так как несла большие потери. Когда была создана эскадрилья «Нормандия», Тюляну как одному из лучших асов Франции было предложено ее возглавить.

Вечером, в день прибытия на фронт, состоялся прием в честь генерала Пети. Присутствовали советские летчики во главе с генералом Захаровым — командиром 303-й авиадивизии, в состав которой входила французская эскадрилья «Нормандия». Это единственный случай за всю войну, когда дивизия могла «поблагодарить» немцев: поспешно отступая, они оставили свой продовольственный склад. Прием получился «роскошным» для военного времени.

Но уже на следующий день я узнал, что такое обычная норма русского военного пайка и что такое военный быт на русском фронте. Такого я не видел ни в Африке, ни в Англии.

Я хочу отдать дань уважения русскому солдату не только за его храбрость, но и за те неимоверные лишения и тот тяжелый военный труд, который он вынес на своих плечах. Я видел советских летчиков и техников, но видел и бойцов наземных войск: по три дня без горячей пищи, по пояс в ледяной воде, они тащили на себе пушки, когда лошади уже отказывались это делать.

Я много видел и в русском тылу, видел, как женщины, старики и подростки тянули огромные, по

пятнадцати метров в длину станки, привязав их к лыжам, а потом при двадцатиградусном морозе работали на этих станках под открытым небом. Это действительно была народная война и *всенародный* подвиг: вот почему русские выиграли войну.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОФЕССИИ

Как оказалось, работа оперативного переводчика на фронте не имела пределов. Майор Мирлесс был прав — французские пилоты терялись без родного языка. Самые способные научились некоторым словам и выражениям, но этого было мало. Особенно, пожалуй, важным был военный перевод тех боевых заданий и инструкций пилоту, которые давались по-русски: их необходимо было передать быстро и абсолютно точно, так как малейшая ошибка в переводе могла стоить летчику жизни.

Для летчиков были организованы семинары по изучению новой техники, которая даже тогда, во время войны, непрерывно совершенствовалась. Вновь прибывшие французы знакомились с новым для них типом советского самолета — Як-1, Як-9 и Як-3.

> Я провел много ночей над книгами и инструкциями по пилотажу, моторам, радио, электричеству, воздушным навигациям, вооружению и т. д., так как до тех пор почти не знал этой терминологии по-русски. А термины эти необходимо было знать абсолютно точно, чтобы самому понять технические разъяснения, инструкции, задания и как можно яснее передать их.

При возвращении самолета с задания кто-нибудь из офицеров штаба полка или дивизии беседовал с пилотом: нужно было узнать, как шел бой, что летчик видел на земле — какие войска, какую технику и сколько. Здесь тоже нужен был переводчик.

Необходимо было каждый день переводить сводки Совинформбюро, а также советы врачей, содержание медицинских рецептов, административные отчеты, а главное — поддерживать постоянную устную связь. И — поспевать всюду.

Общительный характер французов и русское радушие всегда порождали самые теплые взаимоотношения, симпатии, дружбу. Перевод нужен был постоянно и притом — двусторонний: скажи это, передай то! А как по-русски вот это? А как по-французски?

Приходилось также сопровождать тяжелораненых

или тяжелобольных в главный медсанбат, иногда — до ближайшего города, а иногда и до самой Москвы.

В случаях с тяжелоранеными я старался как можно обстоятельнее передать все нюансы самочувствия, и, понимая мои усилия, они успокаивались от уверенности, что врачу все перескажут точно. Я отдавался своей работе полностью, от души, и находился в распоряжении «своих» летчиков день и ночь.

Надо сказать еще об одном важном аспекте работы — личной переписке.

Франция была оккупирована, и писем из дому почти никто из нас не получал. Даже открытки из Красного Креста к нам не доходили. Пилоты — в большинстве своем молодые и холостые. Возникали привязанности. И когда кто-нибудь получал письмо от девушки, я должен был немедленно перевести его хотя бы устно, не теряя времени, адресату. Обычно я успевал на ходу передать лишь самое главное. Но я знал, что такой беглый перевод ограничивал душевную суть письма, и по просьбе летчиков ночью, когда вся база спала, делал уже подробный письменный перевод. Иногда меня «щадили» и разрешали переписывать по-французски не все письмо целиком, а только наиболее понравившиеся куски, чтобы иметь возможность их перечитывать. Ответы, в свою очередь, надо было переписать по-русски. По счастью для меня, такие письма случались не каждый день... Но подчас был наплыв, и мне приходилось туго. Я постоянно недосыпал, но думаю, что этот труд под названием «Личная переписка» был почти так же нужен, как перевод приказов боевых заданий в воздухе или координат местонахождения противника.

Во время переформирования эскадрильи летчики «Нормандии» проходили подготовку в Туле. Осенью 1943 года туда прибыло большое пополнение — шестьдесят два летчика-истребителя.

Переводчики полка должны были уделять много внимания прибывавшим в Советский Союз новичкам из пополнения, объяснять им не только устройство фюзеляжей, мотора, вооружения, бортового оборудования новых для них типов самолетов, но и учить их бытовым условиям жизни в суровом русском климате, рассказы-

вать о традициях дружбы, возникшей между французскими и советскими бойцами.

В числе моих других обязанностей было принимать пополнение в Москве и сопровождать в Тулу. Летчики прибывали небольшими группами, и я сделал около двадцати рейсов Москва — Тула и обратно по железной дороге. В вагоне я часто был единственным французом, и мне приходилось отвечать на тысячи вопросов о Франции: меня поражала эта готовность спрашивать и этот интерес ко всему, стремление обо всем узнать, даже о тех странах и местностях, в которых я просто побывал — Сирии, Ливане, Египте, Палестине, Алжире, Тунисе, Марокко, Иране, Ираке, острове Согласия, Южной, Средней и Западной Африке, Англии. Многие мои попутчики сами ехали из далеких мест — Владивостока, Новосибирска, Урала — и тем более они интересовались всем и хотели как можно больше узнать о других странах и городах.

25 мая 1944 года пополненная часть получила приказ приступить к боевым действиям на 3-м Белорусском фронте. Теперь это уже был полк «Нормандия», состоявший из четырех эскадрилий. В честь Франции и в знак веры в ее близкое освобождение эскадрильи получили имена четырех французских городов провинции Нормандия. Эти города во Франции были еще под пятой фашистов, но в русском небе на советских «яках» поднимались эскадрильи Франции — «Руан», «Гавр», «Шербур», «Кан». Они несли на крыльях непокоренные названия, и это был символ того, что за эти города и за всю Европу здесь, на советско-германском фронте, идет битва не на жизнь, а на смерть. Вместе с советскими братьями по оружию французские летчики сражались, приближая победу.

И часто помимо русского языка я слышал на советских волнах немецкую речь: «Achtung, Achtung, die Freanzosen sind in der Lüft!» [1] Эта фраза не нуждалась в переводе. У фашистов к нам был особый счет: гитлеровцам оказывали сопротивление летчики оккупированной ими страны.

СО 2-М ТАЦИНСКИМ ГВАРДЕЙСКИМ ТАНКОВЫМ КОРПУСОМ

Радионаводка на передовой — это совершенно особое задание, при выполнении которого возникает много

[1] Внимание, внимание, французы в воздухе! *(нем.)*

неожиданностей, и радионаводчик часто получает приказ действовать «соответственно обстановке». Радиолокаторы засекали вражеские самолеты и следили за их передвижением. Но противник старался как можно чаще менять курс, чтобы оторваться от наблюдения. Сведения об изменении курса поступали на русском языке и немедленно, с абсолютной точностью должны были быть переведены на французский, а командир полка давал приказ на взлет в зону боев или на перехват.

Во время наступлений оперативных переводчиков посылали на передовую. Особенно запомнилось наступление в Восточной Пруссии.

Это был прорыв на лобовую 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса под командованием генерала А. С. Бурдейного. Советские танки Т-34 прорвали фашистскую оборону и стремительно шли вперед, подавляя всякое сопротивление противника на своем пути.

> Мне уже пришлось участвовать в трех крупных операциях на передовых линиях, но никогда еще я не видел наступления такого размаха. Снабжение осуществляли с самолетов. Стояли страшные морозы, до тридцати градусов, а земля, казалось, была пропитана минами — но танковый корпус при поддержке авиации все дальше и дальше углублялся на территорию противника. Мы воевали на фашистской земле! До Победы оставалось уже немного!

В обязанности радионаводчика входило не только передавать координаты для воздушных боев на перехват, но и уметь ориентироваться в наземной ситуации, чтобы вовремя вызвать истребителей в точки наземных боев. Такую радионаводку обычно осуществлял кто-нибудь из летчиков, чаще всего потерявший из-за ранений способность летать, то есть те, кто знал особенности летной терминологии и понимал, что происходит в воздухе во время и наземных, и воздушных боев, а также умел бы соотносить картину воздушных боев с картой воздушных сражений. Опыт наблюдения за воздухом у Игоря Эйхенбаума уже был, приходилось участвовать и в действиях пехоты, но с танковым корпусом он еще не ходил.

> Оперативная карта была получена мною 16 января 1945 года лично от генерала Бурдейного вместе с объяснениями задания и напутствием: «Направление и цель — Кенигсберг и Берлин. Осталь-

ное — соответственно обстановке. Ясно, товарищ младший лейтенант «Нормандии — Неман»?»

Я готовился к выполнению своей миссии и тщательно изучал карту: я должен был знать ее наизусть и суметь в нужные моменты совершенно точно переносить все моменты продвижения танкового корпуса на мою авиационную воздушную карту. Кроме того, мне нужно было знать всю терминологию танкового боя, знать, как называется оборудование танка, его вооружение. А я, выйдя от генерала, не увидел вокруг ни одного танка... Поэтому и спросил у советского старшего лейтенанта, сопровождавшего меня, как же быть. Он улыбнулся:

— Танки вокруг нас, они замаскированы.

Действительно, метрах в пятидесяти от нас, абсолютно слившиеся со снегом, стояли знаменитые Т-34. А я-то думал, что вокруг нас только снег и лес!

Потом у меня было достаточно случаев восхищаться поразительным искусством маскировки.

Еще летом, в августе 44-го, у него появилась отличная возможность наблюдения — хороший французский бинокль, отобранный у одного немецкого генерала, который, как выяснилось при допросе, отобрал его когда-то у французского полковника.

Я сказал, увидев этот бинокль:

— А-а, французский бинокль.

И добавил по-немецки, что этот бинокль ему уже не понадобится, теперь генералу придется восстанавливать то, что они разрушили, а для начала — casser les cajus — дробить камни.

Этот бинокль давал возможность видимости на 30 километров по горизонту и очень пригодился.

Танковая армада генерала А. С. Бурдейного неудержимо двигалась на запад. Советская артиллерия поддерживала это наступление мощным огнем. Немцы оказывали отчаянное сопротивление, пытаясь бомбовыми ударами с воздуха парализовать продвижение советских танков. Но советское превосходство в воздухе было уже несомненным.

Знание трех языков очень помогало выполнять задания по радионаводке «соответственно обстановке». И когда в воздухе звучали слова «Ici Michel» [1], на них

[1] «Здесь Мишель» (франц.) — позывные «Нормандии — Неман», по имени первого переводчика полка Мишеля Шика.

откликались и 18-й гвардейский под командованием Героя Советского Союза А. Е. Голубова, и другие полки 303-й авиадивизии. В эфире звучали слова, понятные и русским и французским однополчанам:

Ici Michel! Attention, «Fokke — Wulf» en l'air! J'ecoute! Allo! Génja! Prikrivajet «Normandia»! Bombi! Priom! Franzouse, merci! Davai! Ami Franzouse — davai! [1]

В прорыве участвовали знаменитые «катюши», и команда «О-о-гонь!» долго еще потом, во Франции, звучала у них в ушах.

Гром от танков, «катюш», от бомбежек такой, что глохнут уши: когда шло наступление, земля дрожала в радиусе 20—30 километров.

> Мне пришлось самому испытать это ощущение, когда рядом рвались реактивные снаряды. Даже на расстоянии 1 километра от их взрывов у вас останавливается дыхание, и вы ощущаете удар по всему телу, не говоря уже об ужасном грохоте и свисте, который словно преследует вас. Вылет снаряда и залпы поглощают так много кислорода, что моментально задыхаешься, а у лошадей, опустивших шеи и склонившихся до земли, из ноздрей льется кровь, и они, изнемогая, мотают головой из стороны в сторону, чтобы избавиться от страшного гула.
>
> И все-таки я получаю огромное удовольствие от этого пекла: для меня, француза, мысль о том, что фашисты получают здесь, на русском фронте, во сто крат за те злодеяния, которые они причинили всей Европе, приносит радость.

Во время Восточно-Прусской операции возникла фронтовая дружба с Володей Корсаковым, водителем танка Т-34...

> Замечательный парень. Он говорил мне: «Пиши, Игорь! Где бы я ни был, в моей деревне всегда будут знать, где я, и тебе ответят».

И конечно, верным другом стал майор Горохов, который выполнял в этом прорыве для советских авиачастей то же задание по радионаводке.

> Во время затишья мы с ним часто, лежа в тран-

---

[1] Здесь Мишель! Внимание! «Фокке-вульфы»! Я слушаю! Алло! Женя! Прикрывает «Нормандия»! Бомби! Прием! Француз, мерси! Давай! Друг француз, давай! (*Часть русских слов приведена в транскрипции: так их произносили французские летчики во время общения с советскими боевыми товарищами.*)

шее, «ворочали» судьбами мира после войны: мы мечтали о том, какая будет повсюду мирная братская жизнь.

Друзьями стали и советские разведчики. Ночью они ходили в немецкий тыл за «языками», а днем — всегда на своих мотоциклах впереди танковой колонны.

Их работа была очень опасной. Завидев их, я ждал с бьющимся сердцем. Иногда скажут радостно: «Взяли двух «языков», иногда — увы — услышишь тихое: «А Павел погиб...»

Я никогда не забуду это героическое наступление советских войск — огромный поток русских солдат, устремленных на запад. Для них, казалось, не существовало лишений — они шли сквозь холод, буран и огонь — к Кенигсбергу, к Берлину, к Победе.

На войне всякое бывает. Двадцать шестого января, уже недалеко от Кенигсберга, танковая колонна двигалась со скоростью 30—40 километров в час. Никакого сопротивления. До самого горизонта — лишь голые поля и ни дерева, ни куста. Вдруг слева от дороги показались шестьдесят «Фокке-вульфов-190». Идут низко, на бреющем полете, приближаются, а вокруг — голое место, нигде не спрятаться и нигде не укрыть танки, технику, людей. Приказ — всем остановиться.

Allo Rayack — ici Michel! Allo Rayack — ici Michel! 244—522! Soixante «Fokke — Wulf»! Aux secours! Aux secours! J'ecoute, j'ecoute! [1]

В воздухе неподалеку было звено Жака Андрэ. Координаты получили также готовые к вылету истребители, дежурившие возле своих самолетов. Были вызваны все советские истребители с ближайших аэродромов. Но им надо было от трех до десяти минут, чтобы прилететь на помощь. А исход ситуации решали не минуты — секунды.

...«Фокке-вульфы» шли двумя группами, по тридцать самолетов справа и слева, на строго определенном расстоянии друг от друга, крыло к крылу и хвост к хвосту. Обе группы возглавлялись ведущими. Вот они начинают сближаться, эти два командира, но вдруг крылья их сталкиваются и от удара ломаются. Самолеты начинают падать на землю. Два взрыва. Дисциплина в воздушных

[1] Алло, Раяк! Я Мишель! Алло, Раяк — я Мишель! 244—522 (координаты.— *Ред.*)! Шестьдесят «фокке-вульфов»! На помощь! На помощь! Прием! Прием! *(франц.)*

колоннах мгновенно разрушается, и потерявшие своих вожаков «фокке-вульфы» в панике ломают строй, переходя в беспорядочный полет. Переполох, растерянность, наспех бросают несколько бомб (на военном жаргоне — «лягушек») — и исчезают.

Это из тех невероятных случаев, когда говорят — могло быть хуже.

> Случай нетнпнчный, но зато красноречвый: протнвник не любил неожиданные ситуацнн, н наши пилоты, поняв это, старались посеять беспорядок в рядах немецкнх воздушных групп, откалывая их друг от друга, предлагая неожиданные варнанты боя.

В Восточно-Прусской операцни полк «Нормандня — Неман» храбро сражался. Вот что вспомнннает об этнх днях французскнй пилот Франсуа де Жоффр в своих мемуарах [1]:

«За четыре дня наступления полк «Нормандия — Неман» уничтожил двадцать пять вражеских самолетов, повредил двенадцать, но мы потеряли трех летчиков, и семь «яков» были выведены из строя... Эйхенбаум с земли, находясь на передовой, наводит нас на противника... Вся авиация немцев в воздухе. Немецкие летчики пытаются любыми средствами помешать русскому наступлению — мы не знаем ни минуты передышки. Стоит сильный мороз. ...Я все еще не могу понять, как у нас не отваливались от мороза пальцы, когда в струе воздуха от вращающегося винта приходилось закреплять парашюты голыми руками!

...Майор Дельфино мог гордиться своим полком. Он сам участвовал почти в каждом бою.

Наш переводчик возвращается с передовой и рассказывает:

— ...Трудно себе представить жестокость танкового боя. Нам пришлось давить гусеницами батареи, которые стреляли в нас. Чугун, бетон и человеческие тела — ничто не могло устоять перед русским танком».

ЛЕТЧИКИ И МЕХАНИКИ

Первый отдельный нстребнтельный авнаполк «Нормандия — Неман» к концу Великой Отечественной войны нмел славный боевой счет: 273 сбнтых фашистских стервятннка.

[1] *Франсуа де Жоффр.* Нормандия — Неман: Воспоминания летчнка. М.: Военнздат, 1982.

Смертью храбрых пали сорок два французских летчика. Среди павших — первый командир полка Жан Тюлян, его заместитель Литтольф, Герой Советского Союза Марсель Лефевр, навечно занесенный в списки N-го авиационного полка. Он провел двадцать воздушных боев, сбил одиннадцать фашистских самолетов. Уроженец провинции Нормандия, Лефевр говорил: «Мы покинули свою поруганную родину, чтобы возвратиться туда только победителями. Иного пути у нас нет». Он пользовался очень большим авторитетом в полку.

28 апреля 1944 года при возвращении с боевого задания машина Лефевра загорелась, ему удалось дотянуть до аэродрома и даже посадить самолет, но... Свидетелем его гибели был ведомый де Жоффр. «Пылающий как факел Лефевр выпрыгивает на землю. Я вижу, как он катается по траве, чтобы сбить огненные языки, которые лижут его одежду. Солдаты и механики бросаются ему на помощь. Они сжимают Лефевра в объятиях и своими телами закрывают его так, что огонь появляется на одежде спасающих...»

Марсель Альбер, бывший слесарь завода «Рено», второй ас Франции, сбил 23 вражеских самолета, провел более 50 воздушных боев. Вместе с ним часто летал в паре Ролан де ля Пуап. Это был известный «тандем»; оба они стали Героями Советского Союза.

Герой Советского Союза Жак Андре — сын известного французского спортсмена и летчика периода первой мировой войны. За сравнительно небольшой срок пребывания на советско-германском фронте провел десятки успешных операций в воздухе, сбив 15 вражеских самолетов, а 16 января 1945 года в районе Гумбиннена и Куссенена уничтожил в одном бою четыре самолета противника.

Де Жоффр, Риссо, Матрас, Дюран, Лорийон, Марки, Муанэ, Лемар, Перин, Карбон — известные асы, на счету которых не один сбитый стервятник. В одном из боев в октябре 1944 года Пьер Лорийон сбил сразу двух фашистов — но и его «як» оказался пробитым — чудом удалось совершить посадку. «Як» уже на земле перевернулся, пилот был ранен, но скоро снова вылетал на боевые задания.

Полк отличился в битве за Курск, Орел, в небе Ельни, Смоленска, Витебска, Орши, Белоруссии, Литвы и Восточной Пруссии. В одном только октябре 1944 года за семь дней было одержано сто побед. Полк «Норман-

дия» был специально тогда отмечен в приказе Верховного главнокомандующего. Вот цифры некоторых сражений: 16 октября, совершив 100 вылетов, французские летчики уничтожили 29 самолетов противника, не потеряв ни одного! 17 октября — 109 вылетов и 12 сбитых фашистов. 20 октября — 71 вылет и 11 сбитых вражеских самолетов.

...Это произошло 17 октября 1944 года.

Истребители «Нормандии» получили задание прикрывать в бою советских бомбардировщиков. Самолет Эмоне был атакован вражеским «мессершмиттом», и внезапно его «як» перешел в плоский штопор. С трудом выбравшись к люку, повредив при этом руку и разрезав глубоко ногу, Эмоне выбросился с парашютом. Истекая кровью, французский летчик приземлился. Вокруг шло танковое сражение, от разрывов снарядов и бомб земля дыбилась. Он укрылся в воронке и вскоре увидел, что к нему приближается человек в летной куртке и шлеме — это был Степан Якубов, штурман советского бомбардировщика, одного из тех, кто вел бой вместе с пилотами «Нормандии». Еще там, в небе, Степан видел, как был атакован «як», и засек место, где приземлился французский летчик.

Командир русского бомбардировщика погиб в бою, пулеметчик получил сильные ожоги. Похоронив командира и отведя в медчасть пулеметчика, Якубов поспешил теперь на помощь французскому пилоту. «Он дополз до меня, растянул парашют, положил меня на него и тянул примерно метров двести, до безопасного места». Потом русские танкисты, изменив курс, отвезли потерявшего много крови Эмоне и обожженного пулеметчика в ближайший перевязочный пункт. Эмоне вспоминал впоследствии: «Мы передвигались с остановками, прячась между деревьями. Когда немецкие самолеты, маневрируя, пролетали над нами, русский пулеметчик лежал рядом со мной. Он был сильно обожжен, но, несмотря на ужасные боли, не издал ни звука. Наконец добрались до маленького леса, где расположился перевязочный пункт, меня положили на солому, много русских приходили посмотреть на меня и подбодрить: Якубов рассказал, что я летчик «Нормандии». Потом в санитарном поезде меня отправили в Москву, и все относились ко мне очень дружественно, искали для меня французские книги, каждый старался что-нибудь подарить мне».

Много лет спустя Игорь Эйхенбаум, переписываясь со Степаном Якубовым, написал ему:

«Дорогой мой боевой брат Степа! Получил твое письмо с воспоминаниями о твоей фронтовой жизни. Своих заслуг, пожалуйста, не уменьшай. Ты спас нашего друга Эмоне и этим завоевал у нас высокое признание... Тебя помнят у нас и любят».

Помнят и любят — как «отца дивизии» — генерала Захарова, инженеров Агавельяна и Рыжова, Филиппова и Корнеева и всех советских механиков, которых ласково прозвали «ангелы-хранители».

Я должен сказать особо о советских техниках. В течение всей войны они ухаживали за нашими самолетами в самых трудных, а порой в ужасных условиях. Они не только мало спали, проводя день и ночь у «своего» самолета, по десяти раз проверяя каждую его часть, чтобы быть уверенными в полной готовности «яков» к бою. Но они находили еще время, если у них выдавалась хоть одна минута, до блеска протирать и начищать наши машины, которые всегда сияли, как зеркало,— мы действительно причесывались перед ними — это не слова. А порой мы видели, как кто-нибудь из них тихо оплакивал в углу «своего» не вернувшегося с задания французского летчика.

Трагический случай войны, ставший достоянием истории и символом советско-французской боевой дружбы, навсегда неразрывно соединил два имени: Морис де Сейн и Владимир Белозуб. У них был один парашют на двоих — и потому одна судьба. Когда при переброске с одного аэродрома на другой пилот де Сейн перевозил в фюзеляже своего друга механика Белозуба, их самолет потерпел в воздухе аварию. Де Сейн вернулся и пытался посадить горящую машину, но три попытки сесть «вслепую» (пилот был ослеплен парами бензина) закончились неудачей... Несмотря на приказы советского и французского командования воспользоваться парашютом, де Сейн предпочел смерть вдвоем жизни для одного себя.

Вот как де Сейн писал о Белозубе в письме во Францию:

«Мама, здравствуй. Хочу рассказать тебе о Володе. Я называю его философом. Домой он меня ждет с таким же нетерпением, как и ты. Но к нему я возвращаюсь чаще — по два, иногда три раза в день. Когда я сплю и

вижу тебя и Клодин, он сна не знает. Мой русский друг в это время делает все, чтобы я еще раз вернулся. Какой это мастер! Какой парень! Обнимаю. Морис де Сейн».

А вот письмо Владимира Белозуба своей матери:

«Пока нет боевой работы, и я нахожусь в тылу, отдыхаю, хожу в кино, театр — временная передышка. Подружился с одним французом. Его имя — Филиппо Морис де Сейн. Славный парень! Настоящий друг. Мы связаны с ним одной веревочкой. В свободное время обучаем друг друга грамоте. Он меня французскому, а я русскому. Если сможете, достаньте русско-французский словарь — мне пригодится. Ваш сын Володя».

Такая же священная дружба связывала Франсуа де Жоффра и механика Лохина. Де Жоффр вспоминал в своей книге:

«Механики относятся к нам с чувством трогательной дружбы. Надо видеть их лица, их горящие взгляды, их счастливые улыбки, когда мы сообщаем им о наших победах...

Как-то утром, возвращаясь с задания, я сообщил старшему инженеру полка Агавельяну:

— Истребитель очень сильно вибрирует...

— Ничего, товарищ де Жоффр. Я сменю мотор на вашем самолете за одну ночь.

Мне казалось, что он шутит, но, придя на аэродром утром, я увидел моего славного Лохина, который уже заканчивал крепление капота... Меньше чем за одну ночь, при сильном ветре, не имея возможности работать в перчатках, три русских механика заменили мотор в 1200 лошадиных сил. Я хотел бы достигнуть величия этих людей...»

Полк «Нормандия — Неман» часто выполнял свои задания в воздухе совместно с 18-м гвардейским под командованием легендарного А. Е. Голубова, лично проявлявшего чудеса храбрости. Он выпрыгнул однажды с двадцатиметровой высоты из горящего самолета без парашюта, сломав тазовые кости, ребра, получив жестокие ушибы, но пообещал вернуться в строй. Действительно, через шесть месяцев он вернулся в свой 18-й гвардейский полк.

Любимцем «Нормандии — Неман» был Амет-Хан Султан, дважды Герой Советского Союза, «король тарана». Де Жоффр написал о нем:

«Знаете ли вы, что такое таран? Это наивысшая форма самопожертвования русского летчика, который, израс-

ходовав полностью боеприпасы, устремляется на вражеский самолет и ударяет его своей машиной. В девяноста случаях из ста это неминуемая гибель. Амет-Хану повезло. Он остался жив».

На его боевом счету 20 сбитых вражеских самолетов и более 500 вылетов.

История советско-французского боевого содружества знает еще два имени: Николай Пинчук и Альбер Дюран.

В одном из боев Николай Пинчук, расстреляв все боеприпасы, пошел на таран: фашистский бомбардировщик стал разрушаться и падать на землю. Но и самолет Пинчука, получив после тарана повреждение, перешел в беспорядочное падение. Лейтенант Пинчук выбросился с парашютом. Но два фашистских стервятника приближались к нему, чтобы расстрелять в воздухе обезоруженного советского летчика. Это увидел Альбер Дюран и бросился наперерез фашистам, вступив с ними в бой на виражах, отвлекая их на себя. Пинчук между тем приземлился в расположении своих войск, а к концу дня произошла встреча: Николай искал своего спасителя. Ему сказали, что это был Дюран. «Спасибо, Дюран!»

Французские летчики хорошо знали о прославленных советских героях А. Покрышкине, И. Кожедубе, братьях Глинка. Их подвиги, как вспоминали они впоследствии, «поднимали боевой дух французских добровольцев».

КОМАНДИРЫ

Первым командиром полка был майор Жан Тюлян. Своей блестящей летной техникой, героизмом в воздушных боях, чувством товарищества приобрел он с самого начала всеобщую дружбу, доверие и уважение. Генерал Захаров на первых порах упрекал его за индивидуализм в полетах, за абсурдный риск ради личной победы.

> Тюлян был ас, отчаянно храбрый, азартный. От его поведения во многом зависело, как будут вести себя остальные французские летчики.
>
> Расстояние между ведущим и ведомым у советских летчиков было 50 метров, ведомый, таким образом, плотно прикрывал ведущего, а у французов это расстояние вначале было до 300 метров, и Захаров требовал, чтобы французы, как и советские пилоты, шли в бой, плотно прикрывая друг друга. Он говорил: «Война требует коллективных действий, а не индивидуальных».

Тюлян был замечательным, виртуозным мастером

высшего пилотажа. И, как ас, он по заслугам оценил самолет Як-1, на котором начали летать французские летчики-истребители.

На первом же летном авиаполе французам было предложено самим выбрать марку самолетов. Командир Тюлян спросил: «А какие у вас есть самолеты отечественной конструкции?» Ему ответили: Як-1 с мотором водяного охлаждения в 1200 лошадиных сил и другие с мотором воздушного охлаждения. Тюляну понравился «як», и он сразу же попросил сделать на нем пробный полет: «Пусть механик покажет мне систему запуска мотора, управления, выпуск и уборку шасси и кое-какие детали». Ему разрешили. Тюлян проделал самые разнообразные фигуры высшего пилотажа и был в восхищении от самолета, назвав его «перышком», очень маневренным и соответствующим французскому темпераменту.

Так самолет Як-1 утвердился за «Нормандией». Впоследствии французские летчики познакомились с Як-9 (улучшенная модель Як-1) и в 1944 году летали на знаменитых Як-3.

Бесстрашный командир Тюлян погиб в боях под Орлом 17 июля 1944 года в неравном бою с «фокке-вульфами»: немцев было более пятидесяти, а французов — десять.

После него командование принял майор Пуйяд.

Он всегда проявлял отеческую терпимость и сохранял традиции полка, заложенные еще Тюляном и основанные на братской дружбе между французскими однополчанами и их советскими братьями по оружию.

Пьер Пуйяд был одним из первых «голлистов». Путь его на советско-германский фронт лежал через Индокитай, где застал его 1940 год: как и другие смельчаки, он бежал на самолете, но пришлось совершить вынужденную посадку в джунглях и выбираться пешком. Дальнейший его путь в СССР лежал через Тихий океан, Соединенные Штаты, Атлантический океан, Англию, Египет и Иран.

«Рассказывать о Пуйяде,— говорит де Жоффр в своей книге,— значит говорить обо всех тех, кто входил в состав полка «Нормандия — Неман». Это значит говорить обо всех тех, кто спешил в Россию из различных уголков земного шара, чтобы сражаться в составе этого не-

обыкновенного полка под французским трехцветным флагом и одерживать победы вместе с Советскими Вооруженными Силами... Они были первыми солдатами полка «Нормандия — Неман»...

Майор Дельфино, третий командир полка, возглавил его во время Восточно-Прусской операции.

> Он сумел до конца, до последнего дня, поддерживать дух самопожертвования — до последней победы и до последней потери. Он был требователен, но справедлив, и очень «военный» по своему характеру. Всегда показывал личный пример храбрости и дисциплины.

После войны в одном из своих публичных выступлений Луи Дельфино сказал:

«Я был в этой стране в самое тяжелое время. Я прошел боевой путь борьбы с фашизмом вместе с советскими людьми. Я полюбил их. Я знаю их силу и силу их оружия. И я клянусь всевышним, что никогда не подниму против них руки, и вас к этому призываю».

А на вопрос корреспондента «Красной звезды» (8 июня 1945 года) «Как протекало ваше боевое содружество с русскими летчиками?» командир Дельфино ответил:

«Это была настоящая и крепкая дружба. Когда мы вылетали совместно с русскими летчиками, мы твердо надеялись на их помощь и никогда не ошибались».

Командир дивизии генерал-майор авиации Герой Советского Союза и герой антифашистской войны в Испании Георгий Нефедович Захаров пользовался большим авторитетом в полку «Нормандия — Неман».

> Нам очень импонировало то, что он был искусным пилотом, мастером высшего пилотажа. Мы с восхищением смотрели, как он водил свой самолет Ла-5, как виртуозно делал посадку, когда прилетал на наши аэродромы. Сам участвовал в воздушных сражениях. Для нас он был примером справедливого военачальника, русским человеком с прекрасной душой и русской отвагой. Всегда умел держать себя в руках и быть хладнокровным. И мы думали, что когда в Испании его выбрали командиром антифашистской интернациональной авиагруппы (тайным голосованием — там был такой обычай!), то, наверное, за те же качества, которые и мы любили

в нем. Он понимал людей, ценил жизнь каждого человека на фронте и был непримирим к врагу, умея разгадывать его замыслы и вести нас к победам.

Французские летчики называли его «отцом», хотя по возрасту он был немногим старше некоторых и даже моложе многих.

В 1978 году, когда Захаров возглавлял делегацию советских ветеранов войны, произошел эпизод, который надолго остался в памяти тех, кто был его свидетелем.

Небольшой французский городок Кемпери. Мэр города пригласил советских ветеранов на церемонию возложения венков к памятнику героям французского Сопротивления. Церемония уже началась, когда присутствовавшие увидели вдруг вдалеке спешащих мужчину и женщину. Они были очень старые на вид, заметно было, что шли из последних сил, и, не дойдя до площади, в изнеможении опустились под придорожным платаном. Переводчица объяснила, что это известные французские партизаны (маки́) Ив Гобелен и его жена Иветта. Они уже старые, им по 82 года, но, узнав, что здесь, в городе, делегация советских ветеранов войны во главе со знаменитым генералом Захаровым, прошли пешком 12 километров (они живут далеко на побережье), чтобы повидать их.

Генерал Захаров поспешил навстречу. Ив Гобелен, вся грудь которого, как и грудь генерала, была увешана наградами, торжественно выпрямился и сказал со слезами на глазах: «Ну вот, повидали русских, теперь можно умереть спокойно».

Этот эпизод взволновал всех — как признание старым французским партизаном, героем Сопротивления, того решающего вклада, который внесли русские в разгром фашизма. И — как признание лично генералу Захарову, Герою Советского Союза, командовавшему в годы второй мировой войны 303-й авиадивизией, в составе которой находился французский полк «Нормандия — Неман».

НА КРЫЛЬЯХ «ЯКОВ»

Самолеты Як-1, Як-9 и Як-3, на которых летали французские пилоты, тоже вошли навсегда в историю полка. Они сразу же пришлись всем по душе — легкие, маневренные, стремительные и послушные. К тому же эта модель соответствовала техническому образованию французских летчиков, полученному на родине. Почти все они при норме выполнять полный круг по горизонтали за

двадцать одну секунду выполняли его за шестнадцать секунд. Но в полку были два летчика, которые умели делать круг за одиннадцать секунд: младший лейтенант Жорж Лемар и Робер Марки. (Эта быстрота оборота круга очень много значила в бою, так как давала возможность первым зайти в хвост и взять на прицел противника.)

Марки любил выполнять такой технически рискованный полет, как «Aux ras des marguerits» («касаясь маргариток», то есть на расстоянии нескольких сантиметров над землей).

Под Парижем есть город и аэродром Оксер. Вдоль аэродрома проходит река, на противоположном ее берегу — возвышенность. Испокон веков оттуда выкапывали известь и камни. В этих карьерах фашисты сделали подземные мастерские и привозили сюда готовые детали самолетов, чтобы монтировать их здесь, а потом собранные части — фюзеляжи, крылья и т. д.— переправляли через реку на аэродром. Когда мы вернулись во Францию, нам показали эти бывшие гитлеровские мастерские. На авиаполе возле одного из ангаров стояли «фокке-вульфы». Их было, наверное, пятнадцать или четырнадцать, все новые, в хорошем состоянии — немцы не успели их вывезти. Вдруг Робер Марки подошел к механикам, которые их обслуживали, поговорил с ними о чем-то, внезапно сел в машину, запустил мотор и вырулил на взлетную полосу. Только потом один из механиков сказал нам, что Марки предварительно спросил у него, как управлять. Прогревал мотор он уже перед самой взлетной площадкой. Мы поняли, что ему захотелось взлететь на одном из тех самых «фокке-вульфов», против которых он сражался на своем «яке» (у Марки на боевом счету 13 сбитых фашистов).

И на этом (вражеском!) самолете, которым он управлял впервые в жизни, Марки показал нам сеанс высшего летного пилотажа. Потом со стометровой высоты пошел в абсолютное пике, перешел на бреющий полет, а приблизившись к нам — уже демонстративно пошел низко бреющим... Но что это? Он вскапывает винтом перед собой куски земли — ведь, если он коснется поля, неминуемо разобьется. Мы все замерли. Но вот он резко делает «горку» вверх, выпускает шасси и садится! Из кабины выхо-

дит белого цвета — понимал, конечно, что был на волосок от гибели: «Черт, я не знал, что винт у «фокке-вульфа» на 30 сантиметров длиннее, чем у Як-3!»

Вот насколько точно он чувствовал самолет. Мы, конечно, сразу побежали за сантиметром, стали измерять. Действительно, разница в 30 сантиметров! Вот как он понимал машину. Из-за этих 30 сантиметров и вспахал винтом поле 16 раз. Но, к счастью, земля была рыхлой после недавнего дождя, а самолет шел не по бетонной дорожке. Но я вспоминаю этот случай, чтобы показать, как знали пилоты свой «як» — до сантиметра, буквально.

Марки не один раз демонстрировал «як» — замечательную машину, которая вошла в историю полка «Нормандия — Неман». Однажды в Нюрнберге, по пути из Эльбинга (Восточная Пруссия) во Францию, когда на подаренных Советским правительством «яках» полк возвращался на родину, во время остановки было предложено такое необычное соревнование: летчик из другого французского полка, который сражался на западном фронте вместе с союзниками, на «спитфайере» должен был состязаться с Марки, который пилотировал Як-3:

Марки на «яке» зашел все-таки по горизонтали в хвост «спитфайеру»! Мы были рады за наш верный «як». Правда, присудили ничью — радость встречи и безусловно блестящая техника второго летчика решили дело.

В августе 1944 года самолет Як-9, закрепленный к тому времени за полком, был заменен новой конструкцией — Як-3 — «истребителем, в то время не имеющим себе равных» (генерал Захаров). Французские летчики давали ему замечательную оценку:

«Обзор у истребителя был изумительный. Самолет обладал отличной маневренностью. При выполнении свечи создавалось впечатление, что машина никогда не остановится. На пикировании самолет развивал большие скорости. Не успеешь отдать ручку, как стрелка уже показывает скорость свыше 600 километров в час. Но этим достоинством нужно было уметь пользоваться» [1].

И они умели пользоваться самолетом, который предоставило им советское командование. Перед отлетом во Францию командир Луи Дельфино сказал:

---
[1] *Франсуа де Жоффр.* Нормандия — Неман: Воспоминания летчика, с. 116.

«Все мы очень довольны советскими самолетами. Особенный восторг вызывает у нас самолет «Яковлев-3». По своей маневренности, скорости и многим другим качествам он значительно выше немецких самолетов. Могу проиллюстрировать это таким фактом: 16 октября 1944 года, когда французские летчики впервые поднялись в воздух на Як-3, а немцы в этом районе еще не встречали новых советских самолетов, нам удалось в течение одного дня сбить 29 вражеских машин «мессершмитт» и «фокке-вульф». Мне приходилось летать не только на советских самолетах. В частности, я летал на «Аэрокобре» и «Спитфайер-5». Должен сказать, что «Яковлев-3» я ставлю выше этих самолетов»...

После безоговорочной капитуляции фашнстской Германни н победоносного окончания войны полк «Нормандня — Неман» вернулся во Францию. Вылетали из Эльбннга. В небо поднялись 40 серебряных машнн. Пнлоты сделали прощальный круг в воздухе, отдавая салют своим боевым товарнщам, братьям по оружню.

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

1982 н 1983-й годы — юбилейные для полка «Норманднят — Неман»: 1 декабря 1942 года в газете «Правда» появилась небольшая заметка:

Прибытие в СССР
летчиков «Сражающейся Франции»

В СССР прибыла группа летчиков «Сражающейся Фраиции», изъявивших желаиие бороться бок о бок с советскими летчиками против иенавистиого врага — итало-германских фашистов. В составе группы — около 20 офицеров и 40 младших командиров и рядовых. Среди участников группы — ряд выдающихся французских летчиков, уже отличившихся в войне против иемецко-фашистских сил. Один из летчиков — капитаи, урожеиец Лотариигии, известиый своим мастерством высшего пилотажа, сбил 6 и подбил 5 вражеских самолетов. Миогие другие участиики группы показали высокие образцы отваги и героизма в схватках с итало-германской авиацией.

А через несколько месяцев, после подготовкн и знакомства с советской боевой летной технนкой, 22 марта 1943 года эскадрилья «Нормандия» начала свон боевые действня на советско-германском фронте. Это было сорок лет назад. В августе 1983 года нсполняется также

сорок лет победы в Курско-Орловском сражении, где рядом со своими советскими братьями по оружию храбро сражались французские пилоты.

Май 1982 года. Канун праздника Великой Победы. Генерал Захаров и бывшие техники полка встречают своих французских однополчан в аэропорту Шереметьево. Делегация французских ветеранов прибыла по приглашению Советского комитета ветеранов войны. Генерал Пьер Матрас, полковник Пьер Лорийон, майор Игорь Эйхенбаум, лейтенант Жан Реймон Бейсад, техник Арман Люмброзо снова ступают на советскую землю. Это не первый приезд французских ветеранов в Советский Союз. Но все-таки — особый приезд! Тридцать седьмая весна Победы, год сорокалетия создания полка, и, может быть, самое главное для сегодняшнего дня и для будущего — то, что в июне 1982 года состоялся совместный советско-французский полет в космос — об этом тогда, в годы войны, и не мечталось.

«Для меня май — месяц надежд на прекращение вооруженных конфликтов. Разум должен одержать верх над безумием тех, кто хочет войны... Я не был в Советском Союзе с 1945 года и поражен масштабом перемен»,— так говорит Пьер Матрас...

Пьер Лорийон уже шестой раз после окончания войны посещает Советский Союз. И он сразу, в первый же день визита, выражает желание поскорее приехать снова. «Каждый раз, когда мы приезжаем, нас везде принимают с дружеской теплотой».

Они посетили Волгоград — город, руины которого видели, когда летели на фронт. Тогда картина отгремевшего исторического сражения лучше всяких слов говорила о том, как насмерть стояли здесь советские солдаты. Эскадрилья «Нормандия» была сформирована еще до того, как исход великой битвы на Волге был решен, и французские летчики гордятся этим. За ходом Сталинградской битвы следили тогда все антифашисты, и победа русских под Сталинградом во многих вселила надежду на близящийся полный разгром германского фашизма. А теперь, весной 1982 года, это был город цветущей сирени, и жители улыбались им, видя на улицах пожилых людей со значками «Нормандия — Неман».

Их ждала знаменательная встреча в Звездном городке, где заканчивали подготовку к совместному советско-французскому полету в космос французские космонавты.

Жан Лу Кретьен и Патрик Бодри увиделись со свои-

ми соотечественниками, ветеранами полка «Нормандия — Неман», у подножия памятника Ю. Гагарину. Есть такой обычай у космонавтов — перед отлетом посетить этот священный памятник.

«В школе,— сказал Жан Лу Кретьен,— мы изучали боевой путь вашего полка, а теперь видим вас здесь, в Звездном». Ветераны вручили им памятное издание «Боевой путь «Нормандии — Неман» с просьбой, чтобы альбом этот тоже побывал в космосе...

В Звездном городке мне пришлось побывать впервые, но с советскими космонавтами уже посчастливилось встречаться во Франции. Это замечательные люди космоса: Юрий Гагарин, Владимир Комаров и генерал-лейтенант Береговой.

Мое знакомство с Гагариным произошло вскоре после его полета, когда мэр города Сен-Дени (рабочее предместье Парижа) вручал ему золотую медаль. Узнав, что я из полка «Нормандия — Неман» да еще говорю по-русски, он забросал меня вопросами. Потом, несколько лет спустя, у нас произошла встреча у Эйфелевой башни. Мы узнали друг друга, обнялись — кто-то сфотографировал нас — и теперь это фото всегда висит в моем доме.

Я очень уважал Владимира Комарова, дружил с ним и, как многие другие, считаю, что это был один из самых замечательных, мужественных и простых людей, талантливейший космонавт. Трижды он бывал во Франции на съездах по космонавтике, и каждый раз я был его переводчиком. Часто он приглашал в свой номер, угощал колбасой, черным хлебом — в общем, это были такие товарищеские ужины, и мы подолгу разговаривали с ним, и всегда он очень интересовался «Нормандией — Неман».

Я счастлив, что вместе с представителями своего полка снова в Советском Союзе. «Надо жить побратски, чтобы земной шар никому не удалось взорвать»,— вот что выражали нам все советские люди, которые подходили к нам на улицах Москвы, Волгограда, Звездного. А генерал Захаров, возлагая венок у мемориальной доски погибшим французским летчикам, сказал: «Слово «война» должно навсегда исчезнуть из языков всех народов земного шара».

Война должна быть объявлена во всем мире вне закона — за это отданы миллионы жизней, в том числе и жизни наших товарищей.

Каждый год в августе французы, участники Сопротивления, приходят на могилу Неизвестного солдата. Они надевают боевые ордена. Они не молоды и чем-то похожи друг на друга. Похожи потому, что у них была одинаковая молодость.

Каждый год 9 мая у дома на Кропоткинской набережной, там где была в годы войны и находится сейчас французская военная миссия, собираются советские летчики, ветераны 303-й истребительной авиадивизии. Они читают фамилии на мемориальной доске. Сорок два отважных французских рыцаря погребены в нашей земле. Минутой молчания чтут живые память погибших братьев по оружию.

Дружба, скрепленная кровью,— самая крепкая. Дружба французского и советского народов прошла испытания войной.

Мы помним все, что принесла война на землю Франции и России. Помним и никогда не забудем, потому что только память об ужасах минувшего может остановить безумие новой войны.

В августе французы приходят на могилу Неизвестного солдата. Вслушайтесь, ветераны! Стучит метроном Ленинграда, звенят колокола Хатыни, гудит набат Бухенвальда.

Мы верим, что воля наших народов не позволит разжечь новую войну. Ветераны «Нормандии» вновь в строю, они борются за мир, за чистое небо над нашими городами. Об их судьбе — рассказ Александра Сабова.

АЛЕКСАНДР САБОВ

ВАСИЛЕК, РОМАШКА, МАК

1

В ранних декабрьских сумерках 1944 года в гостинице Центрального Дома Советской Армии происходило событие, которое, несмотря на всю его оживленность, отдавало пронзительной человеческой грустью.

Французский авиаполк «Нормандия — Неман», разделившись на два списка, разъезжался в разные стороны.

Этот скрип снега под ногами — там, в Париже, вы его не услышите. Там мороз не изрисует окон замысловатой вязью русской зимы. Вы поспеете как раз к рождеству, а за долгие четыре года для парижан это будет первое рождество без бошей, без войны. Ну как вам не позавидуешь, старики!..

А ты не грусти, молодежь, мы же всего только в отпуск, на месяц! Он промелькнет, как зенитный разрыв перед твоим носом: пронесет мимо, значит, разминулся с судьбой. Все равно победу отпразднуем вместе, и не где-нибудь, а именно тут, на русском фронте, в нашем же полку. Вы уж бейте бошей, как мы их били, а мы скоро вернемся, да не одни, а с подмогой...

Капитан Жан де Панж уединился в углу с походным дневником полка и, привычно начав с обозначения даты: 12 декабря 1944 года, вдруг остро, будто укол, почувствовал, что писарствует, вероятно, в последний раз. Два года подряд это было его вечерней обязанностью, и только если капитан бывал в отъезде, кто-то другой разворачивал журнал и вносил туда события дня. Де Панж не был летчиком-истребителем, он служил в полку пилотом связи. Его маленький У-2 («столь похожий на французский авион «Люсиоль»!), который капитан, ходила легенда, мог посадить на спичечный коробок и с него же поднять влет, был всеобщим любимцем полка, потому что всегда сулил сюрприз, добрую весть, какую-нибудь перемену. События дня, и особенно воздушные бои, излагались де Панжу точно, со всеми подробностями, он составлял из них лаконичный и полный отчет, который тут же вслух зачитывался, обсуждался и, если надо, подправлялся, ибо принципом было — коллективное добро на изложение хроники дня. Нет на свете книг более скупых и,

однако, более красноречивых, чем всякие походные да бортовые журналы с их скрупулезной привязанностью к факту. Де Панжа тянуло и на шутку, ибо полк и состоял, казалось, из одних пересмешников, но порой и на возвышенную фразу, ведь случалось, что событие заслуживало того. Но если шуткам еще как-то удавалось уцелеть, то обороты приподнятые изгонялись беспощадно, с едким смешком. Только в память о погибших или пропавших без вести, когда воцарялся траур в живых сердцах, в дневник проникали слова торжественной боли.

В этот день, однако, остроумием словно нарочно скрывали печаль, хроника шла сухая, как бы и не рукой писано.

«Генерал Захаров объявил нам, что мы сегодня же вечером возвращаемся в Пруссию. Поезд ждет нас в 20 часов...»

Капитаново перо вдруг остановила такая мысль: он-то ведь сам возвращается не на фронт, а в Париж — так от какого же «мы» он пишет? Перед такой дилеммой — делить полк на два «мы» — де Панж еще не вставал никогда.

— Эй, Жан,— окликнули его,— ты помнишь, два года назад мы поехали в Россию, имея право только на 10 килограммов багажа?

— Помню. Ну и что?

— А то, что теперь кое у кого перевес. Кто возвращается на фронт, тем и горя нет: поезд, он потащит. А кто вылетает в Париж, да еще кружным путем?

— Какой перевес? — не понял капитан.

— А ты погляди на де ля Пуапа, на Альбера, на Андре, на Риссо... Да ведь их грудь теперь бронебойной пушкой не возьмешь, столько орденов да медалей навешано! Бьюсь об заклад, в каждом перевесу на килограмм, а то и два. Ты это запиши, запиши!

Все хохочут, тут же импровизируют тост за «вынужденный перевес». В Париж уезжают двадцать человек, на фронт возвращаются сорок, и, кто кого провожает, кто кому больше завидует, не понять. Отсмеявшись со всеми, де Панж продолжает хроники, и по тексту можно судить, как «мы» постепенно отдаляется от него:

«...Ветераны полка, побыв недолго в Москве, скоро поедут во Францию в отпуск на пару недель. В 11 часов мы нанесли визит в военную миссию, где генерал

Пети предложил тост в нашу честь. В 18.30 мы прощаемся с ветеранами, которых мы увидим теперь не раньше, чем через несколько месяцев, и отправляемся на вокзал...»

Пора! В последнем тосте сдвинуты бокалы. За окном уже урчат машины, поданные, чтобы отвезти полк на вокзал. Роли, кажется, окончательно перепутываются: те, кто остается на фронте, оказываются «уезжающими», во всяком случае, они уезжают первыми. Де Панж протягивает кому-то из них журнал. Полковник Пьер Пуйяд, хотя отныне уже не он, а майор Луи Дельфино командует полком, едет на вокзал и с каждым прощается так: сначала под козырек, потом следует пожатие протянутых рук, потом короткое мужское объятие с хлопаньем друг друга по плечу. Снова под козырек, уже к другому, а по пути рука быстро, как бы вскользь, смахнет с ресницы слезу. И так сорок раз.

Плачьте, мужчины! С миром расставаться трудно, но куда труднее с войной.

Кто-то, видно уже в поезде, докончил отчет этого дня:

«В 20 часов мы покинули Москву в сильно расстроенных чувствах, но с надеждой, что в прусском небе мы пожнем урожай побед, которые стяжали за время осенней кампании...»

По черной нитке рельсов, по бескрайней белой простыне поезд помчал обратно на фронт полк «Нормандия — Неман». Где-то по обочинам этой нитки, в одиночных и братских могилах, а зачастую и в безвестных, полегло уже тридцать три французских летчика; еще девять едут навстречу своей смерти. Еще нельзя этого знать, еще только... нет, уже декабрь сорок четвертого, но еще не кончен счет победам и смертям, еще идет война, однако один итог уже бесспорен, уже можно его подводить, да он уже и подведен. Франция и СССР только что заключили договор о союзе и взаимной помощи. Ради этого полк и был полным составом вызван с фронта советским командованием и приехавшим в Москву президентом временного правительства Французской Республики генералом Шарлем де Голлем. Чистили сапоги, драили пряжки, достали парадную форму, зная, что являются не статистами на дипломатическое представление, а чуть ли не главными действующими лицами, без которых торжество было бы и не подлинно, и не полно. И если багаж каждого из них

действительно потяжелел от двуправительственных наград, то, пусть и приурочено это было к событию, основанием для каждой нагрудной наколки послужил конкретный ратный труд и риск — что полковой, что личный. Война эта, как никакая другая на человеческой памяти, коллективизировала ратную работу, а вместе с ним коллективизировала и риск. Только сердце человеческое по-прежнему умирает в одиночку. Сердцам друзей дано лишь замереть от боли, чтобы она — рубцом памяти — затвердела навсегда.

Сто с лишним имен за три года, та́я в боях, но нарастая от пополнения к пополнению, включил в себя боевой состав полка «Нормандия — Неман». Сто разных биографий, разных характеров... Первый боевой командир «Нормандии» Жан Тюлян отказывался жить в избе и на любом новом аэродроме начинал с оборудования землянки метрах в двадцати от самолета, чтобы по тревоге немедленно взлететь. «Белое облачко, всего, казалось, на секунду разделившее нас в бою 17 июля 1943 года,— вспоминал Пуйяд,— скрыло его от меня навсегда...» Капитан-летописец Жан де Панж вослед полковому журналу военной поры рассказал о судьбах самых близких ему друзей, погибших в России, и вот, в частности, об одной из них — о капитане Альберте Литтольфе, сбившем 14 самолетов противника и погибшем за день до Тюляна:

«Как говорил Сент-Экзюпери, для Литтольфа было бы катастрофой умереть дома, в своей кровати. Когда спустя пятнадцать лет после войны в русском лесу были найдены его останки и доставлены во Францию рейсовым самолетом Аэрофлота, мы, с десяток ветеранов полка, пришли его встретить в Бурже. Мы были глубоко взволнованы и в то же время чувствовали, что сам он, Литтольф, иной судьбы себе бы не пожелал...»

Сама история возложила на эти 108 человек ответственную миссию первыми пройти по тропе франко-советского союза. Выбрав движение де Голля «Свободная Франция», они тем самым становились военнообязанными ее постепенно возрождавшихся вооруженных сил. Но — важно помнить — в Россию они ехали и находились там на положении добровольцев. Каждый в любую минуту вправе был покинуть полк, а значит, и страну — однако, если и покидали, то только на носилках. Хотели они того или нет, поодиночке или коллективно, но они действительно стали «чрезвычайным и

полномочным послом Франции в СССР» — не зря полк в годы войны так и называли. С обеих сторон.

Да, в России им выпало представлять свой народ, его отвагу и дружелюбие, открытый и честный характер.

Но вот первые двадцать летчиков возвращаются во Францию, и... Представляли ли они себе, какой они ее найдут?

Зато они, конечно, хорошо помнили, какой покинули ее.

2

1 сентября 1939 года германские войска взломали польскую границу и быстрым маршем, на танках и мотоциклетках, топча и рассеивая полки драгун, вышли к Неману. Два дня думали французское и английское правительства. Связанные с Польшей договорами о взаимопомощи, они обязаны были ей помочь и направили Гитлеру сердитые ультиматумы с требованием повернуть назад, не то и они вступят в войну.

Но Гитлер ломился вперед — в сторону СССР. Наступило воскресенье 3 сентября. В одиннадцать часов утра истек английский ультиматум, а в семнадцать французский. Началась та самая «странная война», которую, по выражению Антуана де Сент-Экзюпери, французы «наблюдали с балкона». Восемь с половииой месяцев французские и германские войска стояли на границах друг против друга, не стреляя, не воюя, мирно стирая в Рейне белье.

За это время французская пресса успела разжаловать Германию во «врага № 2». В парламенте, особенно по настоянию группы бывшего премьера Пьера Лаваля, бесконечно дебатировался вопрос о заключении мира с Германией и объявлении войны СССР. Так продолжалось до мая, когда гитлеровские войска неожиданно через Бельгию устремились во Францию, прорвали фронт и нацелились на Париж. Шли тяжелые воздушные бои, в то время как сухопутная армия в беспорядке отступала. Эскадрилья 2/33, в которой служил де Сент-Экзюпери, за две недели потеряла 17 экипажей из 23. Франция стояла на краю катастрофы.

16 мая по его настоянию де Сент-Экзюпери был принят премьер-министром Полем Рейно.

— Я прошу вас немедленно послать меня в США. В этой войне без авиации, без мощного авиационного

заслона, поражение неминуемо. Меня хорошо знают в Америке как писателя и летчика. Я добьюсь у Рузвельта самолетов для Франции, а летчики у нас, слава богу, есть.

Премьер слушал его с улыбкой, впрочем, доброй. Вы хороший пилот, Сент-Экс, и превосходный сочинитель! Но дипломатия, дипломатия... все-таки это дело профессиональных политнков, тут столько тонкостей, мой милый друг...

Поль Рейно направил в США специального дипломата, но миссия его была обречена на провал уже хотя бы потому, что большинство членов французского парламента самым желательным союзником Франции видели... Рейх. Уже даже не стеснялись говорить вслух н печатать в прессе: Франкрейх, то есть Франция, но по фашистскому образцу.

Июнь. В панике бежавшее из Парижа правительство «ночует» в Туре. В хвосте его следует и бывшнй премьер Пьер Лаваль, точно чуя, что звезде его суждено вот-вот взойти снова. «Я всегда стоял за соглашение с Германией и Италией,— рассуждает он в кафе перед министерскими чиновниками и случайной публнкой.— Эта безумная пробританская полнтнка н авансы, которые мы делали Советской Россни, погубили Францию. Если бы послушались моего совета, Франция теперь была бы счастливой страной, наслаждающейся благами мира»... Эта сцена, по свидетельству французского журналиста Андре Симона, имела следующее продолжение: «Его перебил пожилой человек в сером костюме. «Господин Лаваль?» — спросил он н, прежде чем Лаваль успел ответить, дал ему пощечину. Воспользовавшись переполохом, старик скрылся в толпе. Впоследствии я узнал, что его сын, летчик, погиб в бою».

Не была ли эта пощечина, на пять лет опередившая прнговор французского суда Пьеру Лавалю — он вынес ему высшую меру наказания,— не была лн эта пощечина первым действием Сопротивления? Как могла страна, располагавшая мощной промышленностью, более чем пятимиллионной армней, прондать военную кампанию всего за 38 дней? Дрожжн капитулянтства уже давно подошли в подкупленной германскими капиталами печати, вскружили головы политикам, стратегам, финансистам такой, казалось, достижимой и близкой возможностью — толкнуть Гитлера на Восток.

Ради этого правительство Эдуарда Даладье подписало соглашение с ним в Мюнхене, а правительство Поля Рейно уже в ходе «странной войны» поручило главнокомандующему вооруженными силами Франции генералу Максиму Вейгану разработать план нападения на СССР с кавказско-каспийского плацдарма. Операция была намечена на лето 1940 года. Основная, ударная роль в ней отводилась авиации...

Немцы уже шли на Париж, когда Рейно спешно вызвал из Мадрида французского посла Филиппа Петена и назначил его своим заместителем.

Престарелый маршал поклонялся Гитлеру и был им за это высоко ценим. Маршалу шел восемьдесят пятый год. Он носил симпатичные французские усы, взгляд его голубых глаз одновременно выдавал натуру и «сурового солдата», и «доброго отца». К тому же с первой мировой войны за ним тянулась слава «героя Вердена». При ближайшем внимании историков оказалось, что это легенда, ее долгие годы создавала прогерманская «пятая колонна» во Франции. Человек, в чьей учетной карточке личного состава еще в пятьдесят девять лет — а столько было полковнику Петену в 1914 году — значилось: «Выше бригадного генерала не продвигать», по игре прихотливого случая через три года оказался во главе французской армии. Он проиграл одно за другим все начатые сражения и не успел сдать только Вердена, провел показательные расстрелы во взбунтовавшихся полках и наверняка кончил бы сдачей Франции врагу, если бы вовремя не был заменен маршалом Фердинандом Фошем. В тот же Компьенский лес, в старый вагончик, где 11 ноября 1918 года Фош принял капитуляцию кайзеровской Германии, теперь лично пожаловал Гитлер, чтобы поверженная Франция покаянно склонилась перед ним.

Это было 22 июня 1940 года. Ровно через год ефрейторский сапог шагнет туда, куда его так долго подталкивали и подбивали,— на восток, на СССР.

Разлад «высших государственных интересов» и действительных интересов большинства французов — граждан и нации — возник не вдруг. Он шел по нарастающей еще с июня 1933 года, когда с перерывом в один день Гитлер и Даладье вышли на европейскую политическую сцену. Он диктовался «200 семействами» Франции, имевшими право решающего голоса на общих заседаниях Французского банка. Одно из рассле-

дований, предпринятых правительством Народного фронта, показало, что «банк управляет Францией через головы избранных народом представителей», что его пятнадцать всемогущих регентов и акционеры-родственники «200 семейств» все больше объединяют свои капиталы с капиталами рейха, финансируют «пятую колонну», науськивая ее на коммунистов, на рабочих.

Вишизм свалился на Францию? Нет! Он к ней подкрался. Не в силах сам сломить демократическое движение в стране, он ждал часа, предсказанного в гитлеровской «Майн кампф»:

«До тех пор пока вечный конфликт между Германией и Францией будет разрешаться нами только в форме обороны, он никогда на деле разрешен не будет... Нужно понять, что мы должны, наконец, собрать все свои силы для активной борьбы с Францией, для последнего решительного боя».

Гитлер выражался ясно: Францию нужно уничтожить. Послушное рейху вишистское псевдогосударство и было первым этапом осуществления этой идеи.

Почему, однако, фюрер сначала оккупировал лишь две трети Франции, а ее южной части с центром в Виши позволил иметь даже свои призрачные конституционные институты? Потому что Франция была колониальной империей. Расчет был удержать для себя с помощью «центрального правительства» французские колонии и флот. И когда в североафриканских колониях Франции в ноябре 1942 года — операция «Торч» — высадятся англо-американские войска, для Гитлера это моментально станет поводом перешагнуть через «барьер». С этого часа вся Франция стала Франкрейхом.

Сент-Экзюпери был прав, сказав про Альберта Литтольфа, что для него было бы катастрофой умереть дома, в постели. В майских и июньских боях над Францией он сбил шесть вражеских самолетов. 18 июня по радио он услышал обращение генерала де Голля к французам, призвавшего мобилизоваться на борьбу с врагом. Еще несколько дней он подождал, что будет дальше. 22 июня, услышав о перемирии в Компьенском лесу и приказе Петена сложить оружие, он немедленно завел свой «Девуатин-520» и на последних каплях бензина дотянул до английского берега — от Тулузы! В октябре он случайно услышал по радио интереснейшую новость о себе. Таким счастливым своего друга капитан де Панж не видел ни до ни после:

— А?! Ты слышал?! Вот это да! Меня! Литтольфа! К смертной казни! Ура-а-а!

Потом он помчался «встречать» гитлеровцев в Грецию, потом полетел в Ливию и сбил еще четыре самолета. Потом он узнал, что формируется эскадрилья «Нормандия» специально для отправки на восточный фронт, в Россию. Капитан был тут как тут, а вместе с ним и верный де Панж, будущий летописец «Нормандии».

3

Когда это было? Как?

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 мая 1978 года о награждении орденом Дружбы народов... «за активную работу по укреплению дружественных связей между народами Франции и Советского Союза и в связи с 80-летием...» явился для меня поводом попросить аудиенцию у армейского генерала авиации Марсиаля Валена.

Вален принял меня в штабе военно-воздушных сил Франции: он оставался на действительной службе без ограничения возраста. Шел уже шестьдесят первый год его непрерывной воинской службы, из них первый десяток он отдал... кавалерии. Советский орден Дружбы народов был его пятьдесят второй наградой.

— Мой генерал,— сказал я по всей формуле французского устава,— вы один из тех, кто создал эскадрилью «Нормандия». Как родилась эта идея?

— Долгий это рассказ... Когда Францию растоптали фашисты, меня на родине не было. Я находился во французской военной миссии в Бразилии. Правительство Петена телеграфировало мне оставаться на своем посту, так как, мол, этого «требуют интересы Франции». Я отстучал в ответ: «Предложения принять не могу. Я направляюсь туда, где велит мне быть мой долг».

— Тогда-то правительство Виши и приговорило вас к смерти?

— Нет. Попозже, в 1941 году, когда французские воздушные силы уже наносили врагу ощутимый урон. А в начале войны перед нами стояла задача возродить свою воздушную армию. Лишь в феврале я дождался первого корабля из Бразилии в Англию и, когда прибыл туда, к сожалению, не застал де Голля. Но меня ожидало его письмо, возложившее на меня функции

начальника генерального штаба военно-воздушных снл. Немедленно я взялся за формирование новых эскадрилий, за создание парашютно-десантных войск... Французскне летчики отовсюду пробирались в Англию, потом в Алжир, под знамена «Свободной Франции». Их набралось около тысячи. Мало, очень мало. Пришлось учить новичков.

Командование союзнических войск в отличие от генерала де Голля не слишком торопилось вступать в войну, что вызывало у него сильное недовольство. Не раз он вслух поговаривал о посылке французской мотопехотной дивизии на русский фронт. Со своей стороны, я в это время, уже в качестве командующего воздушными силами «Свободной Франции», договаривался о созданин в рамках английских королевских воздушных сил, действующих на Ближнем Востоке, двух французских авиационных соединений — бомбардировочного и истребительного. Вот в этот момент мне и пришла в голову мысль присвоить новым эскадрильям не порядковые номера, под которыми они растворились бы в составе английских ВВС, а дать им имена французских областей. Для француза это должно было звучать символом борьбы, символом свободы! Хорошо помню, что, разволновавшись сам, я схватил карандаш и написал на бумаге: «Лотарингия». Эта бомбардировочная эскадрилья уже существовала. На очереди была истребительная — я назвал ее «Эльзас». Ведь эти районы Гитлер насильно отнял у Франции. Следующие — «Иль-де-Франс», «Бретань», и, наконец, пятой в моем списке значилась «Нормандия»... Откуда было знать в ту пору, что именно она...

— ...отправится в СССР? С чьей стороны последовало это предложение? Когда?

— Летом 1941 года, когда Гитлер уже двинул свою армаду на Россию. Правительство Виши отозвало посла нз СССР. Весь персонал посольства через Турцию выехал во Францию. Но военно-воздушный атташе полковник Шарль Люге, влюбленный в Россию и хорошо ее знавший, решил примкнуть к движению «Свободная Франция». Ему-то по праву и следует отдать должное в том, что истребительная эскадрилья «Нормандия», родившаяся пока только на листочке, обрела крылья не где-нибудь, а именно в России. Приехав в Лондон, он связался с работниками советской военной миссии полковником Пугачевым и майором Швецовым.

19 февраля 1942 года мы завтракали все вместе. Вот тогда и стала конкретно обсуждаться идея посылки эскадрильи на русский фронт. Уже привыкнув к длинным и трудным переговорам с англичанами, мы опасались, что и русские не скоро дадут свой ответ. И каким-то он еще будет? Не забыть мне радостного потрясения, которое я испытал 27 марта: в тот день мы получили согласие советской стороны на формирование эскадрильи «Нормандия» из французских пилотов и русской техники. Так было положено начало. К сожалению, вскоре в авиационной катастрофе погибли оба наши товарища, энтузиасты «Нормандии» полковник Пугачев и майор Швецов. Полковника Люге тоже сменил другой человек, прохладно относившийся к нашей идее. Все это вызвало немало новых проволочек, но и им наступил конец. В том, что «Нормандия», наконец, вылетела из бумаг в небо, особая заслуга принадлежит де Голлю и послу СССР при союзнических правительствах в Лондоне А. Е. Богомолову. В ноябре 1942 года первые летчики «Нормандии» начали тренировочные полеты на боевых самолетах Як-1.

Так что, видите, авторов было много... Шарль Люге предложил идею, я принял участие в ее реализации, де Голль не переставал интересоваться, как идут дела. Но все мы, если угодно, расписались на листках, а в небе расписались — сами летчики. Это ведь они сражались, рисковали, гибли, они сделали эскадрилью «Нормандия» символом советско-французского боевого братства.

В сентябре 1980 года ассоциация ветеранов полка «Нормандия — Неман» проводила генерала авиации Марсиаля Валена в усыпальницу Собора Инвалидов. Здесь, рядом с Наполеоном, удостаиваются покоя самые заслуженные военные деятели страны.

Праха Филиппа Петена здесь нет. Однако вот уже тридцать лет существует «ассоциация в защиту памяти маршала Петена», настойчиво ходатайствующая о реабилитации его имени и переносе праха... в форт Дуомон, на братское кладбище защитников Вердена. Легенда о «герое войны 1914—1918 годов» чуть ли не «отце-спасителе нации», как видим, и ныне жива. Коллаборационисты даже нисколько не маскируются. Уже восемь ходатайств в защиту Петена были предметом специальных рассмотрений у министров юстиции при разных правительствах после войны. Основанием для них

служит найденное в столе маршала письмо, в котором он запоздало, из ссылки, изъявил свою «готовность к примирению» (!) с генералом де Голлем. Семь запросов адвоката были отклонены как «неприемлемые»; восьмое принято, но никаких решений за собой пока не повлекло.

Вишистская буржуазия в свое время больше всего распространялась о национальном «согласии». Коллаборационизм ловко подменил триединство священных прав человека и гражданина: свобода, равенство и братство — кодексом для мещанина, для буржуа: труд, семья и родина. Вишистский «парламент», проголосовав за этот кодекс и начертав его на своем знамени, под «трудом» разумел классовую и социальную гармонию. «Семья» — ну, значит, глава всему «я», мое «эго». «Родине» уже был уготован точный перевод: Франкрейх — так французов приучали произносить имя своей родины по-немецки. Петен приказал армии разоружиться, и миллион шестьсот тысяч человек — но из пяти миллионов! — сняли ружье с плеча. За это даже давалась премия в 1000 франков. Старую армию разоружали, чтобы не оставалось никакой угрозы для Германии; зато как усердно призывали к созданию новой армии — против России! Для «пятой колонны» чуть ли не специально создается «Легион французских добровольцев против большевизма». Коротко: ЛФД. В легион записалось 7 тысяч человек. Они надели насупившиеся немецкие каски и фашистские мундиры. Командир ЛФД Эдгар Пюо числится одновременно французским генералом и немецким полковником, как среднее из этих двух званий выводилось «оберфюрер», да и сам легион фашистскому командованию сподручней было называть бригадой «Франкрейх». Так ее и звали.

Сотня летчиков, выбравшихся в Россию, была лишь каплей в море французского Сопротивления, развернувшегося внутри страны и сплачивавшего силы вне ее.

4

Странно! Внимательнейшим образом читаю полковой журнал за июнь сорок четвертого, однако даже намека нет на то, что летчики знали, кто противостоит им в эти дни — лицом к лицу — на Березине.

Той самой Березине...

Бригада «Франкрейх»! Генерал-полковник-оберфюрер мечтал, и сам не раз об этом говорил перед строем, «умереть на поле брани на глазах у своих солдат». Но на вой-

не, как на войне. Под Москвой легион полег больше чем наполовину, а оберфюрер, оказалось, умеет хорошо хорониться от пуль. Когда от легиона останется всего семьсот человек, а произойдет это как раз в ходе начатой советскими войсками Белорусской операции, оберфюрера разжалуют в нижние чины, а саму часть отдадут под начало немецкого генерал-майора Крюкенберга. Все это будет ближе к Берлину, к логову.

Но вот пока они под Борисовом, на Березине. Советские бомбардировщики вылетают в сопровождении легкокрылых Як-3. На крыльях у них звезды, а винтовые конусы раскрашены в сине-бело-красные цвета. Цвета французского флага.

«26 июня. Хорошая погода... В 20 часов вылет для прикрытия бомбардировщиков на правой стороне Березины, у Борисова».

В этот день Пуйяд впервые увидел Березину и как раз в тех местах, где когда-то переправлялся Наполеон. И впервые узнал, что лицом к лицу перед ним и его полком — соотечественники, обрядившиеся в наци. Вечером во «французской избе» была, разумеется, дискуссия, которую, однако, решили в журнале не отражать, так как «то не французы, а люди без родины». Пуйяд подвел итог дискуссии примерно так.

«Стыд? — переспросил он.— Ну уж нет... Стыдиться их мы могли в сороковом, даже в сорок первом, но начиная с сорок второго — нет. Тут есть разница: сначала мы сделались врагами, а потом оказались друг с другом в состоянии войны».

Почти целую вечность назад, в конце 1942 года, для точности — 28 ноября, первая группа французских летчиков приземлилась на советской земле, на берегу Каспия. Этот вечер непременно присутствует в воспоминаниях тех, кто выжил и смог вернуться во Францию. Передают его по-разному. Все отметили, что было адски холодно, что Каспий замерз, что капустный суп («бортш») очень хорош, а самовар — великая благодать в таких морозах. Расхохотались, узнав, что американскую тушенку здесь, в России, зовут: «второй фронт». Пилот и переводчик Мишель Шик уединился послушать радио. Он вернулся с дурным известием: французский флот, чтобы не попасть в руки немцев — а такое распоряжение было отдано из Виши,— только что зато-

плен в Тулоне. Самовар заурчал в тишине. Пирл-Харбор... Корпус Роммеля в Египте... Сталинград окружен...

— Я не знаю, как все это кончится,— сказал кто-то,— но никогда нас нельзя будет упрекнуть в том, что мы прилетели к самой победе...

Четверо русских солдат, раздувших самовар к прилету гостей, при свете коптилки читали только что поступившую сводку Совинформбюро. Она была безрадостна.

— Что вы, братцы! Не-ет, до разбора шапок еще далеко... Вы вот из Африки прилетели, да? Вы объясните, может, мы тут чего понимаем не так: на хрена союзнички открыли второй фронт не в Европе, а в Африке? А?

Французы переглянулись. Они не знали. Они об этом... не думали. В самом деле, почему? Почему не на южных побережьях Франции, где у противника никаких укреплений пока нет? Почему де Голля даже в известность не поставили об этой высадке ни Англия, ни США? В этот свой первый вечер в России они были еще очень далеки от мысли о том, что уж не крылся ли за всем этим расчет. Какой? На ослабление воюющих европейских держав... На то, что их колонии легче будет прибрать к рукам...

Войну отсюда видят по-другому, поняли они. Если бы еще спросил такое какой-нибудь военный чин или дипломат! А то простой солдат.

Да, это было, кажется, вечность назад. Они прошли брянские, орловские, смоленские, белорусские бои, схоронили немало товарищей и добыли немало побед, пообвыклись с морозами и самоварами, понемногу заговорили, нескладно спрягая глаголы, по-русски, влюбились в здешнюю суматошную весну. А летчик связи капитан де Панж, знавший наперечет могилы однополчан, никогда не упускал случая посадить свой У-2 у холмика с крестом — французов хоронили с крестами, не со звездами,— и положить на холмик букетик васильков. В некоторых селах капитана уже хорошо и близко знали, детвора бросалась встречать, но всегда и на каждой могиле он находил свежие васильки, ромашки, маки. Сине-бело-красно. Как фюзеляжи их самолетов. Как флаг их родины.

Еще по долгу службы у капитана была тяжелая повинность разбирать вещи погибших, часть их оставлять в полку «для дележа», а личный архив при случае отвозить в Москву, в посольство «Сражающейся Франции», для передачи когда-нибудь потом на родину, семье.

Признаться, были среди павших парни, которых он почти не знал, едва помнил в лицо, так быстро они «спускались». Так нашел он однажды письмо, написанное командиру полка Пьеру Пуйяду. Летчик признавался, что скрыл от командира правду, что у него совсем не столько налетано часов, как он сказал, что чувствует он себя совершенно не готовым к этим страшным боям в русском небе. Дата на письме была, однако, давняя. Летчик так и не решился его отдать, предпочтя погибнуть, чем покинуть строй. Но у Пуйяда глаз был зоркий, он по одному взлету определял истинную квалификацию новичка. Это не раз мучило его: отослать на многомесячные тренировки или пусть уж набирается опыта в боях? Страх перед отправкой на «тыловой тренаж» был у новичков столь велик (Пуйяд читал этот страх в их глазах), что так он ни разу на это и не отважился. А потом корил себя... за Жана де Сибура... за Жана Рея... Хотя... война же! А на войне, как на войне.

Им положен был один из лучших рационов Советской Армии. Новичкам, приходившим в полк, ветераны поясняли: все хлебные районы у России захватили боши! Тяжко небось во Франции, но разве так, как здесь? Капитану де Панжу в самую лютую распутицу первой весны пришлось отправиться на поиски пропавшего где-то между Орлом и Ельней младшего лейтенанта Александра Лорана. Уже, однако, пахали. У него перевернулось сердце: впрягшись в плуги, пахали женщины и дети. С высоты в полсотни метров он мог разглядеть даже лица: останавливались, не зная, бросаться в кусты или приветственно взмахнуть рукой. Свой, свой, вон звездочки на крыльях, хотя и странно окрашен нос. Капитан летал, высматривая Лоранов «як», наконец, заметил, сел посреди деревни и тут же был зван к чаю. Номер рациона-угощения определить бы он затруднился, но одно ему было ясно: на стол несли последнее. Лоран прожил тут четыре дня, сажая картошку, сея хлеб.

— Вот бы еще «як» приспособить под сев или пахоту! Да тут разве бензин найдешь... Я из-за бензина сел,— повинился он.

— Кончился? Мы тебя пропавшим без вести числим, пропащая твоя душа,— выговаривал де Панж,— а он тут, видите ли, пашет да сеет. А если б сельсовет не сообщил про тебя в полк? Так бы и остался тут навеки?

— Во-первых, в сельсовет я про себя сообщил сам. Во-вторых, если уж оставаться, так я бы в Туле.

Капитан знал, почему в Туле. Знал это и весь полк: Лоран влюбился. Тулячка Рита уедет с ним после победы в Париж и сделается мадам Лоран. В полковом журнале рукою де Панжа, через цензуру коллективного чтения, история эта написана по-мушкетерски галантно: чуточку с юмором, но всегда уважительно. Впрочем, какая же война без пахоты и жнивья, без любви и дома, без разлук и встреч, когда это-то мы от врага и защищаем?

В 19 часов 30 минут какая-то патрульная пара по тревоге поднялась в воздух. Через полчаса она вернулась в Дубровку. «Никаких происшествий»,— записал капитан де Панж и вдруг спохватился: «Надо же! Чуть вообще не забыл отметить событие, которое наложило такой важный отпечаток на нынешний день. Сегодня, 6 июня 1944 года, открыт второй фронт!» Открыт на северном французском побережье, в Нормандии, чье имя носит полк.

Только через полтора года вот он, ответ тем русским солдатам, что зимой сорок второго при свете коптилки читали тревожную сводку Совинформбюро... А русский фронт уже громыхал на западных границах. Вспаханные вручную (или, лучше сказать, вплечную) поля заколосились хлебом.

Полк патрулировал над Березиной. Сто с лишним лет назад здесь кончилась слава великой армии Наполеона. Зачем он шел сюда, что надо было ему в таких далях? Одного летчика, прогулявшегося как-то в деревню Любавичи, местный поп, сообразив угощенне с самоваром и водкой, повел показать избу-музей. В селе были и мужчины, уже правившие крестьянский труд, хотя вчера только из лесов, из партизан. Сто пятьдесят наполеоновских солдат положили предки этих людей вилами и топорами. Избу немцы подожгли, но оружие наполеоновское, и обгорев, осталось цело: пищали, мушкеты. К ним теперь добавляли немецкие автоматы, каски, разбитый пулемет...

Пилот Ив Фору, после того как «приземлился» и попал в госпиталь, почувствовал себя здесь вроде как музейный экспонат. «На меня ходили глядеть... Но «звездой» я был недолго, потому что в лазарет привезли русскую летчицу Соню». Он сбил лишь один фашистский самолет, а она уже три, «и я испытал что-то вроде комплекса, когда всеобщий интерес переключился с меня на нее»...

Постигиуть душу иезнакомого народа, среди которого назиачила оказаться судьба, помогают разные обстоятельства; госпиталь иа войне в этом смысле — школа незаменимая. Легкоранеиые ставят спектакль для тяжелораиеных, хотя сами еще вчера были на их месте. Спектакль патриотический, «Давным-давио», о временах нашествия Наполеоиа иа Россию. Фору смотрит его в пятый, десятый, двадцатый раз, прогрессирует в языке, ио одна деталь упрямо ускользает от его понимания. На сцену, то есть в избу, к раненым русским офицерам входит казак и докладывает, что принес им показать французскую подкову. Все начинают без удержу хохотать: раиеиые-актеры, раненые-зрители. Ив Фору, в конце концов, умоляет объяснить причину смеха. Хохот еще больше. Приносят иаполеоиовскую подкову и для сравнения русскую. В то время как подкова русская с шипами — иа таких подковах лошадь поскачет хоть по льду, фраицузская — совершенно лысая.

— Боже мой,— шепчет Фору,— и что, Мюрат этого ие знал? И его лошади скользили и падали?

— Да зиал ои, знал! Ну как ты не поймешь? Это шутка в пьесе, ио шутка серьезиая. Ну, лысая подкова... понимаешь... ие может она зацепиться за чужую землю, связи у иее с этой землей нет. Понятно?

— Боже мой,— шепчет снова Фору,— ну конечно, понятно...

«В Москве мы побывали в Музее Советской Армии и увидели там, к своему стыду, среди скопления германского оружия бронеавтомобиль «панар», пулемет «гочкисс» и другое оружие, выпускаемое во Франции...» Трофеи эти несказанно расстроили летчиков. Наполеон, Антанта, теперь вот эти ублюдки из «Франкрейха»... Да иеужто мы первые французы, которые пришли на эту землю как друзья? Насколько они были осведомлеиы в истории, выходило, что так. Однако дальше оии узнают про двадцать фраицузских интернациопалистов, участвовавших в русском Октябре. Двое из них оказываются особенно интересиы пилотам: Робер Дэм и Эдмон Розие. Антанта пошла на красную Россию с танками. Пять танков красноармейцы отбили, один послали в Москву на первомайский парад девятнадцатого года: показать поверженного монстра. Тут его и увидели Розио и Дэм. А они, инженер и рабочий, собирали этот таик до войны, там, во Фраиции. Теперь они по памяти берутся восстановить чертежи.

Так что первый советский танк, оказывается, сделан с помощью французских интернационалистов? На Сормовском заводе? Ах, это Нижний Новгород? На Волге? Куда немцы не дошли? Ура Розие и Дэму, они внесли свой вклад в битву Франции с фашизмом! Когда же все это было? Двадцать пять лет назад? Всего двадцать пять? А ведь правда, Советскому Союзу только двадцать пять лет. Вот как нам и как летчикам из 18-го гвардейского полка...

В один из этих дней — кончался июнь — командир 18-го гвардейского авиаполка полковник Анатолий Голубов сбил «мессершмитт», но, подожженный зениткой, до посадочной полосы уже не дотянул... Поздно! Самолет объят пламенем. Голубов сделал то последнее, что ему оставалось сделать: он снизился, уменьшил скорость и выбросился без парашюта. Переломанного, но живого, его на носилках проносят мимо выстроившихся летчиков 18-го полка и «Нормандии» — вместе они и входят в 303-ю истребительную авиадивизию под командованием генерал-майора авиации Г. Н. Захарова. Редкий случай, когда журнал позволяет себе явно возвышенные слова, да еще в восклицательных интонациях: «Какая сила в этом человеке! С такими командирами Красная Армия побеждала и победит!» Через полгода полковник вернется и снова полетит в небо в паре с французским летчиком. Пройдут два месяца, и почти так же, с разорвавшимся парашютом, из горящего самолета прыгнет Пьер Жаннель. Он упадет в самую гущу наступающих советских танков. Его, как Голубова, «по частям» соберут в Москве, и он тоже всем будет доказывать — и докажет, что должен вернуться в полк. «Наш Голубов»,— мог бы смело написать в журнале де Панж.

«Если в течение предыдущей войны пехота не поспевала за танками, то сейчас авиация не поспевает за пехотой...» Очередная стратегическая дискуссия во «французской избе»? Да. И она совершенно к месту. В июне-августе сорок четвертого три Белорусских и 1-й Прибалтийский фронты пробили в германской линии обороны четырехсоткилометровую брешь, устремились в нее и, не давая фашистам вкопаться в землю, развив мощное наступление, молниеносным шагом вышли к западным границам СССР.

Два дня в июле остались в полковой памяти особенно отчетливо. Один был облачен и хмур, другой солнечен и ясен. В первый день произошла нелепая и страшная трагедия, во второй же день вроде бы ничего не произошло. Однако два эти дня разделяет нечто куда большее, чем метеорологические условия и событийная хроника.

15 июля 1944 года погибли де Сейн и механик Белозуб, которого де Сейн звал «философом» и который прибыл в группу год назад.

«Какого прекрасного товарища потеряли мы, жизнерадостного и неистощимого на выдумки, простого, искреннего и честного! Вторая эскадрилья понесла тяжелые утраты: две недели назад пропал без вести де Фалетан, сегодня погиб де Сейн. Лейтенанты Соваж, Шик и Лебра хоронят нашего товарища в Дубровке, тогда как в Микунтани мы, построившись в каре по приказу полковника Пуйяда, отдаем погибшему последние почести минутой молчания.

Наша новая база удалена на запад на 400 км...

Сверху было видно, как вдруг оборвалась монотонная и бескрайняя, так, что не охватишь глазом, русская равнина, по которой мы прошли с Волги. Мы даже не в силах сдержать рукоплескания, увидев собор из красного кирпича, окруженный живописной лужайкой».

«16 июля. Изнурительная жара.

Мы расположились на большой ферме, крытой черепицей. Это часть огромной частной усадьбы. Посреди фермы — выложенный камнем колодец, с водокачкой, «как во Франции»... Окрестности холмистые, перелески и поля; горизонт ограничен 500 метрами. Живут здесь поляки, среди них много молодых людей. Мы им очень симпатичны. А от них то и дело слышим вопрос: «Будут ли у нас колхозы?»

Мы снова вступаем в контакт с миром индивидуализма...»

Россия умывалась водой льющейся, зорко подметил один историк, потому здесь в ходу рукомойники и кружки для слива воды; Запад умывался водой стоячей и придумал поэтому таз... Впрочем, все это детали и элементы быта, входящие чуть ли не в ландшафт и уж во всяком случае — в уклад жизни. Но, перебираясь с Березины на Неман, летчики уловили не столько смену ландшафта, быта, уклада, сколько смену атмосферы, духа.

Гибель ли де Сейна на самой кромке русской земли так их поразила? Но ведь летчики все были привычны

смотреть смерти в лицо и встречать ее, как подобает воинам: даже самый глубокий траур никогда не размягчал их воли. Дело скорее в том, как погиб де Сейн.

Де Сейн погиб, как за две недели до него погиб де Фалетан.

Запись в журнале: «Де Фалетан на Як-7 отправляется вместе со своим механиком на место, где он оставил неисправный самолет, взлетает и берет обратный курс. Но он не возвращается». Из донесений наземных частей стало ясно, какая трагедия разыгралась в воздухе. Самолет явно подыскивал площадку, чтобы сесть; но в районе передовой земля всегда изрыта и перепахана. А самолет уже заваливался, падал... Почему же летчик не выпрыгнул с парашютом? Бруно де Фалетан до конца боролся за жизнь механика Сергея Астахова и свою жизнь. Но спасти он мог бы только одну — свою...

Эта трагедия разыгралась, когда никого из товарищей не было в небе. Следующая, повторившись точь-в-точь, произошла вся у них на глазах, с той, однако, разницей, что де Сейну приказал прыгать сначала его командир майор Дельфино. Но когда выяснилось, что на борту самолета русский механик, и притом без парашюта, решение перешло к русским — майор Дельфино передает микрофон старшему инженеру дивизии капитану Сергею Агавельяну. После двух неудачных попыток самолет рванул вверх метров на восемьсот.

Лишь потом до Агавельяна дойдет, вынырнув из тайника памяти, смысл коротких реплик, которыми обменялись сгрудившиеся вокруг него французские летчики; кто-то из них сказал:

— Я бы не смог оставить самолет, бросив механика...

— Я тоже нет.

— И я тоже...

Но микрофон уже у Агавельяна в руках. Он думал: вот-вот как бы одуванчик возникнет рядом с самолетом и полетит от него в сторону и вниз, и приказа отдавать не придется, и не придется потом мучительно разбираться в правомочности таких вот чудовищных приказов, по которым одна жизнь как бы признается дороже и нужней другой. Самолет снова ринулся вниз, Агавельян понял, что теперь летчик попробует последнее: слепую посадку. Это — гибель вдвоем.

— Морис! — закричал он.— Это приказ! Немедленно прыгай! Другого решения нет!

Уже у самой земли «як», еле-еле управляемый, клю-

нул носом, перевернулся на спину, надрывный вой мотора как бы срезало взрывом, все произошло так быстро, что, казалось, самолет сам влетел в пламя, свечой поднявшееся навстречу ему с земли.

Жизнью на войне рисковать приходится постоянно, и шанс здесь всегда максималистский: или — или. Лейтенант де Фалетан и капитан де Сейн действовали в экстремальных условиях, когда на размышления оставались секунды. Поступили бы они иначе, имей они возможность спокойно взвесить и решить? Вспомним разговор французских пилотов на земле, услышанный Агавельяном и переданный им в своих воспоминаниях. Да, оба раза шанс был максималистским по двойному счету: или вдвоем спастись, или вдвоем погибнуть. Наверняка спасти можно было только одну жизнь. И этот выбор сбрасывался со счетов — де Сейном в небе, а его друзьями на земле — именно потому, что не оставлял шанса другому.

Мужская дружба, фронтовое братство, подвиг самопожертвования. Все слова справедливы! И, однако, не передают, быть может, самого существенного. Отношения всех французских пилотов с русскими пилотами и механиками взросли в атмосфере полного согласия личных интересов с коллективными устремлениями и задачами. Коллективными в самом широком значении — до всенародной широты.

Это было открытие, которое подарила им, которым их пронизала Россия.

Но вот граница позади, они на западной стороне мира. Она, в общем, им знакомей и привычней. Перемена оглушительная!

Как всегда в тех случаях, когда походные кухни отставали — а это происходило иногда в наступлениях, при смене баз,— полк моментально переходил на домоводство и делал это, надо признать, довольно расторопно. Капитан де Панж со своей малой высоты никогда не забывал приметить, где картофельное поле, где еще растет какой полезный овощ или фрукт. Если сильно припирало, полк, чего греха таить, выбрасывал «зеленый десант», ну а уж поохотиться на дичь считалось и вовсе занятием благородным и для желудка полезным. Они прошли и пролетели по России тысячи километров и никогда, среди разрухи, голода, мужественно сносимых народом страданий, никогда не навлекли на себя ничьей немилости или гнева, ни хутора, ни колхоза, ни

охотничьего хозяйства, а уж тем паче колхозного двора.

За каждую воздушную победу летчикам Советской Армии полагалась денежная премия. Естественно, и французским летчикам тоже. Они не знали, что делать с деньгами, потому что их никак не удавалось употребить в знакомых ли, незнакомых ли селах и дворах. Им делалась какая-либо поблажка, скидка, исключение? Ничего подобного. Точно такое же отношение они видели и к летчикам — побратимам полка, ко всей армии. В конце концов, они перестали даже интересоваться своей зарплатой и вознаграждениями, забыв, где и на каких счетах копятся эти деньги.

Полк нес с собой, в себе, как несла и вся освободительная армия, ту нравственную силу, что происходила и вытекала из коллективно принятых жертв и лишений, коллективной воли к их преодолению. А путь к этому преодолению лежал через победу.

5

Соорудить такой торт во фронтовых условиях! Посреди его высилась Эйфелева башня с трехцветным французским флагом. Большее потрясение они испытали бы, разве только если б наяву перед ними предстала Эйфелева башня, с которой, уж к слову будь сказано, в начале века был проведен первый сеанс радиосвязи между Францией и Россией. Но и это было еще не все. Капитан де Панж, обозначив дату и метеосводку дня: «23 августа 1944 года, погода хорошая...», поведал дальше: к превеликому сюрпризу французов, летчики 18-го полка хором грянули втайне от них разученную «Марсельезу». Был фейерверк. Все, что могло палить, палило. С немецкой стороны ответили артналетом. К счастью, никто не пострадал, и веселье продолжалось до утра. Поздней ночью вернулись из дальней поездки доктор Жорж Лебединский и пилот Пьер Жанниель, «наш Голубов». Они последними и узнали новость:

ПАРИЖ ОСВОБОЖДЕН!

Где-то невдалеке от них, за линией фронта, стояла потрепанная в боях, погрузившаяся в уныние и траур, бригада «Франкрейх». Освобождение Парижа для этих людей означало полное крушение. Четыре года назад они сами оставили свою родину. Теперь они ее лишились вовсе. Они догадались, почему на русской стороне фейерверк и поют «Марсельезу». Все, чем они могли ответить, это шальным, бессильным в злобе артобстрелом.

У заключенного № 2332, сидевшего в это время в концлагере для советских военнопленных в Лодзи, был день рождення. Втайне от охранкн плененные, как и он, русскне летчики прнготовили ему из хлебных корок «торт». Связанные тайной задуманного побега, сумевшие даже наладнть связь с польскими партизанами, онн тем не менее отщнпнули от своих паек по десятннке. Заключенный № 2332 был тронут до глубины души и всетаки посетовал, что «торт» теперь придется съесть, а лучше было б и эту пайку засушить на побег.

Когда он попал в плен, гитлеровский офицер начал допрос так:

— Когда вы покннули Францию?

— Когда вы туда пришли.

— Почему вы ее покинули?

— Потому что вы туда прншли.

— Вам известно, что решением правнтельства Внши летчики «Нормандии», воюющие против рейха, подлежат расстрелу?

— Конечно. Но всю Францию вам не расстрелять. Вы уже пробовали расстрелять Россию...

— Где базируется ваш полк, поточнее?

— Военная тайна. Как военнообязанный «Сражающейся Францни» н Советской Армин, я таких тайн разглашать не могу.

— Вы ведете себя вызывающе. Но сейчас я вам коечто покажу.

Ему показали документы трех летчиков, сбитых почти месяц назад. Это были первые потерн полка: Раймон Дервилль, Андре Познанский, Ив Бизьен.

— Их мы уже расстреляли, не дожндаясь вас,— сказал офицер.

Заключенный № 2332 спросил:

— В таком случае прошу вас ответнть мне на однн вопрос. Почему все документы обуглены н окровавлены?

Офицер промолчал.

— Тогда отвечу я. 13 апреля 1943 года я тоже участвовал в бою над Спас-Деменском. Нас атаковало восемь «фокке-вульфов». Три были сбиты: один Дервиллем, второй Бизьеном, третнй Познанским. Однако сбнли и их. Это были наши первые бои и первые потерн.

— А теперь вы, похоже, начали отрабатывать русскую тактику боя, парами: ведущий н ведомый, так?

— Увидите в бою.

— Началн-то вы, как во Францнн: каждый летал сам

и дрался сам. Хорошо, знайте же: вы первый живой летчик «Нормандии» в наших руках. Прежде чем расстрелять, мы сделаем из вас пропагандистский номер. Будем возить и показывать как предателя, который служит большевикам.

— Прекрасно. Я сгожусь и в этом качестве моей Франции. Но с этой минуты я не отвечу больше ни на один ваш вопрос.

Ив Майе, так звали этого дерзкого заключенного, бежал бессчетное число раз, но никогда ему не удавалось пересечь линию фронта. Он упорно молчал, и при поимке на установление его личности уходили месяцы. Вторично приговоренный к расстрелу — за очередной побег, он в день, назначенный для казни, бежал в... лагерь. Подпольный комитет заключенных неузнаваемо загримировал его. Фронт уже гремел рядом. Продержаться оставалось последние дни, часы...

В другом концлагере, где-то в глубинке рейха, сидели Жан Бейсад и Константин Фельдзер. Они доверились соотечественнику, который в лагере пек булки — то же самое он делал до войны. Летчики попросили у него хлеба на дорогу. Той же ночью они были подняты с нар: «Большевики! Бежать?..» Все-таки они выживут, вернутся и после войны, разыскав булочника, начнут против него судебный процесс. Синдикат булочников города пригрозит встречным обвинением — «за диффамацию, оскорбление чести узника гитлеровских концлагерей». Подумав, летчики заберут свой иск назад.

Нация была глубоко поранена и разъединена. Освобождение сразу же сотрет имя Франкрейх. Но, чтобы вытравить коллаборационизм духа, потребуются годы и годы. Парадокс в том, что он был многолик. Одни служили и возвышались, другие были даже страдающей стороной, но при этом и те и другие принимали идею сотрудничества с врагом. Дальше шли лишь оттенки: кто более пылко, кто менее... В годы преодоления коллаборационизма, всячески скрывая отметины на совести, горячо зато выставляли напоказ анкетные шрамы и шрамчики.

Что летчики «Нормандии» в СССР дивились странным, с их точки зрения, обычаям незнакомого народа, в том ничего вопросительного нет: естественная реакция на новую обстановку. Советским военнопленным, бежавшим из фашистских застенков во Франции,— а они соз-

дали тридцать пять собственных отрядов, участвовали еще более чем в двухстах партизанских группах,— наверняка пришлось испытать такие же чувства в их будничном погружении во французский быт. Есть или не есть лягушек, кормить просом канареек или варить из него кашу, что считать котлетой: цельный кусок мяса, как во Франции, или замешанный на яйце и хлебе фарш, тут нигде не поставишь знак равенства.

Наполеон занес к нам вместе с войной и ее вечный спутник — голод, да такой, что есть пришлось павших лошадей; что по-французски «шваль», конь, то по-русски приобрело значение дряни, хотя первоначальный подтекст уже давно забыт. Когда же по пятам Наполеона русская армия вошла в Париж, бог весть, куда они так спешили, казаки, но своим «быстро, быстро!» они наплодили премилые кафе-бистро. Не в гастрономических, не в обрядных, не в бытовых особенностях дело: и люди-то разные, а уж народы!

Читая хронику «Нормандии», я потрудился составить один перечень для такого вот рода любопытных нам друг в друге различий — они французских летчиков удивляли, забавляли, заставляли цокать языком, другой же — для незнакомых им реалий, которые их — не преувеличу — потрясали. Тут есть разница, которую сами они тонко чувствовали. С некоторой долей условности первые можно назвать чертами нашего национального быта; вторые — чертами нашего советского общества.

Галантный французский пилот, подглядевший у русских привычку общения с женщинами, на субботнике по уборке снега с территории авиабазы слегка, в общем, невинно шлепнул по плечу незнакомку, стоявшую к нему спиной. Она повернулась. Пилот чуть не упал в обморок — жена генерала, начальника базы! Ни малейшего неудобства между ними не возникло, она, смеясь, запустила в него снежок. Все очень мило.

А он и через тридцать лет поражается: война, субботник, жена генерала с лопатой! «Да у нас,— пишет он,— жена такого лица возьмет лопату в руки, только чтобы попозировать фотокорреспонденту из журнала!»

Французский механик познакомился с молодой советской летчицей; назначено рандеву; он приходит, она нет. У механиков даже питательный паек был на два номера ниже, чем у пилотов, они «чинят в амбаре», в то время как летчики «воюют в небе»,— можете себе представить закомплексованность молодого человека? Спустя

час он узнает: она только что погибла в бою. Навсегда расстроилось рандеву, а может, и любовь двух людей.

И все же тут не только потрясение чувств. Француженкам в отваге не откажешь, еще в начале прошлого века вся Европа восторгалась мадемуазель Бланшар, летавшей по воздуху на шаре и разбившейся на глазах у толпы. Но как смогло подняться буквально со школьных парт, только-только расплетя косички, целое поколение девчонок, летающих по воздуху не ради денег и рекламы, а под прицелом пулеметов?

В памяти французского механика советская девушка-летчица осталась навсегда — ее образ, ее символ...

Кто кладет цветы к мемориальному списку сорока двух пилотов «Нормандии — Неман» в Москве? Анатоль Коро, бывший переводчик полка, был уверен: специальная служба. Если так, это прекрасно. Он решил подкараулить момент возложения, выбрал утро, ждет. Довольно долго никого. И вдруг: идет! Средних лет мужчина. Положил свои цветы, поправил прежние, пошел назад. Коро подскочил знакомиться. Оказалось: инженер из Киева. Раз, два раза в месяц по делам службы бывает в Москве и обязательно приходит сюда с букетиком. Но почему, не унимался Коро, что вас связывает?

Киевлянин развел руками, не в силах это объяснить:

— Вы знаете, нравится мне «Нормандия». Поэтому и прихожу.

Так оказалось просто: «нравится»...

Но сильнее всего французские летчики были поражены, когда увидели в первый раз в своей дивизии самолет — подарок от завода... Потом уж привыкли: от театра... от колхоза... от русской православной церкви... Ко всему привыкаешь в людях, когда их поближе увидишь и поймешь! Так само собою у них однажды явилась мысль, как поступить с теми деньгами, которые лежали без употребления за их полной ненадобностью в отношениях с тылом.

Письмо главы французской военной миссии в СССР Э. ПЕТИ Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами СССР И. В. СТАЛИНУ

10 декабря 1943 года

С того момента, как французский истребительный полк «Нормандия» был передислоцирован, наши пилоты

получили от советского командования сумму в 75 тысяч рублей в качестве премии за сбитые самолеты.

С целью принять участие в производстве военных материалов, желательно в постройке самолета, командир полка майор Пуйяд от имени пилотов своего соединения передал мне эту сумму с просьбой предоставить ее в ваше распоряжение...

Эти деньги еще и добраться не успеют до счета № 14001 Госбанка, как полк «Нормандия» вдогонку им пошлет в Фонд обороны еще 7 тысяч своих премиальных рублей — сбито еще семь самолетов противника. К концу войны Советское правительство, однако, отклонит их очередное ходатайство о передаче своих премий в Фонд обороны, более того, прощаясь с летчиками, настоит на выплате им денег, которые они отказывались брать. Выплачены они были в долларах. Лишь потом, когда уже многие из них распростятся с военной службой, когда начнется новая война — «холодная», они в полной мере оценят, как это было прозорливо и заботливо сделано.

Полк и сегодня жив, он располагается под Реймсом, в краях шампанского. С молодыми французскими летчиками мы там чокнулись шампанским «Нормандия — Неман». Прием был по случаю визита советской эскадрильи в полк-побратим. Здесь с любовью и памятью собрана и представлена полная история «Нормандии».

В годы войны эти люди поняли, что сознание правого дела сплавляло волю миллионов советских людей в несокрушимый порыв нации. Из своих скудных рационов не по приказу свыше, а по движению бьющихся в ритм сердец умудрялись еще отложить на самолеты и танки, понимая, что они должны пройти перед плугом и отогнать тех, кто несет ярмо. Человек, конечно, не лошадиная сила, но если уж и это приходится на себя взять, если надо впрячься и тянуть, то и это он сделает, потому что у него есть с землей связь прочная и нервущаяся. Мир коллективизма не только не гасит человеческую индивидуальность, а помогает ей ярче раскрыться и крепче стоять.

Они не стали в России «большевиками», но подружились с нею и стали друзьями навсегда.

В октябре Пуйяд собрался сам в освобожденный уже Париж — чтобы самому сформировать дивизию. Двенадцать летчиков вместе с ним получили на правах ве-

теранов отпуск, упаковали чемоданы, раздарили механикам часы и устроили прощальный обед. Транспортный самолет за ними из Москвы уже прилетел, стоял, ждал. Пуйяд задержался по вызову командира дивизии. Но вот, наконец, и он. Сел. Говори, полковник, тост прощания! Встал. Не может начать, волнуется, проглотил комок...

— Завтра, камарады, начинается новое большое наступление на запад... Но каждый может решить сам... Я лично остаюсь, но я ведь командир...

Тихо. Как бывает на свете тихо!

Это же не сверхурочно поработать. Это сверхурочная встреча со смертью.

А в углу двенадцать чемоданов по десять килограммов.

Тихо. В Париже, конечно, уже каштаны жарят на улицах...

— Мой полковник, — сказал в этой тишине Роллан де ля Пуап, — если мы еще немного вот так просидим, то в наших бокалах тост за наступление совсем выдохнется...

«В бокалах!..» В русских граненых стаканах, черт возьми! Вы, де ля Пуап, еще не в кафе «Де ля Пэ» на Больших Бульварах и даже не в ресторане «Москва», а на фронте! Полковник всегда находил ответ, достойный удачной шутки, его надо было сверх всякой меры рассердить, чтобы он мог лишить пилота, например, права неделю играть в покер. «В бокалах!..»

Снова бои. Только за один из этих октябрьских дней полк сбил двадцать девять самолетов. Капитан де Панж, тоже распаковавший чемодан, продолжал свои хроники. Не вернулся Жак Казанёв... Погиб Жан Монсо... Они сложили головы в чужих полях, уже на западной стороне.

Сколько могил с маками! У них цвет крови, цвет советского знамени. Но, пролетая на бреющем полете там, где пали два новых товарища, капитан де Панж увидел на их холмиках знакомое трехцветье: василек, ромашка, мак.

Кто это сделал? Русские пехотинцы? Местные жители? Этого капитан не узнает.

Чемоданы снова собрали только в декабре, вдруг полным составом, вызванные в Москву по случаю приезда Шарля де Голля на переговоры с И. В. Сталиным. Роллан де ля Пуап и Марсель Альбер стали Героями Со-

ветского Союза, позже ими станут Жак Андре и, посмертно, Марсель Лефевр.

Но нет, еще шла война. Сорок пилотов поехали обратно на фронт. Раньше они сражались за франко-советский союз; теперь им надлежало защищать его как новую реальность истории.

6

— ...Вы же знаете,— Пьер Пуйяд вдруг отклонился от темы, — есть только одно золото на свете, золото человеческого общения...

— Сент-Экзюпери?

— Да. Правда, у него сказано чуть по-другому: «роскошь человеческого общения». Думаете, случайно эти слова написал летчик? Даже когда ты не один в небе, не один в бою, все равно в самолете ты — один. И если вернешься на землю, выйдешь из переделки живым, то встреча с друзьями... словом, другого золота на свете нет.

Разговор уже принял этот неожиданный поворот, когда я спросил:

— Скажите, мой генерал, а Сент-Экзюпери никогда не просился в «Нормандию»? Сколько людей к вам рвалось... К тому же, вы и сами поехали во Францию — за пополнением.

— Да, но я поехал в декабре сорок четвертого, а Сент-Экс в июле погиб. Точней, пропал без вести. У летчиков это всегда различается, потому что «пропал без вести» еще дает надежду на возвращение. Но Сент-Экс с задания не вернулся. Мечтал ли он о «Нормандии»? Уверенно не скажу. Ведь он был летчик авиаразведки, а «Нормандии» требовались истребители. Кроме того, когда война началась, ему было сорок лет. Поздно уже было в истребительную авиацию, мы с Жан-Луи Тюляном были почти «дедушками» полка, ведь когда попали в Россию, нам обоим уже было за тридцать...

— Вы знали Сент-Экзюпери лично?

— Да. Оказаться с нами в России было бы вполне в логике его характера, не будь тех помех, о которых я сказал. Но была и еще одна, сложнее всех других. От всех нас понадобилось прежде всего мужество выбора. Война застала кого в метрополии, кого в дальних колониях... Но где бы ты ни находился, решить прежде всего надо было этот вопрос: с какой ты Францией? С Францией Петена и Виши? Или Францией Сражающейся,

Францией Сопротивления? Учтите, что и выбор этот перед нами далеко не сразу встал с такой ясностью. В стране царил хаос, а в душах смятение. Вы думаете, так уж много людей 18 июня услышали призыв де Голля? Один француз из тысячи, страна ведь была уже оккупирована... Это известная статистика. Я, например, потратил добрых полтора года, пока принял решение и добрался в Лондон, к де Голлю. Сент-Экзюпери, кстати, с голлистским движением что-то не ладил. А у вас, собственно, в какой связи возник вопрос о нем и «Нормандии — Неман»?

— Он просто пришелся к слову, мой генерал, и вы же дали повод, напомнив прекрасные слова о золоте человеческого общения. Я вот подумал: если бы дневник вашей эскадрильи, а потом и всего полка вместе с капитаном де Панжем вел Сент-Экзюпери! Понятно, что все дневники и журналы должны писаться сухо, строго, точно, но для писателя это наверняка был бы повод рассказать о золоте судеб летчиков «Нормандии» и золоте ваших отношений в полку, и не в полку только...

— Да, — тихо сказал генерал. — Тут вы, пожалуй, правы... Но что гадать! Сент-Экзюпери полетел в другую сторону, чем мы. В противоположную. Я думаю, ему хватило времени и понять и увидеть, что он ошибся.

— Куда он полетел, мой генерал? В какую сторону?

— В следующий раз, хорошо? Мне надо многое оживить в памяти.

Но следующего раза — увы! — не представилось. В сентябре 1979 года лишилась «Нормандия — Неман» своего боевого командира Пьера Пуйяда. Перед смертью Пуйяд стал лауреатом международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», которую справедливо приравнять к самым ценным боевым наградам полка. Он навсегда остался верен союзу Франции и СССР, много работал для этого в обществе дружбы наших стран.

Наш случайно «отклонившийся» разговор послужил мне как бы ключом к сути понятия «Нормандия». Миссия полка была военной — это прежде всего. Она в этом смысле была частью Сопротивления, вернувшего народу Франции уважение и достоинство. Она оказалась и дипломатической миссией, причем не только в течение войны, но и долго потом, вплоть до нынешнего дня. А как она по-человечески прекрасна и поэтична! Ничего нельзя вынуть из этого золотого сплава, ни один компонент.

Остается понять секрет этого сплава. Он держался на дружбе людей, на верности долгу, на постижении совсем простых и совсем не простых истин нашего времени... Но разве это все? Нет, что-то еще.

7

В феврале 1945 года одна из выходивших тогда газет Сопротивления, еженедельник «Франс д'абор» («Франция прежде всего»), опубликовала корреспонденцию С. Моргана «Если мы хотим стать великим народом». Впрочем, скорей уж это интервью.

«Летчики группы «Нормандия» прибыли в Париж.

— Если бы вы знали, как ждали мы этой минуты, — рассказывает капитан С. Капитан С. один из самых прославленных офицеров эскадрильи. К тому же это очень молодой капитан.

Но сегодня он думает только о том, как бы скорее вернуться на фронт. Там его и его друзей ждут самолеты.

— Русские продвигаются так быстро, что, боюсь, не опоздать бы нам!

— У меня впечатление, что вы чем-то разочарованы.

— Да. Представьте, мы сожалеем, что прибыли сюда.

— Почему же?

— Мы прибыли из России. Женщины, мужчины и даже дети, все до единого там втянуты в борьбу. Там каждый непроизвольно забывает свои интересы для того, чтобы помочь стране.

— А что же вы нашли во Франции?

— Во Франции? То и дело слышу здесь слова: «Хотите хороший адресок? Я знаю славный ресторанчик. Всего за пятьсот франков, и так далее...» Идет война, но для кого-то она — средство обогащения. Мне это противно!

— Но ведь не все же французы промышляют на черном рынке!

— Не все. Только я вот что хочу сказать. Россия сейчас — это как бы один индивидуум, а Франция — миллионы индивидуумов. Если мы хотим стать великим народом, мы должны забыть формулу: «Каждый для себя!» Пока я здесь, я повстречал многих парижан. Я нашел их апатичными. Никакого порыва, никакой теплоты. Все говорят о своих делишках, а кое-кто при этом еще и потирает руки: «Дела идут, слышишь, и войне скоро конец!» Вояки в домашних туфлях... Еще немного, и они повы-

лезают от нетерпения из кожи. Однако им и в голову не приходит мысль хоть что-то сделать для победы!

— Но это же вовсе не их вина! После Освобождения в армию призвали только рекрутов сорок третьего года.

— Гражданское население тоже может сделать не меньше солдат. Мне показалось, что в этом отношении у нас что-то не так. Вот, пожалуйста. Солдаты прибывают в Париж — на пальцах можно пересчитать приемные пункты для них, да и те организованы из рук вон плохо! Или на днях на Восточный вокзал прибыла партия наших раненых. Думаете, Красный Крест поторопился их встретить? Или кто-то потрудился предупредить Красный Крест? Кругом подобная небрежность, а я в Советском Союзе отвык ее видеть...

Однако капитан С. встретил молодых французов призыва сорок третьего. Они отправлялись на фронт. Башмаки их были стоптаны и дырявы, одежда на плечах — с миру по нитке.

— У них, может, не было шика наших друзей американцев, зато на этих лицах было написано желание борьбы. Один из них, показав мне свои прохудившиеся башмаки и форму, сказал: «Ничего, мы повоюем и в том, что есть!» У этих парней были счастливые лица. Знаете, они вернули мне веру. Они сродни революционерам 1848 и 1871 годов, это благодаря им Франция обретет свое лицо!»

Не странно ли? Капитан С., прибыв на короткую побывку в Париж и обнаружив там, естественно, огромные изменения, тем не менее отчетливо ощутил, что самая большая перемена произошла с ним самим. Как мечтали «нормандцы» поскорее оказаться дома, сколько было про это говорено и думано! А только вернулись, как капитана стало что-то раздражать и даже безотчетно злить.

Уж не того ли сорта люди, что булочник из Пуатье, охотно демонстрировавшие шрамчики в анкетах, но тщательно прятавшие шрам на совести?

Двадцать вернувшихся летчиков — кто на побывку, кто насовсем — в Париже, понятно, были нарасхват. Друзья, гости, расспросы. «Ну, что там, в России, как вы там? Хлебнули небось? Нам и то бывало не до смеха, а уж вам-то, а?..» Поразительно, но объяснить, «что там, в России», они почти не могли. Им как бы не хватало слов, а если находились слова, то у собеседников глаза

или округлялись («Да ну!»), или узко щурились, у кого-то даже темнели.

Пьер Пуйяд:

— Странное это было состояние... Нас как бы связывала какая-то тайна, приобщить к которой других мы были почти не в силах. В конце концов я сказал себе: дело, быть может, в том, что мы только что из пекла войны, а они уж тут полгода как ее пережили. Борьба, энтузиазм, триумф... уже позади. Потекла нелегкая будничная жизнь, в которой участники Сопротивления и коллаборационисты должны были так или иначе ужиться вместе... Словом, для нас война продолжалась, люди мы были военные, и все мы собрались назад. Новичков набралось достаточно, чтобы родилась наконец дивизия «Франция», как это было договорено де Голлем и Сталиным в Москве. Однако вдруг...

«ВДРУГ!» Пуля его не брала. Ни одному «мессеру» не удалось никогда зайти ему «в хвост». Среди зенитных вспышек полковник лавировал, как бы играя судьбой. А тут на парижском бульваре тяжеленный грузовик врезается в такси, на котором полковник спешит в театр «Комеди франсэз». Там ждет его «большая публика»: военные, журналисты, правительственные чиновники. Он как будто специально лишь для того и вырвался из беспамятства, чтобы попросить позвонить в театр, объяснить, что произошло.

Новички поехали в Россию без него и начали в Туле тренировки. Ветераны остались: они промышляли апельсины у известного сорта лиц и днями высиживали у полковника, дожидаясь, чтобы встал. Встал. Дали костыли — пошел! Отняли костыли — держится полковник! Однако уже апрель...

Кто же из них дал то интервью газете «Франс д'абор»? Живых ветеранов «Нормандии — Неман» сегодня 28 человек, многих из них я знал лично. Искали с ними вместе. Прошлись по списку тех, кто мог оказаться в ту пору в Париже, взяли списочный состав полка, присмотрелись к каждой фамилии, которая начинается на латинскую букву С.

Кастелэн Ноэль? Но он лейтенант. Неразлучная пара с Альбертом Литтольфом, ведомый и ведущий. Литтольф, как Сент-Экзюпери, мечтал изобрести «идеальный самолет» — не пил, не курил, не ухаживал за девушками — думал и воевал. Кастелэн ему в этом помощник. Вме-

сте бежали из Франкрейха, вместе пришли в полк, уложили вместе двадцать один самолет и вместе не вернулись с задания 16 июля 1943 года. Капитан де Панж в тот день до поздней ночи тянул с записью в полковой журнал. Полк стоял в деревне Хатенки, между Калугой и Орлом. Де Панж ушел за деревню, за лес, откуда шире открывался горизонт. Проходя мимо амбара, в котором пустыми оставались проемы для «яков» Литтольфа и Кастелэна, он увидел их русских механиков. В полной тишине оба сидели, обхватив голову руками. Пара не вернулась. Итак, не Кастелэн.

Жак Казанёв? Но он аспирант. Он погиб в октябре сорок четвертого в том наступлении, ради которого двенадцать «нормандцев» отложили отпуск в Париж. Нет, не он.

Ив Карбон? Но он лейтенант. Он действительно уехал в октябре сорок четвертого, получив с родины печальное известие о смерти дочери. Еще в Москве было решено, что Карбон больше не вернется, а капитан С. рвется назад. Значит, и не Карбон.

Робер Кастэн? Но он лейтенант. После тяжелого ранения в феврале сорок пятого он был отправлен во Францию и никак не мог ехать назад. Нет, не Кастэн.

Марк Шаррас, капитан? Но он уехал из России уже после победы. Нет, не он.

Братья Морис и Рене Шалль, младший лейтенант и капитан? Морис начал службу в полку с трагической ошибки: ослепленный солнцем, он принял вдруг вынырнувший из облака русский самолет за вражеский... Другого такого потрясения, какое пережил Морис, на всей полковой памяти не найдется. Пуйяд даже не стал его наказывать, по правде и не зная, как тут наказывать, и понимая, что решение за русскими. Командир дивизии оставил его в полку. Он оправдал это доверие не только своими десятью победами — в марте сорок пятого в Восточной Пруссии он погиб в бою. Не он... Но, может быть, брат? Он был тяжело ранен в январе сорок пятого, из госпиталя выписался уже после победы. Нет, и не брат.

Остается еще майор Леон Кюффо. Увы, хотя он действительно в начале 45-го был в Париже, однако и он больше не должен был возвращаться в Россию, а кроме того, майор же, а не капитан. Не он.

Все. А больше на С никого и нет. Внимательно перечитав эти биографии, сопоставив их, приняв во внима-

ние каждую деталь, мы вдруг, кажется, поняли, в чем разгадка. А не «сборное» ли это лицо, капитан С.? Иначе почему он не назвал себя полностью? Увы, капитан говорил своим соотечественникам горькую и справедливую, но и нужную им правду, говорил, когда пресса уже начинала бросать в адрес французских летчиков — «послы большевиков». «Булочник из концлагеря» уже в 45-м составлял часть общественного мнения. Это он пострадал. Вот анкета. По принуждению врагов булки пек. Был оторван от семьи. Он всегда был «резистант» [1], чуть что — опять воспротивится... Вот так.

Что, однако, правда, то правда: пилоты «Нормандии — Неман» стали послами России во Франции, по крайней мере, в той же степени, в какой были послами Франции — в России. В одной из шести рассказанных выше биографий золотом сверкнула эта мысль. Дело происходит в Туле, где все пополнения полка тренировались для боев и где всем пришлось пожить подолгу, ближе узнать русских людей. Пожилой железнодорожник как-то вечером, в застолье, рассказал своим гостям, французам, сказку про золотую рыбку. Значит, так: бедный тульский рыбак изловил золотую рыбку... пропускаем известные факты... ну, и зажил богато и счастливо. Ан нет, налетели фашистские стервятники, стали город бомбить, порушилась жизнь, не стало никому покоя. Зовет рыбак золотую рыбку и говорит: слушай, сделай так, чтобы был мир. Богатство, счастье, что ты подарила, все это без мира не имеет никакой цены.

— Ладно,— сказала золотая рыбка,— иди домой, будет тебе мир...

— Ну и что?..— французы, сидевшие у самовара, переглянулись, не понимая, можно ли так просто — взмахнуть хвостом, и пожалуйста, мир.

— А то,— говорит тульский рабочий человек,— что пришел рыбак домой и видит: лежит на пороге повестка о мобилизации. Прямо ему и адресована. В армию, значит, зовут рыбака. Вот, значит, мой вам тост, французские люди: так не бывает, чтоб хвостом взмахнуть — и сразу мир сделается. Так можно сделать войну, а мир нельзя. За него, значит, надо стоять. Потому, как я понимаю, вы и находитесь тут, по повестке, значит, приехали. Вот и давайте так понимать, что повестка у нас одна на двоих — на вас и на нас.

[1] От французского «résistance» — «сопротивление».

Французские люди за столом онемели от чистой правды этой сказки. Может, с умения не просто ценить воюющих рядом людей, но одинаково с ними чувствовать, во имя чего идет эта борьба, какое добро и какое зло сошлись в кровавой битве века,— с этого, может, и зарождается золотой самородок дружбы, способной возвыситься до братства?

Когда Пуйяд выздоровел и «эскадрилья ветеранов» полетела обратно в Россию, когда он наконец добрался до Тулы, где тренировались на «яках» французские летчики, тут и истек срок мобилизационных повесток, объявили мир и перестали воевать. На тульском военном аэродроме навзрыд ревели летчики-новички, только недавно узнавшие чистую правду сказки про золотую рыбку, научившую, как делается мир. Только в соответствии с франко-советским договором о союзе и взаимной помощи они взяли свою мобилизационную интернационалистскую повестку, как она, и не начавшись, истекла.

Трудно Пуйяда вывести из себя. А тут сразу вывели.

— Дурачки! — рассердился на них полковник.— Всем запрещаю месяц играть в покер! А тренировки, между прочим, продолжать!

Полк «Нормандия — Неман» вернулся домой на «яках», с которыми прошел войну. Это был подарок Советского правительства Франции, ее вооруженным силам, ее народу. Если есть на свете золото человеческого общения, если оно сверкнуло ярче тысячи солнц, то вот когда это было и вот как это было: 15 июня 1945 года при проводах полка из России и 20 июня при встрече его в Париже на аэродроме Бурже. Особое счастье было в том, что несколько пилотов, считавшихся, по журналу полка, «пропавшими без вести», явились в этот день в Бурже и встали с полком в строй: Бейсад, Фельдзер, Майе, заключенный № 2332...

Ну а ЛФД, или бригада «Франкрейх»? Продавшие родину и потому ее потерявшие, они отступали до конца, до самого логова. Пока в логове не раздался выстрел, избавивший всех маленьких фюреров от повинности кричать с вытянутой рукой при встрече с любым фюрером побольше: «Хайль Гитлер!» История перевернула еще одну страницу. На то она и история, чтобы листать книгу времени вперед...

А нам ее обязательно нужно перелистывать назад, ведь как не бывает стариков, не проживших молодости, так и будущее не постигнуть и не прозреть без указующего в его сторону перста прошлого. Ведь на свете даже одуванчик не вырастет без корешков. Что причинно, то и следственно, что причинно-следственно, то и проницаемо, была б только память на все три дня истории, на вчера, на сегодня и на завтра, без обрывов и сновидений. Истинным прологом ко Дню Победы в мае и радостной июньской встрече в Бурже была для Франции вот эта речь генерала де Голля, сказанная им в декабре 1944 года, тут же по возвращении из Москвы.

«...Политика уловок и недоверия, проводившаяся между Парижем и Москвой в промежутке между двумя войнами, и их разлад в решающий момент лежали в основе возвращения вермахта на Рейн, аншлюса, порабощения Чехословакии, разгрома Польши — всех актов, которыми Гитлер начал захват Франции, за которым год спустя последовало вторжение в Россию.

...Русские усилия, нанеся непоправимый ущерб немецкой военной машине, послужили основным условием освобождения территории нашей метрополии.

Для Франции и России быть объединенными — значит быть сильными, быть разъединенными — значит находиться в опасности. Действительно, это непреложное условие с точки зрения географического положения, опыта и здравого смысла.

Эта истина, вытекающая для народов из всего, что им пришлось пережить, господствовала, могу сказать, на переговорах в Москве. Оба правительства на этой основе пришли к выводу о необходимости особого союза между Россией и Францией; это, по мнению обеих сторон, основной этап победы, а завтра — безопасности».

8

Но что же тот летчик, которому в июне 1940 года французское правительство отказало в дипломатической миссии в США? Он все-таки собрался и перелетел через океан. Он верил, что, будучи читаем в Америке, еще шире, чем даже у себя на родине, вправе выступить посыльным земли своей обманутой, подавленной, униженной, разъединенной родины, той земли людей, которую он все-таки любил больше, чем небо без людей. Он оказался в большом разладе с де Голлем. «Франция,— заявил де Голль 18 июня 1940 года,— проиграла битву, но не

проиграла войну».— «Скажите правду, генерал,— возразил Сент-Экзюпери,— Франция проиграла войну. Но ее союзники войну выиграют».

Он знал, почему так ненавидит фашизм. «Прежде всего потому, что он уничтожает достоинство человеческих отношений». Петеновская клика сочла его разногласия с де Голлем ободрительным знаком для себя и назначила его на важный «государственный» пост в Виши, думая, что он немедленно прилетит во Францию. Он с отвращением отверг дикую мысль о службе в Франкрейхе и послал вишистам свое проклятие. А что же «дипломатическая миссия»? Все, что нужно было сделать с самозванным послом Франции, это запереть его в комнате и заставить что-то написать. Его и заперли. Он и написал. «Военный летчик» — книга о товарищах по истребительной эскадрилье 2/33 — получила шумный успех, стала моментально бестселлером, Америка зачитывалась, Виши тоже спешно издало книгу, но спохватилось:

«...«Военный летчик» изымается из продажи впредь до того, как слухи о переходе Сент-Экзюпери в оппозицию к Виши окончательно подтвердятся... Шульц. Министерство пропаганды. Франкрейх. 11 января 1943 года».

Случайное ли совпадение? Издававшаяся подпольно газета французского Сопротивления, которой капитан С. дал свое интервью, называется «Франс д'абор», а самое знаменитое обращение Сент-Экзюпери, с которым он обратился к самим американцам, называлось «Д'абор ля Франс». Разнится лишь порядок слов. Народ, а не правительства, страна, а не враждующие политические партии и группы — так понимал писатель-летчик долг каждого француза в этот тяжкий исторический час. Он предлагал манифест: «Мы, французы, отвергая дух вражды между собой, должны сплотиться вне всякой политики...»

Но война-то как раз была кровавым следствием причин, уходивших в политику насилия, захватов, расизма, антикоммунизма, презрения общества капитала к человеку. Сент-Экзюпери ехал не только за самолетами. Он надеялся еще убедить в необходимости немедленно открыть второй фронт, и не где-нибудь, а именно на юге Франции. США и Англия начали, однако, с высадки в североафриканских колониях Франции — операция «Торч». Уже и Сент-Экзюпери увидел в этом скорее оккупацию, чем освобождение. К тому же США не порывали дипломатических отношений с Виши, активно, хотя скрытно, их поддерживали. Он понял, что его дипломати-

ческая миссия провалилась. Его снова «заперли в комнате». Он написал «Письмо к заложнику». Он уехал из США подавленный, пробился — несмотря на все рогатки «из-за возраста» в свою старую эскадрилью, чтобы принять посильное участие в войне с фашизмом. «Моя война,— написал он в одном из писем этого времени,— там, на высоте 10 тысяч метров...»

Появился «Маленький принц», летающий с планеты на планету от злых людей к добрым, от добрых к злым, пытаясь понять, как же можно наконец правильно устроить этот мир. Он больше любил землю людей, чем небо без них, но там он чувствовал себя уютнее...

Из дневника эскадрильи 2/33: «31 июля 1941 года. Самолет «Локхид» Р-38. Задача: аэрофотосъемка на юге Франции. Пилот Сент-Экзюпери с задания не вернулся».

Де Голлю принадлежит мысль о «трех этажах безопасности». Первым этажом он считал союз Франции и СССР. Вторым — союз с Англией, но с тем учетом, что Англия, как империя колониальная, «никогда не спешит».

«...Имеется еще третий этаж безопасности — это Соединенные Штаты и другие государства. Пока Соединенные Штаты тронутся в путь, война успеет шагнуть далеко вперед. В этот раз Соединенные Штаты вступили в войну, когда Франция была выбита из войны. Россия подвергалась вторжению, а Англия находилась на краю гибели».

Сент-Экзюпери в начале войны больше всего рассчитывал на третий этаж. Он обманулся. Первый этаж оказался самым близким к фундаменту европейской безопасности, его несущей конструкцией.

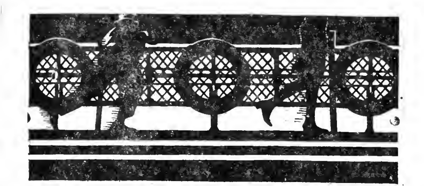
И все-таки как жаль, что он это понял поздно, не присоединился к крылатым послам Франции, полетевшим в СССР.

Их миссия — военная, дипломатическая, человеческая — оказалась успешной потому, что совпала с объективной тенденцией истории, политики, с прогрессивными политическими устремлениями мира. Когда такое совпадение достигается, вот тогда действительно зарождается золото человеческих отношений самой высокой пробы и непременно возвышается до братства.

9

Василек, ромашка, мак. А рядом — холмики все в маках.





АНТОЛОГИЯ «ПОЕДИНКА»

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ВОЛЖСКОМ ПАРОХОДЕ

(Авантюрная повесть)

1

Теплая ночь на Волге. От пристани наверх уходят в темноту деревянные лестницы. Там на полугоре — одинокий фонарь, облепленный ночными бабочками, нежилые амбары, заколоченные лавки частников, часовня с вывеской Церабкоопа, подозрительная темнота грязных переулков. Тихо — ни шагов, ни стука колес в этот час. Пахнет рекой, селедочным рассолом и заборами, где останавливаются.

На реке тишина. Постукивает динамо на пароходе. Освещен только капитанский мостик и широкий проход на нижнюю палубу. На воде — красные огоньки бакенов. Редкие, скупые звезды перед восходом луны. На той стороне реки — зарево строящихся заводов.

Простукала моторная лодка, ленивая волна мягко плеснула о смоляной борт конторки, у мостков заскрипели лодки. В освещенном пролете парохода появился капитан в поношенной куртке — унылое лицо, серые усы, руки за спиной... Прошел в контору, хлопнул дверью.

И вот вдали по городским улицам вниз покатились железом о булыжник колеса пролетки. Некому прислушаться, а то стоило бы: лошадь, извозчик и седок сошли с ума... Кому, не жалея шеи, взбредет на ум так нестись по пустынному съезду?

Из-за селедочных бочек вышли два грузчика: в припухших глазах — равнодушие, волосы нечесаны, лица — отделенные от напрасной суеты, биографии — сложные и маловероятны. Лапти, широкие, до щиколоток, портки из сатина, воловьи мускулы на голом животе. Слушают, как в тишине гремят колеса.

— Этот с поезда,— говорит один.
— Пьяный.
— Шею хочет сломать.
— Пьяному-то не все одно?

Шум сумасшедшей пролетки затихает на песке набережной, и снова уже близко колеса грохотнули и остановились.

— Доехал.

— Пойдем, что ли...

Ленивой походкой грузчики пошли наверх. Навстречу им, вниз по лестницам замелькали круглые икры в пестрых чулках, покатился крепкий человечек в несоветской шляпе. Скороговоркой:

— Два чемодана — первый класс...

И, мать его знает как, не споткнувшись, долетел до свежевыкрашенной пристани и — прямо в дверь конторы. Касса еще не открыта. В дальнем помещении — яркий свет лампочки. У стола неприветливо сидит капитан и пароходный агент — с бледными скулами, подстриженными бачками. Человечек ему — с напором, торопливо:

— Вы пароходный агент?

Тот, как будто лишенный рефлексов, помолчав, поднял бесчувственные глаза.

— Что нужно?

— Мне прокомпостировать билет.

— С половины второго.

— Но (задравшись на конторские часы)... Без трех минут половина... Что за формализм!

— Как вы сказали? — угрожающе переспросил агент.

— Я говорю — мне дорога минута... Чрезвычайно... (На бритом лице — горошины пота, лягушечий рот осклабился, блеснув золотом:) В конце концов можете мне оказать любезность...

Агент, глядевший на него со всем преимуществом власти этих трех минут,— когда человек может бесноваться и даже треснуть и все-таки подождет, будь хоть сам нарком,— агент при слове «любезность» начал откидываться на стуле, словно предложили ему неимоверную гнусность.

— Любезность? — протянул он зловеще, как из могилы.

Человечек втянул шею.

— А что я сказал? Ну да, любезность, как принято между людьми...

— Принято между людьми... (Казалось, рука пароходного агента ползет к телефонной трубке.)

Человечек сошел с рельс. Но не надолго. Снова взорвался страстным нетерпением:

— Мне нужно две одноместных каюты... Я рисковал сломать шею на ваших проклятых мостовых... (Повернулся к раскрытому окошечку,— где яснее шум колес.) ...Сейчас сюда нагрянут с поезда... Вы можете ответить, когда я спрашиваю? Язык у вас отвалится? Есть свободные каюты? Есть? Нет? (Вдруг — петушиным голосом.)... Бюрократизм!

Часы бьют половину второго. Агент, с кривой усмешкой нехотя сдавшегося человека, закуривает и мертвым голосом:

— Что вам нужно, гражданин?

От неожиданности человечек выпучился, попятился. Снова подскочил:

— Две одноместные каюты первого класса рядом...

— Ваши билеты...

Началось внимательное рассматривание билетов. Человечек переступал заграничными башмаками. Шум пролеток приближался.

— Свободных кают нет,— жестом, в котором не было никакой надежды, агент вернул билеты. Пододвинул пачку телеграмм, лизнул плоский палец, начал их перелистывать, не замечая, что у человечка шея потянулась, вытянулась, зрачки забегали по текстам депеш.

— Билет могу прокомпостировать,— сказал агент,— но поедете в рубке первого класса до Саратова...

Морща лоб, как поинтер, он читал вполголоса: «Безусловно забронировать две одноместных первого класса для иностранцев мистера Скайльса и мистера Смайльса».

Мгновенно пухлая рука человечка пронеслась мимо носа пароходного агента и упала на телеграмму:

— А это что же, черт вас возьми! (Схватил депешу.) «Безусловно забронировать...» Телеграмма наркоминдела! На каком же основании у вас нет кают? Головотяпство! Вредительство! (Агент мигнул, в глазах его появилось что-то человеческое.) Я буду жаловаться. Где телеграф? Мистер Скайльс и мистер Смайльс,— это же плановая поездка... Палки суете в колеса?

Под напором страшных слов агент торопливо мигал. Рефлексы его пришли в крайний беспорядок. Он ничего не спросил, ни фамилии человечка, ни того — поче-

му именно он берет каюты Скайльса и Смайльса,— словом, в полнейшей путанице мыслей протянул ему два ключа:

— Извиняюсь, мистер... Товарищ... Две каюты первой категории... Значит — это ваша телеграмма? Вам бы надо сразу сказать, что...

Человечек побежал от стола. В дверях, прищурясь:

— На пароходе, надеюсь,— икра, стерлядь и тому подобное?

— Кухня на ять... Вот — капитан... Можете переговорить...

Но тот уже исчез за дверью. Агент сел, провел плоскими пальцами по увлажненному лбу:

— И с первого же слова — вредительством сует в морду...

Капитан, сидевший уныло и равнодушно, вдруг усмехнулся желтым боковым зубом под запущенными усами:

— А мое мнение, что он взял тебя на пушку.

Агент затрясся, позеленел:

— Меня — на пушку? Что вы хотите этим выразить?

— А то, что каюты забронированы для американцев, а получил их он.

— Да он-то кто? (Агент застучал костяшками пальцев по телеграмме.) Он-то и есть американец, как их там,— Скайльс или Смайльс...

— Да ведь ты его даже фамилии не спросил...

— Разговаривать с тобой! Шевиот, штиблеты — бокс, весь в экспорте... Эх ты, провинция! По одной шляпе можно понять, что — американец, как их там — сволочей — Скайльс или Смайльс...

— Так ведь он же русский,— сказал капитан.

Агент весь перекривился, передразнивая:

— «Рускай»!..

— Он же по-русски говорил.

— «Па-русски»!.. Что же из того — по-русски? Может, он тыщщу языков знает...

Капитан сдался. Крутанул унылой головой:

— С тобой разговаривать... А кормить я их чем буду?

— Иностранцев?

— Ведь они нашего жрать не станут... Ну — икра, стерлядь... И сразу — перловая похлебка с грибами на второе...

— Продовольственный сектор меня не касается...

Шумно в контору вошел широкий, ужасной природной силы человек, в сером френче, галифе и тонких сапогах. Медное лицо его сияло — ястребиный нос, маленький рот, обритый череп, широко расставленные рыже-веселые глаза.

— Броня товарища Парфенова, каютку,— басовитый голос его наполнил контору. Агент молча взглянул в телеграмму, подал ключ. Парфенов сел рядом с капитаном, подтянул голенище:

— Голодать не будем, папаша?

— Глядя по аппетиту,— уклончиво ответил капитан.

— Повар-то у вас прошлогодний?

— И повар и заведующий хозяйством — те же...

— А то — смотри — не засыпься: американцев повезешь...

— Не в первый раз. Тяжело возить француза,— в еде разборчив,— от всего его пучит... Американца хоть тухлым корми — было бы выпить... В прошлый рейс четверых вез. В Астрахани едва из кают вытащили. Туристы!

— И Волги не видели?

— Ничего не видели — как дым... Для удобства прямо внизу у буфетчика пили. День и ночь водку с мадерой.

Парфенов раскрыл маленький рот кружком и грохотнул. В контору ввалилось несколько человек с фибровыми чемоданами,— москвичи, выражение лиц нахальное и прожженное до последней грани. Обступили стол, и у агента зазвенело в ушах от поминания,— будто бы между прочим,— знаменитых фамилий, декретных имен... Так, один с мокрой шеей, в расстегнутой белой блузе, тряся отвислыми щеками, потными губами, собачьими веками:

— Послушайте, товарищ, была телеграмма моего дяди Калинина, дяди Миши?.. Не было? Значит — будет. Дайте ключ...

Другой, с носом, как будто вырезанным из толстого картона, и зловеще горящими глазами, ловко просунулся костлявым плечом:

— Для пасынка профессора Самойловича, броня «Известий ВЦИК»...

Чья-то в круглых очках напыщенная физиономия, готовая на скандал:

— Максим Горький... Я спрашиваю, товарищ, была от него телеграмма по поводу меня?.. Нет? Возмутительно!.. Я известный писатель Хиврин... Каюту мне нужно подальше от машины, я должен серьезно работать.

В то же время на пристани, куда ушел капитан, произошло следующее: человечек, которого в конторе приняли за важного американца, в крайнем возбуждении кинулся мимо бочек с сельдью на сходни. На набережной уже гремели подъезжавшие пролетки с пассажирами. Он остановился, всматриваясь в темноту, и — свистящим шепотом:

— Миссис Ребус, миссис Ребус...

Мимо него, скрипя досками, прошел в контору веселый Парфенов. Наверху ссорилась с извозчиками группа бронированных москвичей. Человечек дрожал от возбуждения:

— Миссис Ребус, миссис Ребус..

Тогда из темноты у самой воды выдвинулась женская фигура в мохнатом пальто. Он кинулся к ней по мосткам:

— Достал две каюты.

— Очень хорошо, но вы могли сообщить это более спокойно,— несколько трудно произнося слова, с английским акцентом проговорила женщина. — Дайте руку. У меня узкая юбка.

Протянув к нему руку в дорожной перчатке, она вскочила на мостик. Поднятый воротник пальто закрывал низ ее лица, кожаная шапочка надвинута на глаза. Оправив кушак, она задвинула руки в широкие карманы. Ее твердый носик казался кусочком заморского владычества на этом сыром и темном советском берегу.

— Каюты, которые вы получили, надеюсь, не заняты? — спросила она.

— Вы же сами знаете, что я не мог заказать кают... Все переполнено... Пришлось взять каюты мистера Скайльса и мистера Смайльса...

— Как же вы думаете поступить с этими джентльменами? Через минуту они будут здесь. Надеюсь — вы не предполагаете, что я буду спать вместе со Скайльсом или Смайльсом?

— Все понимаю... У меня трещит голова, миссис Ребус...

— Агентство Ребус не оплачивает трещание вашей

головы, мистер Ливеровский. Дайте ключ. Я устала н хочу лечь.

— Предполагал, что вы моглн бы как-нибудь самн переговорнть с американцамн... Вам-то они, конечно, уступят каюты...

— Я нн о чем не буду проснть Скайльса и Смайльса, они не прннадлежат к чнслу наших друзей...

— Тогда что же? Чтобы они совсем не поехалн?

— Да. Их не мешало бы проучнть — этих друзей советской власти.

— Я должен понять, что вы разрешаете не останавливаться ни перед какими мерами?..

— Да... Ключ! — сказала Ребус.

Опустив ключ в теплый карман, пошла к освещенному пароходу. Обернулась.

— Негр едет? Вы проверили?

— Едет. Каюта ему забронирована. Сам видел. (Схватился за нос в крайнем раздумьи и — про себя:) «Гм, что-то надо придумать!»

Ливеровский скрылся в толпе сезонных рабочих. Миссис Ребус, двигаясь как представительница высшей цивилизации, внезапно споткнулась. Медленно оборачиваясь, отодвинулась в сторону. По мосткам шлн — молодая женщина в атласном несвежем пальтеце с заячьим воротником и трое мужчин. Один из них был негр; улыбаясь широким оскалом, он глядел вокруг с доброжелательным любопытством.

— Это — Волга? Я много читал о Волге у ваших прекрасных писателей.

— Все восхищаются: Волга, Волга, но безусловно — ничего особенного,— говорила дама с заячьим воротником,— я по ней третий раз езжу. После загранччной вам покажется гадко. Грязь и невежество.

Муж дамы с заячьим воротником, профессор Родионов (средних лет, средней наружности, весь, кроме глаз, усталый), внес шутливый оттенок в женины слова:

— Собака, ты все-таки не думай, что за границей повсюду однн кисельные берега...

— Какие кисельные? Когда я о киселе говорнла? Прн них котируешь меня как-то странно...

— Ах, собака, ну опять...

— Может надоесть в самом деле,— всю дорогу выставляешь какой-то дурой...

— Ну, ладно...

Видимо, царапанье между дамой и профессором было затяжное. Негр сказал, глядя в бархатную темноту на огоньки бакенов, на мирные звезды:

— Я буду счастлив полюбить этот край...

Четвертый спутник лениво:

— За карманами присматривайте.

Один глаз у него был закрыт, другой — снулый, худощавое лицо как на фотографии для трамвайной книжки. Он пошел за ключами. Негр переспросил:

— Не понял,— о чем товарищ Гусев?

Дама с раздражением:

— Знаете, мистер Хопкинсон, не то что здесь карманы береги, а каждый день — едет, скажем, пассажир — так его с извозчика даже стаскивают. Весь народ на этой Волге закоренелые бандиты...

Профессор с унылым отчаянием:

— Ну, что это, Шурочка...

— И тут готов спорить?

— Никогда не поверю, миссис Шура, вы ужасная шутничка... — Хопкинсон не договорил: глаза его, как притянутые, встретились с пристальным взглядом миссис Ребус. Улыбка сползла с толстых губ.

Шура завертела любопытным носиком:

— На кого уставились? (Увидела, тоненько хихикнула.) Вот и правда, говорят,— на негров особенно действуют наши блондинки...

— Шура, замолчи, ради бога.

— Оставь меня, Валерьян.

— Это дама — не русская,— с тревогой проговорил негр, поставил к ногам профессора чемодан и, будто преодолевая какой-то постыдный для него страх, пошел к миссис Ребус. Приподнял шляпу.

— Боюсь быть навязчивым... Но мне показалось...

Эсфирь Ребус освободила подбородок из воротника пальто и улыбнулась влажным ртом, пленительно:

— Вы ошиблись, мы не знакомы.

— Простите, простите. — Он пятился, смущенный, низко поклонился ей, вернулся к своим. Лакированное лицо взволнованно:

— Я ошибся, эта дама англичанка... Но мы не знакомы... (Снял шляпу, вытер лоб.) Я немножко испугался... Это нехорошее чувство — страх... Он передается нам с кровью черных матерей...

— Слушайте, испугались этой гражданки? Чего ради?

— Она мне напомнила... Ее взгляд мне напомнил то, что бы я хотел забыть здесь, именно здесь, в России...

— Расскажите. Что-нибудь эротическое?

— Собака, пойдем на пароход в самом деле...

— Оставь меня...

— Женщинам не отказывают, миссис Шура... Но слушать на ночь рассказы негра...

— Именно — на ночь...

— Вы будете плохо спать.

— Наплевать, слушайте... Все равно — у меня хроническая бессонница.

— Это у тебя-то? — сказал профессор.

— Мистер Хопкинсон, сознайтесь — у вас какая-то тайна...

Не ответив, негр опять повернул белки глаз в сторону миссис Ребус. Лицо ее до самых бровей ушло в широкий воротник, ножка потоптывала. Притягивающие глаза не отрывались от Хопкинсона. Шура прошептала громко:

— Уставилась как щука...

Когда Гусев, вернувшись с ключами, заслонил спиною миссис Ребус, она оторвалась от стены и прошла мимо Хопкинсона так близко, что его ноздри втянули запах духов. Почти коснувшись его локтем и будто обезвреживая странный блеск глаз, она освободила из воротника подбородок, показала нежнейшую в свете улыбку:

— На пароходе будем болтать по-английски, я очень рада. Ожидается прекрасная погода. Покойной ночи.

Она ушла на пароход. Хопкинсон не смог ничего ответить. Родионов сказал раздумчиво:

— Странная штука — рот, губы, вообще. Глазами солгать нельзя. Женщины лгут улыбкой.

— Шикарная дамочка,— прошипела Шура,— туфли, чулки на ней видели? а сукно на пальте? Вся модная, тысяч на десять контрабанды.

— Чего хочет от меня эта дама?— с ужасным волнением спросил Хопкинсон.— Что ей от меня нужно?

Спутники не ответили. Только Гусев — скучливо:

— Берегите карманы, товарищи.

Двинулись к пароходным сходням. В это время на спине голого по пояс грузчика проплыли новенькие, с пестрыми наклейками, чемоданы. Позади шагали два иностранца — бритые, седые, румяные, серые шляпы (цвета крысиного живота), пальто — на руке, карманы

коричнево-лиловых пиджаков оттопырены от журналов и газет.

Тот из них, кто был пониже,— налитой как яблочко,— говорил:

— Уверяю вас,— они сели в экипаж вслед за нами:

Другой, тот, что повыше,— с запавшими глазами:

— Я верю вам, мистер Лимм, но я своими глазами видел, как мистер Скайльс менял деньги в буфете, а мистер Смайльс пил нарзан.

— Выходит, что один из нас ошибается, мистер Педоти.

— Несомненно, мистер Лимм.

— Я готов держать пари, что Скайльс и Смайльс через три минуты будут здесь. Идет?

— Я не большой любитель держать пари, мистер Лимм. Но — идет.

— Десять шиллингов.

— Вам не гарантирована покойная старость, мистер Лимм. Отвечаю.

— Вынимайте ваши часы.

Лимм и Педоти полезли в жилетные карманы за часами. Ни у того, ни у другого часов не оказалось.

— Мои часы?— растерянно спросил Лимм.

— И мои — тоже,— сказал Педоти.

— Куда бы они могли деваться?

— Я только что вынимал их.

Оба произнесли протяжно: «о-о-о»...

Около озабоченных иностранцев уже стоял Гусев. Оба глаза открыты. Сказал сурово:

— Сперли у обоих. Понятно вам?

— О,— проговорили Лимм и Педоти,— это непонятно.

— То есть — как непонятно? Каждый сознательный гражданин должен сам смотреть за карманами, а не ходить разиня рот, затруднять госорган — искать ваши побрякушки. Работа уголовного розыска основана на классовом принципе, но в данном случае — ваше счастье: вы наши гости, полезные буржуи,— считайте — часы у вас в кармане.

Он пронзительно свистнул и с непостижимой расторопностью кинулся в толпу. Сейчас же оттуда выскочили два карманника,— помчались по селедочным бочкам, через кучи колес, ящиков и лаптей. Гусев, казалось, появлялся сразу в нескольких местах, будто три, четыре, пять Гусевых выскакивало из-за тюков и бочек.

На румяных лицах Лимма и Педоти расплывались удовлетворенные улыбки.

— Оказывается, они умеют охранять собственность, мистер Педоти.

— Да, когда хотят, мистер Лимм.

Грузчики, привалившись к перилам, говорили:

— Проворный, дьявол.

— Не уйти ребятам.

— Засыпались ребята.

Хохотал меднолицый Парфенов, расставив ноги. В толпе ухали, гикали, свистели:

— Сыпь! Крой! Наддай! Вали! вали!

И вот — все кончилось: Гусев появился с обоими часами: лицо равнодушное, один глаз опять закрыт. Лимм и Педоти захлопали в ладоши:

— Браво! поздравляем...

— Никаких знаков одобрения,— Гусев одернул кушак.— Работа показательная — для своих, а также международных бандитов...

Внезапно что-то с треском обрушилось, покатилось, загрохотало на берегу. Крик. Тишина. Парфенов проговорил:

— Не иначе как ящики с экспортными яйцами.

Из темноты появился капитан. Унылое лицо вытянуто, усы дрожали. Развел руками:

— Необыкновенное происшествие. Граждане, нет ли среди вас доктора?

Гусев, подскочив к нему:

— Ящики с экспортными яйцами?

— Да не с яйцами, с таранью... Черт их знает — обрушилось полсотни ящиков прямо на сходни... И уложены были в порядке... Впрочем, не я их укладывал, меня это не касается, я ни при чем...

— Сколько человек задавило?

— Да двух иностранцев,— говорю я вам.

— Мне это не нравится,— сказал Гусев.— До смерти?

— Ну, конечно, покалечило, шутка ли — ящиком-то... Да — живые... А, впрочем, мое дело вести пароход, за груз я отвечаю, а что на берегу...

— Господин капитан,— сказал Лимм,— мы поджидали здесь двух американских джентльменов...

— Ну да же, говорю вам,— одному бок ободрало, другого вбило в песок головой, завалило рыбой, вытаскиваем...

— Это они, мистер Педоти,— сказал Лимм.

— Это Скайльс и Смайльс...

Педоти и Лимм поспешно пошли на берег. За ними — кое-кто из любопытствующих пассажиров, москвичи, капитан, Парфенов, Гусев. На конторке появился Ливеровский,— шляпа помята, руки в карманах. Гусев, приостановившись, внимательно оглядывает его, Ливеровский — с кривой усмешкой:

— А еще хотите, чтоб к вам иностранцы ездили... Возмутительные порядки...

— У вас оторваны с мясом две пуговицы,— заметили?

— А вам, собственно, какое дело? Убирайтесь-ка к чертям собачьим.

— Ладно, встретимся у чертей собачьих.— Гусев ушел. Ливеровский задрал голову к палубе, где, взявшись за столбик, стояла Эсфирь Ребус.

— Грубо работаете, Ливеровский,— сказала она.

— Плевать, зато — чисто.

— Могу я, наконец, пойти спать?

— Спите, как птичка. Скайльс и Смайльс не поедут с этим пароходом...

— Очень хорошо. У Скайльса и Смайльса отобьет охоту иметь дело с этой грязной страной.

Эсфирь Ребус ушла в каюту. Ливеровский, захватив чемоданы,— на пароход. По палубе прогуливались Хопкинсон, в отблескивающих пароходными лампочками черепаховых очках, и профессор Родионов. Остановились, облокотились о перила, глядели, как из конторы вышел пароходный агент и за ним молодая женщина в парусиновом пальто с откинутым капюшоном,— за руку она держала хорошенькую сонную девочку. Рубя ладонью воздух, агент говорил со злостью:

— Гражданка, отвяжитесь от меня,— билетов ни в первом, ни во втором, ни в третьем...

— Что же нам делать?

— Что хотите, то и делайте...

— Мы смертельно устали с моей девочкой,— восемьдесят верст на лошадях...

— Пожалуйста,— это меня не касается.

— Тогда уж — дайте палубные места...

— То — дайте, то — не давайте... Сразу надо решать... Неорганизованные... Нате,— два палубных...

Молодая женщина, не выпуская руки девочки, попробовала захватить чемодан, укладку, корзину с провизи-

ей, кукольную кроватку и картонку для шляпы. Но то либо другое падало,— ничего не выходило. Тогда она сунула девочке кукольную кровать и — с досадой:

— Можешь мне помочь, в самом деле. Не видишь — я мучаюсь...

— Не вижу,— сказала заспанная девочка.

— Держи.

Но, только мать подхватила кое-какие вещи,— девочка стоя заснула, кроватка упала...

— Мука моя с тобой, Зинаида! Неужели у тебя нет воли, характера — преодолеть сон? Возьми же себя в руки.

— Взяла.

— Держи кроватку... Идем, не спи...

И, конечно,— опять шаг — и девочка заснула, кроватка упала. У матери покатилась шляпная картонка, посыпалась провизия из корзиночки. Она села на укладку с подушками и всхлипнула. Зинаида проговорила:

— У самой нет характера, а на меня кричишь.

На девочку и на мать глядели с палубы Хопкинсон и Родионов. Когда рассыпались вещи, негр сбежал вниз, широко улыбаясь, сказал:

— Я вам немножко помогу. (И — девочке, присев перед ней:) Не бойтесь, литль беби, я не трубочист. Помуслите пальчик, проведите-ка мне по щеке. Я не пачкаюсь.

Девочка так и сделала — помуслила палец, провела ему по щеке:

— Нет, не пачкаетесь.

— Теперь — ко мне на руки, дарлинг. Алле хоп!— Он поднял Зинаиду, подхватил чемодан и укладку, пошел на пароход. Женщина с остальными вещами, несколько замешкавшись,— за ним. На сходнях стоял профессор Родионов. Глаза — изумленно расширены:

— Нина Николаевна...

Она приостановилась, посмотрела на профессора длинным взором. Казалось — ничуть не удивилась встрече. Подхватила удобнее картонку:

— Вы упорно не хотели меня узнавать, когда стояли там, на палубе,— это понятно... Но не подойти к дочери!— она слегка задышала...

— Нина, снова с упреков?

— Какой-то черный человек — и у того нашлось великодушие, взял на руки несчастную девчонку...

— Я не узнал, Нина, даю честное слово, ни тебя, ни

Лялю... Не виделись два года. Ты так переменилась... Не к плохому... Ты откуда сейчас?

— Из Иваново-Вознесенска, где служу. Я в отпуску.

— Театр?

— Да.

— Позволь — донесу твои вещи. Как ты устроилась?

— Никак,— на палубе.

— Нина, возьми же мою каюту.

— Ты один? (Это — с искоркой радости.)

— Нет, со мной Шура... В том-то и дело.

— Спасибо. Мы предпочитаем устроиться на палубе.

Она прошла на пароход. Родионов, раздумчиво глядя под ноги,— вслед за ней. На пристань возвращались пассажиры, бегавшие смотреть, как вытаскивают американцев из-под ящиков с таранью. Капитан, все еще взъерошенный, сердито махал помощнику (на освещенном мостике):

— Павел Иванович, давайте же гудок...

В стороне Гусев говорил Парфенову:

— Ящики с воблой сами не летают по воздуху.

— Не летают,— соглашался Парфенов.

— Ящики были сброшены.

— Так.

— Вопрос — кем и зачем?

— Не понимаю.— Широкое лицо Парфенова выражало простодушное удивление. Гусев — ему на ухо:

— Преступник едет на пароходе.

— Брось.

— Здесь подготовляется крупное преступление. Их целая шайка.

— Гады ползучие!— Парфенов рассердился, весь стал медный.— Да когда же они нас в покое оставят, проклятые?!

Хрипло, ревущим басом загудел пароход. По сходням мчался запоздалый пассажир. Ему кричали с парохода: «Штаны потеряешь!»

2

Седьмой час утра. В четвертом классе среди наваленных друг на друга сельскохозяйственных машин, ящиков с персидским экспортом, цементных бочек, связок лаптей спят женщины, дети, старые мужики,— узлы, сундуки, пилы, топоры: это сезонные рабочие и хлебные

мешочники. Под полом трясутся дизеля. Из люка несет селедочным рассолом.

Хмурый буфетчик уже открыл дверь в буфетную, где на винных полках — бутылки лимонада и бутафория, надпись —«папирос нет», и на отечном лице буфетчика (грязная блуза, беременный живот, в волосах — перхоть, в карманчике — чернильный карандаш),— на лице его чудится надпись: «и вообще, ничего нет и не будет, господа-товарищи»... Он отпускает чай.

Официант, тоже низенький, неопределимого возраста касимовский татарин, с подносами в руках, ловко перешагивает через ноги, головы, детские грязные ручки с разжатыми во сне кулачками,— уносится наверх.

В двери третьего класса видны сквозные койки в два этажа,— рваные пятки спящих студентов, дамочкины свыше надобности оголенные ножки, взлохмаченные седые волосы уездного агронома, бледное лицо ленинградской студентки, тщетно разыскивающей пенсне под подушкой. Двое военных — в широчайших галифе и босиком — едва продрали глаза и уже закусывают. Кричит грудной, и от детонации заливается где-то за койками другой ребенок. К умывальнику стоит очередь.

Профессор Родионов проснулся чуть свет от неопределенного чувства, будто накануне сделал какую-то гадость. За двенадцать лет революции он отвык от самоанализа — от занятия праздного, в некоторых случаях и антигосударственного. Два года тому назад он без намека на анализ разошелся с Ниной Николаевной. Жизнь с Шурочкой была сплошным накоплением фактов; он не пытался даже внести в них хотя бы какую-нибудь классификацию.

И вот на утренней заре проснулся он от неприятного сердцебиения. Сквозь жалюзи тянуло речной прохладой. За матовым стеклом двери горела в коридоре лампочка, слабый свет ложился на Шурочкино молодое лицо с открытым ртом.

Профессор глядел на нее, приподнявшись на локте, и еще определеннее почувствовал, что погряз в чем-то неподходящем. «Лицо очевидной дуры»,— подумал (точно формула выскочила), и с застоявшейся силой в нем закопошился самоанализ.

Он торопливо оделся и вышел на палубу, мокрую от росы. Разливалась оранжевая заря. На берегах — еще

сумрак. Звезды маленькие. Тоска. Профессор чувствовал несчастье и заброшенность. Сел и самогрызся.

«Где-то здесь, рядом, отрезанные от него самая близкая на свете душа — Нина Николаевна — и Зиночка... Бедные, гордые, независимые, невинные... А этот? Я-то? Обмусоленный Шурочкой... Пропахший «букетом моей бабушки»... Интенсивный петух! Бррр! Бррр!»

— Брр, брр,— довольно громко повторил профессор. Солнце поднялось над Заволжьем; на заливных лугах легли сизые полосы.— Бррр... Бесстыдник, интенсивный петух! Бррр...

За спиной его голая Шурочкина рука отодвинула жалюзи; заспанное лицо ее сощурилось от света. Зевнула:

— Чего ты бормочешь, Валька? (Он не повернулся, не ответил, только страшно расширил глаза.) — Она высунула из окна всю руку, дернула профессора за плечо.— Чего спозаранку встал? Идем досыпать.— Потянула его за щеку.— Ну, поцелуй меня, Валя...

Он вскочил. Встал у борта,— коротко, как топором:

— Нет!

— Живот, что ли, болит?

— Нет. Знай: я еще до рассвета убежал. С меня хватит...

— Чего!— Она удивилась. Но аппарат для думанья был у нее несовершенный. Зевнула.— А ну тебя... Неврастеник...

Шурочка вытянула нижнюю губу. Закрыла жалюзи. К профессору подходил Хопкинсон,— выспавшийся, элегантный, в белоснежном воротничке. Высоко поднимая ноги в огромных башмаках, благосклонный ко всем проявлениям природы,— протянул Родионову обе руки:

— Прекрасное утро. Я в восторге. А вы — как спали, профессор?

— Так себе... Кстати, мистер Хопкинсон, вы не видели, где устроилась вчерашняя дама с дочкой?

— О, литль беби? Я как раз ходил и думал о них... Большое счастье быть отцом такой очаровательной девочки,— дарлинг...

Родионов взял негра под руку, нажимая на нее — прошел четыре шага. С трудом:

— Друг мой... Так сложна жизнь... Словом, эта девочка — моя дочь.

Негр откинулся, у него заплясали руки и ноги. Но он был деликатным человеком:

— Простите, ради бога... Я очень глуп... Заговорить о такой деликатной истории... Простите меня, профессор...

Он закланялся, сгибаясь в пояснице. Профессору было мучительно стыдно.

— Вам, иностранцам, многое непонятно в нашей жизни... Впрочем, я и сам ничего не понимаю... Вы видите перед собой уставшего, истерзанного, раздавленного человека,— если только это что-либо оправдывает... Я не желаю оправдываться! Я сам исковеркал свою жизнь... В сорок лет потянуло на молодое тело... Бррр! И то, что я сейчас — с Шурой в каюте первого класса, пропахшей «букетом моей бабушки»... И то, что у Шуры на лице ни одной морщины... Понимаете,— ни одной, как у поросенка... Гнусно... Два года напряженной половой жизни... Бррр. Бррр. Стыдно!.. Вы этого тоже никогда не поймете... Можете перестать подавать мне руку... (Отбежал, вернулся.) А эти две — Нина Николаевна и Ляля... Сама чистота... Бедные, гордые и невинные... И мне стыдно подойти к дочери... (Пальцем в грудь.) Сволочь... В конце концов — ограничивайтесь со мной одними служебными отношениями...

Он убежал. Разумеется, негр ничего не понял,— так, как будто его швырнули в соломотряс и перетряхнули все внутренности. Стоял выпучившись. Головастые чайки почти касались его крыльями, выпрашивая крошек.

Когда он, высоко поднимая ноги, все же двинулся по палубе, в двух соседних окошках отодвинулись жалюзи. Высунулись Ливеровский и Эсфирь Ребус, мечтательно положившая голые локти на подоконник.

— Это все упрощает дело, миссис Ребус...

— Оскорбительно, что наше доброе солнце также светит этой паршивой стране,— ответила она.

— Я говорю — профессор играет нам на руку.

— Какая связь у профессора с Хопкинсоном?..

— Ну, как же: ведь это профессор Родионов вывез его из Америки.

— А-а...

— Профессор — агроном. Большой спец.

— А я думала, что это — выпущенный на свободу сумасшедший...

— Аа-а...

— Все русские такие...

— Аа-а...

— Мои сведения: у него большие знания, прекрасный работник, считается энтузиастом. Беспартийный. Его очень ценят. Но в личной жизни — окончательно запутался между двумя бабами. Эта его теперешняя,— Шурка,— безработная девчонка с биржи труда... Бросил из-за нее жену с ребенком,— вы их видели, они в четвертом классе... А теперь, кажется, не знает, как ему от этой Шурки отделаться...

— Какая грязь! По вашим сведениям — негр открыл ему секреты?

— Хопкинсон жил всю зиму на квартире Родионова, работал в его лаборатории... Все было очень засекречено.

— Нужно точно узнать — известны ли грязному профессору открытия Хопкинсона...

— Слушаюсь...

— Мы должны уничтожить все следы... Сюда идет человек с закрытым глазом. Он мне не нравится.

Действительно, лениво подходил Гусев. Руки в карманах галифе, верхняя часть туловища — голая, на ногах — туфли. Эсфирь Ребус захлопнула жалюзи. Ливеровский закурил трубку. Гусев сел под его окном. Спросил, не повертывая головы:

— Задача была: угробить их совсем или только чтобы они не поехали с этим пароходом? (Ливеровский за его спиной, не выпуская трубки, ухмыльнулся двумя золотыми зубами.) Вы один сбросили эти ящики или был сообщник?

Ливеровский молча вынул из пиджака бумажку и поднес к глазам Гусева. Тот взял, прочел:

— «Иосиф Ливеровский. Вицеконсул республики Мигуелла-де-ля-Перца»... Так... Это где это?

— Республика Мигуэлла-де-ля-Перца, коей я имею счастье состоять гражданином и вицеконсулом,— помещается в Южной Америке между Парагваем и Уругваем.

— Понятно,— сказал Гусев.— Сами-то — русский?

— Конечно.

— У Деникина воевали?

— Разумеется.

— Теперь на шпионской работе?

— Это зависит от точки зрения.

— Угробить вас можно?

— Коротки руки.

— Ну, а две оторванные пуговицы от вашего пиджака. (Гусев внезапно повернулся.) Пуговочки от этого ва-

шего пиджака (показывает) я нашел вчера между ящиками...

— Пуговицы? — удивленно проговорил Ливеровский, оглядывая себя.— Все целы... Терпеть не могу роговых пуговиц... Видите, из альбумина...

— Так... Когда переставили пуговички-то?

— Да вчера же вечером и переставил.

Разговор был полностью исчерпан. Гусев поднялся:

— Пойдем позавтракаем.— Швырнул пуговицы в Волгу, ушел.

Ливеровский рассмеялся и захлопнул жалюзи. Появились москвичи. Все — в белых штанах, в морских картузах. Хиврин говорил:

— Я еду осматривать заводы, строительство... У меня задуман большой роман, даже есть название — «Темпы»... Три издательства ссорятся из-за этой вещи...

Пасынок профессора Самойловича, выставив с борта на солнце плоский, как из картона, нос, проговорил насморочно:

— В Сталинграде в заводских кооперативах можно без карточек получить сколько угодно паюсной икры...

— А как с сахаром? — спросил Гольдберг.

— По командировочным можно урвать до пуда...

— Тогда, пожалуй, я слезу в Сталинграде,— сказал Хиврин.— Я хотел осмотреть издали наше строительство, чтобы получить более широкое — так сказать, синтетическое — впечатление.

Парфенов, еще более румяный и веселый, подошел к москвичам, указал рукой на берег:

— Видели? В прошлом году здесь было болото. А гляди, что наворотили! На версту: железо, бетон, стекло... Из-под земли выросло... Резиновый комбинат... А вон за буграми — дымит гигантское на все небо — вторая в Эсесер по мощности торфяная станция... И — то же самое — два года назад: болото, кулики, комарье... Вот как...

Тем временем профессор Родионов пробирался по четвертому классу в поисках Нины Николаевны. Она умыла Зинаиду, вернулась на корму и заплетала девочке косу. Зинаида вертела головой, следя за чайками.

— Зинаида, стой смирно...

— Мама, птицы.

— Вижу, вижу... Не верти же головой, господи...

— Птицы, мама...

На корме, под висящей лодкой, среди тряпья, мед-

ных тазов, кастрюль, сидели цыгане, похожие на переодетых египтян. На покрышке трюма — русские: пятидесятилетний мужик со звериным длинным носом, утопшим в непрочесанных усах, без шапки, на босых ногах — головки от валенок. Рядом — дочь, мягкая девка в ситцевой кофте, линялая полушалка откинута на шею. Ей не то жарко, не то беспокойно: поминутно вынимает из соломенного цвета волос ярко-зеленую гребенку, чесанет и опять засунет. По другую сторону отца — человек в хороших сапогах, в сетке вместо рубахи, чисто выбритый, все лицо сощурено, локти на раздвинутых коленях,— видимо, ему не доставляет удовольствия нетерпеливое движение берегов: едет по делу. Поодаль — четвертый мужик, с болезненно-голубоватым лицом и лишаями на лбу. Лениво надрезает ржавым ножиком заплесневелый хлеб, жует, с трудом проглатывая. Наверху, на палубе первого класса, стоят американцы — Лимм и Педоти, с биноклями и путеводителями.

— Я спрашиваю — для чего русским такие неизмеримые богатства? — говорит Педоти.— Кусок черного хлеба и глоток воды их, видимо, вполне удовлетворяют... Несправедливо, чтобы дикий, безнравственный и неприятный народ владел подобными запасами энергии.

— Вы правы, мистер Педоти: несправедливо и опасно...

— И у нас легкомысленно не хотят понять все размеры этой опасности...

Профессор Родионов появился на корме. Нина Николаевна оглянулась на него, чуть-чуть нахмурилась.

— Вот где ты,— сказал он.

— Да как видишь... (Взяла дочь за плечи и решительно повернула к нему.) Зина, это — папа, ты не забыла его, надеюсь?

— Ляля, здравствуй.— Он присел перед дочерью; она насупилась, отодвинулась к матери в колени.— Деточка милая, ты помнишь папу? — Заморгал. Нина Николаевна, отвернув голову, глядела на облако. Начала моргать и Зинаида, опустились углы губ. Тогда Нина Николаевна сказала:

— Зинаида, пойди с папой на палубу...

— Ляличка, пойдем кормить птичек, чаечек...

Нина Николаевна пододвинула девочку к отцу; Зинаида задышала. Он взял ее на руки, поцеловал и, оглянувшись на мать:

— А ты, Нина, не пройдешь наверх?

— Нет...
— По-моему, нам нужно очень, очень как-то поговорить...
Она отвернулась. Профессор ушел с Зинаидой на руках.
Заросший мужик со звериным носом, ни на кого не глядя, сказал натужным голосом:
— Пятьдесят лет работаю... Я не трудящийся? Это — как это, по-вашему? (Человек в сетке и хороших сапогах, крутанув головой, усмехнулся.) По какой меня причине голоса лишают?
— А по той причине, что ты — кулак.
— А это что? (Показывает ему руки.) Мозоли, дружок...
— Креститься мне на твои мозоли?
— Перехрестишься,— трудовые...
— Врешь,— кулацкие...
— Тьфу! — плюнул заросший мужик.— Дятел-толкач... Разве такие кулаки-то?
— Вот то-то, что такие...
— Книжник ты, сукин ты сын!
Тогда дочь его, мягкая девка, сморщась, ущипнула отца за плечо:
— Да что ты, тятенька? Я тебе говорю — молчи...
— Нет, не такие кулаки-то... Я из навоза пятьдесят лет не вылезаю... Хлеб мой, небось, жрешь, не давися...
— Это вопрос,— взглянув на него холодно, ответил человек в сетке.— Может, я и давлюсь твоим хлебом...
— Врешь!.. Дунька, врет...— И бородищей прямо в лицо колхознику: — Объясни мне эту политику...
— Голоса тебе сроду не дадим, потому что ты — отсталое хозяйство и ты — кулак, как класс... Батраков сколько держал?..
— Ну, держал... А тебе какое дело... Что ты мне в душу лезешь!
Дунька, сморщась, опять ущипнула отца за плечо:
— Да что ты, в самом деле? Я тебе говорю — молчи...— И человеку в сетке: — Чего ты с ним разговариваешь — он выпимши...
На верхней палубе появилась Шура. Навстречу ей вывернулся Ливеровский. Приподнял шляпу:
— Мы, кажется, ехали в одном вагоне.
— Чего? (Споткнулась, но вид Ливеровского был настолько предупредителен, что Шура приняла знакомство.) Я вас тоже видела...

— Знаете,— отдыхает глаз — глядеть на такую счастливую парочку.
— Чего?
— Я завистлив... Хожу все утро и завидую вашему мужу...
— Ах, вы про нас... Ну, многое вы знаете...
— Оставьте. Хотя удовлетворить хорошенькую женщину — не легкая задача... Правда.
— Чего? (Подавила смех.) Какая же я хорошенькая?
— Ну, ну... Отлично знаете себе цену.
— Вы кто — кинематографический артист?
Они прошли. Заросший мужик на корме опять заскрипел:
— Ты еще не работал. Ты на бумаге работал. Ты меня не переспоришь...
— Да тятенька же! — Дунька чеснулась зеленой гребенкой.
Человек в сетке ответил:
— Леший...
— Я — леший?
— Лешего социализму учить, так и тебя... Мы вас сломим...
— Антиресно!
— Да,— Дунька щипнула отца, да не выговорила, от волнения высморкалась в конец полушалки...
Заросший мужик:
— Хозяином был — хозяином и останусь. Свое добро не отдам, сожгу...
— Невежа,— с отвращением проговорил человек в сетке.— Колхоз по всей науке — высшая форма хозяйства. Упирайся, нет ли,— все равно ты мужик мертвый...
— Так ты и скажи,— силой меня в колхоз... Мы тебе поработаем,— все дочиста переломаем, все передеремся... Уравняли!.. Я, знаешь, какой работник,— за свое добро горло перегрызу... А другой — лодырь, пьяница, вор... Ему лень на себе блоху поймать... И — ему даром мое добро отдай! Да я всех коров зарежу, лошадям ноги переломаю.
Дунька изо всей силы толкнула отца и — колхознику:
— Не видишь — он сумасшедший, не говори ты с ним...
Четвертый собеседник, болезненный мужик с лишаями на лбу, проговорил примирительно:
— Это правда: наука помогает...
— В чем она тебе помогает? — закричал заросший мужик.

— Она себя оправдывает.
— Наука?
— Мы все стали глубокомысленные. Взялись за работу сообща. По предписанию науки.
— Дурак сопатый...
— Это верно, за мной это утвердилось. С малолетства на хозяев работал, и работал плохо — с точки зрения, как у меня кила... Так и слыл — плохой человек. А наука меня от дела не гонит, я теперь у дела хлеб ем,— езжу на тракторе... А без науки, по природе только кошка действует...
Заросший мужик плюнул. Опять замолчали. На верхней палубе проходит Родионов с Зинаидой.
— Папа, птицы! — говорит она.
— Чайки принадлежат к семейству пингвинов. Зиночка, они питаются рыбой и другими ингредиентами... Мясо их жестко...
— Папа, они голодные.
— Пойдем, попросим хлебца, будем им кидать... Деточка моя, ты очень любишь маму? Мама — изумительная, цельная, редкая женщина...
Зинаида, насупясь:
— Мама не женщина...
— Разумеется, она — прежде всего — мама... Так вот, что я хотел вас спросить?.. В отношении ко мне сглажена несколько горечь? Постарайтесь вспомнить,— в ее разговорах обо мне — быть может, проскальзывала родственность?
— Папа, не понимаю — чего ты? — протянула Зинаида.
— Боже мой, прости, моя крошка...
Снова, оживленные, появляются Шура и Ливеровский.
Они еще не дошли до кормы и не видят профессора. Шура говорит:
— Многие котируют меня как необразованную, но я далеко не то, что выгляжу... И ваша агитация про любовь меня смешит. Наука открыла, что так называемая любовь — только голый животный магнетизм.
— Так вот — ваш животный магнетизм и сводит меня с ума.
— Это мне многие говорят.
— Например — негр...
— Ну, вы, просто, знаете, того-с... (Покрутила пальцем у головы.)

— Черт возьми,— прищурясь, говорит Ливеровский,— вот на такую женщину не пожалеть никаких средств.

— К сожалению, у нас в этом смысле не развернуться. Наше правительство просто нарочно раздражает публику... Пудру, например, продают — пахнет керосином.

— Что ж, он к вам каждый день шатается?

— Опять он про Хопкинсона! Слушайте,— обыкновенно я принесу им чай в кабинет, и они там — бу-бу-бу... А сама либо звоню по телефону,— у меня страсть разговаривать по телефону... Или я читаю иногда... Вы не поверите — я увлекаюсь марксизмом.

— Уверен, что негр втирает очки вашему профессору.

— И — ошиблись. Они разбирают одну рукопись. Хопкинсон написал ее так, чтобы никто не понял,— шифром. Но слушайте — это государственный секрет! Обещайте — никому...

— Хорошо,— Ливеровский придвинулся, раздув ноздри.— При одном условии (свинцово глядит ей в глаза, Шура раскрыла рот).

— Чего?

— Приходите в мою каюту...

Шура слабо толкнула его ладонью:

— Что же это такое... Ой!

Споткнувшись, пошла на корму. Увидала профессора, опять открыла рот:

— Ой!

— Ты уже встала, собака? — Профессор слегка загородил собой Зинаиду.— Мы проезжаем довольно красивыми местами. (Заметив, что Шура уставилась на Зину, нахмурился.) Не присоединишься ли к нам?

— Что это за девочка? — уязвленно спросила Шура.

Профессор строго кашлянул:

— Гм... Эта девочка — дочь...

— Чья, интересно?

— Гм... Моя... (И — строго глядя на головастую чайку.) Так вот, Зина, предложение...

У Шуры все личико стало, как у высунувшейся мыши:

— Ты с ума сошел, Валерьян! Где ты подобрал девчонку?

— ...предложение,— тверже повторил профессор,— пройти на носовую часть парохода...

Он повернулся. Ливеровский любезно приподнимал шляпу:

— Доброе утро, профессор, я уже имел счастье по-

знакомиться с вашей супругой... Иосиф Ливеровский, вицеконсул республики Мигуэлла-де-ля-Перца...

— Очень приятно,— сказал профессор,— вы попали в довольно неподходящую минуту... Вопросы агрикультуры, которые вас несомненно интересуют, несколько заслонены от меня беспорядком в личной жизни... Но я надеюсь быстро разобраться... (Поклонился.) До свиданья...

Обняв Зинаиду, строгий, научный, он пошел на носовую часть парохода. Ливеровский с кривой усмешкой:

— Девчонка едет в четвертом классе с матерью. Я ее видел,— очень сохранившаяся женщина.

Шура проглотила нервный комочек. Самообладание вернулось к ней. Передернула плечиками:

— С чем вас и поздравляю: эту Нинку вся Москва знает,— сплошная запудренная морщина. Сохранившаяся! Мне все теперь ясно,— да, да, они заранее сговорились. Вот, сволочь, устроили мне прогулку по Волге...

Ливеровский потянулся взять ее за спину:

— Красивая, гибкая, злая...

Шура вывернулась, как из трамвайной толкучки:

— Оставьте пошлости!

Но он — настойчиво:

— Хотите — помогу? (Она дышала ноздрями.) Все просто и мило: профессора от свежего воздуха целиком и полностью потянуло на лирику. Зрелище неопрятное,— сочувствую вам. Профессора нужно вернуть с лирических высот на землю. Есть план.

— Какой?

— Эта самая рукопись, что вы рассказывали...

— Которая у Валерьяна в портфеле?..

— Принесите ее мне... (Шура молчит.) Спрячем. (С неожиданным раздражением.) Ну, профессор будет метаться по пароходу в панике — и ему не до Зинки с Нинкой. Поняли?

Шурины глаза неожиданно раскрылись от восхищения:

— Поняла.

— Несите...

Тогда из окна обеденного салона медленно высунулась голова Гусева. Жуя осетрину, проговорил:

— Александра Алексеевна, увидите профессора — не забудьте сказать, что портфель его у меня...

Он показал портфель — из кожи под крокодила:

— И ключ от вашей каюты у меня...

Показал также и ключ. Шурка молча схватила его. Убежала. Ливеровский в это время закуривал. Бросил спичку за борт:

— Завтракаете?

— Завтракаю,— любезно ответил Гусев.— Присоединяйтесь.

— Ничего осетринка-то?

— Powanivaet, но есть можно.

— Что еще скажете хорошенького? — спросил Ливеровский.

— А ведь в портфеле-то у него не рукопись, а копия.

— Да, я тоже так думаю,— Ливеровский равнодушно отвернулся.

На палубе появилась Эсфирь Ребус — свежая, улыбающаяся, в изящном платье из белого полотна. Она улыбалась не людям, даже не текущим мимо берегам, а чему-то неизмеримо высшему. Ливеровский сказал ей тихо:

— Влипли. Легавый настороже. Портфель у него.

— В таком случае и легавый отправится туда же...

Спокойствие ее было классическое. Она даже не остановилась. Ливеровский бормотал:

— Миссис Ребус, нам не справиться с троими...

— Если у нас не хватит сил, мы поднимем массы...

Глаза ее сияли навстречу Хопкинсону. Он двигался к ней, как щепка к водовороту. Его огромные башмаки отлетали от палубы, высоко подбрасывались коленки, в руках плясали бинокль и путеводитель. Белели воротничок, зубы и глазные яблоки. Что-то, видимо, было странное в улыбке миссис Ребус, в невероятно сдержанном волнении Хопкинсона,— иностранцы, стоявшие у борта, повернули головы:

— Мистер Лимм, мне сдается, что это тот самый негр, наделавший столько отвратительного шума в Америке...

— Бог с вами, мистер Педоти, его же линчевали, насколько мне помнится.

— Суд Линча был совершен над его братом...

— Вы правы, я совсем забыл эту грязную историю.

— Мне очень не нравится присутствие здесь Хопкинсона...

Миссис Ребус и Хопкинсон сошлись и стали у перил так, будто судьба их наконец свела. Эсфирь улыбалась чайкам. Хопкинсон поднес к глазам бинокль, рука его

дрожала. Ливеровский перестал дышать, следя за этой встречей главных персонажей...

— Алле хоп,— хрустально-птичьим голосом произнесла миссис Ребус, бросая крошку хлеба чайкам. Ливеровский заметил, что из окна салона по пояс высовывается Гусев, также весьма заинтересованный встречей. Ливеровский подскользнул к нему:

— Будьте столь любезны, передайте карточку завтрака.

— А я уже кончаю.

— По рюмочке пропустим?

— Уговор.

— Есть.

— Ничего не подсыпать в рюмку.

— Товарищ дорогой! — Ливеровский весь удивился.— Вы невозможно информированы об иностранцах. Мы же прежде всего культурны. Подсыпать яду в рюмки... Бульварщина!.. Где вы этого начитались?

Он заскочил в салон и сел у окна напротив Гусева.

— Алле хоп! — Эсфирь кидала крошки птицам.— Кроме этих птиц, вам что-нибудь нравится здесь? Что? (Негр перекатил к ней глаза, губы его сжались резиновыми складками.) Вы говорите по-английски? — Она чуть сдвинула брови.— Что?

— Многого здесь я еще не понимаю, миссис, но я хочу любить эту страну. И я полюблю эту необыкновенную страну.

— Мне нравится ваш ответ,— она подняла брови и задумчиво: — Так должен ответить хороший человек... Алле хоп! (Бросила крошку птицам.) А я дурной человек. Я — злая...

Негр положил руки на перила, шея его понемногу уходила в плечи. Не знал, что ответить. Это ей, видимо, понравилось:

— Странно, что привело вас в Советскую Россию? Мой вопрос несколько профессиональный: я журналистка. Вы можете называть меня Эсфирь. (Он торопливо, неловко поклонился.) По собственному желанию сюда не приезжают. Сюда спасаются от беды. Это страна голодных мечтателей. Я приглядываюсь к лицам... (Жалобно.) О... Они свирепы, бесчеловечны, эти варварские лица безумцев... Здесь едят человеческое мясо и социализируют женщин...

— Неправда! — резко сказал негр. Тогда она ответила так, будто коснулась его сострадательной рукой:

— Я бы хотела верить вместе с вами...

Он изумленно повернулся. Ее улыбка была нежна и невинна. Теплый ветер растрепал ее шелковистые волосы. Хопкинсон несколько подался назад:

— Миссис Эсфирь, я не понимаю — почему именно меня вы избрали собеседником? Мне это тяжело.

Казалось — после такой грубости разговор кончен и навсегда. Хопкинсон закрыл глаза.

Но обольстительная американка придвинулась к нему и голосом нежным, как хрустальный колокольчик:

— Разве я намереваюсь оскорбить вас?

Тогда он сказал с ужасным волнением,— даже пена проступила на углах губ:

— Я Абраам Хопкинсон.

— Я знаю.

— Мой брат, Элия, был линчеван в штате Южная Каролина из-за белой женщины... Она была похожа на вас...

— О, боже... (И — шепотом.) Алле хоп... Как это случилось?

Он подозрительно покосился, но ее глаза выражали только участие и печаль...

— Они оба служили в универсальном магазине... Мой брат не виноват в том, что у него под черной кожей человеческое сердце... Он любил эту девушку, не надеясь ни на что... Страшась себя — потому что страх передан нам черными матерями... Однажды он увидел ее в парке и сел на другой конец скамьи... Его ослепило счастье глядеть на эту обольстительную особу. Любовь нужно высказать, иначе она задушит... Было, должно быть, очень смешно, когда он стал излагать девушке негрские чувства,— в парке, где полно гуляющих... Он поставил девушку в глупое положение — шокинг! Она очень рассердилась. Их окружила толпа. Несколько тысяч белых бешено закричали: «Линч!» Брат, весь истерзанный, но еще живой, был повешен на ветке дуба. В присутствии полисмена составлен акт о попытке насилия над белой женщиной и о законном возмездии... (Миссис Ребус молчала, носик ее обострился, губы — полоской)... Теперь вы понимаете, почему я такой плохой собеседник для вас, миссис Эсфирь...

— Нет, не понимаю... Не вся Америка принимала участие...

— Нет — вся! Прокурор и сенат отклонили мою жалобу,— суд Линча — законный суд! Мои письма не по-

местила ни одна газета... Тогда я сам выступил с обвинением американского народа. За пять тысяч долларов статья была напечатана... На меня кинулась американская пресса, как стая шакалов... Я был лишен кафедры, выгнан из всех научных учреждений... Ку-Клукс-Клан приговорил меня к смерти. Несколько сот негров в разных городах жестоко поплатились за мои слова о справедливости... Я поклялся отомстить... Миссис Эсфирь, сюда я приехал для мщения... Но здесь мои маленькие чувства стали казаться не заслуживающими большого почтения... Здесь мои знания я решил употребить на более полезное дело... Пусть американцы спят спокойно,— я перестал о них думать...

Он засмеялся. Миссис Ребус молчала, опустив глаза.

— Пройдемся,— вдруг сказала она,— мне стало тяжело от вашего рассказа...

— Я немножко удивился,— проговорил он, совсем сбитый с толку.— Я был уверен, что вы не захотите даже дослушать...

— Женщины — странные существа, это правда...

И они медленно пошли по палубе. В окне салона Гусев говорил Ливеровскому:

— Шаг за шагом влипнете, безусловно.

— Ни одного неосторожного шага, ни одного доказательства, товарищ Гусев.

— Случай с портфелем?

— Отрекусь. О портфеле первый раз слышу.

— Свидетельница.

— Грош цена: допросите Александру Алексеевну, она понесет такую бурду,— с ума сойдете...

— Все-таки — придется вам перейти к уголовщине.

— Придется...

— И закопаетесь.

— Никак нет. Вам неизвестно главное — наша цель.

— Узнаю.

— Не успеете.

— Сегодня ночью? — перегнувшись через стол к его лицу, спросил Гусев.

— Скажу «да» — не поверите; скажу «нет» — тоже не поверите...

— Правильно. Так как же, стоит посадить на пароход наряд милиции?

— Искренно говоря — нет: тогда мы отложим дело, свернемся.

— Выпьем! (Чокается.)

Мистер Лимм, стоя спиной к перилам, кивнул на окно салона и сказал Педоти:

— Любопытно, что они пьют?

— Что-то белое и едкое.

— И ведь с аппетитом, мистер Педоти.

Педоти вздохнул. Из другого окна салона, где за столом завтракали москвичи, высунулся писатель Хиврин и помахал рукой иностранцам:

— Водка, водка... Присаживайтесь к нам, мистеры...

— Ну их к черту! — Гольдберг схватил руку Хиврина.— Честное слово, опасно, товарищи...

— Со мной не бойся... Я должен изучать европейцев: часть моего романа происходит в Европе... (Другой рукой схватил за спину пасынка профессора Самойловича.) Казалупов, скажи им по-английски...

— Алле, тринкен, тринкен,— опять зовет Хиврин.— Водка!

Лимм и Педоти переглянулись:

— Мне кажется — неудобно, нужно пойти, мистер Педоти.

— Сегодня воскресенье, я бы не хотел начинать мою поездку с безнравственного поступка.

— Но у них пятидневка, воскресенье отменено.

— А... Гм...

На палубе появилась Нина Николаевна. Видимо, она пришла за Зинандой. Педоти и Лимм, приподняв шляпы, дали ей дорогу и пошли в салон. Нина Николаевна позвала:

— Зина...

Сейчас же в окне отодвинулись жалюзи, и выглянула Шура. Женщины некоторое время глядели друг на друга...

— Здравствуйте, Александра Алексеевна...

— Здрасте, Нина Николаевна...

— Ищу Зинанду...

— С отцом прохаживается... Вы скоро слезаете?

— Мы едем до Астрахани...

— Интересно! — Шура сразу чем-то отдаленным стала похожа на козу. Нина Николаевна — спокойно:

— Александра Алексеевна, я не покушаюсь на ваше счастье. Мне больше, чем вам, тяжела эта встреча...

— Чего?

Нина Николаевна ушла. Снова, обогнув пароход, появились миссис Ребус и Хопкинсон, строго поблескивающий очками.

Он говорил:

— Почему только человек с белой кожей должен считать себя хозяином мира? Желтых, красных, черных — численно больше. В нас точно такой же процесс пищеварения, нам так же повинуются машины... Белые — хозяева, мы — рабы. Белые овладели энергией, изобрели машины, построили семнадцатидюймовые пушки и завладели рынками... Мы говорим — спасибо и берем свою часть...

— Мистер Хопкинсон, вы — ребенок, которого учат разбойничать.

— Учат справедливости...

— За эти две недели в ушах трещит от неразрешимых вопросов... Вон те (указывает на корму) едят черный хлеб с луком и решают мировые проблемы; у самих нет сапог и не заштопаны лохмотья... Разве возможна жизнь без комфорта? Зачем тогда жить? И высший комфорт, который мы позволяем себе,— это наши предрассудки. Они охраняют нас от грязи и злословия, как зонт от дождя... А вы вздумали посягнуть на наши предрассудки. Зачем?.. Если бы вы стали утверждать, что по воскресеньям не нужно ходить к обедне и петь гимнов, или что Дарвин прав, ведя род человека от оранг-утанга,— на вас бы обрушились с такой же энергией... Вы мечтаете о мщении, а у нас горько сожалеют о вашем отъезде... Уверяю вас, Америка слишком высоко ценит ваш гений, чтобы не загладить какой угодно ценой эту размолвку...

— Я немножко не понимаю,— сказал Хопкинсон,— менее всего понимаю вас...

— О, вы плохо знаете американских женщин. Мы старимся, сожалея о неиспользованных минутах счастья,— этой ценой мы покупаем комфорт. Тысяча демонов закованы в нас, но все же не так крепко, как это принято думать. Под надменной маской мы медленно сгораем от желания сбросить тесную одежду — предрассудки... Хотя бы на час в жизни... Хотя бы одного из тысячи бесенков выпустить на свободу...

Она сказала это просто и замедленно, как женщина, раздевающаяся перед мужчиной. Хопкинсон мучительно подавлял в себе то, что неминуемо должно было возникнуть в нем от слов и близости этой женщины. Затылок его налился кровью:

— Вы так же откровенны со своей собакой, мне представляется, миссис Эсфирь...

— Нет, мистер Хопкинсон, этих мыслей я не поверяю даже моей собаке... (Он откинулся как от удара)... Самое соблазнительное в вас то, что вы — взрослый ребенок... (Засмеялась.) Вы поняли: настал мой час в жизни... Я захотела быть голой перед единственным человеком... Не стоит думать — почему. Желание... (Хопкинсон поднес руку к лицу, очки его упали за борт.) Так будет свободнее, без очков... В тумане...

— Или вы...

— Нет, не лгу, я не слишком развратна. Возьмите мои руки. (Он схватил ее руки.) Ледышки? Вот что значит — раздеваться перед мужчиной...

— Миссис Эсфирь... (У него стучали зубы.)... Хотя бы для того, чтобы не быть сейчас смешным... я уйду.

— Конечно... Я хочу видеть вас владеющим собой. Мы встретимся после заката. Это час покоя...

Хопкинсон нагнул голову и пошел, близоруко натыкаясь на стулья. Миссис Ребус не спеша закурила папиросу. От носа по палубе шел профессор, Зинаида и Нина Николаевна. Профессор громко говорил:

— Нам было очень радостно и хорошо. Представь себе, Нина, я, оказывается, превосходный отец, то есть любящий отец... Это меня удивило...

— Я думаю, нас не выгонят из салона. Зинаида хочет есть...

Поморгав, профессор спросил робко:

— А мне можно с вами пообедать?

— Нет,— спокойно ответила Нина Николаевна.— Это может быть понято превратно...

— Мне несколько тяжело от твоей слишком... рассудительности, Нина.

— Я не могу разговаривать как любовница.

— Понимаешь... (они уже входили в дверь салона) какой-то нужно сломать лед...

Низким басом заревел пароход и начал поворачивать к берегу... В окна салона стали высовываться пассажиры. Хиврин, отмахивая со лба мокрые волосы:

— Что это такое? Какая остановка?

Мистер Лимм — лоснясь улыбкой:

— Русский водка — хорошо... Будем покупать водка...

Казалупов:

— Мне сообщили, на этой остановке яйца — рубль восемь гривен...

Хиврин:

— Вылезаем... Мистер Педоти, яйца, яйца покупаем.

Мистер Педоти:

— Мы все покупаем...

Мистер Лимм:

— Ура, русский Волга!

Стоявший у борта Парфенов указал иа приближающийся берег:

— Бумажиая фабрика, махииища... Два года назад: болото, комары... Понюхайте — воняет кислотой иа всю Волгу. Красота! Двести тони целлюлозы в день... Это ие жук чихнул...

3

Плыли теплые берега. Плыли тихие облака, бросали теии на безветреиный простор воды, всегда прегражденный лазурной полосой. Нешевелящиеся крылья чаек отсвечивали зеленью; то одна, то другая падала за кормой в пенный след парохода.

Влажиый ветер трепал скатерти, облеплял иоги у женщин, разглаживая морщины, вентилировал городскую гарь. Солнечиые зайчики играли на пивных бутылках. Дрожали жалюзи. Босой матрос мыл шваброй палубу.

Волга ширилась. Берег за берегом уходили в мглистую даль. На воде, такой же бледной, как иебо, лежали плоты,— от волн парохода они скрипели и колыхались, покачивая бревенчатый домик с флагом, где у порога в безветреиный час кто-то в линялой рубашке играл на балалайке.

Шлепал колесами желтый буксир, волоча из последних сил караваи судов, высоко груженных досками, бревнами, серыми дровами. Близко проходила наливная баржа с иефтью, погружеиная до крашенной суриком палубы. В лесистом ущельи дымила железная труба лесопилки, по склону лепились домики, и на горе за березами белела церковь с отпиленными крестами.

Страииым после городской торопливости казалось иеторопливое движение берегов, облачных куч над затуманеииой далью, коров, помахивающих хвостами иа отмели, мужика в телеге иад обрывом... Хотелось — быстрее, быстрее завертеть эту необъятную панораму... Но ветер ласкал отвыкших от ласки горожан, разбивались набитые иа мозг обручи черных забот, и откуда-то (что уж совсем дико) появлялось забытое давным-давно ленивое добродушие... Появлялся иеестественный аппетит,

На остановках скупалось все, что приносили бабы из съестного,— пироги с творогом и картошкой, яйца, топленое молоко, ягоды, тощие куриные остовы...

Переполненная впечатлениями была лишь верхняя палуба. Нижней — четвертому классу — было не до того: она опоражнивалась на каждой остановке,— вываливалось по нескольку сот мужчин и женщин, и столько же впихивалось, в лаптях, с узлами, сундуками и инструментами, в тесноту и селедочную вонь.

Капитан уныло посматривал с мостика на эти потоки строителей. На сходнях крутились головы в линялых платках, рваные картузы, непричесанные космы, трещали корзины, сундучки, ребра. Два помощника капитана сбоку сходен надрывались хрипом:

— Предъявляйте билеты, граждане! Куда прете без очереди!

Грузились и выгружались партии рабочих на лесозаготовках, на торфяных разработках, на строительстве городов и фабрик. Одни уходили на сельские работы, другие — из деревень на заводы...

Солнце садилось. Лимонный закат медленно разливался над Заволжьем, над лугами и монастырскими рощами, над деревнями и дымами строительства.

— Как в котле, народ кипит... Строители,— добром их помянут через тысячи лет,— говорит Парфенов, облокотясь о перила.

Стоящий рядом капитан ответил мрачно:

— Полагается триста человек палубных, а мы сажаем до тысячи. Вонища такая, что даже удивительно. Ни кипятку напастись, ни уборных почистить — прут как плотва...

— А ты раньше-то, чай, все богатых купцов возил, шампанским тебя угощали...

— Да, возил... В восемнадцатом году... Сам стою на штурвале и два комиссара — справа, слева от меня, и у них, дьяволов, вот такие наганы. Подходишь к перекату, и комиссары начинают на тебя глядеть... А за перекатом — батарея белых... И так я возил... Всяко возил...

Капитан отошел было. Парфенов со смехом поймал его за рукав:

— Постой... Да ведь это с тобой я никак тогда и стоял... На пароходе, как его, «Марат», не «Марат»?..

— «Царевич Алексей» по-прежнему, на нем и сейчас идем...

— Чудак! Вспомнил! (Смеется.) Я еще думаю,— мор-

да у него самая белогвардейская, посадит на перекат... Да, не обижайся... А ведь я чуть тебя тогда не хлопнул, папаша...

Капитан, отойдя, крикнул сердито:

— Давай третий!

Пароход заревел. На палубу поднимались нагруженные продуктами москвичи и иностранцы. Лимм, потрясая воблой:

— Риба, риба...

Хиврин одушевленно:

— Под пиво, мистер,— национальная закуска.

Педоти:

— Закажем колоссальную яичницу...

Казалупов:

— Шикарно все-таки, скупили весь базар.

Гольдберг:

— Но — цены, цены, товарищи...

Вдоль борта озабоченно бежала Шура:

— Валерьян! Купил? — звала она, перегибаясь.— Малины? Это же невозможно... Колбаса, колбаса,— три двадцать четыреста грамм... Вот — люди же купили! и совершенно не лошадиная...

— Ну и пусть его покупает малину,— говорит Ливеровский подходя.— Стоит отравлять себе дивный вечер...

У Шуры пылали щеки:

— Не в малине дело,— он прямо-таки липнет к этой Нинке...

— Нам лучше...

— Слушайте, чего вы добиваетесь цельный день? (Поднимает ладонь к его лицу.) Да, уж — смотрите, прямо неприлично... (Шепотом.) Капитан глядит на нас...

— Едем со мной в Америку.

— Чего? Ну, вы нарочно...

— Ух, зверь пушистый,— говорит Ливеровский выразительно...

— А в самом деле в качестве чего я могла бы поехать в Америку?

— Секретаря и моей любовницы...

— Временно?

— Ну, конечно.

— А то — все-таки бросить Вальку, такого желания у меня нет, я его обожаю... Но я еще, знаете, страшно молодая и любопытная... (Внезапно с тоской.) Обманете меня, гражданин вицеконсул?

— Возьмите это... (Он всовывает ей в руку листочек

бумаги.) Крепче — большим и указательным... (Шура растерянно берет листочек.)

— А чего это? Зачем?

— Здесь немножко сажи с воском. Готово. (Берет назад у нее листочек.) Вы поедете в Америку и будете вести роскошную жизнь,— гавайские гитары и коктейли... Но сейчас должны...

— Сердце очень бьется у меня.

— Сейчас — возьмите у Гусева портфель и принесете мне. Поняли: портфель украсть и тайно мне — в каюту...

Шура — шепотом:

— Гражданин вицеконсул, как же это вы меня котируете?

— Как соучастницу.

— Вы бандит?

Ливеровский, оглянувшись — и ей на ухо:

— Я — шпион, агент международного империализма. (Шура молча затряслась, заморгала, начала пятиться.)

— Случайно встретила, и — ничего общего, сами привязались...

— Поздно, душка.— Он осклабился и, помахивая записочкой перед Шуриным лицом: — Не донесете...

— Ей-богу, ей-богу, донесу...

— Знаете — что здесь? (Показывает записочку.) Здесь — ваша смерть. (Читает.) «Добровольно вступаю в международную организацию Ребус, клянусь подчиняться всем директивам и строжайше хранить тайну, в чем прилагаю отпечаток своего большого пальца»... Вот он!

— Ай,— тихо взвизгнула Шура, взглянув на палец, измазанный в саже,— сунула его в рот. Ливеровский спрятал записочку в бумажник:

— Успокойтесь, поплачьте, для утешения — флакон Коти... (Вынув из жилетного кармана, сует ей в руки флакончик духов.) Хоть слово кому-нибудь — смерть...

Он отходит посвистывая. Шура дрожащими пальцами раскупоривает бутылочку, всхлипывает. Хлопотливо проходит профессор с пакетом малины:

— Ищу Зину... Представь — малина чрезвычайно дешева, купил одиннадцать кило... (Шура всхлипывает)... Что у тебя за бутылочка?

— Не спрашивай...

— Прости, прости... В тайны личной жизни не вмешиваюсь... Но все же...— запнулся, просыпал часть ма-

лины, покашливая, оглядел Шуру. Она припухшими губами:

— Ничего не скажу, ничего... Пусть я погибла, ни слова не скажу...

— Гм... Как ты погибла? Гм... Физически или пока только — морально? Не настаиваю... Но, по-моему, несколько быстро погибла... В то время, когда я... Гм... никак не могу решиться проверить самого себя,— вернее: количество обязанностей перед одной женщиной и количество обязанностей перед другой... Ты очень быстро решилась... Это несколько меняет отношения слагаемых... Гм... Собака, прости,— для уточнения факта... (Сразу — потеряв голос)... Ты отдалась мужчине, насколько я понял?

— Иди к своей Нинке, иди, иди...

Она убежала. Профессор просыпал еще несколько малины. С мячиком подбежала Зина.

— Папа, малина...

— Да, малина... Замечательно, что, несмотря на видимую закономерность и порядок, жизнь как таковая есть глубочайший беспорядок... Никакой системы нельзя подвести в отношения между людьми, то есть — я никогда не могу быть уверен, что *А* плюс *В* плюс *С* дадут нужную сумму, и если ввести даже некоторый коэффициент неопределенности — *К*, то и тогда все полетит к черту...

— С пола можно есть?

— Можно... Но не подавись — в малине много костей... Зина, пойдем сейчас к маме... Я решил...

Профессор потащил Зинаиду к трапу — на нижнюю палубу. Оттуда навстречу поднимался негр. Схватив Родионова за локоть (профессор крепче прижал к груди пакет с малиной), Хопкинсон сказал негромко и раздирательно:

— Я должен немедленно покинуть пароход... Я хотел сойти на этой остановке, но здесь — ни железной дороги, ни лошадей...

— Ближайшая остановка — завтра утром...

— Тогда я погиб!

— Очень странно... (Профессор подхватил пакет.) Здесь многие испытывают то, что они будто бы должны погибнуть... И некоторые уже погибли... В особенности удивляет торопливость, с которой... (Он задрал бородку и глядел из-под низа очков)... Очевидно, излишек кислорода, а?.,

— Ночь! Впереди — ночь! — выкатив глаза, повторил Хопкинсон.

— Я могу быть полезным?

— Мне помочь нельзя... (Он улыбался, но длинные руки дрожали.) Меня нужно сжечь живым! Убить во мне черную кровь!.. Дорогой профессор... (Он увлек Родионова к перилам... Профессор от волнения уронил пакет, Зинаида всплеснула руками...)

— Папа, ты с ума сошел...

— Сейчас, сейчас, детка, к твоим услугам...

— Дорогой профессор, возьмите от меня известную вам рукопись, ту, что мы расшифровали,— твердо проговорил Хопкинсон.

— Такая ответственность! Нет, нет!

— Я не имею права держать здесь (рванул себя за карман пиджака) счастье целого народа... Я боюсь... Я буду бороться... А если не хватит сил? Я буду преступником!..

Тогда Родионов наклонился к его уху:

— Ничего не понимаю...

Негр сунул ему в карман клеенчатую тетрадь.

— Берите... А я постараюсь сделать сто кругов по палубе энергичным шагом...

Пока Родионов засовывал рукопись, негр уже отбежал: на тускнеющем свете заката пронеслась его худая тень — руки в карманах, плечи подняты, рот оскален до ушей — и скрылась на носу за поворотом. Профессор поднял палец:

— Зинаида, на пароходе происходит что-то неладное.

Он и Зинаида спустились на корму. Наверху шел Гусев с папиросой. Из освещенного салона выкатились Ливеровский, Лимм, Педоти и Хиврин, говоривший возбужденно:

— Обычное русское хамство... Вдруг больше не подают водки.

— Мы не пьяны, нет — мы не пьяны! — кричал Лимм. И Педоти, схватившись за Хиврина:

— Я требую коньяк, они должны подавать. Это паршивые порядки — у вас в России!

— Идем вниз к буфетчику, там все достанем,— напористо-громко сказал Ливеровский. И — Лимм:

— Вниз к буфетчику! Хорошо!

Педоти:

— Потребуем водку с мадерой!

Хиврин с энтузиазмом:

— Люблю иностранцев — расстреливайте меня!

Все четверо устремляются вниз, к буфетчику, лишь Ливеровский, покосившись на Гусева, задерживается, закуривает. Гусев вполголоса:

— А это зачем понадобилось?

— Тащить иностранцев в буфет?

— Иностранцев ли?

— Подготовка за пятнадцать ходов,— даю шах и мат.

— Мне?

— Вам.

— Ливеровский, я вас решил арестовать.

— Когда? — спросил он поспешно.

— В Самаре, завтра...

— Вам же влетит за это.

— Знаю. Наплевать! Не могу иначе.

— Ай, ай, ай! Так, значит, запутались окончательно? Струсили? Не ожидал, не ожидал...

— Мне неясен один ваш ход.

— Именно?

— Пойдете ли вы на мокрое дело?

— Догадывайтесь сами...

— Хорошо. Я тоже иду вниз.

— Не боитесь?

Гусев шагнул было к трапу, но остановился, медленно обернув голову,— так неожиданно был странен этот вопрос. Нахмурился:

— Ах, вот как вы...

— Я — сейчас — за папиросами и — вниз.— Ливеровский хихикнул, отошел. Гусев медленно стал спускаться. В окне отодвинулись жалюзи. Эсфирь Ребус спросила:

— Алло, Ливеровский?

Он на секунду присел под ее окном:

— Только что сели на этой остановке двое, наши агенты.

— Надежны?

— Как на самого себя... Бывший помощник пристава Бахвалов и — второй — корниловец Хренов, мой сослуживец. Инструкции им уже даны.

— Нужно торопиться.

— Я бегал вниз. Настроение подходящее. Мы еще подогреем.

— Нужно сделать все, чтобы негра взять живым.

Ливеровский развел руками:

— Постараемся. Это самое трудное, миссис Эсфирь...

— Это настолько важно... В крайнем случае я решила

пожертвовать собой... (Ливеровский живо обернулся к ней.) Если отбросить кое-какие предрассудки,— нетрудно вообразить, что мистер Хопкинсон может даже взволновать женщину...

Говоря это, она медленно затянулась папироской. Он молча встал, отошел к борту и плюнул в Волгу. По палубе неслась тень негра — белые зубы, белый воротничок.

— Уйдите... Совсем уйдите,— сказала Эсфирь. Ливеровский нырнул вниз по трапу. Под окном миссис Ребус негр споткнулся, как будто влетел в сферу магнитных волн, останавливающих магнето. Он сделал неудачное движение к борту. На секунду вцепился в поручни,— рот раскрыт, глаза как у быка. Бедный человек хотел сделать вид, что спокойно любуется природой. Но сейчас же, уже нечеловеческой походкой, подпрыгивая, помчался дальше... Эсфирь продолжала курить,— глядела на закат, и, если бы не струйка дыма между пальцами ее узкой руки,— могло показаться, что эта красивая женщина в окне парохода, это неподвижное лицо с красноватым отсветом в глазах — лишь приснилось черному человеку... Не добежав до кормы, он сделал поворот, схватился за голову и начал возвращаться,— руки полезли в карманы штанов, походка бездельника-волокиты... Только в пояснице какая-то собачья перешибленность. Должно быть, нелегко ему доставалась борьба с дикими чувствами, кипевшими в его артериях... Так же медленно, навстречу ему, Эсфирь поворачивала голову. О, если бы — заговорила. Нет, продолжала спокойно молчать.

— Душный вечер на Волге,— с трудом проговорил он (осклабился, встал на каблуки, зашатался).— Вы, кажется, скучаете? (Короткое движение,— как будто хватаясь за курчавые волосы)... Отчего вы так странно молчите... Миссис Эсфирь...

— Я сказала все, что может сказать женщина... Дело за вами...

Тогда с кашляющим стоном он кинулся на скамью под окном, схватил руку миссис Эсфирь, прижал к губам:

— Я хотел бежать... Я хотел кинуться в воду... Я искусал себе руки... Молчу, молчу... Вы все понимаете... Маленький человек вздумал бороться с Нулу-Нулу... Он миллионы веков напитывал нашу кровь яростью... Нулу-Нулу — в полдень встает над лесом, над нашей жизнью. Ствол баобаба, глаз взбешенного тигра — Нулу-Нулу...

Он сжег мой разум... Мою совесть... Мою человеческую гордость... Все, все — в жертву ему...

Бормоча всю эту чушь, Хопкинсон встал на скамье на колено и глядел миссис Ребус в лицо с полуопущенными веками.

— Еще,— сказала она.

— Поверните ключ в двери... Я приду...

— Еще о Нулу-Нулу...

— Он стоит над миром... Все горит — травы, леса, земля... Все в дыму, в мареве... Нулу-Нулу нюхает дым... Мужчина приближается к женщине... «Хорошо»,— говорит Нулу-Нулу... И он жжет их... Огонь вылетает у них изо рта, из глаз, из животов...

Жалюзи вдруг захлопнулись. Хопкинсон оборвал на полуслове, схватился за лицо и — раскачиваясь:

— Слепой идиот, старый аллигатор, глухая птица Кви-Кви... Трех линчей мало тебе, мало...

Эсфирь сейчас же появилась на палубе. На плечах — испанская шаль.

— Вот — ключ от моей двери... Вы получите его в свое время (оглянулась направо, налево и — шепотом): сейчас ко мне нельзя,— позднее... Абраам, поговорим серьезно... (С улыбкой провела ладонью по его щеке.) Нулу-Нулу, вы мне нравитесь... Будьте все время таким... Абраам, я решила... Я связываю мою жизнь с вашей. Вы гениальный человек... А ведь рука женщины, как лапа хищной птицы... Я хватаю добычу — это мое, вы весь мой! Таковы женщины... Абраам, расскажите о вашем замечательном открытии... Какой сладкий ночной ветер, подставьте лицо,— он освежает... Что главное в вашем открытии? Из-за чего в Америке такой переполох?

Складывая руки, как насекомое богомол, Хопкинсон беззвучно смеялся:

— Я не способен, я не способен, все благоразумное выскочило из моей головы...

— Когда женщина отдает себя всю, она хочет быть гордой,— сурово сказала Эсфирь.— Предположите, что я честолюбива.

— Хорошо... (Он сжал руки, будто пожимая их страстно.) Ничего гениального нет... Я напал на это случайно... Если семена растений подвергнуть действию азота при пяти атмосферах и температуре в тридцать градусов Цельсия, то энергия, заключенная внутри семени, увеличится в десять раз...

— Азот, тридцать градусов и пять атмосфер,— повторила Эсфирь.

— Еще и фосфорный ангибрид и окись углерода, легко отдающая частицу «С»... Все это в малых примесях... Принцип: предварительное обогащение не почвы, а самих семян...

— А? (Эсфирь даже вскрикнула тихо.) Поняла...

— Растительная сила так невероятно увеличивается,— в лето вы собираете три урожая...

— Чудовищно...

— Для Америки... Для всего капиталистического хозяйства. Они борются за цены на пшеницу, они погибают от урожаев. Американские фермы молят бога послать саранчу на поля. В Африке оставляют картофель гнить в земле. Хлопок больше невыгодно сеять. Парадокс! Гибель от изобилия... А я предлагаю увеличить урожай в десять раз... Поэтому они и пытались меня убить и обокрасть...

— Друг мой... (Эсфирь схватила его руку)... У вас больное воображение... Большевики — лгут, лгут... Ваш приезд в Америку будет национальным праздником...

Грудь миссис Ребус прижалась к его плечу. Он замолчал, откинув голову, вдохнул влажный ветер, летящий с берегов над звездами, опрокинутыми в темной воде...

— Мне не хочется просыпаться,— сказал он тихо.— Вы — одна из этих звезд, упавшая на черную землю...

Она — с воркованьем:

— Абраам, я хочу спасти вас...

— Зачем? Я — спасен... Глядите... (Он указывает на отражение звезд)... Мы летим на другую планету, звезды вверху и внизу... Приветствуем новую землю, этот девственный мир... Здесь — сурово и скудно... Труд — священ... Слабых не прощают, за ошибки карают жестоко, но над всем — возвышенные замыслы... Единственное место в мире, где трудятся во имя великих замыслов... Здесь строят новое жилище человечеству... Это очень трудно и тяжело, но я тоже хочу быть пионером на этой земле... Я вас могу любить особенно, с глубокой нежностью, мы сделаем много хороших дел... Мы насыплем элеваторы доверху превосходным зерном, освободим от забот о хлебе усталого человека. Это большое дело... И покажем им... (Ткнул пальцем в звезды)... что правда здесь... Миссис Эсфирь, с вами вдвоем...

— Это ваше открытие напечатано где-нибудь? — тоненьким голосом спросила Эсфирь.

— Конечно, нет... Весь процесс обработки зерна записан шифром. (Испуганно схватился за карман, вспомнил)... Да, в надежном месте...

— У профессора?

Он, — взглянув удивленно:

— А почему вы спросили?

— Мне близко и дорого все, что касается вас... (Взяла его под руку, прижалась, и снова у него голова пошла кругом)... Мы еще погуляем немного? Я отдам вам ключ с одним условием.

— Я бы мог сейчас... (Наклонился к ней)... Мог бы плясать с копьем в руке...

Она засмеялась, и они молча пошли к носу, где ветер затрепал юбку Эсфири, взвил концы ее шали, и Хопкинсону пришлось обнять ее за плечи, чтобы помочь преодолеть ветер...

— Какие же ваши условия, миссис Эсфирь?

— Вы возвращаетесь в Америку.

Он задохнулся. Поднял руки над головой...

В помещении буфетчика тем временем шло веселье. Иностранцы потребовали льду и, наколотив его в большие фужеры, пили водку с мадерой. Хиврин сверх меры восторгался заграничным обществом, — должно быть, представлялось, что сидит в Чикаго, в подземном баре у спиртовых контрабандистов...

— Гениально! — кричал он. — Лед, водка и мадера! Коктейл! (И буфетчику:) Алло, Джек, анкор еще... Хау ду ю ду!

— Не надо кричать, — говорил Педоти, — пить нужно тихо.

— Русскую душу не знаешь... Тройка! Цыгане! Хулиганы!

Лимм, которого научили по-русски:

— Ах ты, зукин зын комарински мужик...

— Урра! — вопил Хиврин. — Гениально, мистер. Я тебя еще научу... (Шепчет на ухо ему)... Понял? Повтори...

Лимм болтает руками и ногами, визгливо хохочет.

На хмурой морде буфетчика выдавливается отсвет старорежимной улыбочки... Неподалеку от буфета, в углу, образованном тюками с шерстью и ящиками с московской мануфактурой, разговаривает небольшая группа. Здесь и давешний колхозник в сетке и хороших сапо-

гах, и заросший мужик, но уже без дочери (она устроилась на ночь под зубьями конных граблей), и батрак — болезненный мужик, и худощавый человек со светлыми усами полумесяцем, в синих штанах от прозодежды, и губастый парень в драном ватном пиджаке, и две неопределенные личности в худой одежонке, в рваных штиблетишках,— эти сидят на ящиках...

Указывая на них, рабочий (со светлыми усами полумесяцем) говорит, ни к кому в частности не обращаясь:

— Вот эти двое — самый вредный элемент... Я давно прислушиваюсь,— чего они шепчут, чего им надо. Там пошепчут, здесь пошепчут... От таких паразитов вся наша беда...

— А что ж рот-то затыкать? — вступается заросший мужик.— Ты, друг фабричный, всем бы приказал молчать... Губернатор,— портфель тебе под мышку...

Губастый парень засмеялся, будто у него лопнули губы. Рабочий строго — на него:

— Дурака-то и насмешил: вот и агитация...

— Агитаторы не мы: ты, друг фабричный,— говорит заросший мужик.

Губастый качнулся к рабочему, закричал со злобой:

— Ты скажи, сколько мне надо работать? Я еще молодой...

Заросший мужик:

— Ответь по своей науке-то...

Рабочий оглядел парня, мужика, ответил тихо, но важно:

— Всю жизнь...

— Сто лет работать,— пробасила одна из личностей, сидящих на ящиках,— плотный мужчина, лет пятидесяти, в рыбацкой соломенной шляпе.

— Правильный ответ,— обрадовался заросший мужик.— И за сто лет у них лаптей не наживешь...

— Кулачище! — закричал на него колхозник.— Зверь матерый! Одна идеология — работать, нажить! Ты работай для общего...

— Постой, я ему объясню,— перебил рабочий.— Весь вопрос — в культурной революции... Сейчас работаем восемь часов... В будущем станут работать, может быть, два часа...

Заросший мужик ударил себя по бедрам:

— Врет, ребята, ей-богу, врет... Два часа работать — лодырями все изделаются... Водки не хватит... Окончательно пропала Расея...

Рабочий повысил голос:

— К тому времени люди будут перевоспитаны. Мы добиваемся увеличения потребностей человека, хотим, чтобы он стремился к высшей культуре и не жалел для этого сил... У тебя, папаша, дальше четверти водки фантазия не распространяется... А мы хотим, чтобы вот он (указал на губастого парня) имел чистое жилище с ванной, одевался бы не хуже американцев, которые в буфете морду намазывают... Посещал театр, библиотеку,— так его переплавить, чтобы жил мозговым интересом, а не звериным...

Парень вдруг заржал радостно:

— Мозговым...

— Жеребец! — проскрипел заросший мужик с отвращением...

Личность в соломенной шляпе:

— Дешевая агитация...

— Вот тогда,— рабочий отрубил ладонью воздух,— труд ему — в радость, и хоть два часа работать,— не сопьется... Лодырей, пьяниц к тому времени будут в музеях показывать, да и тебя, папаша...

— Истинно так, товарищ,— до крайности взволнованный, встрел в разговор болезненный мужик.— Кабы мы в это не верили... Нам бы тяжело было... У меня — кила, лишай, я, вероятно, не доживу до этого... Но хлеб есть слаще, раз — я около науки...

Незаметно во время разговора к двум личностям на ящиках подошел Ливеровский. Ухмыляясь, копая спичкой в зубах, слушал. Рука его за спиной протянула записку; ее осторожно взяла вторая личность, сидящая на ящике... Прочел, разорвал, сунул обрывки в рот.

Обе личности встали и отошли в тень. Ливеровский — обращаясь к рабочему:

— Питаетесь мечтами, товарищ? Дешево и сердито...

Рабочий нахмурился... Колхозник ответил с горячностью:

— В первом классе лопаете чибрики на масле, а мы сознательно черный хлеб жрем... А мы не беднее вашего... Вон, посмотри, чибрики-то наши как перевертываются...

Он указывает на пролет нижней палубы,— пароход плыл недалеко от берега, там видны электрические огни, дымы, очертания кирпичных построек в лесах...

Появились капитан, Парфенов и Гусев. Парфенов — Ливеровскому:

— Цементный завод, продукция полмиллиона тонн. А полтора года назад на этом месте — болото, комары...

Пароход короткими свистками вызывает лодку. Капитан кричит в мегафон:

— Эй, лодка!.. Лодка!.. (С воды доносится: «Здесь лодка»)... Принять телеграмму...— Опускает мегафон и — Гусеву: — Давайте телеграмму...

— Срочная,— говорит Гусев и, обернувшись к Ливеровскому, странно усмехается...

Все, на минуту бросив спор, смотря, как под бортом парохода из темноты выныривает лодка с фонарем и двумя голыми парнями в одних трусиках.

Зинаида давно уже была вручена матери и спала на подушке. Нина Николаевна подстелила себе старое пальтецо около свертков канатов, но еще не ложилась. На корме — два-три спящих человека. Внизу кипит вода. Высоко вздернутая на кормовой мачте лодка летит перед звездами.

Профессор Родионов появляется на корме с чайником кипятку:

— Принес чаю... Зина спит? — Он поставил чайник и сел на сверток канатов.— Я тебе не мешаю? Ведь подумать,— на воде, и не сыро,— удивительно... Нина... Я очень несчастен...

— Ты сам хотел этого.

— Не говори со мной жестоко.

— Да, ты прав... (Концы ее бровей поднялись... Глядела в темноту, где плыли огоньки. Руки сложила на коленях. Сидела тихо, будто все струны хорошо настроены и в покое)... Не нужно — жестоко...

— Во сне бывает,— бежишь, бежишь и никак не добежишь... Так и я к вам с Зиной — не могу... Ты суха, замкнута, настороже... А я помню — ты, как прекрасно настроенный инструмент: коснись — и музыка...

— Говори тише, разбудишь Зину.

— Ты вся новая, я тебя не знаю.

— Знать человека — значит, любить, это так по-нашему, женскому,— сказала она, наклоняя голову при каждом слове,— а по-мужскому знать — значит, надоела... Ты пытаешься меня наградить какими-то даже струнами... Не выдумывай: я — прежняя, та, которая надоела тебе хуже горькой редьки... Покойной ночи, хочу спать...

Он кашлянул, пошел к выходу с кормы. Остановился, не оборачиваясь, развел руками:

— Ничего не понимаю...

Нина Николаевна смотрела ему вслед. Когда он, бормоча, опять развел руки, позвала:

— Валерьян... У тебя что — нелады с Шурой?

— Удивляет только ее торопливость: понимаешь — ночью сели на пароход, а утром у нее неизвестный любовник...

Он торопливо вернулся, ища сочувствия, но брезгливая усмешка Нины Николаевны не предвещала утешения. Сказала:

— Представляю, что тебе должно быть хлопотно с молодой женщиной...

— Нина,— противно... Но развязывает меня морально... И втайне я даже рад...

— Что же,— еще какая-нибудь новенькая на примете?

— Жестоко, Нина!.. Так не понимать! Во всем мире ты одна — родная... Ты одна разделяла мои радости, огорчения, усталость... Теперь — я измучен, и не к кому прислонить голову...

— Фу! — вырвалось у Нины Николаевны.

— Нина, прости меня за все... Я прошу у тебя жалости... Только...

Тогда она встала в крайнем волнении, ногой задела подушку со спящей Зинаидой. Потемневшим взором глядела на мужа:

— Жалости! Этого, милый друг мой, теперь больше не носят... Поживи без жалости... Знаменитый ученый, работы — сверх головы и столько же ответственности... Перестань над собой хныкать, жалеть, забудь о себе: поел, попил, пожил со свеженькими мордашками — довольно... Работай, черт тебя возьми, работай... А устал — протягивай ноги, только и всего... Другой встанет на твое место...

Она хрустнула пальцами. Профессор громко прошипел:

— Остается — в воду головой...

— Лучше выпей водки... Успокоишься... Уйди...

Он взялся за волосы и ушел. Зинаида, не поднимая головы с подушки, проговорила:

— Мама, чего-то папу жалко...

— Зинаида, спи, пожалуйста.

— Он добрый...

— Понимаешь, мне тяжело, так тяжело, как никогда не бывало. Скажи — могла я иначе ответить?

Зинаида вздохнула, поворочалась. Нина Николаевна села на сверток канатов и глядела на темную воду.

Профессор шел по четвертому классу, спотыкаясь о спящих. Губы у него дрожали, глаза побелели. Приступ неподдельного отчаяния схватил его мозг свинцовым обручем.

Ему преградили дорогу четыре человека, стоявшие у тюков с шерстью,— два грузчика (те, что в начале этого рассказа слушали грохот бешеной пролетки Ливеровского); один — рослый, со спутанными волосами и бородой, похожий на дьякона, другой — кривой, с покатыми плечами и длинной шеей, и — две неопределенные личности. Тот, кто был в соломенной шляпе, угощал грузчиков водкой, товарищ его (проглотивший записку Ливеровского) говорил, зло поглядывая из-под козырька рваной кепки:

— ...Жить нельзя стало... Всю Россию распродали... Раньше белые калачи ели... Студень — пятак, поросенок — полтинник... А чибрики на масле!..

Кривой грузчик, икнув:

— Чибриков бы я покушал...

— А глядите — кто сейчас у буфетчика осетрину жрет... Вы за это боролись?

— Вообще не принимаю коммунистического устройства мира сего,— пробасил рослый грузчик.— Я бывший дьякон, в девятнадцатом году командовал дивизией у Махно. Жили очень свободно, пили много...

— Пейте, не стесняйтесь, у меня еще припасено.

Бывший дьякон спросил:

— Кто же вы такие?

Личность в шляпе с душевной простотой:

— Мы — бандиты.

— Отлично.

— Помогите нам, товарищи.

— Отлично... Грабить сами не будем, не той квалификации, но помощь возможна.

Злой в кепке:

— Мы работаем идейно. Вы, как борцы за анархию, обязаны нам помочь...

Подошел профессор. Сразу замолчав, они расступились, нехотя пропустили его. Под их взглядами он приостановился, обернулся:

— В чем... дело?

В то же время в буфете шум продолжался. Хиврин кричал буфетчику:

— Не смеешь закрываться! Джек! хам!

Педоти вяло помахивал рукой:

— Тише, надо тише...

— Не уйдем! Зови милицию. Джек, хам!

Лимм вопил:

— Хочу лапти, лапти, лапти.

— Джек, хам,— кричал Хиврин,— достань американцам лаптей.

Ливеровский хохотал, сидя на прилавке. Когда появился профессор,— голова опущена, руки в карманах,— Ливеровский преградил ему дорогу:

— Профессор, присоединяйтесь... Мы раздобыли цыганок... Вина — море...

— Профессор,— звал Хиврин,— иди к нам, ты же хулиган...

Лимм, приподнявшись со стаканом:

— Скоуль... Ваше здоровье, профессор...

Ливеровский, хохоча:

— Все равно — живым вас отсюда не выпустим...

— Живым? Хорошо... Я буду пить водку... Вот что...

У профессора вспыхнули глаза злым светом: он решительно повернул в буфетную. Ливеровский схватил его за плечи и, незаметно ощупывая карман пиджака, на ухо:

— Как друг — хочу предупредить: будьте осторожны... Если у вас с собой какие-нибудь важные документы...

— Да, да, да,— закивал профессор,— благодарю вас, я заколол карман английской булавкой...

— Коктейл,— кинулся к нему Хиврин с фужером. Из тени, из-за ящиков выдвинулся Гусев. Ливеровский мигнул, усмехнулся ему. Подошли две цыганки, худые, стройные, в пестрых ситцевых юбках с оборками, волосы — в косицах, медные браслеты на смуглых руках, резко очерченные лица, как на египетских иероглифах...

— Споем, граждане, гитара будет...

Профессор, оторвавшись от фужера:

— Чрезвычайно кстати...

Покачивая узкими бедрами, грудью, оборками, звеня монетами, цыганки вошли в буфетную. Профессор за ними. Гусев сказал Ливеровскому:

— Даете шах?

— Нет еще, рановато...
— Что вы нащупали у профессора в кармане?
— Боже сохрани! — изумился Ливеровский. — Да чтоб я лазил по карманам!
Гусев наклонился к его уху:
— «Живым вас отсюда не выпустим»...
Ливеровский прищурился, секунду раздумывая. Рассмеялся:
— Для вас же и было сказано, чтобы вас подманить. Боитесь — уходите наверх.
— Вы — опасный негодяй, Ливеровский.
Ливеровский яростно усмехнулся.
— Хотите — отменю приказ об аресте?
Ливеровский укусил ноготь. Гусев сказал:
— Не ошибитесь в ответе.
— Отменяйте...
— Правильно. И все-таки вы попались...
— Посмотрим. — Ливеровский указал на буфет. — Будем веселиться.

В буфетную прошел молодой низенький цыган с кудрявой бородой, будто приклеенной на пухлых щеках. На нем были слишком большие по росту офицерские штаны с корсетным поясом поверх рубашки, видимо, попавшие к нему еще во времена гражданской войны; сейчас он их надел для парада. Улыбаясь, заиграл на гитаре, цыганка запела низким голосом. Хиврин молча начал подмахивать ладонью. Профессор закинул голову, зажмурился. Подходили пассажиры четвертого класса, из тех, кто давеча спорили. Косо поглядывали на сидящих в буфете, хмуро слушали. Цыганка пела.

Внезапно Гусев схватил Ливеровского за руку и крикнул в темноту между ящиками:
— Там раздают водку!
Ливеровский вырвал руку, кинулся к цыганкам.
— Плясовую!

4

Ночь. Над тусклыми заливными лугами тоскливая половинка луны в черноватом небе. Мягкий ветер пахнет болотными цветами. Мир спит.

Парфенов облокотился о перила, слушает — на берегу кричат коростели. Палуба пустынна, только быстрые, быстрые, спотыкающиеся от торопливости, шаги. Парфенов медленно повернулся спиной к борту. Из темноты выскочила Шура — под оренбургским белым платком у

нее портфель. Остановилась, испуганно всмотрелась. Парфенов сказал негромко, по-ночному:

— Нашему брату полагается смотреть на эту самую природу исключительно с точки зрения практической... Но, черт ее возьми: коростели кричат на берегу — никакого нет терпения... Меня ничем не прошибить... Весь простреленный, смерти и женских истерик не боюсь, Пушкина не читал, а коростель прошибает... В детстве я их ловил... Соловьев ловил... Курьезная штука — человек...

— Куда это все делись? — спросила Шура.

— А внизу безобразничают. А вы кого ищете?

— Это что? Допрос? — Шура задышала носом.— Довольно странно...

Повернулась, торопливо ушла. Снизу из трапа поднимался капитан. Парфенов проговорил в раздумьи вслед Шуре:

— Да, дура на все сто...

— Товарищ Парфенов,— у капитана дрожал голос,— что же это такое? Ведь мне же отвечать! Внизу — шум, пение романсов, мистер Лимм, американец, пьяный как дым,— с цыганкой пляшет... В четвертом классе волнение, люди хотят спать... И непонятно — откуда масса пьяных... А кого к ответу? Меня... Вредительство припаяют... Я уж товарища Гусева со слезами просил — он меня прогнал...

— Иди спать,— Парфенов похлопал капитана по плечу.— Раз Гусев прогнал — не суйся, там не твое дело...

— Да ведь за порядок на пароходе я же...

— Иди спать, папаша...

— Если еще такой беспокойный рейс... Опять мне американцев будут навязывать... В отставку... Поездил в вашей республике...

Капитан ушел в каюту, где сердито загородил раскрытую на палубу дверь сеткой от ночных бабочек и комаров.

К Парфенову подошел Хопкинсон — волосы взъерошены, галстук на боку.

— Вы русский? — спросил он, приблизя к нему вытаращенные глаза.— Вы коммунист?

— Ну?

— Вы — железные люди... Вы заставили возвышенные идеи обрасти кирпичом, задымить трубами, заскрежетать сталью... О, каким маленьким негодяем я себя чувствую...

— Постой, не плюйся... Чего расстроился-то?

— Моего дедушку белые поймали в Конго, набили на шею колодку с цепью,— он умер рабом...

Парфенов сочувственно пощелкал языком, не понимая еще, в чем дело.

— Мой отец всю жизнь улыбался своим хозяевам, обманывал, что ему очень весело и легко работать... Он умер рабом...

Парфенов и на это пощелкал языком...

— Я ненавижу белых эксплоататоров,— выворотив губы, сказал Хопкинсон.

— Правильный классовый подход, братишка...

Тогда негр схватил его за руки, затряс их изо всей силы:

— Спасибо, спасибо... Я буду тверд!

Отбежал. Парфенов вслед ему, в раздумьи:

— И этот сбесился! Ну, Волга!!

Но Хопкинсон, весь пляшущий от волнения, подскочил опять, белые манжеты его описывали петли в темноте перед носом Парфенова...

— Лучше я вырву себе глаза и сердце... Но предателем — нет, нет... Пусть меня соблазняют самые красивые женщины!.. Пусть я страдаю как черт... Это расплата за то, что мои отцы и деды вовремя не вырезали всех белых в Африке.

— Правильно, братишечка...

— Моя жизнь — вам, русские,— с каким-то, почти театральным, порывом сказал Хопкинсон.— Я плачу, потому что мое сердце очень много страдает, оно очень чувствительное... Черные люди очень похожи на детей, это плохо...

В темноте не было видно, действительно ли у него текут слезы. Парфенов, похлопывая его по плечам, шел с ним к корме:

— Мы, русские, люди со всячинкой, нас еще в трех щелоках надо вываривать, ой, ой, ой,— сколько в нас дряни, но такая наша полоса, что отдаем все, что есть у нас, вплоть до жизни,— рубашку с себя снимаем за униженных и порабощенных... (Облокотясь, оба повисли на перилах, на корме)... Баба, что ли, к тебе привязалась? (Негр сейчас же отскочил)... Так пошли ее к кузькиной бабушке,— это же все половые рефлексы... Хотя бабы страсть ядовитые бывают: подходишь к ней как к товарищу, а она вертит боками... И у тебя в голове бурда. На Волге в смысле рефлексов тревожно...

— Решено! — громко прошипел Хопкинсон и побежал к задвинутому жалюзи окну миссис Ребус... Парфенов закурил и медленно пошел по другой стороне палубы. Хопкинсон стукнул согнутым пальцем в жалюзи:

— Миссис Эсфирь... Я спокойно обдумал ваши условия... Благодарю за роскошный дар, за вашу любовь... Я отказываюсь... Я не вернусь в Америку — ни один, ни с вами.

Он отскочил и шибко потер ладонь о ладонь. Все как будто было кончено с миссис Эсфирь. Но за окном ее — темно, никакого движения. И его решимость заколебалась. Его, как кусочек мягкого железа к чудовищному электромагниту, потянуло к этим черным щелям в жалюзи, за которыми, казалось, притаилось чудовищное сладострастие... Дрогнувшим голосом:

— Миссис Эсфирь, вы слышите меня? Я вас не оскорбил... Это окно мне будет сниться... Никогда больше я не полюблю женщины, в каждой буду ненасытно целовать ваш призрак... Зачем нужно, чтобы я уехал? Вы знаете — с каким великим делом я связан здесь. Я не предам этой страны... Вы искушаете меня? Забавляетесь?.. Зажали рот и смеетесь в темноте... Смейтесь, страсть моя, безумие мое, смертно желанная женщина... (Он распластался руками по белой стенке, словно желая обхватить недосягаемый призрак, и несколько раз поцеловал край оконной дубовой обшивки)... Прощайте... (Отошел, опять повернулся.) Эсфирь, откройте окно, я требую... Я бы мог насладиться вами и обмануть, так бы сделал каждый белый у вас в Америке... Но я негр... Сын раба... Мне священно то, что в вас давно умерло. Именно таким вы будете меня любить... Дайте ключ и глупости вытряхните из головы...

Вспыхнул свет в каюте, жалюзи отодвинулись, появилась Эсфирь, одетая по-ночному — в пижаме. Взяв Хопкинсона за отвороты, притянула к себе и, высунувшись удобнее, залепила ему несколько пощечин... Он не пошевелился, окаменел... Она отпустила его и спокойно:

— Ну, вот... Это — за все... Возьмите ключ...

На корму долетали шум и пение из четвертого класса. Нина Николаевна не спала. Поправила волосы, села на сверток канатов, закурила папироску. Появилась Шура, все так же пряча портфель под оренбургским платком... Пошарила близорукими глазами:

— В буфете — чистое безобразие, пройти нельзя... Слушайте, это под вашим, что ли, влиянием Валерьян надрызгался как свинья?.. При мне, безусловно, это в первый раз... (Нина Николаевна пожала плечами, отвернулась)... Хочу с вами поговорить о Вальке...

— У меня никакого желания...

— Да уж вижу: ревнуете прямо бешено...

— Послушайте...

— Спорить, ругаться со мной не связывайтесь: я — образованная... Скоро еду за границу на год. На кого Вальку оставить? Интересный, влюбчивый, с громадным темпераментом,— во всех отношениях это — мужчина для масс... Немедленно баба прилипнет... Так чем идти на риск, я его лучше вам оставлю...

Нина Николаевна сказала даже почти с любопытством:

— Я многое видела, но такое...

— Знаю, что дальше: наглая, мол, и дура, и так далее, визг на весь пароход... Наслышалась, не обижаюсь, в себе уверенная, я не мелочная... Так вот, можете Валькой располагать как супругом на год... Для женщины в ваших годах с ребенком эта перспектива не дурна... За дальнейшее я не волнуюсь... Только не давайте ему сильной нагрузки и пить не давайте...

Нина Николаевна даже всплеснула руками, начала смеяться.

Тогда Шура обиделась.

— Чего? — спросила.— Чего раскурятились?

— Боже мой, вы — душка, Шурочка...

— Боже мой?! С вами разговаривают не как самка с самкой, а как товарищ с товарищем. То, что я беспартийная, не значит, чтоб вам ржать при каждом моем слове... Тоже — отвечает продолговатым голосом: «вы душка, Шурочка»...

— Честное слово, без насмешки, вы очаровательная.— Нина Николаевна удерживалась, чтобы не смеяться.— Я бы с удовольствием оказала вам эту маленькую услугу... Тем более, что Валерьян сам просил о том же...

— Врете! — Шура хлопнула себя по бедрам.— Ну, уж врете...

— Нет, нет... Но я пристроилась в жизни без мужа,— чище, свободнее, никакой помехи для работы... Дело люблю, в провинции меня любят... Счастлива... Вы, Шурочка, найдите ему какую-нибудь невзрачную особу с

маленькими требованиями, как-нибудь с ней перебьется год-то.

— Ох, что-то...— Шура всматривалась пронзительно.— Ох, что-то вы мало мне нравитесь... Двуручная...

Зинаида давно не спала. Подняла голову с подушки и Шуре страстно:

— Вы — гадкая женщина... Мама, она гадкая женщина...

— Не твое дело, Зинаида, спи...

— Старорежимные истерички обе,— Шура с удовлетворением нашла это слово.— Разговаривать с вами, знаете, политически даже опасно...

Крепче подхватив портфель, ушла...

В четвертом классе гладкая Дунька, кулачья дочь, вылезла из-под зубьев конных граблей: девке не спалось,— со стороны буфета долетали пьяные вскрики и цыганское пение... Дунька причесалась зеленой гребенкой, поправила сбитую набок ситцевую юбку. Подняла с полу соломинку, стала ее грызть. Причина — почему она грызла соломинку — заключалась в том, что рядом на ящике сидел давешний колхозник,— в сетке, в хороших сапогах,— и задумчиво поглядывал на аппетитную девку. На шум, цыганское пение он не обращал внимания.

— Поют гамом, гнусаво, нехорошо,— сказала Дунька. Колхозник, наклонив голову к плечу, прицелился глазом:

— На такой жениться — и начнет тащить тебя в кулацкий омут.

— Это про кого эта?

— Про вас... И зачем такое добро пропадает...

— Нисколечко не пропадает... Папаша — одно, я — другое...

— Класс один... В бога верите?

— Нет, святой дух улетел от нас, покинул нас...

— А раньше верила?

— Раньше верила, теперь — как люди, так и я...

— Оппортунистка на сто процентов...

— Чего эта? Мы давно уж не верим. Бабенька у нас старенькая, та обижается: отчего, говорит, у магометан, у евреев есть бог, у одних русских нет его, у цыган и у тех — боженька...

— Хитра, ох,— говорит колхозник,— какую агитацию

развела.— Он встал, поддернул штаны.— Нет, лучше на тебя не глядеть...

Дунька выпятила губу, вздрала нос:

— В коллективе таких девушек поищите! — Мотнула юбкой, пошла туда, где звенела гитара, пела цыганка...

Там, близ буфета, собралась довольно значительная и угрожающая толпа. Бахвалов (плотная личность в соломенной шляпе) и Хренов (злой человек в рваной кепке), видимо, успели разогреть настроение. Оба грузчика, заросший мужик — Дунькин отец, губастый парень и еще человек десять были пьяны. Давешний рабочий (со светлыми усами полумесяцем) пытался сдерживать назревающий скандал, хотя и сам, видимо, был не менее возмущен тем, что творилось в буфете:

— Американцы бузят, это не значит, что и нам надо бузить,— кричал он осипшим голосом.— У них эта буза — цель жизни. Во что они верят? В один доллар... В буфете мы наглядно видим идеалы буржуазии... Мы плюнули да отошли... А доллар их у нас остался, каждый их доллар — на наше строительство, на нашу победу...

Заросший мужик — ему свирепо:

— А сожрут-то они сколько нашего на один доллар? Мясо из моей груди выедают...

Бывший дьякон:

— Без закуски пьем... Кирпичом, что ли, закусывать? Ребята, закуски хотим...

— Закуски! — заорал губастый парень. И заросший мужик — опять:

— Мы за свои права с кольями пойдем,— погодите...

Рабочий,— весь багровый от напряжения, с раздутой шеей:

— Какие твои права? — кулацкие, дремучие... Товарищи, мы не даем человеку жить в свинстве,— правильно... Мы его силой вытаскиваем...

— Сила-ай? — выл заросший мужик.

— Кулак вас на дно тянет, в рабство, в свинство... Что ж вы — социализм за пол-литра водки хотите продать?..

— Ребята,— крикнул Бахвалов, держась на периферии тревожно гудевшей толпы,— в буфете не одни американцы... Наши, русские, с ними жрут, пьют...

Раздались гневные восклицания. Губастый парень — чуть не плача:

— Русские... сволочи...
Дьяконов бас:
— Предательство...
Хренов с другой стороны толпы:
— Едят наше мясо, пьют наше вино... Россию пропивают...
— Бей русских в буфете! — завопил губастый парень.
— Провокация! — надсаживался рабочий.— Товарищи, здесь нашептывают...
Огромная ручища бывшего дьякона взяла его за горло:
— Ты за кого — за них али за нас? Ну-ка — скажи...
— Бей его в первую голову! — заорал заросший мужик...
Толпа надвинулась. Голоса:
— Коммунар!
— Часы с цепочкой на нем!
— Цепной кобель!
В это время, оттолкнув одного, другого, около рабочего оказался колхозник (в сетке), мускулы угрожающие, лицо весьма решительное:
— Ну-ка,— сказал,— кому жить надоело?
Произошло некоторое замешательство, крикуны попятились. Рабочий вскочил на ящик:
— Товарищи, вам водку раздают, вам нашептывают, здесь готовится кошмарное преступление... Вас хотят использовать как слепое оружие...

...Из трапа на верхней палубе появился Ливеровский, оглянулся, топнул ногой:
— Да где же вы? Черт!
— Я здесь,— плаксиво отозвалась Шура... (Стояла на корме, прижавшись к наружной стенке рубки.) — Трясусь, трясусь, господи...
— Портфель?
— Тише вы, господи. Нате...
Ливеровский выхватил у нее портфель:
— Не открывали? — Ломая ногти, отомкнул замочек, засунул руку внутрь. Пошарил. Вытащил лист бумаги.— Что такое? — Подскочил к электрической лампочке, где крутилась ночная мошкара.— Чистый лист бумаги? (Перевернул...) Ага... Так и думал... Подписано — Гусев. (Торопливо читает): «Этот портфель был положен в мо-

ей каюте около раскрытого окна и через ручку привязан ниткой к кровати, концы нитки запечатаны в присутствии двух свидетелей. Таким образом, господин вицеконсул, кража этого портфеля — ваша первая очень серьезная улика. Портфель, как видите, пуст. Шах королю. Гусев».

Прочтя это, Ливеровский протянул портфель Шуре:

— Вы — дура: нельзя было рвать нитку; положите портфель на место.

Шура поняла одно: обругали. Вытаращилась, обиделась:

— Я извиняюсь, между нами ничего еще не было, и вы уже ругаетесь...

— Портфель на место, сама в каюту, и — молчать как рыба!..

Он кинулся к окну миссис Ребус. Шура схватила его за рукав:

— Насчет заграницы... Как же, слушайте?

— Задушу и выкину за борт... Спасайся. Бегом...

Жест его был настолько выразителен, что Шура молча замахала рукой, пустилась бежать. Ливеровский стукнул в окно миссис Ребус:

— Алло... Что с негром?

Жалюзи сейчас же отодвинулись. Каюта была освещена. Негр неловко сидел на стуле,— голова запрокинута, лицо закрыто ватой.

— Ликвидировали? — прошептал Ливеровский.

Эсфирь высунулась, жадно вдыхая ночной ветер. Ладонями потерла виски, провела по глазам, приводя лицо в порядок...

— Что — убит?

— Нет,— сказала Эсфирь хриповато.— Хлороформ...

— Напрасно было... Оригинал рукописи он передал профессору, а копия у Гусева.

— Скоро вы кончите с ними?

— Жду,— через несколько минут будет перекат,— мелкое место... Нужно, чтобы Хренов с Бахваловым могли все-таки спастись вплавь... Значит, негра брать живым не хотите?

— Он этого не хочет.

— Та-ак...

Эсфирь — с мрачной яростью:

— Повторилась забавная история с прекрасным Иосифом! (Она покосилась на завалившееся на стуле тело Хопкинсона)... О глупец... О мерзавец... Я сделала

все, что в женских силах...— Почти нежно: — Нулу-Нулу должен умереть...

— Пока держите его под наркозом... Когда начнется суматоха, выкинем в воду, не так тяжел.

— А если нам помешают?

— Тогда вы его разбудите... Вас-то он не выдаст... Влюблен же со всеми африканскими страстями...

Как от пощечины, Эсфирь вытянулась, носик — все вытянулось у нее:

— Кто вам дал смелость так разговаривать со мной?!

Короткими свистками пароход стал вызывать на нос матроса — промерять глубину. Долетел голос: «Есть наметка»...

— Это перекат,— Ливеровский отскочил от окна.— Готовьтесь, миссис Эсфирь... Бегу вниз.

В буфете цыганки пили вино и гладили по щекам профессора Родионова. Цыган с профессионально-загадочной улыбкой, склонясь над гитарой, перебирал струны. Педоти спал за столом. Мистер Лимм, тараща глаза, слушал Хиврина:

— Понимаешь, мистер, у меня странный психоз: одновременно я люблю пять женщин, куда там — больше. Так, я пошел к доктору...

Лимм, едва ворочая языком:

— Что же тебе сказал доктор?

— Доктор сказал: валяйте... Чудак какой-то... А ты знаешь — как меня любят в Эсесер? Как-то за ужином один нэпман в экстазе вынул вставной глаз и подарил мне: больше, говорит, у меня ничего не осталось...

— Я с ума сойду в этой стране,— с большим трудом выговорил Лимм.

Профессор вдруг вскочил, потянув за собой одну из цыганок, глядя не на нее, а куда-то в неопределенность расширенными глазами:

— Понял! Я понял Нину, я понял себя! Человека нужно заслужить! Чем заслужить? — ты спросишь, цыганка... Интенсивным половым влечением,— ответили вы... Бррр... Нет... Неутомимым желанием стать вместе с этим человеком более совершенным, более совершенным орудием творчества... Любить ее трудовые руки, любить ее светлый ум... Пусти, я должен ей сказать это... Впрочем, я ничего не скажу... Пой, пой мне, степная красавица... Под твои песни плакали великие поэты... Я нашел путь к человеку!

Цыган перебрал струны, махнул грифом гитары, цы-

ганка повела плечами, запела диким низким голосом...
В буфет вбежал Гусев:

— Все — наверх! — крикнул он резко.— Тащите американцев, не медлите ни минуты!.. Кончай бузу!..

Раздались короткие свистки парохода, вызывающие матроса с наметкой на нос. И сейчас же послышалось приближение толпы. Гусев оторвал профессора от цыганки и, толкая к выходу:

— Спасай рукопись, спасай жизнь!..

Первым в буфет ворвались взлохмаченный мужик, бывший дьякон, губастый парень и двое-трое пьяных... В глубине мелькнули настороженные лица Хренова и Бахвалова... Нападавшие бросились молча... Зазвенело стекло... Командный голос Хренова:

— Этих двоих... Бей!

На плечах Гусева повисло двое. Он пошатнулся. Профессор исчез в свалке. Слышались грузные удары кулаков, сопение. Полетели бутылки со столов, Хиврин в панике полез на стойку:

— Я же враг, враг... В бога верю!

Враз завизжали цыганки так страшно, будто обеим всадили по сапожному ножу в живот. Через прилавок перемахнул Ливеровский и заслонил собой американцев; на лице, напряженном и страшном, застыла улыбка игрока, поставившего на карту все... Захрипел голос заросшего мужика:

— Дай вдарю, дай вдарю...

Клубок тел, машущих кулаков выкатился из буфета, и с двух сторон в свалку кинулись с ножами Хренов и Бахвалов. Грохнул выстрел, другой. Вся куча тел исчезла в темноте за ящиками.

Лимм и Педоти, готовые сдаться, помахивали носовыми платками. Лицо Ливеровского при каждом выстреле искажалось мучительной гримасой... Сквозь зубы:

— Сволочь! — и, нагнув голову, кинулся из буфетной туда, где все громче раздавались удары, вскрики.

— Неужели началось? — вопил Хиврин...

...Куча дерущихся прокатилась по узкому переходу четвертого класса; повсюду мелькали испуганные лица пассажиров. Набатно звонил колокол. Пароход давал тревожные свистки. Из-за ящиков метнулось со взъерошенными усами лицо капитана; оно кричало:

— Воду, воду! Давай!

Рабочий и колхозник подтащивали пожарную шлангу. Защелкала струя воды. Из клубка дерущихся как

пробка выскочил Гусев, вскарабкался на кучу ящиков, за ним — со вспухшими лицами — Хренов и Бахвалов... В секунду все трое исчезли по ту сторону ящиков. Ливеровский с поднятыми руками закричал:

— Уйдет!

...В широкий пролет нижней палубы виднелась ночная синева, на воде с далекой сумеречной полоской берега лежала, будто вдавливая воду, чешуйчатая полоса лунного света. От прибрежной тени быстро двигались два огонька; черный силуэт какого-то суденышка пересек лунную дорогу.

В пролете сумасшедшим прыжком появился профессор; он был без пиджака, кое-что осталось от рубашки и панталон. Видимо, он лишь на долю секунды опередил преследователей. Шарахнулся, приник к откидным перилам, пролепетал что-то вроде:

— Пиджак... Рукопись... Кошмар... Расстрел...— Затем, увидев выдвинувшихся из-за обоих углов пролета Хренова и Бахвалова (в странном лунном освещении они, казалось, замерли перед прыжком), по-заячьи крикнул:

— Нина! — и агонийно болтнув штиблетами, перекинулся через перила. Плеснула вода. Хренов и Бахвалов подскочили к перилам, перегнулись:

— Готов.

— Раков кормить.

— Как же с Гусевым?

— Какое там — беги!

Оба торопливо стали сбрасывать опорки, лишнюю одежду.

...Трещали ступеньки. На верхнюю палубу, залитую лунным светом, выскочил Ливеровский и, схватившись за столбик палубного перекрытия, круто повернул в противоположную сторону. Присел за спинку кресла. Тотчас же вихрем вылетел снизу по трапу Гусев, так же придерживаясь за столбик, повернул и увидел Ливеровского:

— Сдавайся... Мат!

Ливеровский из-за кресла глядел на его руки. Гусев был без оружия,— он поднялся и, учитывая малейшее движение, кивком указал на столик сбоку окна миссис Ребус:

— Сядем.

Оба, не сводя глаз друг с друга, сели, положили локти на стол. Ливеровский:

— Никаких улик.

— Первая,— медленно проскрипел Гусев,— кража портфеля.

— Ворую в припадке клептомании, у меня свидетельство от врача.

— Вторая: похищение шифрованной рукописи из пиджака у профессора во время свалки.

— Рукопись в Волге.

— Третья: похищение у меня из кармана штанов копии этой рукописи.

— В Волге.

— Четвертая: ваши сообщники — Хренов и Бахвалов.

— Липа: у них другие фамилии.

— Они раздавали водку, агитировали, подняли бунт и пытались запороть ножами меня и профессора.

— И так далее,— нетерпеливо перебил Ливеровский,— но они уже на берегу в надежном месте или утонули.

— Посмотрим,— Гусев усмехнулся. Ливеровский чуть сдвинул брови:

— Что-нибудь, чего я не знаю?

— Да... Кстати, я угадал и час и место,— именно этот перекат,— где вы перейдете в наступление... (Ливеровский нахмурился.) Улика пятая: убийство негра. (У Ливеровского отвалилась челюсть; с трудом подобрал ее, покашлял:)

— Извиняюсь... вы что-нибудь путаете...

— Правда, нам удалось предупредить преступление в последнюю минуту.

— Негр жив?! И вы осмеливаетесь обвинять меня...

— Обвиняю вас и миссис Эсфирь Ребус, сестру известного Ребуса, главы шпионского агентства Ребус, которому североамериканские, канадские и аргентинские аграрии поручили добыть Хопкинсона живым или мертвым вместе с его замечательным открытием...

— Хотя бы и так! — Ливеровский выдернул из кармана револьвер, но и у Гусева тотчас же оказался в руке автоматический пистолет. Направив дуло в дуло — они глядели друг другу в глаза.

— Стрелять будете? — спросил Ливеровский.

— Обязательно.

— Ответом на это последует запрещение ввоза в Мигуэлла-де-ля-Перца вашего проклятого демпинга.

— Ваша республика не откажется от наших папирос из-за такой мелочи... Вы идеалист... Но, чтобы не создавать лишнего конфликта, считайте себя живым. Убирайте пушку.

Оба медленно опустили оружие, сунули в карманы. Ливеровский повысил голос:

— Покушение на негра — чистейшая провокация... Вы можете убедиться,— он премило проводит время с миссис Ребус... (Постучал в жалюзи)... Миссис Ребус, вы оба еще не спите? Алло?

Жалюзи отодвинулись, и в окно высунулся по пояс, облокотился о подоконник Парфенов,— вместо парусиновой блузы на нем был военный френч со снаряжением.

— Ай-ай-ай,— сказал он Ливеровскому,— ну, и заграничные гости... Ай-ай-ай... Когда перестанете гадить?

— Кто он такой? — закричал Ливеровский. Гусев сказал:

— Начальник речной охраны Средневолжского края и мой начальник.

— Ай-ай-ай,— Парфенов качал головой,— напрасно только людей подводите, господин вицеконсул... Все равно мы ваши карты раскроем, воровать вам не дадим... Зря деньги кидаете, получаете конфуз. Торговали бы честно...

— Где миссис Ребус?

— Временно в моей каюте. Уворованные вами рукопись и копия оказались у дамочки под подушкой. Неудобно. А Хопкинсона вы, сукины дети, чуть не угробили. Так нанюхался хлороформу: слышите — мычит в капитанской каюте.

Рысью мимо пробежал капитан. К пароходу подчаливал катер речной охраны. Парфенов исчез в окошке. Палуба осветилась.

— Сдались? — спросил Гусев.

Ливеровский бешено топнул желтым башмаком. Парфенов вышел на палубу, нагнулся вниз к катеру:

— Ну что? Выловили всех тронх? А? Давайте их наверх.

Зыбкой походочкой появилась Шура, прижимала руки к груди, хрустела пальцами... Робко ныряла головой то в сторону Гусева, то Парфенова.

Парфенов ей:

— Ай-ай-ай... Вот и верно, что глупость — хуже воровства.

— Знаете, уж чего-чего,— Шура сразу осмелела,— а

я до того за советскую власть... И надо же... (На Ливеровского)... Этот серый альфонс меня попутал...

По трапу поднялись Хренов, Бахвалов и профессор. С них ручьями текла вода. Сзади — охрана. Шура всплеснула руками, кинулась к профессору:

— Валька, на кого ты похож!

Профессор поднял палец:

— Я вас не знаю, гражданка Шура... (И Парфенову:) Я потерял данное мне на хранение счастье целого народа. Судите меня...

— Нашли, успокойся, товарищ,— сказал Парфенов... В эту минуту, как зверь из клетки, от стола к борту пролетел Ливеровский и в упор стал стрелять в Хренова и Бахвалова. Но курок револьвера только щелкал осечками. Гусев спокойно:

— Брось, вицеконсул, патроны же я вынул из твоей пушки.

СЕРГЕЙ КОЛБАСЬЕВ

БОЛЬШОЙ КОРАБЛЬ

1

«Любезная сестра, при сем препровождаю некоторое количество воблы, два фунта паюсной икры, полпуда ржаной муки и фунт настоящего калмыцкого чаю (верблюжья моча на кирпичах), общим счетом около 28,175 малых калорий. Питайся и толстей!

На прошлой неделе погиб длинный Белкин, с которым я познакомил тебя в Котке и которого звали Полковником или Коровой Бейлиса. Еще погибли Васька Головачев и пресловутый Туман. Прочие целы, живут здорово и чувствуют себя отлично. Я, например, на полный ход наслаждаюсь своим земным бытием, и для совершенного счастья мне не хватает только кальсон. С первой оказией вышли три пары, оставшиеся в верхнем ящике комода.

Обращаю твое особое внимание на подателя сего, Леонтия Демина двадцати трех лет. Это не военмор, а подлинный джокер, способный заменить любую карту в колоде, но судьба его тем не менее печальна.

Знаешь ты, что такое джокерное мучение? Помнишь ли, какие чувства бушуют в груди, когда обязательную игру нужно разрешить тройкой, а у тебя на руках бестолочь с джокером, из которого ничего не получается?

Демин — гальванер и дальномерщик, но приборов управления огнем на наших посудинах не водится, а дистанцию при стрельбе мы меряем большим пальцем. Не найдя применения по специальности, он попросился мотористом на мой парадный командирский катер полированного гнилого дерева и великолепно справлялся, пока чертова посудина не затонула без всякого предупреждения на самой середине Волги. (Рулевой погиб, а мы с Деминым выплыли, потеряв ботинки.)

Тогда я назначил его коком. Он сразу проявил врожденные кулинарные способности, но на следующий день выяснилось, что ему не из чего готовить.

Он пришел ко мне совершенно расстроенный. Он хотел воспользоваться свободным временем, чтобы пополнить свое образование, но вся присланная нам политиче-

ская литература почему-то состояла из ста экземпляров стишков Василия Князева.

При джокерном мучении выход только один: издать горестный вздох и бросить карты. Поэтому, а также по его личной просьбе я с горестным вздохом откомандировал Демина в Балтику, где под твоим руководством...»

Чтение внезапно было прервано глухим ударом и звоном стекол. Опустив письмо, Ирина Сейберт взглянула в окно.

— Как вы думаете, он скоро кончит рваться?

Но Демин думал о другом. От неожиданности он вздрогнул и выронил фуражку. Наклонился, чтобы ее поднять, чуть не опрокинул стул и выпрямился настолько смущенным, что отвечать не мог.

Ирина улыбнулась. Улыбаясь, она совсем так же морщила нос, как ее брат, командир «Розы Люксембург». Это сразу успокоило Демина.

— Форт Петр,— сказал он.— У них рвутся мины.

— Знаю,— кивнула головой Ирина и задумалась. Перед ней с фуражкой в руках стоял исключительно хороший парень. Светлоглазый, светловолосый и без всякого клешного шика. Кем он мог быть до службы?

— Вы знаете, что такое джокерное мучение? — вдруг спросила она.

— Никак нет,— ответил он, густо краснея.

2

Верблюд взял свои карты и, медленно выжимая одну за другой, стал их просматривать. Кривцов свои развернул сразу, развернув, пересортировал, а потом, точно примериваясь, два раза осмотрел ставки на столе. Он был плохим игроком.

— Джокерное мучение? — спросил старший артиллерист Поздеев, человек с темным, покерным лицом.

— Не разрешаю,— ответил Кривцов.

— Пять,— заявил Верблюд, и стол вздрогнул от гулкого удара снизу.

— Здорово,— сказал механик Лебри.— А что будет, когда рванет тротил?

— Будет много здоровее,— ответил минер Растопчин.

— И еще пять,— подтвердил Поздеев.

Этот разговор происходил на Горячем Поле, в номере седьмом. Не на известной неспокойным населением

площади островного города, а на другом Горячем Поле, на поперечном коридоре над турбинами последнего линейного корабля, действительно горячем от этих турбин.

Седьмой номер, следовательно, был не домом, а каютой, и в нем собрались последние покеристы. Хозяин его, прозванный Верблюдом, вахтенный начальник Алексеев, всегда держал открытой свою гостеприимную дверь гофрированной стали, тем самым преследуя не только вентиляционные, но и политические цели.

Разве можно было заподозрить в азарте сидящих в открытой каюте, играющих в игру, явно непохожую на железку, называемую «викжель», или на двадцать одно, и расплачивающихся круглыми медными номерками четвертой роты? Разве можно было угадать, что каждый такой номерок стоил пять рублей — ровно столько же, сколько два десятка «Гражданских» папирос.

И покер шел по кругу упорной борьбой тяжелых комбинаций, длительным разрешением обязательных игр, блефами, полным напряжением и суррогатом подлинной жизни.

3

Мешок, который Демин, выходя из подъезда, вскинул на плечи, был очень легок. Мне нравится в Демине, что он жил и мыслил не желудком и жизнь его отнюдь не нуждалась в подмене суррогатами. Мне приятно, что ему был неизвестен термин «джокерное мучение».

Мешок был легок, и, взвалив его на плечи, Демин улыбнулся. Дурак, как есть дурак, и что только командирская сестра о нем подумала!

Он недоуменно покачал головой и вдруг ощутил необходимость еще хоть раз ее повидать. Только бы придумать, по какому делу к ней зайти.

Он взглянул на ее окно, но в нем неожиданно увидел сорокалетнюю женщину с лошадиной челюстью.

— Я тетка вашего командира,— представилась она.

— Есть, тетка! — обрадовался Демин.

Совсем как Сейберт скосив голову, она неодобрительно его осмотрела.

— Это вы привезли посылку?

— Так точно, я.

Она пожевала губами и, вдруг перегнувшись вперед, быстро заговорила:

— Порядочные люди так не поступают. Шура писал,

что высылает двадцать фунтов ржаной муки, а в мешке ее оказалось девятнадцать с половиной.

Кровь ударила Демину в голову, но, стиснув зубы, он сдержался. Воздух рвануло оглушительным громом, и под ногами закачалась земля, но он не сдвинулся с места. Звеня, посыпались сверху осколки стекла, и женщина в окне скрылась, всплеснув руками.

Его назвали вором — значит, в ее дом ему пути не было. И почему-то от этой мысли потемнело небо. Он повернулся и пошел и тогда увидел вторую причину темноты: огромными бурыми клубами над городом катилась туча.

Вставая, она застилала небо и, расширяясь, давила землю, и перед ее тенью, крича, бежали люди. Все силы приходилось напрягать, чтобы не побежать перед ней самому.

Эту самую тучу впоследствии видели над Питером. Ее гнал сильный западный ветер. Говорят, она прошла по самой вышке Исаакия.

4

От сильного толчка рассыпалась стопка медных номерков. Минер Растопчин аккуратно собрал ее, отсчитал пять штук и бросил их к ставкам.

— Ножки на стол, Верблюд. Тебя докрыли.

— Это тротил или все еще мины? — спросил Лебри.

Верблюд открыл трех королей. Растопчин, показав ряд, не спеша сгреб фишки и стал их считать.

— Насчет тротила не беспокойтесь. Когда рванет, у нас посыплются стеньги, шлюпки и прочее... А может, еще что-нибудь выйдет... Отец пушкарь, сдавай!

— А рванет он или нет, как по-вашему? — не успокаивался Лебри.

— Рванет... не рванет...— бормотал, сдавая карты, Поздеев.— На последнюю карту легло: рванет.

— Увидим,— пожал плечами Растопчин.— Два на пять.

Лебри хотел еще что-то спросить, но, подняв глаза, в дверях увидел свое непосредственное начальство — трюмного механика Григория Болотова.

— Вы здесь, Лебри?

— Взгляните простым глазом,— посоветовал Кривцов, но Болотов не ответил. Стол, золотые горки фишек и люди в дыму — на это ему смотреть не хотелось.

— Не одобряете игрушки? — спросил Кривцов.

— Не одобряю.

— Что же вы собираетесь по этому поводу предпринять?

Болотов взглянул Кривцову прямо в глаза:

— Пока ничего. Мне некогда... Лебри, приказано проверить водоотливные средства. Идем вниз.

Лебри встал.

От взгляда Болотова у Кривцова осталось ощущение, как от пощечины. Это было поганое ощущение, он не выдержал и крикнул вдогонку уходившим:

— Две одинаковых к трем комиссарам!

Поздеев выдал ему две карты и тихо сказал:

— Допрыгаешься, дурак.

Кривцов потемнел. От этого Поздеева тоже терпеть? Тоже умный? Начальство? С какой стати? Левой рукой вцепившись в край стола, он, казалось, приготовился броситься вперед, но правая его рука, действуя сама по себе, открыла прикуп, оказавшийся никуда не годным. От этого он сразу остыл. Он был плохим игроком.

— Почему ругаешься? — забормотал он.— Просто не люблю таких человечков... Зачем Болотов подлаживается? Зачем заделался кандидатом Рыкапы?

— Пять сверху! — голосом первосвященника возгласил Верблюд.

— Просто не люблю таких,— вслух рассуждал Кривцов, про себя рассуждая о том, хорошая карта у Верблюда или блеф. Решил, что хорошая, и спасовал.

— Может, я тоже таких не люблю,— неожиданно отозвался Поздеев.— Однако игру надо играть по правилам. Пять и еще пять.

5

Где-то на складах форта тысячами глыб кристаллизованного желто-розового сала лежит тротил. Когда к нему подойдет огонь, от жара он начнет оплывать, как свеча, и вязкими тяжелыми каплями потечет на каменный пол. Расползется лужами и речками, а потом медленно и неохотно загорится, пузырясь и дымя, точно сургуч. Наконец в каком-то месте развитая горением температура перейдет критическую точку, и тогда каменные своды разлетятся щебнем и пылью, в городе, на острове от страшного удара обрушатся ближайшие дома, а на корабле... но о том, что́ может произойти на корабле, лучше не думать. Командир загасил потухшую папиросу и подошел к борту. Он очень сильно ощущал свой ко-

рабль,— даже поломка поручней при швартовке причиняла ему физическую боль.

Рванет или не рванет? На восток уходила чудовищная бурая туча, а с запада в море лежало прораставшее черным дымом пятно.

Рванет или не рванет? Командир закрыл глаза.

Внизу на срезе стадвадцатимиллиметрового орудия сушилась подмоченная картошка. От нее шел успокаивающий кислый запах быта.

«Ничего не будет»,— решил командир, но, снова открыв глаза, увидел встающий угрожающим деревом дым и снова почувствовал медленное приближение взрыва. От сухости во рту он выплюнул за борт свою папиросу. Облизал мясистые губы, отер свисавшие усы и коротко вздохнул.

Тяжело командовать большим кораблем! Но разве легче комиссарить в такие дни? Командир крупными шагами ходил взад и вперед по шканцам. Ходил, наклонив вперед тяжелую черную голову и крепко заправив руки в карманы. Ходил и не мог остановиться.

Красный город — сердце революции — был на краю гибели. Враг стоял у ворот, и враг был внутри. «Неужели форт подожгли?» Комиссар отмахнулся головой: «Теперь все равно, теперь только ждать: рванет или не рванет». И от этого сознания, от мысли, что сделать все равно ничего нельзя, хотелось все на свете крыть бешеными словами.

Но комиссару из себя выходить нельзя. Комиссару нужно сохранять спокойствие.

Демин по трапу поднялся на корабль, поставил мешок и стал осматриваться. Над его головой страшной тяжестью висели три двенадцатидюймовых орудия, и люди на палубе так же неподвижно и молча смотрели на корму.

Что-то должно было случиться, но его это не касалось. Служба при всех обстоятельствах остается службой,— назначенному на корабль надлежит явиться к вахтенному начальнику.

Однако, прежде чем явиться, нужно было его найти, а сделать это было не просто. На палубе собралось слишком много комсостава,— который из них на вахте? Демин приготовился почесать затылок, но вовремя остановил руку, придумав выход.

— Товарищ вахтенный начальник! — позвал он негромко.

— В чем дело? — спросил сзади неожиданный голос, а обернувшись, прямо перед собой Демин увидел сухое горбоносое лицо с выпуклыми глазами.

— Являюсь на корабль.

Вахтенный начальник взял его документы и, медленно выжимая один из-под другого, точно карты, стал их читать про себя. При этом он двигал высоким кадыком, совсем как пьющий воду верблюд.

— Верблюд! — позвал подошедший Поздеев, и Демин, не удержавшись, фыркнул.

Поздеев оглядел его с ног до головы, а потом не спеша обернулся к вахтенному начальнику:

— Что нового?

— Вновь прибывший,— ответил тот, кивая в сторону Демина.

— Какая специальность?

— Гальванер,— доложил Демин, но Поздеев его не заметил.

— Гальванер,— со вздохом подтвердил Верблюд.

— И ты не знаешь, куда его приладить?.. Джокерное мучение?

Демин вдруг покраснел,— вспоминать о сестре командира было неприятно. Чего этот паразит суется? Что он за птица такая?

— Я старший артиллерист,— точно ответил ему Поздеев.— Явитесь к командиру третьей роты, каюта номер двадцать три по левому борту.

Сквозь тучу черного дыма снова выбросился бурый столб, и люди на палубе насторожились.

Но ударило не сильнее, чем раньше,— это все еще не был тротил. Поэтому командир достал новую папиросу, а комиссар зашагал дальше.

— Есть! — сказал Демин, нечаянно приложив руку к фуражке. Уже спускаясь по трапу, вспомнил об этом и усмехнулся.

Гальванеру старший артиллерист — прямое и наивысшее начальство. Может, неприятное начальство, но неизбежное.

6

Взрыва ждали весь день и всю ночь. Ночью было светло, но над фортом стояло темно-красное зарево, и на палубе было еще страшнее, чем днем.

Потом ждали весь следующий день. Дым становился

все тоньше и наконец исчез, но всю вторую ночь командир и комиссар не спали.

Утром третьего дня пришло известие от группы охотников, пробравшихся на форт. Пожар закончился. Тротил, частью уже расплавившийся, был безопасен.

Тогда о нем забыли и снова зажили той удивительно мирной жизнью, которая бывает только на фронте в перерыве между двумя боевыми происшествиями.

Жизнь эта — неплохая, но, к сожалению, такие перерывы редко бывают продолжительными.

Ночью дозорный крейсер с моря увидел непонятное судно. Огонь был открыт с опозданием, и противнику удалось выпустить торпеду.

Стоявший поблизости сторожевик принял нападавшего за подводную лодку и стал сниматься с якоря, чтобы ее таранить. Внезапно предполагаемая подлодка развила скорость около сорока узлов и скрылась в облаке пены.

Только тогда на сторожевике поняли, что это торпедный катер, которого десятиузловым ходом не нажмешь, и что даже стрелять уже поздно. Только тогда заметили, что крейсер тонет.

Жизнь становилась непонятной и неудобной. Какой-то катер пустил ко дну большой крейсер. Крейсер необъяснимым образом затонул от одного торпедного попадания. Все это было совершенно неправдоподобно.

В кают-компании ели суп из двуглавой воблы (названной так по изобилию голов в котле) и недоумевали:

— Что же случилось с их переборками?

— Были открыты двери,— ответил Болотов.— Мне Соболевский говорил. Они на эсминцах спасали команду.

— Открыты? — удивился Поздеев.— На боевом положении?

— Ночью было жарко. Команда пооткрывала их самовольно.

Наступило молчание.

— Вместо него могли стоять мы,— сказал наконец Лебри.

— Могли.

Старший помощник пожал плечами:

— Нас так просто не потопишь.

— Все равно погано.

— Много погибших?

— Не знаю,— ответил Болотов.

— А спасенные рвут на себе волосики,— усмехнулся

Кривцов.— Они только вчера получили продотряд и даже не успели его поделить. Я сам видел у них на юте черт знает сколько мешков муки.

— Мука, сало и яйца.

— И монпасье.

— Обидно.

Человеческие жизни стоили, конечно, дешевле монпасье. Крейсер расценивался дешевле яиц. Болотов не выдержал — встал и вышел.

— Люблю, когда людишки теряют аппетит,— тихо сказал Кривцов.— Слейте мне его гущу, я не брезглив.

— С чем тебя и поздравляю,— ответил Поздеев и передал ему тарелку.

На этом разговор в кают-компании прекратился. Глухо гудела вентиляция, и тупо звякали ложки. Командный состав корабля старательно насыщался.

По собственному опыту я знаю, что недостаточное питание сильно влияет на человеческую психологию, а потому к данному случаю отношусь снисходительнее Болотова. Но все же я никогда не стал бы доедать суп моего принципиального противника.

7

— Кривцова знаешь? — спросил рулевой старшина Богун.

— Тот, что за третьего артиллериста, что ли? Тихий такой? — отозвался Демин.

— Очень даже тихий, ничего не скажешь,— усмехнулся Богун.— Ласковый и любезный. Все говорит: немножечко, по-хорошенькому, замочки, дальномерчик,— прямо слушать приятно. А раньше иначе разговаривал. Я его на «Макарове» знал. Скомандует — так побежишь, а не побежишь — нахлынет на тебя, что тьма,— страх вспомнить.

— Мордобой? — не отрываясь от книги, спросил Демин.

— Про это не скажу. Со мной не случалось. Другие говорят — бил, только незаметно. Зато службу знает и дальномерчики свои видит насквозь. Его, между прочим, осколками раз обсыпало, когда на дальномере стоял. Семь дырок в нем наделало, а он не ушел. Учись, сынок!

Демин не ответил. Если такой человек ходит тихим — значит, он враг. А за врагом надо смотреть и, если что...

— По плешке! — донеслось из группы игравших в

кость. Медная костяшка звонко шлепнулась на палубе, и Демин улыбнулся.

— Хорошая была игра, кость эта самая,— вздохнул Богун.— Очень хорошая — дозволенная и интересная. Мало теперь в нее играют, вот что.

— Теперь, старик, в другие игры играют.

— То-то и есть, что в другие. Ты посмотри на бак. Много ли у фитиля народу? А ведь команды-то далеко за тысячу... Знаю я, какие у них игры — с девчонками в саду под духовую музыку. Слишком вольно стало на берег ходить, я тебе скажу.

Демин кивнул головой. Насчет сада Богун был прав.

— А раньше ходили на бак разговаривать, и зато лучше друг друга знали. Вот пойдем мы в бои — что ты про меня знаешь? А должен все знать, потому буду я стоять на штурвале, и на меня всей команде надо надеяться.

— Ничего. Не подгадишь.

— И без тебя знаю,— рассердился Богун.— Ты, щенок, пойми, что теперь братва не знакомится, а раньше знакомилась на этом самом баке. Знакомилась, про все новости говорила.

— Баковая газета? Та самая, которую шпилем печатали?

— А ты не смейся. Молод еще смеяться. Если даже шпилем печатали, то все равно всякие новости узнавали. А теперь настоящие газеты есть, и ничего не знают ребята, потому не интересуются читать. Только глупостями интересуются — вот что!

— Это тоже глупости? — И Демин протянул свою книжку.

Богун по складам прочел заглавие:

— Политграмота.— Подумав, еще раз произнес: — Политграмота,— и отдал книжку Демину.— Читай. Это можно... Ну, вот ты, скажем, читаешь, из книжки узнаешь что нужно,— это хорошо. А посмотри на остальных. Какого ляда они тут делают? В трусах жарятся на палубе — вид боевого корабля поганят! В кость дуются — в дурацкую игру!

— Какая же она дурацкая, если ты сам ее хвалил?

Богун побагровел и встал:

— Чего суешься, спорщик? Видал, чтоб я в нее играл? Не видал? Ты пойми: раньше она хорошая была, а теперь дурацкой стала. Ведь время-то теперь какое!

— Понимаю, Богунок,— тоже вставая, успокоил его

Демин.— Отлично понимаю. Брось в бутылку лезть. Идем лучше на берег.

Богун фыркнул. Он слишком привык к кораблю, чтобы зря ходить на берег.

— Пойдем в библиотеку. Запишемся книжки брать.

— Все равно не пойду,— отрезал Богун.— Читай сам, я без твоих книжек, что надо, знаю.

8

Теперь корабль стоял у стенки, и Поздеев почти каждый вечер ходил к Ирине Сейберт. Иногда они вместе гуляли, но чаще сидели у окна в ее комнате.

Поздеев говорил о французской революции, межпланетных путешествиях, авантюрной литературе и прочих нейтральных, но интересных вещах. Он был начитан, говорил немногословно и своих суждений не навязывал. Это радовало Ирину, но постепенно она стала замечать, что при переходе через совершенно пустую улицу он каждый раз уверенно брал ее под руку, а садясь в кресло у окна, имел такой вид, будто это кресло всегда ему принадлежало и всегда будет принадлежать.

Ирина Сейберт отнюдь не одобряла традиционной девичьей пассивности, в чем Поздееву пришлось убедиться. Совершенно потрясенный ее прямым вопросом, он все же сумел ответить спокойно и просто:

— Вы не ошиблись, Ирина Андреевна.

— Жаль,— сказала она.

Поздеев не шелохнулся. Девушка, которую он любил по-настоящему, его оттолкнула. Она даже не нашла нужным сказать, почему она это сделала, но спрашивать об этом не приходилось,— таковы правила игры.

— Очень жаль,— продолжала она.— Мы так хорошо встречались, а теперь больше не будем.

Ее вдруг охватила жалость к этому молчаливому, сухому человеку. Ей захотелось его утешить, но, как это сделать, она не знала.

— Так хорошо было с вами встречаться и говорить, но вы понимаете... понимаете... Я не могу вам отвечать тем же, а вам от этого будет неприятно... вам...— дальше говорить она не смогла. У нее сорвался голос.

Поздеев выпрямился, внимательно на нее взглянул, вынул из портсигара папиросу и, впервые за все время не попросив разрешения, закурил.

— Понимаю,— сказал он наконец.— Но все-таки я хотел бы с вами видеться.

— Даже если это бесповоротно?
— Да,— ответил он, введеииый в заблуждеиие ее взволнованиым, внезапио ставшим детским голосом.
— Я буду очень рада,— улыбнулась она, протягивая руку. Ей было всего девятнадцать лет, и оиа ошибочно полагала, что после подобного объясиения их прежняя дружба может продолжаться.
Будь ей, как мне, за тридцать, она совершенно иначе видела бы вещи.

9

Скользит в круглом поле светло-серая вода, и с ней скользит голубой отдалеиный корабль, а мачты его отстают чуть не на полкорпуса.
Надо вращать установленный на верху дальномера валик, пока эта раздвоенность зрения не исчезнет. В тот момент, когда мачты придут иа место, когда надвое разрезанное изображение будет совмещено, видимая левым глазом шкала покажет расстояиие до предмета.
Было ие похоже, чтобы уходивший за горизоит эсминец находился всего в шестидесяти пяти кабельтовых, и быстрым движением Демин повернул дальиомер иа южиый берег. Узкий шпиль собора совместился, когда шкала стала на сорок три. Это тоже было маловато.
Демин, бормоча, оторвался от дальномера и рядом с собой увидел Кривцова.
— Кто вам разрешил играть с игрушечкой?
— Он, кажется, рассогласоваи, товарищ артиллерист.
— Спасибо за указание, уважаемый товарищ,— с серьезной любезностью ответил Кривцов.— Но не кажется ли вам, что, если все желающие займутся этой штучкой, она едва ли станет лучше?
— Я дальномерщик...
— Значит, должны понимать, что дальиомер, без особого на то приказания, пальчиками трогать ие следует.
Демии молчал. Он действительно был ие прав.
— Разрешите, товарищ артиллерист.
— Никак не разрешу, дорогой товарищ. Как ваша фамилия?
— Демин.
— Дорогой товарищ Демин. А теперь наденьте, пожалуйста, чехольчик и ступайте с мостика, а если это вам ие иравится — жалуйтесь комиссару.
Демии молча иадел чехол и спустился с мостика. Жаловаться? На что имеино? Кривцов ругался правильно,

а насчет дальномера... черт его знает, этот дальномер,— он мог быть в полной исправности... Но, с другой стороны, Кривцов — враг. Можно ли доверять врагу? Значит, нужно рискнуть и доложить комиссару, что сам поступил против правил.

Серьезное отношение Демина к своему пустячному проступку, по-моему, великолепно. Такой человек, конечно, должен был перебороть себя и пойти к комиссару.

В комиссарской каюте воздух был дымным от не успевшего выветриться заседания, а у самого комиссара болела голова. Сидя за столом, он подписывал стопку увольнительных билетов. Пальцы его плохо гнулись, перо рвало ворсистую бумагу, и жидкие чернила расплывались. Такое дело любого человека может привести в бешенство, но комиссару даже наедине с собой следует сохранять спокойствие. При входе Демина он положил ручку.

— Как зовут?

— Демин.

— Это тебя провели кандидатом на прошлом собрании?

— Меня.

— Выкладывай свое дело.

И Демин рассказал о странностях дальномера и ненадежности Кривцова.

— Все они ненадежны! — вдруг закричал комиссар.— Ступай в болото с твоими рассуждениями! Ты что́ думаешь, он дурак? Не знает, что за баловство с дальномером можно в расход выйти? — И, неожиданно успокоившись, продолжал: — Это хорошо, что ты ко мне пришел, только еще лучше будет, если перестанешь чужой частью заниматься. Ты смотри на свое дело, а на это другие найдутся. Если всякий желающий будет вертеть дальномеры, так твоего Кривцова к ответу не притянешь. Понятно?

— Есть! — ответил Демин.

— Ну вот и веди себя в порядке. Как следует кандидату партии...

— Есть! — И Демин вышел в коридор.

Теперь враг казался еще опаснее,— должно быть, оттого, что комиссар не поддержал. Но все равно отступать не полагалось. Демин шел спокойный и сосредоточенный, исполненный решимости и разочарованный в по-

литсоставе. Ему было бы легче, знай он, что Кривцов его опередил и первым доложил комиссару о встрече у дальномера.

10

Телефоны боевой, запасный артиллерийский и общесудовой цепи, прожекторные цепи по плутонгам, голосовая передача, и над всем этим — цепи приборов управления огнем. Крашенные белилами провода, сплетения проводов и трубы, змеями идущие по переборкам и подволокам,— это нервная система корабля, и ее головной мозг здесь, в тяжелой, тесной боевой рубке.

Блестящие указатели на пестрых циферблатах приборов управления, раздельно тикающий автомат, тревожные голоса ревунов — все проверено, все приготовлено к бою.

— Отлично,— сказал старший артиллерист.— Продолжайте в том же духе.

Демин улыбнулся. Неприятное начальство его похвалило.

— Отбой!

— Есть отбой!

Учение боевой тревоги было закончено. Уходя из рубки, Поздеев взглянул на Демина, чистившего медь своих приборов, и кивнул: из парня выйдет толк.

Вечером того же дня они снова встретились, но с совершенно иными чувствами.

11

Демин, начистив приборы до полного блеска, спустился в палубу, где как раз поспел к дымящемуся бачку черного чечевичного супа. В отличие от белого, этот черный суп варился из грязной чечевицы, но Демину тем не менее нравился.

Поздеев ел тот же суп в более уютной кают-компанейской обстановке, но с меньшим аппетитом, потому что медяшек не чистил. Поужинав, пошел отдохнуть, как этого требовало его несколько вялое пищеварение.

Демин в подобном отдыхе не нуждался, а потому сразу приступил к делу.

— Дай гуталину, Богунок.

Порывшись в рундуке, Богун протянул ему банку, две щетки и суконку.

— Куда собрался?

— Книги брать.

— Какие такие книги?

— Возьму политэкономию,— работая щеткой, ответил Демин.

— Политэкономия,— повторил Богун, любивший новые и странные слова, и вдруг заявил: — За девочкой ты идешь, а не за политэкономией. Больно здорово сапоги драишь, ни для какой экономии не стал бы так стараться.

К своему удивлению, Богун увидел, что Демин краснеет. Он никак не ожидал, что его намек попадет в цель, и, увидев смущение Демина, из деликатности отвернулся.

Проспав около двух часов, Поздеев пошел за Ириной в клуб моряков, где она работала библиотекаршей. Он очень не одобрял ее работы, однако говорить с ней об этом не осмеливался.

Шел он быстро, чтобы не опоздать, и все-таки опоздал: библиотека уже была закрыта. Как много вреда приносит вялое пищеварение людям, перешагнувшим за тридцать лет!

Разочарованный, он вышел из клуба и на улице совершенно неожиданно натолкнулся на Ирину и Демина. Они смеялись, но, увидев его, присмирели.

Ирина оправилась первой:

— Здравствуйте, дорогой профессор.

— Здравия желаю, Ирина Андреевна.

— Вы появились как раз вовремя. Докажите, пожалуйста, этому юноше, что прострация не происходит от слова пространный.

— Боюсь, что не сумею,— сухо ответил Поздеев.

— В таком случае идем все вместе к нам пить чай.

— К сожалению, не успею. Дела на заводе.

— Значит, нам по дороге. Вы нас проводите?

— Охотно.

И они пошли.

Ирина искоса взглянула на темное лицо Поздеева. Никаких дел на заводе у него, очевидно, не было. Что его разозлило? И вдруг поняла и, поняв, не могла удержаться от улыбки.

Короткая прогулка прошла в полном молчании. Демин молчал, чтобы не вышло неприятного разговора с неприятным начальством. Поздеев — потому, что ему нечего было говорить.

Так дошли до ее дома. Остановившись перед подъездом, Поздеев спросил:

— Вы давно знакомы с нашим Деминым?

— Он служил у Шурки и привез от него письмо. Шурка пишет, что он всяческий специалист, орел и джокер.

Во всяком случае, он кандидат партии и чудесный юноша, не при нем будь сказано.

— Он хороший гальванер,— ответил Поздеев. Прощаясь, он поцеловал Ирине руку, а с Деминым обменялся коротким рукопожатием. Затем, ни на кого не смотря, учтиво отдал честь и ушел.

На пыльную улицу упали первые капли крупного дождя. Входя в подъезд, Демин нечаянно взял Ирину под руку. От этого ее сердце пропустило удар, а потом забилось с удвоенной скоростью. Ничего не было сказано, но все обстояло великолепно.

12

С неба на город свалился четырнадцатидюймовый снаряд. Разорвавшись, он, к счастью, никому не причинил вреда. Второго снаряда не последовало. Говорили, что это была проба орудий в соседней нейтральной державе. Говорили, что кольцо сужается, что хлебу пришел конец и что у дочери священника, вышедшей за коммуниста, родился черт. Все это было известно и раньше, но теперь приобрело новое, тревожное значение — нет ничего опаснее полосы бездействия на фронте.

Слухи ходили по городу и по кораблям, повторялись, преломлялись и множились. От этих слухов Кривцов помолодел, начал бриться, командир заперся в своей каюте и складывал разрезные картинки, а команда увеличила посещаемость общих собраний.

Кают-компания к слухам, как ко всему на свете, относилась безразлично. За стаканом чая с яблочным вареньем на компрессорном глицерине или за партией в триктрак, конечно, рассуждали и о черте, и о наступлении противника, но только в порядке развлекательного разговора. Серьезнее говорили о том, что хлеб надо подвешивать, чтобы его не съели дочиста тоже недоедавшие тараканы.

Кривцов, подойдя к столу, весело приветствовал Болотова:

— Здравствуйте, кандидат. Как делишки?

За Болотова неожиданно ответил Поздеев. Отвечая, он даже не улыбнулся:

— Не обращайте внимания на кривцовское острословие. Его собственные делишки не в порядке. Идет прицеваться и побрился. Не дурак?

Почему он почувствовал необходимость защищать

Кривцова? Зачем он ему нужен? Вероятно, для того, чтобы его третировать. Поздеев вдруг вспомнил, что они одного выпуска из корпуса, и понял, что, кроме Кривцова, у него в жизни ничего не осталось. Как это вышло?

— Не знаю,— ответил Болотов.

13

Лампочка, светившая над самой койкой Демина, чертова лампочка, от которой не было спасенья, вдруг замигала и погасла.

Демин, заснувший при свете, сразу проснулся. Была полная темнота, и в темноте возбужденные голоса. Прыгать вниз с подвесной койки было очень страшно, но Демин все-таки прыгнул.

В каюту коллектива! Но, ударившись головой о чтото тяжелое, Демин остановился. Впереди была переборка и под рукой открытая дверь, но он не мог понять, куда она ведет: в нос или в корму?

В темноте загремел человек, скатившийся по трапу.

— Берегись люков! — посоветовал сверху голос Богуна.

— Держись переборки! — крикнул Демин.— Где у нас корма?

— Здесь! — ответили со всех сторон.

Между тем в каюте коллектива было не лучше. Помощник комиссара ощупью искал в шкафу свой наган, находил только хлеб и сапоги и страшно ругался. Болотов не дождался его и выскочил, но у поперечного коридора с размаху влетел в открытую дверь какой-то каюты, с кем-то столкнулся и всей грудью рухнул на стол, зазвеневший рассыпанной медью.

— Фишки! — павлиньим голосом прокричал Верблюд.

— Кто это такой? — ужаснулся придавленный к умывальнику Лебри.

Болотов выпрямился, но ответить не успел.

— Трюмного механика! — кричал в темноте далекий голос.— Трюмного механика!

Болотов выскочил и побежал в нос. В темноте коридор был наполнен людьми, острыми углами и предметами. Бежать было совершенно невозможно, но он бежал, спотыкаясь и падая. Когда он падал в последний раз, перед его глазами сверкнул аккумуляторный фонарь, и кто-то поймал его на лету.

— Трюмного механика! — во весь голос прокричал державший его человек.
— Я здесь. Что случилось?
— Это вы, Болотов?
— Я спрашиваю, что случилось?
— В помещении носовых динамо вода. Их пришлось остановить. Сейчас запустят кормовые, но нужно...
И внезапно вспыхнул свет.
Ослепленный светом, Демин не сразу открыл глаза. Мимо него бежал старший помощник в одном нижнем белье. В руке он держал фонарь, который забыл потушить. За ним бежали Болотов с разбитым в кровь лицом и трюмный старшина Нечаев.
Демин ринулся за ними.
— Что это такое?
— Все в порядке,— на бегу отмахнулся Болотов.
Больше Демин спросить не успел, потому что с размаху ударился головой и плечом в переборку.
— Так тебе и полагается,— сверху заметил Богун.— Сказало тебе начальство, что все в порядке, значит, ползи на койку и помалкивай, потому дело дрянь.
— Отцепись! — закричал Демин, обеими руками хватаясь за голову.— Свой он, а не начальство... Он из коллектива.
— Коллектив,— повторил Богун.— Коллектив,— откинулся навзничь и сразу уснул.
Демин медленно пошел в нос. Полуодетые люди разбирали опрокинутые в сумятице вещи. Навстречу попался лекарский помощник, куда-то бежавший с перевязочным материалом. За ним, прихрамывая, шел хмурый комиссар. Поравнявшись с Деминым, он неожиданно взял его под руку:
— Видал?
— А что это было?
— Вода в носовых динамо. Не пойму, откуда она взялась, эта вода. Как бы наш Болотов не того... Это по его трюмной части.
— Болотов свой.
Комиссар вздохнул.
— Я тоже так думаю. Однако он про господ офицеров рассказывать не захотел... Ты говоришь — Кривцов. Все они Кривцовы — вот что!
Следует отметить, что комиссар был потрясен десятью минутами полной темноты, а потому более пессимистично смотрел на вещи, чем обычно.

14

— Никогда! — возмущалась тетка Маргарита Карловна, запахивая клетчатый капот и яростно потрясая бумажным лесом на голове.— Он матрос, простой матрос, а ты внучка генерал-губернатора! Никогда!

— Через две недели,— ответила Ирина.— Все уже сговорено, и у нас к этому времени будет отличная комната.

— Глупая девчонка! Сумасшествие! Ты должна пойти за Поздеева — он нашего круга. Такой молодой и уже старший артиллерист корабля. Такой интересный и тебя безумно любит!

— У него слишком длинный нос. С ним, наверное, нельзя целоваться.

Тетка Маргарита захлебнулась. Чтобы не рассмеяться, Ирина закрылась с головой одеялом.

— Ты... ты... я думала, что ты приличная девушка!

Ответа из-под одеяла не последовало.

— Ты слышишь, что я говорю? Я думала, что ты приличная девушка!

— Спасибо, милая тетя.

Под одеялом было тепло и весело. Слышно было, как громко, точно огромный самовар, клокотала тетя Маргарита, и можно было улыбаться.

— Ух! — сказал наконец самовар и ушел, хлопнув дверью.

Теперь следовало высунуть наружу нос и свернуться калачиком.

Правильно ли она поступает? Конечно, правильно. Разве есть второй Леня Демин, и разве она его не любит?.. Шурка поймет. Что же касается тетки, то тетка — явление случайное и необязательное.

На этом Ирина уснула. Она с детства привыкла спать, закрывшись с головой.

15

— Твой Демин за мной шпионит,— тихо сказал Кривцов, но Поздеев не ответил.

— Теперь... теперь...— забормотал Кривцов и осекся: рядом с ними сел неожиданно появившийся Болотов.

«Неужели тоже следит?» — ужаснулся Кривцов и подавился чаем.

Смакуя каждое слово, ревизор продолжал рассказ о происшествии в гостинице, куда его привела встреченная

у Казанского собора девушка. Больше всего в этой гостинице ему понравилась налаженность: по рублю за штуку можно было получить сколько угодно чистых полотенец.

Второй артиллерист подробно разъяснял старшему помощнику и доктору способ изготовления блюда, называемого «чужие слюни»:

— Заваренную крутым кипятком муку следует подсластить: пакетик сахарина и, чтобы отбить металлический вкус, чайная ложка сахарного песку. Когда остынет, взбивают и, когда взбито, добавляют запах: лимонную эссенцию или еще что-нибудь. Миндальную не рекомендую — она отдает мылом. А потом едят и наедаются здорово, потому что в этой штуке много воздуху. С одного стакана ржаной муки распирает четырех человек.

— Ненадолго такая сытость,— ответил скептически настроенный врач.— Воздух будет стремиться выйти наружу.

— И пусть выходит,— решил старший помощник.— Лучше ненадолго, чем никак. Вечером организуем.

Эти разговоры были в порядке вещей. Но за последнее время в кают-компании, кажется, появились разговоры другого характера. Болотов откинулся на спинку стула и недоброжелательно оглядел сидевших за столом. У них были желтые лица. С какой стати он отказался обсуждать с комиссаром политическое состояние комсостава? Товарищеская спайка? Разве он им товарищ? Просто чепуха. Чепуха, неприемлемая для человека, который хочет стать коммунистом. Довольно. Сейчас же после чая надо пойти к комиссару и доложить о Кривцове — слишком подозрительно он ведет себя все эти дни.

— Товарища Кривцова по делу! — из двери позвал вахтенный.

Кривцов побелел:

— Кто?

— К командиру.

«Значит, насчет отпуска»,— успокоился Кривцов и, вставая из-за стола, взял с собой стакан и белую булку, чтобы по дороге занести в свою каюту.

«Интересно знать, откуда он берет такие булки,— глядя ему вслед, думал Болотов.— Кроме того, интересно, зачем он так часто ездит в Рамбов. Что там в Рамбове делать? Говорит — девушка. Врет. Ему не до девушек — он болен».

Болотов встал, решив немедленно идти к комиссару.

Но выйти из кают-компании ему не удалось. Прямо на него из двери вылетел дико размахивающий руками Верблюд. Он мычал, выкатив глаза и перекосив лицо.

— Алексеев! — вскрикнул старший помощник.— Почему вы ушли с вахты?

Верблюд остановился, судорожно хватаясь за подбородок. В глазах его был ужас, и говорить он не мог.

— Спятил! — испугался Лебри.

— Маркевич, заступайте на вахту! — распорядился помощник.— Срочно!

Верблюд, увидев доктора, бросился к нему. Мотая головой, он залопотал на непонятном, действительно верблюжьем языке.

— Пустяки,— ответил ему доктор.— Зевнули дальше, чем надо, и вывихнули челюсть. Ничего особенного. Сейчас наладим.

— Вот что значит зевать на вахте! — торжественно заявил Растопчин.

Хохот никогда не следует непосредственно за восприятием смешного. Всегда бывает очень маленькая пауза, необходимая смеющимся, чтобы набрать воздуха. На этот раз пауза разрешилась совершенно неожиданно, и общий хохот не состоялся. Вместо него Растопчину ответил сильный и близкий взрыв.

Сидевшие повскакали с мест, а двое стоявших сели.

— Кто это? — тихо удивился Лебри.

— Наверх! — крикнул Болотов.— Аэропланы!

— Нет,— ответил Поздеев, и после второго взрыва, от которого вздрогнул весь огромный корабль, на бегу добавил: — Снаряды. Очень большие.

У двери получился затор, и столпившиеся вдруг отхлынули назад — в кают-компанию входил командир. Его круглое мясистое лицо лоснилось от пота, но казалось совершенно равнодушным.

— Николай Гаврилыч!

— Есть,— ответил старший механик.

— Как пар и турбины?

— Турбины прогреты, но пару мало. Подымем часа в два...

— Есть,— ответил командир.

Он молчал, беззвучно шевеля мокрыми усами. Глаза его казались сонными, но стоявшие под их взглядом невольно выпрямлялись. Он молчал, и перед ним молчаливым полукругом стоял командный состав его корабля.

— Владимир Александрович!

— Есть! — И старший помощник вышел вперед.

— Вызывайте буксиры. Будем сниматься.

— Есть буксиры! — Старший помощник по привычке начал поворачиваться, но не выдержал и остановился.— Константин Федорович?

— Я,— ответил командир.

— Что же это случилось?

Командир молчал, точно прислушиваясь. Где-то наверху появился далекий гул. Нарастая, он отдавался в палубе над головами и во всем теле. Потом оборвался резким громом.

— Господа,— тихо сказал командир и еще тише поправился: — Товарищи! — Потом, выпрямившись, заговорил полным голосом: — Форт Красный восстал. Обстреливают город. Нам приказано выйти на внешний рейд и принять бой... Готовьте корабль...— И, не зная, как к ним обратиться, подумав, сказал: — Граждане.

Поздеев вдруг просветлел: будет стрельба, драка — много шума, много дела. Он ощутил силу подвластных ему двенадцати двенадцатидюймовых, и это было очень хорошо. Настолько хорошо, что он даже улыбнулся. Бой для него был средством для восстановления душевного равновесия, но Болотов этого не знал, а потому улыбку его понял иначе. Стиснув кулаки, он вышел за командиром и в коридоре чуть не натолкнулся на Кривцова.

Кривцов с пустым стаканом в руке шел между двумя вооруженными матросами. Увидев в дверях Поздеева, он остановился, но ничего не сказал и только взглянул собачьими, насмерть испуганными глазами. Один из конвойных дотронулся до его плеча, он вздрогнул и, быстро перебирая ногами, пошел дальше. Поздееву почему-то вспомнилось, как в четвертой роте того же самого Кривцова вели в карцер. А теперь его вели на смерть.

Вот зачем его вызвали из кают-компании! К командиру? Вытащили обманом и захватили! Обманом! Теперь у него не осталось даже Кривцова. Больше терять было нечего. Обернувшись, он столкнулся лицом к лицу с Болотовым. Болотов заметил и запомнил его взгляд.

16

— Девочка тебя требует,— глядя в сторону, сказал Богун.— На бону ждет.

Демин бросился к трапу и, перескакивая через две ступени, вылетел на палубу.

Ирина стояла почти у самого борта и сверху каза-

лась совсем маленькой. Увидев Демина, она махнула рукой.

— На берег мне нельзя! — крикнул он.

— Ничего! Ничего! — Голос у нее от напряжения стал тоненьким и звонким. Точно стараясь дотянуться до Демина, она становилась на цыпочки.— Я пришла тебе сказать, что ушла из дому. Когда вернешься, найдешь меня в библиотеке. Там же и сплю.

— Есть такое дело! — И, перегнувшись через поручни, чуть потише добавил: — Ты только не волнуйся, вернусь скоро.

Она улыбнулась и закивала головой:

— Сразу и запишемся.

— Есть,— обрадовался Демин.

— А пока что идите домой, Ирина Андреевна. Здесь ложатся снаряды.— Это был Поздеев. Он стоял такой сухой и черный, каким Демин его еще никогда не видал.

— Здравствуйте, профессор! — Ирина сделала книксен.— Снаряды ложатся везде, бояться все равно не стоит.

— Прощайте, Ирина Андреевна... Демин, идем готовить приборы.

— Есть! — И, махнув рукой Ирине, Демин крикнул: — Скоро вернусь!

— Книжки не замажь супом, как в прошлый раз!

Она стояла улыбаясь и махала рукой, пока он не скрылся из виду. Он шел рядом с Поздеевым, несколько раз оглядывался и видел ее маленькую фигурку в светлом платье, но за дальностью расстояния слез в ее глазах не разглядел.

Когда он снова ее увидит и увидит ли? Пустяки, нельзя пропасть. Если она так держится, так и он со всем сладит. Даже с Кривцовым.

Он еще не знал, что Кривцова уже арестовали.

Поздеев закрыл за собой стальную дверь.

Его заставляют драться за Деминых, чтобы они могли безнаказанно портить девушек, безнаказанно посылать людей на расстрел. Он вдруг увидел перед собой жалкие глаза Кривцова и стиснул зубы.

— Демин, снимайте чехлы.

— Есть!

17

Боевая тревога шла по палубам захлебывающимися голосами горнов, из помещения в помещение дробным

звоном колоколов громкого боя, с трапа на трап топотом тысячи тяжелых ног. Потом она легла полной тишиной.

— Наводка по колокольне правее леса,— сказал в телефонах башенных командиров голос старшего артиллериста. Башенные указатели отщелкали цифру 100, и башни плавно покатились, чтобы встать по заданному направлению.

— Комиссара к телефону! — выкрикнул в боевой рубке телефонист.

— Комиссар у телефона.

— Говорит Болотов... Хорошо, что взяли Кривцова...

— Знаю без тебя. Что еще?

— Смотри за Поздеевым.— И трубка щелкнула.

Комиссар чуть не закричал, чуть не разбил трубку. Почему, собака, не сказал раньше? Почему сам не пришел сюда объяснить?

Но крайним усилием воли взял себя в руки и понял: Болотов вышел из офицеров — такому сказать было не просто. А раз сказал — значит, стал совсем своим.

— Воюем, товарищ артиллерист? — улыбнулся комиссар, спокойно вешая трубку.

Поздеев выгнул брови и не ответил.

Комиссар продолжал улыбаться,— он ничего не понимал в стрельбе, но был уверен в победе.

— На дальномере! — Голос Поздеева звучал совершенно бесстрастно.— Давать через минуту дистанцию до колокольни.

— Семьдесят восемь! — ответил громкоговорящий телефон.

По корме огромным столбом поднялся разрыв. Форт тоже стрелял из двенадцатидюймовых, но стрельба его была беспорядочной, второй снаряд ударил справа далеким перелетом.

— Семьдесят шесть с половиной!

Поздеев наклонился над картой. Когда он выпрямился, в упор на него смотрели удивленные голубые глаза старшего штурмана. Отвернувшись, он увидел Демина. Этот тоже смотрел на него не отрываясь.

— Семьдесят четыре!

— Артиллерист, начинайте,— сказал командир.

Поздеев молча кивнул головой. Если залп ляжет недолетом, то придется по своим частям, наступающим на форт. По карте расстояние больше, но он имеет право верить дальномеру.

— Товарищ Поздеев! — Голос комиссара звучал резко и необычно.

Вот обрадуется комиссар, когда узнает, что разгвоздил свои части. А узнает он это не скоро, потому что по разрывам ровно ничего не разберет... Демин смотрит во все глаза... Ждет установки прицела и целика? Что ж, он их получил. Это будет забавно.

— Семьдесят один с половиной! — сказал телефон.

Короткими твердыми шагами Поздеев подошел к приборам.

— Автомат, сближение полтора.

Автомат звякнул и защелкал. Светлым огнем горела медь приборов, и указатели в башнях ждали слова из боевой рубки. По этому слову длинные серые стволы подымутся и будут ждать ревуна. А по ревуну будет залп и смерть... Огромная машина была готова... Огромная, страшная и безошибочная... Безошибочная? У Поздеева перехватило дух.

Ветер, скорость корабля — все учтено, все много раз проверено. Машина должна работать безукоризненно.

— Прицел девяносто, целик сто двадцать два!

Не по дальномеру, а по-настоящему. И указатели побежали по циферблатам.

Иначе он сделать не мог — этого требовали правила игры. Он ел паек и был очень хорошим артиллеристом.

Теперь он стоял, не видя ничего, кроме колокольни в поле бинокля, не слыша ничего, кроме щелкания автомата. Не сразу он узнал голос комиссара.

— Ты что? — кричал комиссар.— Отвечай, слышишь! Ты что делаешь?

— Отойдите,— ответил Поздеев и тихо добавил: — Дальномером заведовал Кривцов.

Комиссар снял фуражку и отер пот. Теперь все было в порядке.

— Залп.— И сразу же за тонким голосом ревуна сплошным громом ударила носовая башня.

В поле бинокля, за искристой водой у самого горизонта встали дымки.

— Два меньше.— Так скомандовать мог только очень самоуверенный артиллерист, но Поздеев знал, что накроет со второго залпа. В голове его гудела та самая двенадцатидюймовая сила, и от нее все стало прекрасным. Он оторвался от бинокля и взглянул на Демина.

У Демина светились глаза — вот почему за него пошла Ирина... Что ж, из парня будет толк.

— Залп!

БОРИС ЛАВРЕНЕВ

ПАРУСНЫЙ ЛЕТЧИК

Моя фамилия — Филонов. Незначительная фамилия. Лучше, конечно, была бы Орлов или Соколов, но так у родителя вышло... Старший лейтенант Филонов истребительной группы Краснознаменного Балтийского флота. Вожу свое звено. Правым ведомым у меня лейтенант Ковалев, а левым Володя Савчук, парусный летчик. Вы интересуетесь, что такое «парусный летчик»? Так вы не знаете Володю Савчука? Ну, значит, вы вообще ничего не знаете.

Вся моя речь о Володе пойдет. О себе рассказывать нечего. А Володя мой дружок кровный. Годков ему, пожалуй, около двадцати двух, сам среднего габарита, носик пуговочкой, а зубы такие, что любой гражданке на балу вместо ожерелья надеть завидно. Тридцать два зуба, полный комплект.

Жаль только — рассказчик я плохой. Чего-то у меня со словами творится, как говорить начинаю. Цепляются за язык, как юбка за репейник, просто не отодрать. Так вот, чтоб глаже разговор шел, мы пропустим по маленькой. Время сейчас военное, пить не положено, но тут у меня во фляжке законный мой морозный паек. Сто граммов вам, сто мне. Чок-чок — и дело в мешок!

А выпьем мы за Володино здоровье... Галина! Ты вместо того, чтобы зубы скалить, дала бы стаканчики. Странная, знаете ли, она у нас женщина. Выдумывает, что мне только повод нужен, чтобы «пропустить».

Так вот, про Володю. Вместе мы с ним на Каче школу кончали, вместе на Балтику поехали, и так вышло, что даже в одну девушку мыслями уставились. Но только мне больше повезло... Опять ты, Галина, хихикаешь? Ведь правду говорю. Иначе сидела бы ты в Володиной комнате, а не в моей... Но нас такое происшествие не поссорило. Девушек хороших у нас много, а Володя найдет свою, вдесятеро лучшую... Ну, вот изволите видеть? Только что хихикала, а теперь губы надула... Успокойся! Я же теоретически, а на практике ты для меня самая лучшая.

Однако что это я все в сторону. Возвращаюсь на прямой курс... Летали мы, значит, с первого дня войны в одном звене. И летали, в общем, счастливо, исключая

Володи. То есть летчик он высокого полета, но крепко невезучий. За первый месяц я уже троих этих самых фрицев отправил вниз хлебать балтийскую соленую воду. Ковалев тоже одного запорол, да и сами мы имели в наших ястребках десятка по полтора дырок на память. А Володя никак не мог к нашему счету пристроиться. И немцев сбитых нет, и самолет без царапинки. Очень это его волновало. А тут еще дружки стали подначивать. «Ты, говорит, Володя, верно, немцев недолюбливаешь? Верно, не нравится тебе ихнее обращение? Отойдешь небось от аэродрома километров на двадцать и вертишь вола на месте. Иначе давно б тебя немчики пометили».

Володя от злости просто зубами скрипит. Как боевой вылет — его даже вроде малярии трясти начинает. Летим, напоремся, завяжем бой, а от Володи противник обязательно на полном газу удерет. И так из недели в неделю, из месяца в месяц. К декабрю я еще троих на свой счет нанизал да двоих Ковалев, а у Володи — все ничего. В декабре разом хватили студенцы, снегом завалило. Продолжаем летать. Наконец выпал счастливый денек и Володе.

Как сейчас это утро помню. Сидели мы в общежитии. Только рассветать начало. Я брился, другие — кто письма писал, кто читал. А погода стояла самая гробовая. Пурга — у барака даже стенки шатаются. И в эту самую минуту громкоговоритель с командного пункта как рявкнет голосом капитана Бондарева: «Звено старшего лейтенанта Филонова, к самолетам».

Бегу я через поле, рукавицей с недобритой щеки мыло стираю. Оглянулся — за мной Володя на ходу в брюки прыгает, а за ним Ковалев рысит. Добежали до самолетов, а их механики еле удерживают. Так пургой и рвет. Подходит капитан и объясняет задачу:

— Наши разведчики обнаружили на финской стороне за фронтом большой товарный состав, движущийся от станции Исалми к Пиэксимяки. Предполагается, что с боеприпасами. Разведчики сами не могли его сработать — на последних каплях горючего тянули. Бомбардировщики посылать не стоит — погода не та. Ну, а вы верткие, как-нибудь доберетесь. Словом, не подведите.

Сели мы по самолетам. Поднял я руку и рванул по дорожке. Такой навстречу вихрь, что отодрало меня от земли на половине взлетной дистанции.

Осматриваюсь. Справа, как всегда, Ковалев, слева

Володя. Но только чуть их заметно, потому что воздух не воздух, а кислое молоко. Дал я сигнал идти наверх, и взмыли мы горкой пробивать эту серую кашу. Пройдем, думаю, до места над облаками, а там видно будет, как дальше. И в самом деле, на двух тысячах с небольшим вырвались мы в такое синее небо, что июлю под стать. Летим, а под нами словно ковер из бурой ворсы лежит, колышется. Внизу ничего не видно. Стали выходить к Исалми, и погода будто развеселилась. Пошли на снижение. Из-под ковра выскочили метрах на трехстах и даже удивились. До того внизу красота и спокойствие. Леса стоят могучие, как серебром убранные. Тишь. А между лесами пролысины разных образцов. Это — знаем — озера. Непонятно, зачем в этой Финляндии озер столько. Вместо земли на каждого жителя, считано, по озеру приходится.

Вышли мы на линию железной дороги. Вьется она ниточкой, из леска в лесок проползает. Но только никакого движения на ней незаметно. Пустыня, поезда и в помине нет.

Сделали два круга, три, четыре — нет поезда. И только на пятом подметил я в лесу парок какой-то, словно охотник трубочку раскуривает. Пригляделся, и вижу — финны схитрить захотели. Как услышали наши моторы, остановили состав в чаще. Сосны там метров по тридцати, внизу темь, а по крышам вагонов хвоя. Сразу ни за что не разобрать. Ну, а паровозу все же иной раз вздохнуть надо, вот и выдал себя.

Мигнул я своей лампочкой: дескать, «мальчики, вниз!» — и ссыпались мы сверху на самый поезд. Я в лоб паровозу, Володя и Ковалев вдоль состава. Чесанули из пушек по вагонам, а я паровозу в грудку ударил. Видим — стали финны из теплушек прыгать на полотно. Спрыгнут и корчатся. Но только многие как лягут, так и не встают. Что ж! Ихнее дело — сами того захотели. Паровоз я прошил с первого захода чисто — только пар брызнул. А на втором спустился пониже и пощекотал зажигательными. Вышло, что угадал. Как полыхнуло, как грохнуло! Ястребок мой так подпрыгнул, как ни одной блохе не удастся. Еле я выправился. Видать, они в вагонах взрывчатку для саперов везли. Весь поезд разнесло, только щепочки взвились... Раз так — дело кончено, можно ворочать домой.

А тут немного развиднело, и даже в облаках синие проруби появились. Построились мы — и домой к обеду.

Однако по сторонам поглядываем, потому что погода и для фашистов летная стала.

Так и вышло. Откуда ни возьмись вываливаются на нас из облаков шесть «мессеров». Ну, думаю, будет парад. При такой пропорции у них всегда боевая храбрость появляется. И действительно, завязалась у нас воздушная карусель. Только им, верно, в тот день попугай несчастливые билетики вытянул из гитлеровской шарманки. Дело в том, что, не хвастаясь, скажу: глаз у меня чересчур верный от природы. Пулеметный глаз специального назначения. Кто мне на мушку попадет — будь весел, второй раз приглашать незачем. И прежде чем «мессеры» развернуться успели, ихний головной уже отправился вверх тормашками на вечное землеустройство. И остались мы с Ковалевым против двух, а на Володю на одного все ихнее второе звено насело. И удалось им все-таки немножко Володю от нас оторвать. Веду я бой, турусы по небу развожу, а сам все налево поглядываю. Однако вижу, Володя молодцом держится. В это время Ковалев своего противника срезал. И мой тут же в сторону отвалил — не понравилось. Решил я Володе помочь. Но глянул в его сторону — волосы шлем на мне подняли. Нет Володиного ястребка! Сбили! Один хвост дыма книзу тянется. Злоба меня взяла — прямо глотку перехватило...

...Одну минуточку! Галина! Ты что ревешь? Вот видите, сколько раз слушала, а на этом месте всегда в слезы: жаль Володю. Останови слезы и лучше завари нам чайку.

Увидел я такую картину и бросился на этих трех. И снова мой пулеметный глаз не подвел. Один из них вспыхнул, перевернулся и... ваших нет. В другое время не упустил бы я четвертого, составил бы им полную загробную компанию в преферанс. Но тут не до этого было. Ухнули мы с Ковалевым вниз, хоть посмотреть, где Володины косточки лежат. Но внизу сплошной бор — не углядишь. И дыма нет, и огня не видно. Думаю: успел мотор выключить, грохнул вхолодную. Прошли мы над бором — тихо, пусто, скучно. А горючее у нас на исходе, только домой дотянуть. Пришлось поворачивать. Идем мы с Ковалевым рядком. И вижу я, лицо у него каменное стало и пальцы в штурвал так и влипли.

Перелетели залив. Вот и аэродром наш. Сели. Люди к нам бегут. Капитан Бондарев впереди.

— Где Володя?

Я вылез из самолета, стал перед ним, а голос у меня к зубам прилип, никак вырваться не может. Наконец выжал как-то:

— Товарищ капитан! Задание выполнено, поезд уничтожен. Лейтенант Савчук из полета не вернулся!

Все молчат. И такая тишина, что услышал я, как за оградой с елки снег осыпался.

Узнали ли мы, что с Володей, вы спрашиваете? Сейчас... Все по порядку.

Имел, знаете, Володя такую чудну́ю привычку таскать с собой в полет парочку дымовых шашек. Даже приладил сбоку кабины такую для них фанерную коробочку. Мы его на зуб брали: «Ну, скажи, лешего ради, зачем ты эти шашки таскаешь?» А он смеется: «На всякий случай: если вынужденная посадка, шашку сброшу, определюсь по ветру, как садиться, чтобы машину не угробить». Стыдили мы его даже: «Негоже советскому истребителю на вынужденную посадку загадывать». А он свое: «Береженого шашка бережет». И вышло так, что выручила его именно эта глупая привычка. В разгаре драки влепил ему один из арийцев очередь зажигательных в фюзеляж, разбил пулемет. И только одна пулька угодила прямо в шашку. Мгновенно дым столбом, а Володя и сообразил. Одному с тремя без пулемета не игра, а обмануть дураков не грех.

Ввел Володя ястребок в штопор, мотнул три-четыре витка, потом в пике и стрелой вниз. А дым за ним винтом пошел. Этот дым я видел, да и немцы по нему решили, что Володе каюк, и уж больше им не занимались. А он у земли выровнялся, коробочку с горящей шашкой отодрал прочь и пошел над самым бором. Огляделся, увидел — никто не гонится, стал снова высоту набирать. Но только нас из виду потерял. Искал, искал, по всему небу мотался, пока горючее не стало кончаться, и двинулся в одиночку к заливу, чтобы домой лететь. А там по пути есть одна вредная батарея на островке. Как туда летим — она никогда не стреляет. Знает, что мы можем навалиться и чистку произвести. Зато на обратном пути обязательно лупит во все жерла. Соображает, что раз домой идем, то бензина у нас кот наплакал и ради забавы задерживаться не станем. Так и на этот раз. Как завидели Володю, так и шарахнули. Третьим снарядом прямо в Володину «птичку» вмазали. Крылышко направо, крылышко налево, хвост трубой, и лететь не на чем. Уж он и тому был рад, что сам не дифференциро-

вался. Выпал из обломков, подождал, пока фюзеляж мимо него нырнул, раскрыл парашют и поплыл. Минуты через три сел на лед почти рядом с кусочками ястребка, которые неподалеку шмякнулись. Осмотрелся, и стало ему не по себе.

Островок километрах в двух за спиной, а до нашего берега еще километров сорок тащиться. А добираться не на чем, кроме своих двоих. Тут еще с островка по нему шрапнелью двинули. Лег он плашмя на лед и совсем заскучал. Но духа не теряет. Какой-нибудь иноземный чудак в таком положении сразу пар бы выпустил, стал бы на коленки, ручки к небу: «Ауф видерзеен, майне альте мутер, даст ист капут фюр дайне зон»[1]. Но Володя не иностранец, его комсомол выкормил. Скучает он, а про себя раздумывает. И вдруг видит — с островка на лед спускается десятеро лыжников. Значит, решили живьем брать. А у Володи оружия осталось — маузеришка 7,65. Семь патронов им, восьмой — себе. Стало ему совсем неуютно. А лыжники бегут быстро. Надо сказать, что он как сел, так от парашюта не отвязывался. Все равно ни к чему.

Парашют на льду лежит, колышется, а Володя рядышком. Повернулся он, чтоб поудобней за сугроб улечься, а в это время ветер вздул купол, и оттянуло Володю назад на несколько метров. И брякнуло его об отломанную лыжу ястребка, которая тут же валялась. Уставился он на лыжу, и тут его осенило. Вот уж правильно сказано, что русскую сметку никто не перешибет. Схватился он за лыжу, лег на нее брюхом, верхние стропы парашюта подтянул, как вожжи. Вздуло купол еще сильней, да как рванет Володю с места — только снег под лыжней хряпнул. Лыжники по нему из автоматов сыпнули, да поздно. Лед в эту зиму на заливе в одну ночь схватило, снежком присыпало, гладко, как на катке. И понес Володю ветер к родным местам пуще рысака. Только за лыжу держись и не зевай, чтоб на какой-нибудь ропачок не напороться и не рассыпаться. Но ничего такого не случилось. Несколько раз стропы спутывались и парашют ложился, но Володя вскочит, выправит — и дальше. И таким манером пролетел он поперек залива, как яхта, в час с небольшим. Смотрит — берег сам на него ползет.

А на берегу стоял в ту пору на посту краснофлотец. Глядит на залив. Бело, гладко, снежок метет, никого не

[1] Прощай, моя старенькая мама, пришел конец твоему сыну.

видать. И вдруг обомлел. Катит прямо на него невесть что. Шар не шар, парус не парус, сзади какая-то палка волочится, а на ней снежный ком. Краснофлотец, ясно, заподозрил неладное. Навел винтовку и кричит: «Стой, стреляю!» А куда стрелять, и сам не знает. Шар, палка, снежный ком — все равно ничего не убьешь. Но только шагах в десяти шар падает на лед, снежный ком медленно встает, вроде белого медведя, но вполне человеческим голосом хрипит:

— Убери винт, годок. Лейтенанта истребительной авиации убьешь.

Видит часовой, что перед ним человек. Только снегом весь облип. Даже на глазах снег намерз. Но говорит вполне по-русски. Однако все же приказал Володе поднять руки и повел его на пост. Там все и выяснилось.

А в ту пору на аэродроме собрались летчики в красном уголке, и уголок будто уже не красный, а черный стал,— так тоскливо. О Володе всё думают. Семья наша дружная. Но тут распахивается дверь, и старший механик наш орет: «Володю привезли!..» Вскочили мы, как по тревоге. «Как так привезли? Как могли убитого летчика с чужого берега привезти?» А механик клянется: «Честное комсомольское, привезли. И вовсе не убитый. Сам идет».

Выскочили мы наружу, а Володя с грузовика слезает. Все на него навалились, и хоть из такого приключения выскочил он без повреждений, а от объятий прихворнул дня три... И стали мы снова летать нашим звеном. Такая история.

А вот Галина с чайком. Хлебнем за Володино здоровье и за ваше тоже. Будьте веселы!

1941

НАШИ АВТОРЫ

АКИМОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ родился в Москве в 1938 году. После окончания средней школы работал слесарем-сборщиком на заводе. Служил в Советской Армии. В 1969 году закончил ВГИК, режиссерское отделение, мастерскую народного артиста СССР Михаила Ильича Ромма. Как режиссер-постановщик на киностудии «Мосфильм» снял дипломный фильм «Возвращение» по сценарию Э. Володарского и С. Соловьева, затем «Нам некогда ждать» по собственному сценарию. В дальнейшем работает как сценарист. Член Союза кинематографистов СССР. По сценариям Владимира Акимова сняты такие картины, как «Прости-прощай», «Точка отсчета», «Дым отечества» (сценарий написан совместно с Э. Володарским), «Мир вашему дому» и др. В 1983 году на экраны вышел двухсерийный фильм «Демидовы» (сценарий совместно с Э. Володарским), «Семь часов до гибели», «Полигон». Сценарий «Точка отсчета» удостоен первой премии Госкино СССР, первой премии Главного Политического управления Советской Армии, фильм получил главный приз Всесоюзного фестиваля. Владимир Акимов является заместителем председателя совета по приключенческому и научно-фантастическому фильму Союза кинематографистов СССР. Сценарии В. Акимова неоднократно публиковались в «Альманахе киносценариев».

Повесть «Приказ» — дебют Владимира Акимова как прозаика.

КЛАРОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ — родился в 1930 году в Киеве. Закончил среднюю школу в деревне Княж-Погост Коми АССР.

После окончания в 1951 году Московского юридического института Кларов работал на севере — в Архангельске и Коноше. Был адвокатом, юрисконсультом, корреспондентом газет и журналов.

Печатается с 1957 года. Его рассказы, очерки и статьи публиковались в «Литературной газете», «Известиях», «Комсомольской правде», «Советской России», «Труде», «Литературной России», журналах «Знамя», «Нева», «Огонек», «Социалистическая законность». Первая книжка вышла в 1961 году. Ю. Кларов — член Союза писателей СССР, автор трилогии «Конец Хитрова рынка», написанной им совместно с Анатолием Безугловым, романа-дилогии «Розыск» («Черный треугольник» и «Станция назначения — Харьков»), книг «Вторая судимость», «Повесть о следователе», «Допрос в Иркутске», «Печать и колокол», многочисленных рассказов и очерков. Его произведения неоднократно инсценировались и экранизировались. Пьеса «Конец Хитрова рынка», поставленная впервые в 1970 го-

ду Московским театром Ленинского комсомола, обошла сцены многих театров страны. Большой успех выпал и на долю трехсерийного телевизионного фильма «Черный треугольник» («Мосфильм», 1981 г.), посвященного расследованию ограбления патриаршей ризницы в Кремле в 1918 году.

Книги Юрия Кларова переводились на венгерский, испанский, немецкий, румынский, чешский языки и языки народов СССР.

Ю. Кларов — лауреат премии имени Н. И. Кузнецова первой степени (золотая медаль) и Всесоюзных конкурсов Союза писателей и МВД СССР на лучшее произведение о советской милиции (в 1975 г. вторая премия, в 1982-м — первая).

ХРУЦКИЙ ЭДУАРД АНАТОЛЬЕВИЧ родился в 1933 году в Москве. После окончания военного училища служил в рядах Советской Армии.

Первые публикации появились в 1957 году. В качестве корреспондента столичных газет и журналов объездил весь Север и Дальний Восток, побывал в экспедициях в пустынях, летал с летчиками-испытателями, был матросом на рыболовецком судне.

Член Союза писателей СССР. Член Союза журналистов СССР. Читателям хорошо известны его книги «Этот неистовый русский», «Тугие канаты ринга», трилогия «Четвертый эшелон», по мотивам которой был снят фильм «По данным уголовного розыска» и снимается продолжение — «Приступить к ликвидации».

Э. А. Хруцкий — председатель комиссии по приключенческой литературе Московского отделения Союза писателей РСФСР. Лауреат премии имени Николая Кузнецова и дважды лауреат конкурса МВД СССР и СП СССР на лучшее произведение о работниках советской милиции.

СЛОВИН ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ родился в 1930 году, среднюю школу закончил в Москве. После окончания юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова работал адвокатом, следователем, инспектором уголовного розыска. Последние годы был заместителем начальника уголовного розыска на одном из московских вокзалов.

Печататься начал в 1962 году. Член Союза писателей СССР. Лауреат Всесоюзных конкурсов на лучшее произведение о советской милиции Союза писателей и МВД СССР в 1965 и 1969 годах. Книги писателя переводились на болгарский, чешский и японский языки.

Широкому читателю хорошо известны его книги: «Дополнительный прибывает на второй путь», «Астраханский вокзал», «Пять дней и утро следующего».

МАРЫСАЕВ ЕВГЕНИЙ КЛЕОНИКОВИЧ родился в 1939 году в Москве. В 1957 году закончил среднюю школу. Работал на московских заводах грузчиком, такелажником, станочником, слесарем, затем буровым рабочим в экспедиции в Якутии, взрывником на строительстве железной дороги в Карелии, бетонщиком на волжской стройке, маршрутным рабочим в геологической партии на Камчатке. Вернувшись в Москву, поступил на заочное отделение Литературного института имени Горького, который закончил в 1968 г.

Тема Крайнего Севера, людей, населяющих «Дивную планету» — главная в книгах Е. Марысаева. Будучи членом Союза писателей, он побывал на Колыме, острове Врангеля, Сахалине, на всех участках стройки века — Байкало-Амурской магистрали.

Первый рассказ Е. Марысаева опубликован в газете «Литература и жизнь» в 1961 г. Его рассказы и повести выходили в журналах «Нева», «Октябрь», «Знамя», «Дружба народов», «Юность», «Огонек», «Смена», «Волга», «Север», «Подъем» и др. Он автор одиннадцати книг — повестей и рассказов, изданных в «Советской России», «Современнике», «Молодой гвардии», «Детской литературе» и др.

ПШЕНИЧНИКОВ ВИКТОР ЛУКЬЯНОВИЧ родился в 1944 году на Урале. Воспитывался в детском доме. Окончил ремесленное училище, работал кузнецом на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Служил в войсках ПВО, экстерном закончил среднюю школу.

После армии работал кузнецом на одном из заводов Подмосковья.

Печататься начал с 1964 года. Первые рассказы и очерки были посвящены армии и публиковались в периодической печати.

В 1975 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького СП СССР. Был участником VI Всесоюзного совещания молодых писателей и II Всероссийского семинара молодых армейских и флотских литераторов в Дубултах.

Рассказы и повести В. Пшеничникова публиковались в еженедельнике «Литературная Россия», журналах «Пограничник», «Советский воин», издательствах «Советская Россия», «Современник», «Известия» и др. Он автор книг «Там, где живут мужчины», «Последние метры», «Куда не идут поезда».

Член Союза журналистов СССР. Живет в Подмосковье.

МИТРОХИНА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА училась в средней школе города Ульяновска, затем закончила Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (отделение русского языка и литературы). Работала в редакции фантастики, приключе-

ний и путешествий издательства «Молодая гвардия», где редактировала серии книг «Бригантина» и «Зарубежный детектив», затем вела исследования по археографии кино- и фотодокументов в НИИ документоведения и архивного дела, после чего в течение ряда лет работает редактором в издательстве «Московский рабочий».

Член Союза журналистов СССР. Печаталась в центральных газетах и журналах. Тема публикаций — биографические очерки и описания архивных находок.

Интервью с ветеранами полка «Нормандия — Неман» были напечатаны в «Литературной газете» (1982, 28 апреля) и в «Комсомольской правде» (1982, 16 июня).

САБОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ родился в Закарпатье в 1941 году. После окончания средней школы работал в поисковой геологической партии, затем корреспондентом в молодежных газетах Закарпатья. Еще будучи студентом МГУ, стал сотрудником «Московской правды». С 1968 года — литсотрудник отдела рабочей молодежи в «Комсомольской правде», затем заведующий, редактор отдела. С 1977 года — собкор газеты в Париже. В 1977 году стал собственным корреспондентом «Литературной газеты» по Франции, Италии, Испании. Член Союза журналистов СССР.

Перу А. Сабова принадлежат очерки и эссе в «Комсомольской правде», «Литературной газете», «Новом мире», а также несколько книг, вышедших в издательствах «Московский рабочий», «Молодая гвардия», «Планета».

ТОЛСТОЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1882—1945) — русский советский писатель, общественный деятель, академик АН СССР (с 1939 г.). Депутат Верховного Совета СССР первого созыва.

Отец — граф Н. А. Толстой; мать — урожденная А. Л. Тургенева, детская писательница (А. Бостром). Детство писателя прошло на степном хуторе Сосновка под Самарой, принадлежавшем его отчиму А. А. Бострому (воспоминания о жизни в Сосновке откликнулись в повести «Детство Никиты»).

Окончив Самарское реальное училище, Толстой в 1901 году поступает в Петербургский технологический институт. В 1907 году, незадолго до защиты диплома, оставляет институт, решив посвятить себя литературе.

Молодой Толстой учился мастерству у И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и Н. В. Гоголя; воздействие последнего особенно сказалось в сатирической манере портретных характеристик.

Октябрьскую революцию Толстой сначала не понял и не принял. В 1918 году эмигрировал. Но уже в 1922 году в открытом

письме к одному нз видных деятелей белой эмиграции Толстой иазвал Советскую власть «едииствеиной реальной силой, защищающей свободу русского народа и отстаивающей иезависимость русского государства». В 1923 году писатель возвращается иа родину. Начинается самый плодотворный период в творческой жизии А. Н. Толстого.

Текст повести «Необыкновениые приключения на волжском пароходе» датирован 14 ноября 1930 г. Впервые под тем же заглавием опубликоваиа в литературио-художествеииом сборнике «Недра»: М.: издательское товарищество «Недра», 1931, кн. 20. Перепечатана в кн.: Необычайные приключения на волжском пароходе. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1931.

КОЛБАСЬЕВ СЕРГЕЙ АДАМОВИЧ (1898—1942) родился в Петербурге, в семье коллежского асессора Адама Викторовича Колбасьева. Мать, Эмилия Петровна Каруаиа (предки ее были урожеицами Мальтийских островов), передала сыну фамильную склониость к языкам, и ои отлично владел аиглийским, фраицузским, немецким и шведским, а также знал хииди. Учился в известной гимназии Лентовской, считавшейся «красиой». После шестого класса по иастоянию матери и дяди-моряка перешел в морской корпус.

Сергей Колбасьев, молодой морской офицер, сразу же и бесповоротно встал на сторону революции. Николай Тихонов писал о нем: «Как русский человек, патриот, он не мог даже представить себе, что значит опустить новый, боевой морской красиый флаг перед врагом, будь ои сильнее во много раз. Сергей Колбасьев был в числе тех преданых флоту специалистов, кто разделил с иим тяжелые морские и речные дороги гражданской войны, кто создавал нз ничего флотилии, которые бесстрашно вступали в сражения и побеждали».

После гражданской войны С. А. Колбасьев демобилизовался, приехал в Ленинград и посвятил себя литературе. В печати появляются его стихи, поэмы, проза.

Затем долгая командировка в Кабул, где Колбасьев — переводчик в советском посольстве. По возвращеиии он получает новое назначение — в торгпредстве в Хельсинки. И снова — Ленинград. Он становится участником ЛОКАФа (Ленинградская организация красноармейских и флотских писателей). Всю свою дальнейшую жизнь Колбасьев отдает описанию Советского Морского Флота, его становления и развития. В книгах его «как бы отсутствует игра воображения, они на грани воспоминаний; кажется, что в них герои носят подлинные фамилии, эти книги хорошо передают дух и цвет и голос эпохи. Они правдивы и скромны, люди в них видны во весь рост, и это русские люди, показанные в решающие годы своей жизни» (Н. Тихонов).

Текст рассказа «Большой корабль» печатается по изданию: *Колбасьев Сергей*. Поворот все вдруг: Повести и рассказы. Л.: Советский писатель, 1978.

ЛАВРЕНЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ (1891—1959). Родился в Херсоне в семье педагога-словесника. В 1915 году окончил юридический факультет Московского университета. Участвовал в первой мировой и гражданской войнах.

В Красную Армию Лавренев ушел добровольцем. Был на командных постах в артиллерийских частях на Украинском и Крымском фронтах, после тяжелого ранения перешел со строевой службы в политотдел, был секретарем редакции и замредактора армейской газеты Туркфронта.

В 1924 году уехал в Ленинград и целиком отдался литературной работе.

В 1927 году, к десятилетию Октября, Б. А. Лавренев написал пьесу «Разлом», одну из этапных в истории советского театра. Во время Великой Отечественной войны служил на флоте, печатал военные рассказы, очерки, корреспонденции в центральных газетах, работал для Совинформбюро.

В центре внимания писателя всегда был человек из народа, из самых низов жизни поднявшийся на борьбу за свое освобождение (повести «Сорок первый», «Ветер», «Рассказ о простой вещи» и др.). Героическая тема широко развита в дальнейшем творчестве Лавренева (повести «Большая земля», героическая драма «Песня о черноморцах», драма «За тех, кто в море» и др.).

Текст рассказа «Парусный летчик» печатается по кн.: *Лавренев Б.* Избранные произведения: В 6-ти т. Т. 3. М.: Худож. литература, 1982.

СОДЕРЖАНИЕ

Сб 2
П45

Поединок: Сборник. Вып. 9 / Сост. Э. Хруцкий.— М.: Моск. рабочий, 1983.— 478 с.
П45

В девятый выпуск сборника «Поединок» вошли повести и рассказы о солдатах, проходящих службу в Советской Армии, о боевом содружестве в годы Великой Отечественной войны между советскими летчиками и французскими пилотами полка «Нормандия — Неман», о геологах, о необыкновенных изобретениях гениального самоучки И. Кулибина, о тех, кто стоит на страже социалистического порядка и законности.

П $\frac{4702010200-250}{М172(03)-83}$ 213—83 Сб 2

ИБ № 2389

ПОЕДИНОК

Сборник

Выпуск девятый

Составитель
Эдуард Анатольевич Хруцкий

Заведующая редакцией *Л. Сурова*
Редакторы *Н. Буденная, С. Митрохина*
Художественный редактор *Э. Розен*
Технические редакторы
В. Дубатова, Н. Привезенцева
Корректоры *Т. Горячева, И. Попкова*

Сдано в набор 07.02.83. Подписано к печати 13.06.83. Л97186. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 25,51. Уч.-изд. л. 26,82. Тираж 100 000. Заказ 3147. Цена 2 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий». 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

2 р. 10 к.











